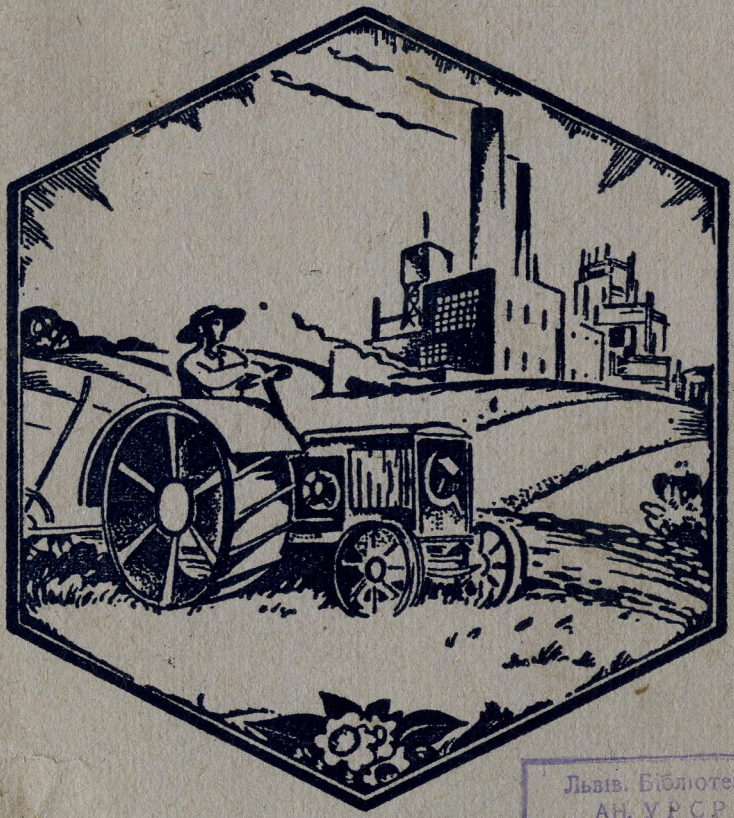
Наше слово

НАШЕ СЛОВО

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ПЯТОЙ ГРУППЕ



Львів. Бібліотека
АН. УРСР

ГОСИЗДАТ УКРАИНЫ · ГОСИЗДАТ РСФСР

06 10
37.955

НАШЕ СЛОВО

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ

В ПЯТОЙ ГРУППЕ ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ

Составили: В. АРНАУТОВ, О. ВОДОЛАЖЧЕНКО,
М. ЕЗЕРСКИЙ, П. МОСТОВОЙ и М. ПАНЧЕНКО
под общей редакцией В. АРНАУТОВА

174(32)

ЧЕТВЕРТОЕ ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗДАНИЕ

45052/V

Рекомендовано Государственным Научно-Методологическим Комитетом У. С. С. Р. как учебник для русских школ соцвоса и как книга для чтения по русскому языку в украинских школах и школах нацменьшинств

Львів. Бібліотека
АН. УРСР
БІБЛІОТЕКА НАУК. ТОВ. ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
Зв. пок. Гл. УРСР
1954 р

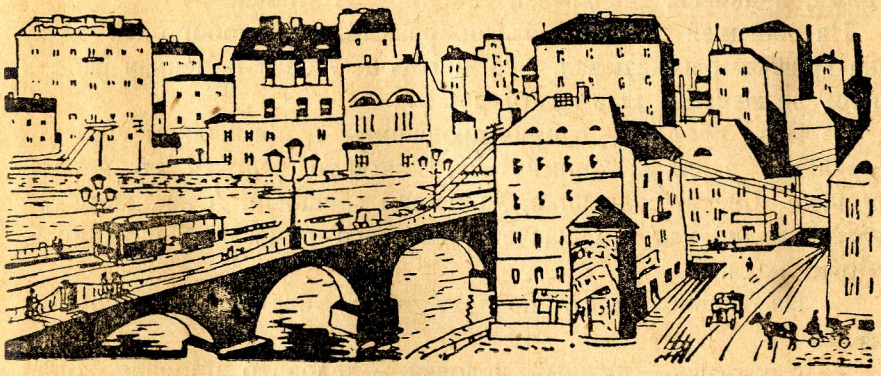
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
1929

Ш141.4-942.2

Библиографическое описание этого издания помещено в „Літопису Українського Друку", „Карточном репертуаре" и других указателях Украинской Книжной Палаты.

Львівська державна наукова бібліотека
№ 4198

Укрголовліт № 964 (6-9)
Трест „Киев - Печать"
6-я тип., ул. Ленина, 19
Зак. 1054—25.000—1929 г.
Арк. 26.



В ГОРОД.

В вагонах было тесновато. На каждой станции поезд подбирал людей, отправляющихся на заработки в большой город, и шум, возня, споры из-за мест на время овладевали общим вниманием. Большой паровик, точно он был живой и чувствовал, как тяжесть растет, пыхтел, ворчал, не спеша, подвигался среди бедных, как бы заброшенных полей, в гору шел совсем медленно и так жалобно свистал, что, казалось, вот-вот он надорвется и покатится назад.

Никита впервые совершал большой переезд и был взволнован до крайности. Он упивался знакомою серою далью, мелькнувшею деревушкою, хижинкою сторожа, скотом, бродившим по полям, стуком поезда, и на душе у него было легко. Когда он отрывался от окна, его внимание поглощала жизнь, что кипела вокруг него, и он жадно слушал радостные разговоры о большом городе, лежавшем еще далеко. Люди вокруг него задыхались от упоения и веры. Надежда на этот большой, неведомый город захватывала всех, и молодые, и старые насупленные лица краснели, как у детей, от радости, когда говорилось о заработках ожидавших каждого новоприезжего. Восклицания, подобно стрелам, неслись по вагонам. Слово разрасталось в упоительную сказку, и она действовала, как подавляющая правда. Разговаривали все разом, перебивая друг друга, мешали, не слушали, горели. Разночинный люд, мещане, рабочие, мужики, бабы с грудными детьми на руках — все повторяли одно и то же

о чудесах волшебного, большого города, где, казалось, не было бедных, и деньги, как камни, валялись на улицах.

На соседней скамейке благообразный, широкобородый мужчина громко рассказывал, что в городе любая поденная работа теперь не меньше пяти-шести рублей.

— Пять рублей! — с причмокиванием и сверканием глаз повторял, не в силах опомниться, какой-то человек со впалой грудью. — Светит солнышко, да не нам грешным. А не знаете ли, добрые люди, как там насчет сапожного ремесла? Сапожник я, добрые люди.

— На главное место посадят тебя, — насмешливо произнес кто-то.

— Сапожник — нужный человек, — деловито произнес один из пассажиров.

— Мне много не надо, — добродушно продолжал сапожник, улыбаясь всем: — мне дай этак рубликов тридцать, и то я их сахаром посыплю. Мне сотен не надобно. Мне хлеба, чтобы вволю было. Хлеба, добрые люди, я мало ел на своем веку.

Толпа волновалась. Настрадавшихся людей охватила горячка, и с сверкающими глазами они все разом заговорили о заработках, о своих крепких рабочих руках. Они говорили серьезно и радостно, гордые своей силой, которая нужна городу, жалкому и ничтожному без них. Раздвинулись тесные рамки вагонов, исчезли одинокие, унылые поля, бедное, без красок, небо, и на их место стал большой необ'ятный город, чистый и богатый, требующий людей-работников. Казалось, сотни умоляющих рук простирались оттуда к этим, обиженным жизнью, где-то погибавшим до сих пор, простирались для того, чтобы посадить их рядом с собой и одарить счастьем, по которому они так томились.

Огромный город с чудесной славой горел высоко, как гигантский маяк, и сильным светом притягивал со всех сторон бедняков, проживавших в своих углах в бездонной тяготе жизни.

* * *

Вдруг чей-то громкий, торжествующий крик пронесся по вагону:

— Город, город! Я вижу...

Все бросились к окнам, замирая от волнения. Поезд бежал по равнине, собираясь взлететь на гору. Вдали, в тумане, что-то

прорезывалось огромной массой, в которой не чувствовалось формы. Краснел восток. Как при закате, густым, темным огнем вспыхнули тучи вдалеке.

— Город, город!..

Люди стояли у каждого окна и тыкали пальцами в стекло.

Никита протиснулся на площадку и тщетно пронизывал туман глазами. Но одной блеснувшей бесформенной массы было довольно. Как храм для страждущих, мелькнуло видение. И в эти два бесконечные часа, что оставалось переждать в вагоне, ничего, кроме слова „город", которое выговаривалось всеми тонами, голосами, вздохами, уже не произносилось.

— Город, город, город...

Взобравшись на пригорок, Никита остановился, чтобы оглянуться. С правой стороны лежал вокзал со своими крышами, трубами и длинными строениями мастерских. Застывшим пятном чернел он в воздухе. Далеко, как игрушечные, уходили люди. Никита с радостью отвернулся, чтобы бросить взгляд на расстилавшийся перед ним город. Томительным чувством сверкнуло и потухло воспоминание о родном селе. С пригорка — чудесный, многообещающий, страстно желанный, — он открывался весь, со стенами своих домов, окнами, трубами, деревьями.

Впереди даль опоясалась железным кольцом моря, которое он видел в первый раз. Утренний туман рассеивался, и с ним уходила неясность очертаний. Позади лежал поселок со своими большими стеклянными, костомольными, чугунно-литейными заводами и фабриками, и черный дым от высоких труб кольцом подымался над слободой.

Освещенный на пригорке, один, среди тишины, с котомкой за плечами, стоял Никита.

Солнце все всходило.

С. Юшкевич.

В НЬЮ-ЙОРКЕ.

...Над океаном и землею висел туман, густо смешанный с дымом, мелкий дождь лениво падал на темные здания города и мутную воду рейда.

У бортов парохода собрались эмигранты, молча глядя на все вокруг пытливыми глазами надежд и опасений, страха и радости.

— Это кто? — тихо спросила девушка полька, изумленно указывая на статую Свободы. Кто-то ответил:

— Американский бог...

Массивная фигура бронзовой женщины покрыта с ног до головы зеленой окисью. Холодное лицо слепо смотрит сквозь туман в пустыню океана, точно бронза ждет солнца, чтобы оно оживило ее мертвые глаза. Под ногами Свободы мало земли, она кажется поднявшейся из океана, пьедестал ее — как застывшие волны. Ее рука, высоко поднятая над океаном и мачтами судов, придает позе гордое величие и красоту. Кажется — вот факел в крепко сжатых пальцах ярко вспыхнет, разгонит серый дым и щедро обольет все кругом горячим, радостным светом.

А кругом ничтожного куска земли, на котором она стоит, скользят по воде океана, как допотопные чудовища, огромные железные суда, мелькают, точно голодные хищники, маленькие катера. Ревут сирены подобно голосам сказочных гигантов, раздаются сердитые свистки, гремят цепи якорей, сурово плещут волны океана.

Все вокруг бежит, стремится, вздрагивает напряженно. Винты и колеса пароходов торопливо бьют воду — она покрыта желтой пеной, изрезана морщинами.

И кажется, что все — железо, камни, вода, дерево — полно протеста против жизни без солнца, без песен и счастья, в плену тяжелого труда. Все стонет, воет, скрежещет, повинуясь воле какой-то тайной силы, враждебной человеку. Повсюду на груди воды, изрытой и разорванной железом, запачканной жирными пятнами нефти, засоренной щепами и стружками, соломой и остатками пищи, — работает невидимая глазом, холодная и злая сила. Она сурово и однообразно дает толчки всей этой необ'ятной машине, в ней корабли и доки — только маленькие части, а человек — ничтожный винт, невидимая точка среди уродливых, грязных сплетений железа, дерева, в хаосе судов, лодок и каких-то плоских барок, нагруженных вагонами.

Медленно плывет судно среди толпы других судов. Лица эмигрантов стали странно серы, отупели, что-то однообразно овечье покрыло все глаза. Люди стоят у борта и безмолвно смотрят в туман.

А в нем рождается, растет нечто непостижимо огромное, полное гулкого ропота, оно дышит навстречу людям тяжелым, пахучим дыханием, и в шуме его слышно что-то грозное, жадное.

Это — город, это Нью-Йорк. На берегу стоят двадцатиэтажные дома, безмолвные и темные „скребницы неба“. Квадратные.

лишенные желания быть красивыми, тупые, тяжелые здания поднимаются вверх угрюмо и скучно. В каждом доме чувствуется надменная кичливость своей высотой, своим уродством. В окнах нет цветов и не видно детей...

Издали город кажется огромной челюстью с неровными, черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением.

Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из камня и железа, в желудок, который поглотил несколько миллионов людей и растирает, переваривает их.

По тротуарам спешно идут люди, туда и сюда, по всем направлениям улиц. Их всасывают глубокие поры каменных стен. Торжествующий гул железа, громкий вой электричества, гремящий шум работ по устройству новой сети металла, новых стен из камня — все это заглушает голоса людей, как буря в океане — крики птиц.

Вагон „воздушной дороги" с воем и грохотом мчится по рельсам, между стен домов узкой улицы, на высоте третьих этажей, однообразно опутанных решетками железных балконов и лестниц. Окна открыты, и почти в каждом из них — фигуры людей. Одни работают, что-то шьют или считают, наклонив головы над конторками, другие просто сидят у окон, лежат грудью на подоконниках и смотрят на вагоны, каждую минуту пробегающие мимо их глаз. В глазах — нет гнева против владычества железа, нет ненависти к его торжеству.

Мелькание вагонов сотрясает стены домов, вздрагивают груди женщин, головы мужчин, на решетках балконов валяются тела детей и тоже дрожат, привыкая принимать эту отвратительную жизнь, как должное, неизбежное.

Вот промелькнуло темное лицо старухи в грязной кофте, растегнутой на груди. Уступая дорогу вагонам, замученный отравленный воздух испуганно бросился в окна, седые волосы на голове старухи затрепетали, точно крылья серой птицы. Она закрыла свинцовые, погасшие глаза. Исчезла.

В мутных внутренностях комнат мелькают железные прутья кроватей, покрытых лохмотьями, грязная посуда и об'едки пищи на столах. Хочется увидеть цветы на окнах, ищешь человека с книгой в руке.

Стены льются мимо глаз, точно расплавленные, они текут грязным потоком навстречу, в быстром беге потока тягостно копошатся безмолвные люди.

Внизу, под железной сетью „воздушной дороги", в пыли и грязи мостовых, безмолвно возятся дети, — безмолвно, хотя они смеются и кричат, как дети всего мира, — но голоса их тонут в грохоте над ними, точно капли дождя в море. Они кажутся цветами, которые чья-то грубая рука выбросила из окон домов в грязь улицы. Питая свои тела жирными испарениями города, они бледны и желты, кровь их отравлена, нервы раздражены зловещим криком ржавого металла, угрюмым воем порабощенных молний.

— Разве из этих детей вырастут здоровые, смелые, гордые люди? — спрашиваешь себя. В ответ отовсюду скрежет, хохот, злой визг.

Вагоны несутся мимо Ист-Сайда, квартала бедных, компостной ямы города. Глубокие канавы улиц, ведущие людей куда-то в глубины города, где — представляется уму — устроенная огромная, бездонная дыра, котел или кастрюля. Туда стекаются все эти люди, и там из них вываривают золото. Канавы улиц кишат детьми.

В этих улицах, набитых людьми, точно мешки крупой, дети жадно ищут в коробках с мусором, стоящих у панелей, загнившие овощи и пожирают их вместе с плесенью тут же, в едкой пыли и духоте.

Когда они находят корку загнившего хлеба, она возбуждает среди них дикую вражду; охваченные желанием проглотить ее, они дерутся, как маленькие собачонки. Они покрывают мостовые стаями, точно прожорливые голуби; в час ночи, в два и позднее — они все еще роются в грязи, жалкие микробы нищеты, живые упреки жадности богатых рабов Желтого Дьявола[1]).

На углах грязных улиц стоят какие-то печи или жаровни, в них что-то варится, пар, вырываясь по тонкой трубке на воздух, свистит в маленький свисток на конце ее. Тонкий, режущий ухо свист прорывает своим дрожащим острием все звуки улиц, он тянется бесконечно, как ослепительно белая, холодная нить, он закручивается вокруг горла, путает мысли в голове, бесит, гонит куда-то, и, не смолкая ни на секунду, дрожит в гнилом запахе, пожравшем воздух, дрожит насмешливо, злобно пронизывая эту жизнь в грязи.

М. Горький.

---

[1]) Золота.

ПЕТЕРБУРГ.

Прошло сто лет — и юный град,
полнощных стран краса и диво,
из тьмы лесов, из топи блат [1])
вознесся пышно, горделиво.
Где прежде финский рыболов,
печальный пасынок природы,
один у низких берегов
бросал в неведомые воды
свой ветхий невод, ныне там,
по оживленным берегам
громады стройные теснятся
дворцов и башен; корабли
толпой со всех концов земли
к богатым пристаням стремятся.
В гранит оделася Нева;
мосты повисли над водами;
темнозелеными садами
ее покрылись острова...
Люблю тебя, Петра творенье,
люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное [2]) теченье,
береговой ее гранит.
Твоих оград узор чугунный,
твоих задумчивых ночей
прозрачный сумрак, блеск безлунный,
когда я в комнате моей
пишу, читаю без лампады,
и ясны спящие громады
пустынных улиц, и светла
адмиралтейская игла,
и, не пуская тьму ночную
на золотые небеса,
одна заря сменить другую
спешит, дав ночи полчаса.

А. Пушкин.

---

[1]) Болот.
[2]) Величавое.

ЛЕНИНГРАДУ.

Это имя —
как гром и как град:
Петербург,
Петроград,
Ленинград.
Не царей,
не их слуг,
в этом городе
слушал мой слух...
Не страшны и молчат
для меня
завитые копыта коня...

* * *

Разведешь меж
островами
снова
легкие мосты.
Видишь:
дым хвостами задран,
скручен прядью
на виске.
То —
балтийская эскадра
по твоей
дымит тоске.
Военморы!
Полный ход!
Глубже,
глубже,
глубже лот.
Вы лишь городу
большому —
мощь, защита
и оплот.
По морям,
морям, морям,
нынче здесь,
а завтра там —
ты им старшим братом
будешь,
всем восставшим городам!
Кораблей военных контур,
расстилая низко дым,
вновь скользнет
по горизонту.

Н. Асеев.

МОСКВА.

Шумят у трибуны рабочие рощи.
Кустами оркестров пылает земля...
Я загляделся
на Красную площадь,
соседку седого Кремля.

Сквозь шопот знамен
и сквозь топот отрядов
буденновской конницы, войск ГеГПеУ
я вижу Москву
в „старомодных“ нарядах.

Встают предо мной
деревянные кровли

старинных чертогов, резных теремов.
И Красная площадь — царица торговли
в кругу расписных куполов.

Дымят над прилавками запахи снеди,
как ветер полынный
в калмыцкой степи...
Глазеет толпа на искусство медведя,
танцующего на цепи.

Кого-то ведут на высокую плаху...
Стрельцов топоры, разливая пожар,
горят
возле бархатных шапок монахов
и бархатных шапок бояр.

Под вопль юродивых,
возгласы нищих
степаново тело на долгий покой
отсюда снесли в вековое жилище
с отрубленною головой.

И вот,
надвигаясь все ближе, все ближе,
Москва развернула мне прелести все.
Красавица,
как я тебя ненавижу
в твоей византийской красе!

Красавица, я о тебе не жалею.
И сердце терзает мне облик не твой,
когда, проходя у стены мавзолея,
склоняюсь пред ним головой...

Но снова,
подхлестнутый медью оркестра,
я в сердце растущий огонь нахожу.
И снова на старое лобное место
я с ненавистью гляжу.

Товарищи,
крепче рабочие звенья!
Веселые трубы, бросайтесь в прибой!..
Гремите над миром: конец терпенью!
Гремите Москвой.

А. Жаров.

В КИЕВЕ.

Киев, разлившийся вширь Куреневками, Демиевками, Лукьяновками, Соломенками, — этому Киеву конец на бывшей царской площади.

Улица Воровского, — прежний Крещатик, — приводит вас к тупику Купеческого сада, к тенистым кущам — дальше дороги нет. Извозчики, опоясывающие площадь лихим, звонкокопытным рядом, наседают на зазевавшегося прохожего:

— Куда прикажете, в город или на Подол?

— Гражданин, давайте свезу на Печерск!

— Смотрите, не запутайтесь, если вы недостаточно ознакомились с городом.

В город — это туда, откуда вы пришли на площадь по улице Воровского. Подол и Печерск — это не „город", это нечто отличное от Киева. Если хотите — два города.

Печерск — казарменный и пустынно-угрюмый дворец, арсенал, корпуса военных училищ. Казенная николаевская архитектура.

Свернув налево, вы спускаетесь по крутому скату Александровской улицы на Подол.

* * *

Подол...

А где же знаменитые киевские сады, где прославленное крутогорье, бьющее водопадами зелени?

Ни холмов, ни зеленых парков.

Ведь вы не в Киеве. Киев, зазнавшийся, высокомерный, смотрит на вас с высоты Владимирской горки и воротит нос в сторону. Себе Киев забрал сады, элегантные мостовые Прорезных и Николаевских, а Подолу,—замызганному своему подолу, оставил закопченные трубы, мучные и дровяные склады и... колокольни.

По воскресным дням и доныне повторяется один и тот же неизменный музыкальный номер. На все лады многоязыко и медоточиво вызванивает древняя медь на братских и флоровских колокольнях. Слушаешь колокольный звон и вспоминаешь, что Подол — стариннейшая часть „матери городов русских". Даже названия улиц — грязных местечковых улиц, выходящих на набережную или к Житному базару, заключают в себе еще не выдохшийся аромат легенды: Олеговская, Хоревая, Кияновская.

А Житный базар? Не отсюда ли начался рост торгового люда Киева с той поры, как первые челны причалили к низкому берегу нынешнего Подола?

Начиная с августа месяца, можно наблюдать по утрам не совсем обычное движение из города на пристань.

Еще на белых отмелях левого берега копошатся сотни коричневых тел в купальных костюмах. Пляж живет благодатной летней жизнью...

Запасливые хозяйки из старого Киева, с Фундуклеевской Липок и Лукьяновки, вдруг сокращают расходы и упорно твердят в продолжение целой недели:

— Пора запасаться дровами. Зима на носу.

Запастись топливом можно без больших хлопот и дальних выездов на любом складе в центре города. Но большинство хозяек для этого направляется на Подол — в гавань. Ведь лес подвозится к Киеву по Днепру, и в гавани дрова стоят раза в полтора дешевле, чем на городском складе.

И не только дрова. Спросите бережливую киевлянку, какой базар в Киеве она считает самым дешевым. Конечно, Житный.

Если хотите знать, почему на Житном четверть молока дешевле на пять копеек, чем на Бессарабке, пройдитесь по Нижнему Валу до набережной.

Прежде всего вам в глаза бросается не городская внешность базарной толпы. Какой же это рынок в большом городе! Сорочинская ярмарка — да и только. Вот, например, этот дядько с „брилем“ на голове, с кривым кнутовищем в руке — в необ'ятных белых штанах, подпоясанных очкуром.

— Откуда вы?

— З Осытчыны, — лениво отвечает дядько...

На „Крестьянской пристани“ вы найдете множество челнов, ожидающих у причала, пока не затихнет торговля на Нижнем Валу.

Сколько веков Киев кормится тем, что ежедневно доставляют на берег челны.

Появились Святошино, Боярка, Жуляны. Доставка идет по железной дороге из окрестных сел. Но за челнами осталось важное преимущество — бесплатный провоз.

Любопытное зрелище — крестьянская пристань.

С утра до четырех-пяти часов стоит над берегом неутомимый многоголосый гомон. Барышники с божбой распинаются над клетками с птицей, над мешками с мукой и картошкой.

— Вот тебе хрест, — нельзя больше. Не мне продашь, другому отдашь.

А в стороне слышится грохот выгружаемых поленьев. Их сбрасывают на берег с внушительного вида „дубов“. Тяжелые,

глубоко сидящие в воде „дубы“ — родоначальники не только барж, но и нынешних пассажирских судов. На таких вот „дубах“ когда-то совершали свои походы отважные отряды запорожцев.

* * *

После полудня рынки с молоком пустеют.

В эти часы бойко торгует „толкучка“. Бойкие подольские проныры подсовывают медлительным дядькам и титкам всякое барахло.

На пристани гомон спадает.

У челнов показывается женщина с пачкой книг под мышкой.

С обложки что-то невероятно знакомое, что-то просто немыслимое в наши дни, ударяет в глаза жестокой пестротой рисунка:

— „Малороссийский песенник. „Гоп, мои гречаники“.

„Семен у чортив в пекли“.

„Не любо не слухай — брехать не мешай“.

Ходит по берегу книгоноша, похожая на монашенку; кому за гривенник, кому за пятнадцать копеек сбывает старый хлам.

Между причалом и тесным рядом колесных мастерских на набережной — просторная недостроенная площадь. Здесь нашлось бы место для газетного киоска.

По набережной вышагивают милиционеры.

Слышится докучное, как летний зной:

„Кому воды холодной“.

* * *

Герой подольской набережной — грузчик, прежде всего, потомственный почетный пролетарий. Грузчик — его специальность. Профессия — чернорабочий. Вот он сидит на кучке мешков, отдыхает.

На вид — оборванец. Штаны на нем просмоленные, как борт баржи, которую он разгружает. Рубаха густо выкрашена в бурый цвет пота.

На голове мешок. Попробуйте подсесть к нему, и он с охотой поведает вам о своем рабочкоме, о том, что не дают давно обещанной спецодежды, о каторжном труде грузчика и еще о многом, что вам не впервые приходится слышать от рабочего.

Конечно, он живет не на знаменитых „кукушкиных дачах“.

Вон там, видите, трехэтажный. В двадцать третьем году отремонтировали. Теперь рабочий дом союза транспортников.

В трехэтажном обитает около восьмисот человек.

— Семьи у нас очень большие, — как будто жалуясь, говорил грузчик, — народ, как видите, пожилой.

В самом деле, человек двадцать — дежурная смена — как на подбор: у кого частая проседь в усах, у кого потный лоснящийся лоб рассечен глубокими межами морщин.

— Двадцать семь лет переворачиваю...

Двадцать семь лет! Сколько лет может быть, по вашему, „маститому юбиляру“? Всего-на-всего — тридцать девять. Другими словами — „переворачивает“ он с двенадцати лет...

Н. Лядов.

ОДЕССА.

... Громадный порт, один из самых больших торговых портов мира, всегда бывал переполнен судами. В него заходили темно-ржавые гигантские броненосцы. В нем грузились, идя на Дальний Восток, желтые толстотрубые пароходы Добровольного флота, поглощавшие ежедневно длинные поезда с товарами или тысячи арестантов. Весной и осенью здесь развевались сотни флагов со всех концов земного шара. и с утра до вечера раздавалась команда и ругань на всевозможных языках. От судов к бесчисленным пакгаузам и обратно по колеблющимся сходням сновали грузчики: русские босяки, оборванные, почти оголенные, с пьяными, раздутыми лицами, смуглые турки в грязных чалмах и в широких до колен, но обтянутых вокруг голени, шароварах, коренастые мускулистые персы, с волосами и ногтями, окрашенными хиной в огненно-морковный цвет. Часто в порт заходили прелестные издали двух и трехмачтовые итальянские шкуны, со своими правильными этажами парусов — чистых, белых и упругих; показываясь из-за маяка, эти стройные корабли представлялись — особенно в ясные весенние утра — чудесными белыми видениями, плывущими не по воде, а по воздуху, выше горизонта. Здесь месяцами раскачивались в грязно-зеленой портовой воде, среди мусора, яичной скорлупы, арбузных корок и стад белых морских чаек, высоковерхие анатолийские кочермы и трапезондские фелюги, с их странной раскраской, резьбой и причудливыми орнаментами. Сюда изредка заплывали и какие-то диковинные узкие суда, под черными просмоленными парусами, с грязной тряпкой вместо флага; обогнув мол и чуть-чуть не черкнув об него бортом, такое судно, все накренившись на бок и не умеряя хода, влетало в любую гавань, приставало среди разноязычной руготни, про-

клятий и угроз к первому попавшемуся молу, где матросы его, — совершенно голые, бронзовые, маленькие люди, — издавая гортанный клекот, с непостижимой быстротой убирали рваные паруса, и мгновенно грязное, таинственное судно делалось, как мертвое. И так же загадочно, темной ночью, не зажигая огней, оно беззвучно исчезало из порта. Весь залив по ночам кишел легкими лодочками контрабандистов. Окрестные и дальние рыбаки свозили в город рыбу: весною — мелкую камсу, миллионами наполнявшую доверху их баркасы, летом — уродливую камбалу, осенью — макрель, жирную кефаль и устрицы, а зимой — десяти и двадцатипудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни за много верст от берега.

Все эти люди — матросы разных наций, рыбаки, кочегары, веселые юнги, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты — все они были молоды, здоровы и пропитаны крепким запахом моря и рыбы, знали тяжесть труда, любили прелесть и ужас ежедневного риска, ценили выше всего силу, молодечество, задор и хлесткость крепкого слова, а на суше предавались с диким наслаждением разгулу, пьянству и дракам. По вечерам огни большого города, взбегавшие высоко наверх, манили их, как волшебные светящиеся глаза, всегда обещая что-то новое, радостное, еще неиспытанное, и всегда обманывая.

А. Куприн.

В НОВОМ СЕЛЕ.

Село встретило нас зелеными об'ятиями своих полей, которые выбежали далеко вперед...

Утренний ветерок слегка волнует зеленое море и, казалось, будто зеленые овечки быстро куда-то бегут, перегоняя одна другую... Дышалось свежо... Всходило солнце...

Село приближалось...

Целая куча ветряных мельниц, подобно играющим детям, выбежала и рассыпалась перед селом, то ли встречая гостей, то ли защищая его от кого-то...

Две из них с важностью размахивают крыльями... Грохочут в середине жернова, превращая твердое зерно, труд человека, в белую, душистую муку...

Из одной мельницы появился мельник — белый, белый... и волосы, и борода, и лицо, даже сапоги белые — весь в муке... По-

37.965

Львів. Бібліотека АН. УРСР

смотрел на небо — далеко, далеко протянулась тень, в нескольких местах перерезанная тенью крыльев...

— Доброго утра...

— Доброго утра, товарищи... Из города, вероятно, по прохладе?.. А что слышно там нового?..

Мы на минуту задерживаемся. Делимся городскими новостями, он расспрашивает, сетует. Тяжело работать на мельнице. Когда-то было полно зерна, и жернова не переставали работать, лишь бы ветер...

— А что же теперь: небось, урожай?

— Машина отбирает хлеб... Вот артель обзавелась двигателем (он указал на группу зелени и строений далеко в стороне от села). так она работает, когда захочет, и вырабатывает в день пудов по двести. Есть ли ветер или нет — ему все равно... Ну и не сила спорить с ним ветряку. Ничего не поделаешь — машина...

Мы дали крестьянину газету и пошли дальше... Над селом стояла туча пыли и шум — гнали стадо овец на пастбище.

Когда мы входили в село, нас встретил обоз. Лошадки бежали весело, бойко. На каждом возу лежало по блестящему плугу и бороне — ехали в поле пахать толоку. Красновато, свежо поблескивают отполированные лемеха... Грохочут возы.

Внезапно нас охватывает целое море разнообразных звуков. Поле в туче пыли, которую вздымают овечки и телята. Возле нас трутся боками черные, белые, серые овцы... За ними прошло стадо коров, важно и гордо ступая. Разнообразно похлестывают батоги. В избах уже истоплено. Только кое-где вьется запоздалый дым...

Находим председателя сельсовета. Входим в низкую хатку. После городских зданий нагибаешься в низкой двери. Еще страннее было видеть в этой избушке электрическую лампочку, которая спускалась с низкого потолка над самым столом.

— Что это, и у вас электричество?

— Да, это же артель недавно провела... Светит и у нас... Только одно плохо: не лампа — не прикуришь.

Садимся у стола, советуемся с председателем сельсовета, как собрать сход, какие вопросы наибольше интересуют село.

— Что ж? теперь почти все в поле... схода, пожалуй, и не соберешь.

— Однако, к вечеру, вероятно, подойдут.

— У вас же имеется место для собраний?

— Как же, как же! Есть „Сельбуд“, там просторно. Да и возле него под открытым небом можно будет...

Львівська державна наукова бібліотека № 4193

— Вечером, пожалуй, соберутся.

Мы условились подробно относительно темы беседы, времени, и просили председателя дать нам проводника в „Сельбуд", в школу и в ту самую артель, о которой так много слышали.

— Василий! — позвал председатель через открытое окно.

Со двора кто-то откликнулся и, немного погодя, в хату вошел стройный юноша лет семнадцати.

— Вот, Василий, поведешь товарищей по селу, покажешь и расскажешь все. А потом и к артели пойдете. Это же наш комсомолец.

Жена председателя, худощавая женщина с мелкими чертами лица, тем временем приготовила завтрак и поставила на стол большую горячую миску кулеша. Пригласили и нас. Мы с товарищем сильно проголодались и потому охотно сели за стол.

Позавтракав, отправляемся.

Над селом в разгаре пышное веселое утро.

Солнце поднялось довольно высоко, и тени стали короче, как-будто втянулись в себя. Возле колодца с длинным журавлем в луже полощатся гусята; мальчик сидит на корыте и покрикивает на них, он пригнал их с поля на водопой. Вышла молодка с ведром, нацепила его на крючок; заскрипел журавль, потонуло ведро в черной пропасти, и через миг выскочило оттуда со свежей холодной водой, роняя слезы-капли.

— Вот и наш „Сельбуд", указал Василий на большое белое здание в конце села. — Это прежде был помещичий дом, а тепер в нем помещается наш комсомол, сельскохозяйственный музей — недавно его основали, — библиотека, театр... Здесь же происходят и разные собрания.

— А кто же у вас играет в театре?

— Наши же парни и девушки, молодежь. Есть несколько и постарше: наш сосед Спиридон взрослых детей имеет, а театр любит. Учительница участвует, а учитель руководит.

— А что же, — крестьяне посещают театр?

— Как же! Особенно молодежь. Места не хватает.

Мы вошли в зал. Простые деревянные скамьи, сцена, занавес — все простенькое, очевидно, сделанное неумелыми руками; видно, что молодежь любит свой театр и заботится о нем.

Прошли по библиотечной комнате, по музею.

— О! когда-то и у нас будет электро-плуг. Хотя кое-кто и смеется, как это пахать без лошадей, однако, вот и в артели пашут если и не электро-плугом, то трактором. Люблю я его, — и у Василия глаза загорелись...

— Зимой здесь построят школу для взрослых... А теперь идемте в нашу школу...

Школа — посредине села. Это был старый школьный дом, довольно большой, кругом небольшой сад, за садом десятина или две поля...

Когда мы подошли, дети с учителем щепили молодые яблони. В другом конце учительница рассказывала меньшим детям, которые расселись вокруг нее, что-то о цветах.

— Теперь мало детей приходит, — сказал учитель, когда мы с ним поздоровались, — большинство помогает дома: гусей, лошадей пасут, работают на огороде, а жаль — как раз тепер самая интересная работа.

По лицам детей, стоявших с ножиками и другими садовыми принадлежностями, видно было, что действительно работа интересная и необходимая.

— Что наша школа? — говорил Василий, когда мы шли обратно, — так, лишь бы только... Вот в „артели“ — там детский дом... Там целое хозяйство, и дети постоянно все вместе... Вот увидите, что там уже сделано...

Солнце пригревало сильно. По улицам прятались кое-где в тени сонные гуси. Было тихо... Почему-то вспомнился город с его шумом и духотой в это время... Пошли дальше в поле. И одна за другой кончались улицы. И так странно было смотреть, как на белых низеньких стенах под крышами белели чашки для электрического провода, казавшиеся непомерно большими, а в хаты спускались провода. Возле одной хаты вместо столба — крючок с чашкой был забит просто в вербу...

Вот и поле... Слегка колышется зеленая рожь, готовая дать колос... Пестреет молодая гречиха, чернеют свеже-вспаханные под коноплю нивы.

Кое-где показывается картофель.

— Видите, какие узкие нивы... Делят, делят все на кусочки... Скоро на межи больше пойдет, чем на пахоту... Еще не научились подходить к земле по новому, — говорит Василий.

Дышать легко и приятно, хотя и начинает уже припекать все более и более... Потянулась рожь, вышли на выгон. Часть его уже вспахана. Кое-кто пашет сейчас... На просторном поле люди с плугами разбросаны, словно муравьи. Идем дальше: вот скоро и „артель“... Грохочет издали трактор. Это артель перепахивает пар... Все ближе и ближе. Вот, наконец, подходим к большому клину земли, только-что вспаханному. Меж нет, да их все равно

машина уничтожила бы. С другого конца надвигается на нас трактор, грохочет и легким дымком застилает свой черный путь...

— Посмотрите, десять плугов тащит. Это не то, что лошаденка. О! за день он сорок — пятьдесят десятин вспашет... — с увлечением говорит Василий.

Трактор подходит ближе... Громадные колеса катятся с важностью и уверенностью, железная грудь резко кричит стальным голосом. Машина работает...

— Этот же трактор вечером и динамо-машину движет, а то и в мельнице помогает. Хорошая машина... — и Василий пошел к „хорошей машине".

Трактор начал поворачивать. Мы поздоровались с механиком... Разговорились.

Машина, действительно, была „хороша", и механик ею не мог нахвалиться. Указал, как лучше пройти к артели. Мы пошли. Снова застучал и защелкал трактор, но теперь уже позади. Перед нами раскинулось сплошное зеленое поле, артельная рожь, а рядом, как венок из цветов, девушки и молодые женщины из артели пололи свеклу.

Все ближе подплывали новые строения, окутанные свежей зеленью...

А. Панов.

БЫТ.

Притулилось желтым лыком
солнце в лапоть под окном.
Спит на лавке кот-мурлыка
золотым кошачьим сном.

Жмурит глазки день весенний,
разгогочется вот-вот.
Со стены косится Ленин
в темный угол на киот.

Шепчет „отче" старый дедка,
чуть губами шевеля.
Квохчет черная наседка
у порога на цыплят.

На полу пыхтит теленок,
пучеглаз, и сыт, и туп,
в зыбке куксится ребенок
с грязной соскою во рту.

На печи ворчит старуха,
что все кости пережгла...
С чувством, с толком молодуха
месит хлебы у стола.

Муж ее, — старшой в совете, —
будто влит у косяка,
в пиджаке, при пистолете
и с газетою в руках.

В полушалок и передник
наряжаяся пестро,
собирается к обедне
богомольная свекровь.

А в углу у печки Гришка,
комсомол и грубиян,
знай бубнит одно по книжке,
что „религия — дурман".

П. Дружинин.

РУСЬ СОВЕТСКАЯ.

Вот вижу я:
воскресные сельчане
у волости, как в церковь, собрались.
Корявыми немытыми речами
они свою обсуживают „жись".
Уж вечер. Жидкой позолотой
закат обрызгал серые поля.
И ноги босые, как телки под ворота,
уткнули по канавам тополя.
Хромой красноармеец с ликом сонным,
в воспоминаниях морщиня лоб,
рассказывает важно о Буденном,
о том, как красные отбили Перекоп.
„Уж мы его—и так и раз-этак,—
буржуя энтого... которого... в Крыму"...
И клены морщатся ушами длинных веток,
и бабы охают в немую полутьму.
С горы идет крестьянский комсомол,
и под гармонику, наяривая рьяно,
поют агитки Бедного Демьяна,
веселым криком оглашая дол.

С. Есенин.

ПЕСНЯ.

Еще песня твоя не сложена,
и сложу ее—слабый—не я.
Это—жажда на жажду помножена,
заводская Украина моя!

Еще песня встает за дымами,
песня песен в рост Октября.
Украина непобедимая,
в сталетворном сияньи зоря!..

Ведь не все твое жниво смолочено,
сколько раз загнивало оно,
сколько, сколько дорог скособочено
к атаманам, Петлюрам, Махно...

Но ни голод, ни засуха дочиста,
ни измена, как моль и кроты,

одолеть не сумели хорошести,
не изгрызли твоей красоты...

Исходила кровями и потами —
но кукуют гудки над страной.
Украина, по брови в заботах, ты —
молотарка, мой полдень степной.

Ты красива, нарядно оправлена —
но моя не за это любовь,
а за то, что искромсана, травлена,
ты не стала гнездовьем рабов.

Пусть увечьями вся ты искроена,
сукровочит булыжь в городах, —
ворвалась ты уже с Днепростроями
в крепких, пахнущих солнцем, руках.

Те, что клячами были навозными,
те, что гнев свой глотали, дрожа,
от земли и снопами, и гроздьями
неизбывный сберут урожай.

Тем, кто в тюрьмах знал вечные осени,
кто изведал веревку и нож,
уж платишь ты щедрыми взносами
и предвечный свой долг отдаешь.

Ты ступаешь шагами огромными
и вершина победы светла.
Ты вздыхаешь размеренно домнами,
в жилах четкие взмахи кайла.

И. Кулик.

НА БАЗАРЕ.

Длинным весенним ключом, словно журавли, плыли по небу облака, недавно просохший камень белел на солнце, а деревья зароились почками, будто их обсели мухи.

Я шел в город.

Навстречу мне спешили с базара женщины с лицами, полными солнца, свежие, как холодное еще дыхание весеннего дня, и из их корзиночек, полных скользкого мяса, выглядывали барвинок и подснежники...

Веселые воды, что за час до этого были снегом, бежали домой по рвам с камешка на камешок. Тревожные дикие крики

неслись ко мне из города. Связанные куры бились в корзинах, вырывались из них, падали на тротуары и со смертельным ужасом бились крыльями о камни.

Все торопились скорей донести домой живность.

В мешках, заброшенных на плечо, танцовали свой последний танец испуганные поросята, выпирая стены своей тюрьмы, и как-будто умирали с охрипшим детским плачем отчаяния. Гуси не могли расправить своих крепких теперь связанных крыльев и сильно били воздух клювами на гибкой шее.

Проезжали возы, нагруженные кабанами, сытыми, спокойными и покорно стонущими.

Тупые рыла сонно смотрели на трупы своих братьев, уже осмаленных, голых, беспорядочно наваленных на возок, колеса которого были закапаны кровью.

Весенний ветер гнал по камням перья, еще, вероятно, теплые, загубленные в борьбе, а с каждой улицы, из каждого двора поднимался испуганный крик и плыл над землей, как плыли облака по голубому небу...

Я ходил между лотками.

Смотрел на ободранные туши, развешанные вдоль стен, с застывшим салом, синими жилами, на кучи кишек, мертвых голов и ног, видел темно-кирпичную печенку, свежую и блестящую, которая слезилась сукровицей на легкое с узорами из жилок. Топоры с жутким треском рубили кости, раздробляя мозг.

— Паничу! Свежая телятина! Ей богу, сегодня резали...

— Что покупаете, милый паничу?

— Идите ко мне. Воловий мозг... ножки... головки...

Они блестели ножами и копались руками в мясе, эти добродушные толстые бабы, поглядывающие на всех так любовно.

В их круглых глазах, плавающих на лице, как куски сала на супе, светилась предпраздничная радость и торжественность, они задвигали ножки поросенка под его шкуру, чтобы придать ему пристойный вид.

Фу! У меня была физическая потребность подышать чистым воздухом.

Подышать им на поле, за городом, где земля пила снеговые воды, мягкие и добрые от ласки солнца, где молодой ветер копытами бил землю, как степной жеребец, а жаворонки делали свой первый посев на еще невспаханных плугом нивах.

М. Коцюбинский.

КРАСНАЯ ЯРМАРКА.

Крещенскую Харьковскую ярмарку можно назвать старушкой — ей свыше двухсот лет: никакие годы на нее не действуют, никакая старость не берет, — кровь с молоком и сейчас. Шумит говором толпы, криками лотошников, стуком молотков, наскоро сколачивающих палатки, грохочет по мостовым целыми караванами ломовиков, под'езжающих и от'езжающих с нагруженными товарами,—пестро, ярко, широко бурлит и переливается разным толкущимся людом.

Раньше ярмарка торговала шерстью, испанскими овчинами, кожами, воском, медом, салом, щетиной, пухом, мехами, сахаром, сукнами, шелками, парчей, железом, стеклянной посудой, винами, табаком, но, главным образом, мануфактурой, красным товаром, за что и самую ярмарку прозвали Красной.

Теперь предметы торговли все те же, разве лишь шелков да парчи поубавилось, и ярмарка может называться Красной не только от обилия мануфактуры, но и оттого, что в революционных условиях умеет торговать крупно, хорошо, красно, праздничнo. А самый торг и нравы ярмарочные стали, конечно, совсем иными.

В старину на Крещенскую ярмарку устраивались буйные забавы: соберется Основа с подгорными селами и пойдет против горожан на кулачный бой—небу жарко, как начнут тузить друг друга, только бока трещат. Ни одна ярмарка без этой кровавой потехи не обходилась. Каждая сторона имела своих знаменитых бойцов, гордилась и кичилась ими, как необыкновенным достоянием. Особенно бойцевое время настало, когда у пригородов появился красавец, щеголь и богатырь Рубак, а у горожан—студент-медик Ковалев, — силища страшенная! — выходивший на поле кулачной брани в кучерской плисовой поддевке. Сходилось человек по триста, по четыреста и даже по пятьсот с каждой стороны. Зачинщиками, как непоседливые воробьи, выступали мальчишки и уж вслед за ними наваливались стена на стену взрослые: закипал беспощадный, ожесточенный бой. Мороз обыкновенно стоит градусов в двадцать, двадцать пять, на Лопани лед трескается, будто толстое стекло лопается, вокруг солнца желтые круги от стужи, а кулачный бой — густое человечье месиво—хрипит, клокочет и охает, пока не разбежится побежденная сторона.

Всему заводилами были купцы. С'едутся толстосумы отовсюду, больше все из Москвы, и начнут с жиру беситься на

чужой стороне, возьмут и выдумают кулачные бои устраивать, главных драчунов-силачей друг на дружку науськивать да подарками задаривать.

Теперь ни купцов старых, ни забав их диких и в помине нет. Но ярмарка не утратила от этого ни своей шумности, ни своей бойкости.

Уже с Академической горки пестрой картиной распахивается она — лежит внизу огромным цветным ковром. Красные маки ярмарочных флагов издали горят жаркими пятнами, а суетливый гул слышен за полверсты. Вся Благовещенская площадь в веселом наряде.

Чем ближе подходишь, тем горячей и краше огонь флагов над киосками и павильонами. А войдешь в самую гущу шума и сутолоки, — глаза разбегаются, пока не осмотришься. Со всех сторон, куда не глянешь, желтое золото бесчисленных вывесок и реклам. Над толпой, над ярмарочными улицами и переулками, колышутся от ветра туго натянутые белые десятисаженные полотнища с побеждающими на версту видными надписями.

— Шут их знает, — слышится чье-то изумленное восклицание. — Что ни киоск, то новый товар.

— И когда они успели насадить их. Как грибов...

— Да ты смотри, чем они только не торгуют: и бакалеей, и галантереей, и мануфактурой, и кожами, и мехами, и парфюмерией. Единственно чего здесь нет, — птичьего молока.

Вот еще один интересный павильон. Яркий, красочный, нарядный, весь расписанный в стиле народного украинского лубка. Но бойчее и шибче торгуют, кажется, рядом: здесь играет духовой оркестр, веселое медное пение труб смешивается с шумом и говором ярмарки, на звуки музыки густыми толпами сбивается народ, — и магазин буквально переполняется покупателями.

Дальше начинается целая улица палаток с кустарными детскими игрушками — „Юному Ленинцу". Чего-чего тут только нет. Огромные вороха самых затейливых выдумок и изобретений. Ярко, пестро, занимательно, заманчиво. Здесь трудно итти: улица игрушечная узка, а народ стоит трубой,—не протолкнешься.

Налево грузно тянется старокупеческий Суздальский ряд, но хозяева здесь новые—советские тресты: Дунсукно, Моссукно, Текстильтрест, Глушковские фабрики, ослепительно синий Химуголь, Мосторг.

А по другую сторону рябого Благовещенского собора палатки, чипы мехов, железо-скобяные магазины, какое-то акционерное

общество и дальше в обе стороны по берегу Лопани, от Благовещенского базара до Екатеринославского моста на целую версту,— самые разнообразные киоски. Тут же палатки пчеловодных артелей с медом, тут сахар, посуда, мануфактура, рыбные магазины, всякая всячина...

На окраинах ярмарки целая армия лотошников и коробейников. Тут и галантерея, и мануфактура, и посуда, и пряники, и апельсины, и лимоны, и шоколад, и какие-то хитрые, пахучегорячие карандаши: проведет торговец кончиком по куску стекла— и стекло, как масло ножом, мягко разрезается по проведенной линии.

Вот большие дымящиеся железные барабаны-жаровни для орехов. Орехов горы. Продавцы шумно, точно морской песок, выносимый во время прибоя на берег, мешают жаровни особыми лопаточками, громкими наигранными голосами одни перед другими выкрикивают:

А вот жарены, калены
сладки, ядрены!
Подходи, подходи,
по сторонам не гляди:
с'ешь, прожуешь, —
еще возьмешь.
Самы лучши,
самы лучши!..

А еще дальше — в будках на колесах — сапожники, называющие себя свободными мастерами, и тоже прибауточники. Один, высовываясь по-клоунски, кричит:

Не забудь починки,
снимай ботинки,
нужна латка,
прибьем гладко—
моментально!

Другой, через пять шагов, еще громче кричит, зазывает:

Подметки, подметки
крепки и ходки!
Год проносишь
и вон не бросишь.

А третий просто кланяется:

Эй, дядя, гражданин,
подходи на почин.

Непрерывный тысячеголосый шум и говор стоят над ярмарочной площадью. Звенят звонки трамваев, подвозящих все

новую и новую публику. Грохочут площадки ломовиков. Плещет на ветру красное пламя флагов. Широкими маршами гремит музыка.

Для большей пестроты и праздничности не достает, пожалуй, только карусели...

Но этот веселый и яркий ярмарочный галдеж — только розница, мелкий покупатель. Главная сила ярмарки не здесь, она на бирже.

Перед биржей дымят автомобили, стоят извозчики. В огромных, залитых светом залах—столики. За столиками—представители трестов, об'единений, кооперативов, акционерных обществ, артелей—красные купцы.

Здесь—настоящие тузы—подлинное сердце ярмарки. Именно здесь идет крупная купля-продажа, которая в итоге покажет окончательные цифры ярмарочного оборота. Здесь двигают десятками и сотнями тысяч рублей, оперируя чаще всего небольшими товарными образцами, легко умещающимися в обыкновенном портфеле. А самые товары лежат где-нибудь запакованные на складах, в вагонах или просто на фабриках и заводах, куда стоит лишь дать коротенькую телеграмму, — и товар в любом количестве пойдет в любом направлении.

Среди многих тузов, наполняющих биржу, есть козырные: это — трестовики и кооператоры, т. е. производители товаров, с одной стороны, и самые верные проводники их к массовому потребителю — с другой. Все наиболее крупные и жизненные сделки заключаются именно между козырными тузами.

Разговоры тут не спешные, солидные, осмотрительные, по пословице: „семь раз примерь, один раз отрежь".

Публика в большинстве случаев уже отлично знает друг друга лично, по прежним сделкам, по прошлогодним ярмаркам: крещенской, контрактовой, нижегородской,—на мякине тут никто никого не проведет...

Жужжанье торговых разговоров стоит непрерывно в течение целого дня. Биржа, как проснувшийся улей, живет кипучей жизнью.

От столика к столику с деловой четкостью движений переходят биржевые маклера, присутствующие при рождении новой сделки, подобно своего рода жрецам.

Стучат пишущие машинки, шелестят листы договоров. Серебряной трелью звенят телефоны.

Строится прочный советский торговооборот.

В. Юрезанский.

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА.

С утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко-взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них сеном.

Одиноко в стороне тащился на истомленных волах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разною домашнею поклажею, за которым брел, в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах, его хозяин. Ленивою рукою обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице, и к уроду, и насильно пудрит, несколько тысяч уже лет, весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. На возу сидела хорошенькая дочка, с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами поднявшимися над светлыми карыми глазами, с беспечно улыбавшимися губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые, вместе с длинными косами и пучком полевых цветов, богатою короною покоились на ее очаровательной головке. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново... и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться? В первый раз на ярмарке... Девушка в осемнадцать лет в первый раз на ярмарке. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собой, который и душой рад был бы это сделать, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служение, теперь на продажу.

* * *

Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула, и хаос чудных, неясных звуков вихрем носится перед вами

Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно охватывают вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам кричит, гогочет, гремит? Шум, брань, мычание, блеяние, рев,—все сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыгане, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа; ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться.

Приезжий мужик наш с чернобровой дочкой давно уже толкался в народе: подходил к одному возу, щупал другой, применивался к ценам; а между тем, мысли его ворочались безостановочно около десяти мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереться около воза с мукой и пшеницей. Ей бы хотелось туда, где полотняными ятками нарядно развешены красные ленты, серьги, оловянные, медные кресты и дукаты. Но и тут однако ж она находила себе много предметов для наблюдения: ее смешило до крайности, как цыган и мужик били один другого по рукам, вскрикивая сами от боли, как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками...

Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово: пшеница. Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривавшим негоциантам [1]), и приковавшегося к ним внимания уже ничто не в состоянии было развлечь.

Н. Гоголь.

ЧРЕВО ПАРИЖА.

...Среди глубокой тишины, вдоль пустынной улицы предместья, подымались по направлению Парижа телеги огородников. Равномерный грохот колес отражался от фасада заснувших по обеим сторонам домов позади неясных очертаний деревьев. Телега с капустой и другая с горохом присоединились на мосту

---

[1]) Купцам.

Нельи к восьми телегам, тянувшимся из Нантера, нагруженным репой и морковью. Лошади шли без понукания, опустивши головы, медленным и ленивым шагом, который замедлялся еще больше дорогою в гору. Поверх наваленных овощей, растянувшись на брюхе, дремали возницы, укрытые грубыми, в полоску черное с серым, плащами, с возжами вокруг рук. По временам газовый рожок, выделяясь на темном фоне, освещал гвозди сапога, синий рукав блузы, край фуражки, различаемый среди этой огромной пестроты из букетов красной моркови, белой репы, среди ниспадавшей через край телеги зелени, гороха и капусты. А по дороге и из ближайших улиц, отдаленное громыхание подвод указывало на такие же обозы, которые прибывали среди темноты и глубокого сна двух часов ночи, убаюкивая темный город однообразным скрипом телег с провизией...

...Посреди мостовой сероватые очертания телег загромождали улицу. С одного конца до другого, едва слышное дыхание обнаруживало ряд запряженных лошадей, которых нельзя было видеть. Возгласы, гул падающей на мостовую доски или железной цепи, глухой шум опоражнивания телеги с овощами, последнее встряхивание повозки, задевающей края тротуара, распространяли в воздухе, еще спящем, тихий ропот, предвещавший приближение шумного и мощного пробуждения среди всех этих колебающихся теней...

Повозки все прибывали. Окрики возниц, удары хлыста, грохот по мостовой от железных ободьев колес и подков лошадей раздавались все чаще. Телеги подвигались толчками, соблюдая линию, растянутую дальше, что можно было видеть в серой мгле, откуда доносился неясный шум. Вдоль этой улицы Нового Моста разгружали телеги, прижатые к канаве. Лошади стояли неподвижно, близко одна от другой, рядом, как на ярмарке. Флорана заинтересовала огромная телега, с великолепной капустой, которую с большими усилиями придвинули к тротуару. Груз подымался выше большого газового рожка, помещавшегося сбоку и ярко освещавшего кучу широких листьев, которые спускались, как куски темно-зеленого бархата, вырезанные и гофрированные.

Маленькая крестьянка лет шестнадцати, в кофте и чепце из синего полотна, стояла на телеге, заваленная капустой по самые плечи. Она брала головки одну за другой и бросала их кому-то, скрытому в тени, внизу. Время от времени малютка скользила, тонула, скрывалась под обвалом. Потом ее розовый носик снова

появлялся среди густой зелени; она смеялась и головки опять летали между газовым рожком и сидящим Флораном. Он их считал машинально. Когда телега опустела, ему стало досадно.

Выгруженные на плиты тротуара кучи простирались теперь до мостовой. Между каждой кучей огородники пускали узенькие проходы, чтобы публика могла свободно двигаться. Широкий тротуар, весь покрытый с одного конца до другого, тянулся с темными выпуклостями овощей. При резком колебающемся свете фонарей, выделялись только гирлянды мясистых артишоков, нежная зелень салата, розовый коралл моркови, матовая слоновая кость репы, и молнии ярких цветов вспыхивали по мере освещения их вдоль куч фонарями. Тротуар наполнялся людьми, толпа оживлялась, ходила между товарами, останавливаясь, разговаривая, подзывая. Грубый голос кричал: „Эй, салата!“ Открыли решетку павильона оптовой продажи овощей. Перекупщицы этого павильона в белых чепцах, с косынками, повязанными вокруг черных кофт, с юбками, приподнятыми и пришпиленными, чтобы не замараться, делали свой дневной запас, наполняя большие корзины носильщиков, поставленные на землю. Движение корзин взад и вперед, из павильона на мостовую и обратно, оживлялось среди толчков в голову, сальных слов, шума голосов, торгующихся по четверть часа до хрипоты из-за одного су. Флоран удивлялся спокойствию огородниц, повязанных полушелковыми платками, с загорелым цветом лица среди болтливых споров рынка из-за безделицы.

В больших крытых улицах жизнь все приливала. Вдоль тротуаров, по обе стороны, еще стояли огородники, мелкие земледельцы из окрестностей Парижа. Они выставляли в корзинах то, что собрали накануне вечером: пучки овощей, горсти фруктов. Повозки выезжали под своды среди движущейся толпы, замедляя гулкий шаг лошадей. Две такие повозки, поставленные наискосок, загромождали улицу. Чтобы пройти, Флорану пришлось опереться на один из серых мешков, схожих с мешками из-под угля, огромная тяжесть которых сгибала оси. Эти мешки были мокры и издавали свежий запах морских водорослей. Из одного из них, прорванного в конце, вытекала черная масса крупных ракушек. Теперь на каждом шагу приходилось останавливаться. Ломовые дроги, одни за другими, подвозили высокие деревянные ящики, нагруженные большими корзинами с морской рыбой. Эти ящики доставлялись по железной дороге наполненными прямо с океана. И чтобы обойти телеги с морской рыбой, все более и

более спешившие и загораживавшие им путь, они бросались под колеса телег с маслом, яйцами и творогом. Это были большие желтые повозки, запряженные четверкой лошадей, с цветными фонарями. Дюжие молодцы снимали ящики с яйцами, корзины с маслом и сыром и несли все это в павильон аукциона, где чиновники в фуражках при свете газа делали отметки в памятных книжках. Клод смотрел с восторгом на эту суматоху. Он любовался световым эффектом, группой блузников, выгрузкой товаров. Наконец, им удалось выбраться. Продолжая итти большой улицей, они вдруг вошли в душистую атмосферу, которая их окружила и, казалось, следовала за ними. Они очутились на рынке срезанных цветов. По тротуару, направо и налево, сидели женщины, имея перед собою, четыреугольные корзины, наполненные пучками роз, фиалок, георгин, маргариток. Пучки цветов то темнели, как кровяные пятна, то бледнели, принимая нежный серебристый оттенок. Зажженная около одной из них свеча выделяла на темном фоне вокруг целую гамму красок, цветные крапины маргариток, кровавый пурпур георгин, синеватые оттенки фиалок, телесный цвет роз. И ничто не могло быть приятнее этого нежного весеннего запаха, встреченного на тротуаре после едких испарений морской рыбы и острого запаха сыров.

Клод и Флоран повернули назад, гуляя, замедляя шаги среди цветов. Они с любопытством остановились перед женщиной, которая продавала пучки папоротника и виноградные листья, правильно связанные в четверки. Потом они свернули в конец крытой улицы, совсем пустынной, где их шаги раздавались, как под сводами церкви. Они там увидели маленького осла, запряженного в повозку величиною не больше тачки. Он видимо скучал и при их появлении принялся реветь так громко и продолжительно, что задрожала крыша над рынком. Ему ответило ржание лошадей; послышался топот ног, — грандиозный шум вдали, который рос, катился и понемногу замирал. Перед ними, на улице Берже, лавки комиссионеров, настежь открытые, выставляли под ярким светом газа горы корзин и фруктов между трех грязных стен, испещренных сложениями, написанными карандашом.

...Вдоль крытой улицы женщины продавали кофе, суп. На углу тротуара торговку, продающую суп с капустой, окружали большим кольцом потребители. Вылуженный железный горшок с бульоном дымился на небольшой низкой жаровне, из дырочек которой просвечивали горящие угли. Женщина, вооруженная разливательной ложкой, брала тонкие куски хлеба из корзинки

покрытой салфеткой, и наливала суп в желтые чашки. Тут были торговки, очень чистенькие, огородники в блузах, грязные носильщики в пальто, запятнанных с'естными припасами, которые они переносили на плечах, бедняки в лохмотьях. Все голодные рынка кушали, обжигаясь, выдвигая подбородок, чтобы не облить себя и не запачкать платье.

Теперь Флоран слышал протяжные раскаты, исходящие из рынка. Париж разжевывал куски для своих двух миллионов жителей. Это был какой-то огромный центральный орган с неистовым стуком, вливавший в жилы кровь жизни. И это сопровождалось стуком колоссальных челюстей, шумом, производимым развозом пищи, начиная от щелканья бича крупных торговцев, едущих на другие второстепенные рынки, да шлепаньем старых туфель бедных женщин, которые ходят с корзинками от двери к двери, предлагая свой салат.

Флоран вошел в одну из крытых улиц слева, в группу четырех павильонов, темную массу которых он заметил еще ночью Он надеялся приютиться там, найти себе какое-нибудь убежище. Но в это время в павильонах было, как и везде, много народу. Он прошел до конца улицу. Ломовые дроги под'езжали рысью, переполняя рынок Де-Ла-Вале клетками с живой птицей и квадратными корзинами, где битая птица была уложена в несколько рядов. На тротуаре противоположной стороны другие ломовики выгружали целых телят, завернутых в холст и положенных на бок, как спящие дети, в продолговатые корзины, откуда торчали только четыре обрубленные ноги с сочившейся кровью. Тут были целые бараны, четвертушки бычачьих туш, бедра и лопатки. Мясники в больших белых передниках клали штемпель на говядину, увозили ее, весили и подвешивали на крюк в оценочном зале. Флоран, прижавшись лицом к железной решетке, смотрел на ряды подвешенных туш, на быков и баранов с красным мясом и телят более бледных, с желтоватым жиром, с сухожилиями и с распоротыми брюхами. Оттуда он перешел на тротуар кишечного ряда, где между белесоватыми телячьими головами лежали чистые кишки, свернутые пачками в коробочки, мозги, разложенные тщательно на плоских корзинах, окровавленные печени и почки, отливающие фиолетовым цветом. Он остановился у длинных тележек на двух колесах с парусиновым верхом; на них привозили разрубленные пополам свиные туши, подвешенные с двух сторон к боковым решеткам над соломенной подстилкой. Открытые задки тележек походили на часовни для покойников, на углубле-

ния скинии в ярко пылающих отливах этого правильно разложенного и обнаженного мяса, а на соломенной подстилке стояли ящики из белой жести, наполненные кровью кабанов.

Э. Золя.

НА ЯРМАРКЕ.

Флаг поднят. Ярмарка открыта.
Народом площадь вся покрыта.
На море пестрое голов
громада белая домов
глядит стеклянными очами;
недвижная затоплена
вся солнца золотом она.
Люд божий движется волнами...
и кички с острыми углами,
подолы красные рубах,
на черных шляпах позументы,
и ветром в девичьих косах
едва колеблемые ленты —
вся деревенская краса
вот так и мечется в глаза!
Из лавок, хитрая приманка,
высматривают кушаки,
и разноцветные платки,
и разноцветная серпянка.
Тут груды чашек и горшков,
корчаг, боченков, кувшинов;
там — лыки, ведра и ушаты;
лотки, подойники, лопаты,
колеса... „Где? Какая дрянь?
Ты вот на ступицу-то глянь!“ —
торгаш плечистый повторяет
и бойко колесом вертит.
А парень крендель доедает.
— Сложи полтину,—говорит:—
возьму и дегтю, вот мазницы...
„Нет, врешь; отдай за рукавицы!
Ти гаманок-то свой не прячь!“—
кричит налево бородач.
Здесь давка: спорят с мужиками
за клячу пегую купцы,
и Лазаря поют слепцы,
сбирая медными грошами
дань сострадательных зевак.
Набит битком толпой гуляк,
приют разгула и кручины,
под кровлею из парусины.
„Ох, православные, я пьян!“
В бумажном колпаке и блестках,
кривлясь з бубном на подмостках,
народ дурачит шарлатан
и корчит рожу... „Как обман!“
Повертывая головою,
цыган проносится с божбою:
„Коню не двадцать лет, а пять.
Жены, детей мне не видать!“
Веселый говор, крик торговли,
писк дудок, песни мужиков
и ранний звон колоколов —
все в гул слилось. Меж тем оглобли
приподнялись поверх возов,
как лес без веток и листов.

И. Никитин.



7-е НОЯБРЯ

Столяры, слесаря, кузнецы,
вы — творцы
новой жизни, грядущей навстречу,
славьте радостный день годовщины —
мирового восстанья предтечу...
Пусть умолкнут станки,
не шумят исполины —
машины,
не снуют молотки;
выходите вы, жители темных предместий,
пусть под топоты ваших шагов
даже камни кричат о борьбе и о мести,
пусть до слуха врагов
лозунг наш долетит: „на часы, пролетарий!
Длится с хищником злобным борьба!“
Сестры, братья, сурова судьба
к тем, кто красное знамя восстанья
водрузил на земле...
Много мук и страданья
стерегут нас во мгле,
но в последнем бою
за свободу свою
победителем будет не шайка дворян,
а рабочий — земли капитан.

Вы, строители пышных дворцов,
синеблузые, крепкие люди,
выходите! пусть ветер коммуны
ваши впалые груди
обвеет...
Над громадой домов
наше красное знамя, как кровь, пламенеет...
Славьте день Ноября —
это наша вторая заря.

И. Ионов.

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ.

I.

И на станции, и в снегу, и в сугробах. И в народном доме, и по дороге в казармы. И на вокзале, и в поездах, бегущих со всего света в Петроград. И... и... всюду мы.

Сижу на маленькой, точно оброненной в снегу, станции. Мимо обрывов гор, гранита, сугробов, одиноких избушек и хижин, замерзших озер, рек, водопадов, — бегут поезда.

Поезда из Швеции...

Вон избушка, вся укрытая снегом, сосульками, лес в снегу, за макушками сосен — казармы.

Ждем отпускных из России. Их нет. Поезда идут только до Выборга и солдат не пускают на родину.

Все в тревоге...

Прибегает из отпуска Бабкин. Три дня шел пешком. Обошел все преграды. Чуть не убили казаки.

Крикнул, — шепнул:

— Революция!

Ну тут чего только не было! Точно факелом пламя... Целовались... Кричали... Клялись... Ожидали дальнейшего...

Не могу больше молчать. Расскажу все по порядку, как это было.

Приехали из Гельсингфорса матросы. От них тоже скрывали.

Замызгали кровью офицеров суда. Потому,—нет им доверия. В пятом году задушили революцию.

...Революция!..

Приехал член Думы. Встал на бочку на площади. Призывал всех к порядку. Говорил. Меньшевик. Мы качали...

Долго с красными флагами стояли на станции. Обошли все селение.

Мчатся поезда в Петроград и обратно. Мелькают матросские и солдатские куртки, бушлаты, шинели. Тесно им. Углубляют добытое. Рвутся в ширь. Рвутся дальше в Россию. Там разольются по всем краям необ'ятной страны, своей родины.

Но терпение... Революция требует порядка.

...Революция!..

Солдатский клуб. Митинг за митингом. В офицерском собрании полковой комитет судит, рядит...

Плачут от радости старые батраки и батрачки, крестьяне, фины. Слушают у народного дома речи ораторов. Ловят, как жемчуг, слова о земле.

Слушайте радостную весть... Все, все, все. Весть, и легенду, и быль...

...Революция!..

Гремит громко оркестр. С революционными песнями, с красными флагами ходим встречать политических эмигрантов из Америки, Франции, Германии.

— Добро пожаловать... Милости просим...

Едет Керенский утишать пожар... На площадке вагонов, из окон, говорит пылко речи...

У нас свой комитет. Смотрит зорко за всем. Не дает нас обмануть.

...Революция!..

Бьются в судорогах гнева. Оцепляют вагон. Поезд едет дальше с остальными вагонами. Члены комитета кричат, призывают разойтись...

— Как так? Кто задержан? Хотя бы посмотреть!..

Из окна выглядывают испуганные лица Вырубовой, доктора Бадмаева... Глинки-Янчевского...[1])

Работаем в полном контакте со своим гельсингфорским Советом...

Появляются в матросских фуражках делегаты Совета.

...Ура!..

Они задержали у границы полпуда золота.

Что это такое? Куда мы идем? Кто им позволил? Всю власть бери в свои руки.

...Революция!..

---

[1]) Приближенные царской семьи.

II.

В клубе по стенам портреты вождей... Висят знамена. На стенах ельник. На столах сукно, книги, брошюры, свои газеты. На кафедре оратор.

Все дни собрания, лекции, митинги...

Пусть, как пух, отлетают от нас продавцы мыла, кружева, продуктов... Дезертирам не место в казармах. Нас ждут давно дома, но мы на посту. Долой попов! Мы отметаем с презрением всех тех, кто недостоин революции... Долой империалистов, войну, соглашателей!.. Прочь буржуев, изменников! Все за Советы.

Председатель Гаврилов:

— Товарищи, в Выборге в штабе измена. Скинули командира корпуса и почти весь его штаб в воду с моста... Не дождались... Вывели из гауптвахты, повели на свой суд. Да. Скинули с моста. кто выплыл, в того стреляли. Мы отметаем это от себя. У нас есть свой суд, а не расправа. Суд революции...

Все встают.

...Революция!..

— Товарищи!..

Снова Гаврилов:

— Корнилов идет задушить революцию...

Рвемся все, как один, в Петроград. Заседает Революционный комитет. Роты дежурят... Только голос подай. Позови. Разорвем все в клочки. Прочь, прочь изменников! Все сметем. Нет терпения. Всю власть в наши руки! Долой соглашателей!

Мы... Революция!..

Снова Гаврилов:

— Ура!..

— Все, все к порядку! Совет зовет нас на помощь. Берет в свои руки всю власть. К оружию! Дежурные роты едут на помощь Советам.

— Все ли согласны?

— Все, все, все!

— Голосую...

Море рук.

Счастливые.

На плацу в новеньких шинелях под винтовкою роты... Впереди два орудия... Знамя...

— Вся власть Советам!..

— Клянемся!

— Едем, едем!

Г рилов ведет...
Стоим на путях запасных в Петрограде...
Ждем... за Финляндским вокзалом... У склада...
— Что Смольный?
Только голос подай... Позови.
— Ждем событий...
— Свершилось...
— Да здравствует Ленин!
— Да здравствует великая Октябрьская революция!..
— Да здравствует власть Советов!

Н. Кашкаров.

КИЕВСКИЙ АРСЕНАЛ В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ.

Никогда не исчезнут из памяти рабочих Киевского арсенала священные дни Октября.

23 ноября 1917 года состоялось постановление Губернского Совета рабочих депутатов, заседавшего под председательством тов. Андрея Иванова, о передаче всей власти Советам и о разгоне Центральной рады. Приказ рабочим был дан. Боевые рабочие дружины к этому времени были обезоружены гайдамацкими полками, а арсенал был занят радовским полком, именовавшим себя „куренем смерти". Рабочие учли, что им, совершенно безоружным, трудно будет бороться с вооруженными до зубов войсками Центральной рады. Рабочие отправляют делегатов в Печерский райком партии большевиков с требованием достать для них оружие.

Райком, утром 24 ноября, организует Революционный комитет. Здесь же на заседании райкома был намечен план выступления. Мне, как члену Ревкома, было поручено в тот же день, не позже чем к 3-м часам, достать оружие для рабочих арсенала. Несмотря на все преграды, учиненные гайдамаками, охранявшими арсенал, нам удалось при помощи 3-го автопарка к 12 часам дня привезти в арсенал 6 грузовых автомобилей с патронами и винтовками. Под видом орудийных и пулеметных частей в то же время из артиллерийского склада привезено до 24 вагонов со снарядами и винтовками. К 4-м часам вечера 4000 рабочих было вооружено и разбито по районам. В 6 часов вечера мы получаем боевой приказ обезоружить гайдамаков, как находящихся внутри, так и вокруг арсенала, и самый арсенал занять. Приказ был выполнен точно. Арсенал оказался под охраной рабочих. Дальше нужно

было с'агитировать солдат двух полков, стоявших рядом с арсеналом: саперного и понтонного, чтобы заручиться их поддержрой. Ревком посылает в эти полки своих делегатов. Солдаты не заставляют себя долго ждать. Под гром возгласов: „Да здравствует вся власть Советам!“ они присоединяются к нам. В эту ночь весь Печерск, со всеми своими орудийными складами, перешел в наши руки. К тому же времени демиевские рабочие заняли Шулявку, железнодорожники — товарный вокзал, подольские рабочие — Подол и Крещатик.

К утру весь Киев, за исключением Липок, где засела Центральная рада, находится в руках рабочих. Засевшая в Липках Центральная рада ожидала подкрепления со стороны Дарницы, куда она отправила все свои силы навстречу идущей на Киев 6-й армии Муравьева.

Ночью—под 26 ноября—Центральная рада получила подкрепление, численностью до четырех полков, и повела наступление на Крещатик, с целью отрезать все районы от Печерска, который являлся самой крупной боевой единицей, в то же время снабжая оружием и патронами все остальные районы. К утру Крещатик был занят Радой.

Часть гайдамаков двинулась на Подол, а часть закрепилась на Александровской улице, с целью изолировать Печерский район от остальных районов. Связь Печерска с районами была прервана. Наши попытки связаться с Подолом стоили нам колоссальных жертв.

Сашу Горвица — одного из активных работников — узнали в разведке гайдамаки. Они изрубили его на части.

Арсенал, чувствуя, что ему придется бороться одному с войсками Рады ибо все почти районы разбиты, стал запасаться снарядами и патронами, совершенно забывая в то же время о продовольствии, которого было не больше, как на сутки. Только одной рыбы было много.

27 ноября, утром, разведка доносит, что на Подоле происходит резня. Гайдамаки беспощадно рубят не только рабочих, но и мирных граждан — евреев. Мостовые Подола залиты кровью и завалены трупами. Днепр возле пристани стал багровым от крови. На Демиевке и Шулявке гайдамаки разбили рабочих. Очередь за нами.

Рабочие не дрогнули, а наоборот, вооружились железной решимостью бороться до конца, т. е. до последнего снаряда и патрона. Прибывает приказ Ревкома выкатить из сборной

мастерской арсенала пятнадцать тяжелых орудий и обстрелять Липки с заседавшей в них Центральной радой. Через час арсенал превратился в клокочущий вулкан. Орудия грохотали. Земля и стены дрожали от рева орудий. Рада в панике бежала на Крещатик, откуда ее пехота и артиллерия двинулась к Печерскому району. Вечером 27 ноября начался бой на Александровской улице; гайдамаки пробивались по направлению к арсеналу. Бой уже шел у казарм понтонного полка. К утру понтоновцы сдались, чем дали возможность гайдамакам обойти Московскую улицу, т. е. арсенал, и пробраться к Лавре, по пути овладев артиллерийскими складами и взяв 3-й автопарк, а за ним и последнюю опору арсенала — саперный полк.

28 ноября днем из казарм недавно наших полков сыпали в нас из бомбометов и пулеметов через стенку, которая отделяла нас от казарм. С Александровской улицы били в упор в стены арсенала из трехдюймовых орудий. Арсенал от ударов снарядов и бомбометов стонал и вздрагивал своими могучими стенами толщиною в два аршина.

Канонада орудий с обеих сторон не смолкала до утра 30 ноября. В ночь под 30 ноября арсенал был охвачен пожаром: зажигательные снаряды, пущенные радовцами, зажгли деревянные здания и разбили два бака с нефтью. Удары снарядов, грохот орудий и треск пулеметов слились с воплями и стонами раненых рабочих. Арсенал пылал, грохотал. Казалось, что вот-вот он рухнет вместе со своими тремя тысячами пятьюстами защитниками-рабочими в пропасть. Это была жуткая, незабываемая ночь.

К утру канонада умолкла. При необыкновенной тишине всходит заря, обливая розовым светом стены арсенала и лежащих убитых и раненых рабочих. Многие рабочие вздрогнули при виде этой кровавой картины. Ревком, заметив упадок революционного духа у рабочих, созывает собрание в кузницу. Он призывает рабочих продержаться еще несколько дней до прихода армии Муравьева, которая находилась тогда в 60 верстах от Киева.

Рабочие бились уже без отдыха и смены около 6 дней. Они устали и были голодны. Однако, они постановили лучше умереть в стенах арсенала, нежели сдать его холопам Центральной рады. В это время агенты Центральной рады, находившиеся в стенах арсенала, тайно фотографировали находившихся в арсенале рабочих и членов Ревкома и давали радовцам разведывательные сводки из арсенала. Собрание не успело разойтись, как в окна кузницы градом посыпались пули из пулеметов, и стены задро-

жали от беглого по ним огня из орудий. Гайдамаки повели наступление на арсенал. Рабочие в панике бегут к выходу, с целью не впустить в арсенал гайдамаков. У входов с наружной стороны уже стояли автоброни Центральной рады. Один из автоброневиков врезался в ворота и проскочил во двор арсенала. Но метким ударом бомбы один из защитников арсенала т. Фридман подбил автоброню. Она осталась на месте с испорченной машиной. Мы ее сейчас же использовали. Войска Рады, учтя тяжелое положение рабочих в арсенале, у которых было не больше 50-ти снарядов и несколько десятков тысяч патронов, и отсутствовало, помимо селедок и воды, продовольствие, открыли самый сильный огонь со всех сторон по арсеналу. А арсенал молчал.

Гайдамаки подошли к воротам. Часть их уже очутилась на стенах, готовая соскочить в арсенал. Треск наших пулеметов заставил гайдамаков вернуться обратно.

Так борьба продолжалась до ночи 3-го декабря.

В арсенале патроны были уже расстреляны, обороняться было нечем. Несмотря на всю усталость, рабочие не смыкали глаз. Эта ночь была одной из тяжелых ночей в жизни рабочих арсенала, которые с пустыми винтовками молчаливо ждали смертного часа.

Ночью часть рабочих сумела уйти из арсенала по большой водосточной трубе на берег Днепра. Остальные рабочие мысленно прощались с детьми, женами и родными. Все стремились собраться как можно тесней в кучу, легче умирать вместе, чем в одиночку. Наступает утро. Всех пробирает дрожь. Каждый чувствует приближение палачей, которые сейчас разлучат его з жизнью, но никто не был в силах произнести страшного слова „сдаться“. Каждый чувствовал, что лучше умереть молча — без сопротивления, но не произносить недостойного революционера слова — „сдача на милость победителя“.

Далее страшное случилось. Арсенал был залит кровью и усеян тысячью трупов рабочих. Их мозги под ударами сабель ворвавшихся гайдамаков покрывали стены арсенала. По их трупам, под звуки музыки „Ще не вмерла Україна“, шествовали оголтелые радовцы.

Но арсенал не произнес позорного слова сдачи. Этого не дождались гайдамаки и от тех рабочих, которые были расстреляны у стен арсенала. Они умирали с возгласами: „За нашу кровь вам отомстят наши дети. Знамя Советов водрузят над миром оставшиеся в живых коммунары!“

В эту же ночь оставшиеся в живых рабочие пробрались в Дарницу, которая была занята армией Муравьева, и с передовым отрядом двинулись на Киев. К утру нами была уже занята Печерская Лавра и гаупгвахта, в которой сидело 400 человек рабочих, взятых из арсенала.

Не было в жизни большей радости, нежели та, которую испытали арестованные, приговоренные к расстрелу, когда они услышали вокруг гауптвахты родные голоса и крики „Да здравствует власть Советов!". Освобожденные рабочие взяли винтовки и с неописуемым энтузиазмом двинулись на окраины. В 11 часов утра предместья Киева вновь были в руках рабочих. Еще теплые трупы расстрелянных рабочих были свидетелями того, что их предсмертные слова оправдались, что не только над их крепостью — над красным арсеналом, — но и над Киевом развеваются знамена Советов.

Пусть мои воспоминания послужат памяти мучеников арсенала, погибших за власть Советов.

П. Горичев.

ПОД ТРИПОЛЬЕМ.

Просто, до боли просто,
слушай, товарищ и брат мой:
было всего девяносто,
шесть их вернулось обратно...
М. Голодный.

Уже было темно, когда на берегу показались какие-то люди... Раздался провокационный крик: — Это наши.

Мы подошли ближе, видим: бандиты, кругом пулеметы...

— Сдавайтесь, а то всех перестреляем. — Кидаем документы в воду. Обратно нельзя, да и свои красноармейцы не пустят. Один за другим выходим из воды на берег. Бандиты всех нас окружили и, безжалостно избивая прикладами и нагайками, повели в село.

Мы шли по разрушенному Триполью. Уже была ночь, и луна освещала догорающие развалины крестьянских хат. Всюду валялись трупы, окровавленные, кругом стонали раненые и умирающие; впереди, сзади и по бокам нас — пленников — ходили звери в человеческих образах, жаждущие крови и еще ненасытившиеся ею. Брань, толчки, удары, пинки, стоны, выстрелы, прекрасная летняя ночь — все смешалось в одно... — Смерть творила

свою страшную работу. Нас вели на новые страдания и муки эти серые, опьяненные от крови, люди... Было жутко, мы шли...

В центре села на площади помещается базар, там имеется несколько больших каменных лавок и складов. Нас туда привели и вбили как сельдей в бочку. Началась первая ночь в „гостях" у зеленовцев. Поминутно открывалась дверь, и к нам группами все вталкивали окровавленных пленников. Прошло немного времени, как в помещении уже нельзя было не только лежать или сидеть, но даже негде было стоять. Проклятия здоровых, стоны раненых, крики умирающих, — так было всю ночь.

Под утро в селе началась какая-то тревога: зазвонили в набат, шел несмолкаемый гул орудий.

Это со стороны Днепра наступали наши броне-пароходы, которые под'ехали к самому Триполью и немилосердно стреляли по бандитам. Раскрылись окна и двери, и на нас выглянули дула пулеметов и винтовок. Наверное, положение зеленовцев ухудшилось, и они думали перед отступлением всех сначала перестрелять. Это продолжалось недолго, но нам оно должно было казаться целой вечностью. Постепенно стало все стихать, прекратился звон набата и стала удаляться стрельба. Гроза прошла. Наши отступили. Трудно пришлось пережить ночь.

На утро нас всех вывели на площадь. Поставили в шеренгу, и раздалась роковая команда: „жиды, кацапы, коммунисты, пять шагов вперед!". Мы почти все вышли, — те же, которые оставались на месте, были зарублены зеленовцами.

Всех нас, в числе свыше ста, где около половины было комсомольцев, отвели в отдельное помещение. Нам готовилась страшная участь.

Мы это знали и духом не падали. Я, чудом вырвавшийся в дальнейшем из когтей смерти, горжусь тем, что могу рассказать, как умирали наши юные коммунары. Тут рассказывали о геройской гибели нашего вождя Миши Ратманского, окруженного целой толпой озверевших бандитов, и лишь после того, как он выпустил все свои патроны, последним он застрелил самого себя.

Вот лежит тов. Бурштейн. Пуля у него прошла чуть выше над сердцем. Он еще жив. Лицо его выражает спокойствие; заметна улыбка на исхудавшем лице.

Вот М. Полонский. Пуля пробила ему руку у самого локтя, рука неимоверно опухла, вся синяя; он долго крепился и заплакал. Не из страха, нет; глядя на его измученное лицо, чувствуешь что ему нечеловечески больно.

Вот встает бородатый, видно мобилизованный. „Товарищи!“ говорит он: „давайте молиться богу“. В ответ мы пробовали только смеяться: „Когда шли сюда, не верили в бога, и теперь в него не верим“.

К нам ввели командира полка и нашего военкома. Вот они обращаются к караульному: „Поведите нас к Зеленому, я ему укажу, где зарыты замки от орудий“, говорит командир. „Я ему Укажу, где спрятано знамя и дам список коммунистов“, добавляет военком.

Тогда встает т. Шейнин и говорит: „Мерзавцы, вы даже не можете показать нам, молодым, пример, мы вам его покажем“. Предателей увели, среди нас не было ни одного изменника, ни одного труса, никто не жалел, хотя мы все знали, что пощады нам не будет, а только ждали, чтобы этот конец поскорее наступил.

Как прошла ночь, не знаю, потому, что я, утомленный, не спавший несколько ночей, заснул крепким сном. Проснувшись на утро, я узнал, что человек 30 за ночь куда-то увели. Уводили группами. Куда...

На утро оставшихся увели в деревушку Халупы, находящуюся в 4-х верстах от Триполья, и посадили в просторную избу, где помещалось „волостное правление“.

Пришел к нам какой-то бандит, видно эс-эр, и в течение часа читал нам лекцию о вреде коммуны. Мы знали, что нас должны расстрелять, и нам, конечно, было не до его напутственной лекции.

Среди оставшихся были: Шейнин, Л. Полонский, Дымерец и другие комсомольцы.

Под вечер открылась дверь, и раздалась команда: „выходи!“ Выпустили человек восемь и закрыли дверь. Их куда-то увели.

Прошло немного времени. Это повторилось. Тогда мы скорее почувствовали, чем поняли, что их увели навсегда.

Постепенно начали уводить еще. Ожидание становилось мучительным. Хотелось конца. Я стал у самых дверей и, когда под грозным роковым окриком открыли дверь, я первый вышел. За мной выпустили еще пять товарищей. Нас поставили вдоль стены и стали связывать попарно рука к руке. Рядом со мной стоял Володя Дымерец. Я знал, что нас ведут к Днепру. Вода — это моя стихия; как прекрасный пловец, я был уверен, что она меня спасет. Меня и Дымерца связывал старый крестьянин с рыжей бородой. Не знаю почему, но я чуть не с плачем просил его, чтобы он связывал наши руки не крепко, говоря, что они у меня болят.

Нас было три пары, связанные рука к руке. В первой паре шел Лева Полонский, связанный с каким-то мадьяром. Во второй — неизвестных мне два красноармейца, а в третьей паре — я и В. Дымерец. На каждую пару шел один бандит-зеленовец. Мы шли молча, да и не о чем было говорить.

Темнело. При повороте перед нами открылся Днепр. „Ну, коммунарики, теперь вы поплывете" — прошипел шедший сзади нас зеленовец. Предчувствие сменилось уверенностью. Я ни о чем не думал. Подошли к берегу. Я и Дымерец были еще в верхней одежде, и бандит приказал нам раздеться В то время, как я одной рукой, дрожащей от волнения, снимал брюки, я видел, как другие два зеленовца прикладами бросали в воду остальных наших товарищей. И, когда те барахтались в воде, зеленовцы по ним стреляли.

Раздевшись, мы, не ожидая приказания нашего бандита, бросились бежать в воду, развязывая по дороге телефонную проволоку, связывавшую нас рука к руке.

Мы оба умели хорошо плавать. А в воде мы уже очутились развязанными. Зеленовец, не спеша, подошел к берегу, приложил к плечу винтовку и начал по нас стрелять. У меня появились нечеловеческие силы. Я уже больше нырял, чем плыл. „Фастовский, я ранен", — крикнул мне, плывший рядом со мной, Дымерец, у которого из-за уха текла кровь. Не успел он это проговорить, как другая пуля пробила ему затылок. Я только успел заметить фонтан крови и почувствовал, что мне в лицо ударили куски его окровавленного мозга. Он пошел ко дну.

Из всех шести на поверхности плавал только я один. Все были перестреляны.

Зеленовцы стреляли уже только по мне, но было уже темно: на прицел они взять не могли, а течение успело меня далеко унести...

Пули свистели кругом меня; в момент при нырянии, когда голова была под водой, а спина над ней, — шальная пуля отхватила кусок мяса у меня на спине... Я только почувствовал, что меня там что-то обожгло.

Я долго плыл... Передо мною была одна цель: противоположный берег Днепра. Зеленовцы уже перестали стрелять, потеряв меня из виду вследствие темноты, или же считая меня утонувшим. Было трудно плыть, а я еще в нижнем белье. Силы мне уже хотели изменить, я уже отчаявался доплыть до берега. Наконец, я почувствовал под ногами почву.

Измученный, почти без сил, — добрался до берега. Я бы долго лежал на песке, но ночная сырость, увеличивающееся ощущение холода от мокрого белья, а тут еще начавший накрапывать дождь подняли меня. Это была страшная ночь...

Я бежал, размахивая руками, чтобы немного отогреться. Взлезал на деревья, чтобы оттуда увидеть свет из какой-нибудь деревни, но всюду было темно... Дождь лил уже как из ведра, впереди необ'ятная даль среди кустарников и травы, влажных от дождя... И так всю ночь... Как я ее провел, не помню. Утро вернуло меня к нормальному состоянию. Наткнувшись на какую то дорожку, я по ней пошел вперед.

Я шел наверно долго, пока не наткнулся на какую-то деревню. Я зашел в первую попавшуюся хату. При виде меня в одном белье, которое сзади еще было в крови, крестьянка, находившаяся в хате, испугалась. Я попросил что-нибудь поесть. Она дала и попросила меня сейчас же уйти. Из двух вопросов, на которые она неохотно ответила, я узнал, что нахожусь в Полтавской губернии. Она мне рассказала, какой дорогой итти на Борисполь, где находились красные войска, при чем предупредила, что кругом бандиты, и итти опасно.

Захватив с собою полбуханки хлеба, я пошел через деревню по указанному мне пути. Верстах в двух от деревни мне навстречу попались две крестьянские телеги с мужиками, которые, увидев меня, остановились. Здоровый мужичище, пристально оглядев меня, проговорил: „Ага, комуніст, з Триполья втік, сідай з нами, поїдимо в штаб". Он был такой здоровый, а я маленький, слабый. Я сел... Лошадь тронулась, и я, недолго думая, соскочил и бросился бежать во все лопатки. Он оставил лошадь, побежал за мной, но нагнать меня не мог. Я бежал долго и, наконец, изнемогая от усталости, сел отдохнуть.

Как из-под земли, откуда-то появились два молодых хлопца. У одного была здоровая палка. После недолгих расспросов, они меня повели. „Куда?" спрашиваю, и в ответ получаю порядочный удар. На повороте дороги стояла телега, и какой-то мужик, якобы, возился у колеса. Мои провожатые поклонились ему и начали что-то говорить, показывая на меня. Мгновенно простодушное лицо мужика превратилось в хищное, бандитское. Он вынул из-под пояса спрятанный браунинг, который, вероятно, стащил у убитого коммуниста, и с наслаждением прицелился в меня. „Эх", проскрежетал он: „жалко, что у меня всего две пули, а то подстрелил бы я тебя". Я понял, что браунинг был пустой, и что

у него ни одной пули не было. Они еще что-то говорили, и я услышал, что „штаб“ куда-то переехал.

Мужики долго совещались, что сделать со мной и, наконец, приняли какое-то решение. Мужик с повозочкой остался на месте, а те двое повели меня дальше. Мы свернули к реке. Там была какая-то рыбачья хижина.

Один зашел туда, и через короткий промежуток времени вышел, держа в руках топор и какую-то старую заржавленную саблю. Понимал ли я, в чем дело, или нет, — не помню. Я просто потерял способность понимать и мыслить. Я был в каком-то оцепенении. Я шел впереди, а сзади шли они двое. Один держал топор, другой саблю.

Мы шли по невысокому берегу, а внизу река.

Вдруг я почувствовал страшный удар по голове и сейчас же саблей по лицу. Я упал, но инстинктивно почувствовал еще раз поднятый топор и, собрав последние силы, скатился в воду...

Вода — это лучший бальзам и исцелитель. Она остановила кровь из раны. Речка была неширокая, и я, переплыв на ту сторону, пополз в кусты. Тут кровь начала течь, как из ведра. Когда те двое ушли, считая, что я все равно истеку кровью, я пополз обратно к воде, промыл рану, разорвал рубаху, которую почти всю всунул в дыру на голове. Отдохнувши, я пошел.

Дороги я не знал, но приблизительно направился в сторону Днепра, откуда я легче мог бы притти в Киев. Так я и скитался два дня. Когда я видел деревню, я уже туда не ходил, а шел в обход. Вдали уже виднелся Днепр, и далеко за горизонтом я увидел дым парохода.

Я бросился бегом к берегу. Пароход приближался. Я увидел на нем красный флаг. Это был бронированный пароход № 6. Я взлез на высокий камень, крича и размахивая руками, чтобы меня заметили.

На пароходе меня увидели. Он подплыл к берегу. С парохода спустили длинную доску. Я по ней, шатаясь, взобрался на палубу, и тут, после стольких мучений, страданий, потери крови, силы меня оставили, и я упал на пол без чувств.

В таком состоянии я был больше суток. За это время мне вычистили засорившуюся рану и сделали перевязку.

Через день я очутился в гавани Киева. Когда мы приехали, была ночь, и я спал. Проснувшись под утро, когда еще все спали, я вышел на берег. Я имел ужасный вид: в нижнем белье, весь в крови, с перебинтованной головой. Домой страшно было итти.

Недалеко около гавани, на Спасской ул. № 12, помещался тогда наш Подольский комсомол. Отсюда мы пошли на Триполье, и туда я пришел...

Было еще рано, никого там не было. Я вошел в парадную дверь, сел и стал смотреть в окно. Вдруг сердце забилось радостью: шел член комсомола „маленький т. Коваленко". Я его позвал. Увидев меня, он обомлел: все считали меня погибшим.

„Беги ко мне домой, принеси что-нибудь одеть", попросил я его.

Он бегом пустился исполнять мою просьбу...

В. Фастовский.

ГОЛОСА.

Взвивайся выше,
синий пламень топок.
Звучи сильнее,
наш октябрьский зов:
над шатким миром
вырастает ропот
миллионов
возмужалых голосов.

Они идут,
идут походным шагом,
ломая строй
сомкнувшихся врагов,
по мостовым,
по рекам,
по оврагам,
по улицам пяти материков.

Они горят,
как факела восстаний,
сиренами звучат
во мгле морей
хозяева огромных расстояний,
сигнальщики
грядущих Октябрей!

В соленых штормах
и гнилых туманах
они несут
борьбы великий груз.
Я слышу,
как в низинах Индостана
клянет поработителей
индус.

И с ним,
перекликаясь издалека,
гренландец,
синеглазый исполин,
приветствует товарища с Востока
среди немых белоголовых льдин.

Взвивайся выше,
синий пламень топок.
Звучи сильнее,
наш ответный зов.
Над шатким миром
вырастает ропот
миллионов
возмужалых голосов.

Мих. Рудерман.

НА КУБАНИ.

Нестерпимо ослепительно глядит крохотное солнце на весь развернувшийся под ним край. Марево трепещет знойным трепетанием.

А люди говорят:

— Та нема ж найкращого, як наш край.

Слепящий блеск играет в плоскодонном море. Чуть приметно набегают стекловидные зеленые морщины, лениво моют прибрежные пески. Рыба кишмя кишит.

Рядом другое море — бездонно голубое, и до дна, до самого дна, отражается опрокинутая синева. Бесчисленно дробится нестерпимое сверкание — больно смотреть.

Далеко по голубому дымят пароходы, черно протянув тающие хвосты, — за хлебом идут, гроши везут.

А от моря густо синей громадой громоздятся горы: верхи завалены первозданными снегами; залегли в них глубокие голубые морщины.

В бесконечных горных лесах, в ущельях, в низинах и долинах, на плоскогорьях и по хребтам — всякой птицы, всякого зверя, даже такого, которого уже нигде не сыщешь во всем свете — зубр.

В утробе диких громад, размытых, загроможденных, навороченных — и медь, и серебро, и цинк, и свинец, и ртуть, и графит, и цемент, и чего-чего только нет, а нефть, как черная кровь, сочится по всем трещинам, и в ручьях, в реках тонко играют радугой расплывающиеся маслянистые пленки и пахнут керосином. Найкращий край...

А от гор, а от морей потянулись степи, потянулись степи и потеряли границы и пределы.

„Та нема ж їм кінця, і краю нема!..“

Безгранично лоснится пшеница, зеленеют покосы, либо без конца шуршат камыши над болотами.

Белыми пятнами белеют станицы, хутора, села в неоглядной густоте садов, и остро вознеслись над ними в горячее небо пирамидальные тополя, а на знойно трепещущих курганах растопырили крылья серые ветряки.

По степи сереют отары неподвижно уткнувшихся друг в друга овец; густо колышется над ними с гудением миллионно-кишащее царство оводов, мошкары, комаров.

Лениво по колено отражается в зеркале степных вод красный скот. Тянутся к балкам, мотая головами, лошадиные косяки.

А надо всем — изнеможенно-звенящий, не умирающий звон.

На бегущих по дороге в запряжке лошадях соломенные шляпы, иначе падают от смертельно пристального взгляда крохотного солнца.

И люди, неосторожно обнажившие голову, пораженные, с внезапно побагровевшим лицом, падают на обжигающую пыль дороги, стеклеют глаза.

Тонко звенящий, всюду трепещущий зной.

Когда запряженный тремя, четырьмя парами круторогих быков тяжелый плуг режет в бескрайной степи борозду, отбеленный лемех отваливает такую жирную маслянистую землю, что не земля, а намазал бы как черное масло да ел. И сколько вглубь ни забирай тяжелым плугом, как ни взрывай отбеленным лемехом, все равно до мертвой глины не доберешься, все равно сияющая сталь отворачивает нетронутые, девственные, единственные в мире пласты — чернозем — местами до сажени.

И какая же сила, какая же нечеловеческая родящая сила. Заткнет в землю, балуясь, мальчишка валяющуюся жердь, глядь, побеги выбросила, глядь, уже дерево шатром ветки раскинуло.

А виноград, арбузы, дыни, груши, абрикосы, помидоры, баклажаны, да разве перечесть!

И все громадное, невиданное, противоестественное.

Заклубятся облака в горах, поползут над степями, польют дожди, напьется жадная земля, а потом начинает работать безумное солнце, и засыпается страна невиданным урожаем.

— Та нема ж краю найкращого, як цей край.

Кто ж хозяева этого чудесного края?

Кубанские казаки — хозяева этого чудесного края. И есть у них работники, народ — работник, — и столько же его, сколько самих казаков; и также поют украинские песни, и говорят родным украинским языком.

Братья родные два народа, — и те, и другие пришли с милой Украины.

Не пришли казаки, пригнала их царица Катька полтораста лет назад; разрушила вольную запорожскую Сечь и пригнала сюда; пожаловала им этот дикий тогда, страшный край. От ее пожалования плакали запорожцы кровавыми слезами, тоскуя по Украине.

Повылезли из болот, из камышей скрюченные пожелтевшие лихорадки, впились в казаков, не щадили ни старого, ни малого, много выпили народу.

В острые кинжалы да в меткие пули приняли невольных пришельцев хищные черкесы, — кровавыми слезами плакали запорожские казаки, поминали родную Сечь, и день и ночь бились с желтыми лихорадками, с черкесами, с дикой землей — нечем поднять ее вековых, нетронутых человеком залежей.

А теперь... теперь:

— Та нема ж краю найкращого, як наш край.

А теперь все зарятся на этот край, как чаша, переполненный невиданными богатствами. Потянулись, гонимые нуждой, с Харьковской губернии, с Полтавской, с Екатеринославской, с Киевщины, потянулась голь и беднота со скарбом, с детьми, расселились по станицам и щелкают, как голодные волки, зубами на чудесную землю.

— На-кось! с'ешь фигу, — землю захотели.

И стали батраками переселенцы у казаков, дали им имя: „иногородние". Всячески теснили их казаки, не пускали их детей в казацкие народные школы, драли с них по две шкуры за каждую пядь земли под их хатами, садами, за аренду земли взваливали на них все станичные расходы, и с глубоким презрением называли их „бісові душі", „чига гостропуза", „хамсел" (т. е. хамом сел на казацкую землю).

А иногородние, упорные, как железо, без своей земли поневоле бросающиеся на всякие ремесла, на промышленную деятельность, изворотливые, тянущиеся к знанию, к культуре, к школе, платят казакам тою же монетою: „куркуль" (кулак), „каклук", „пугач". Так говорит взаимная ненависть и презрение, а царское правительство, генералы, офицеры, помещики радостно раздувают эту звериную вражду.

Прекрасный край, дымящийся, как горькой желчью, едкой злобой, ненавистью и презрением.

Но не все казаки, не все иногородние так относятся друг к другу. Выбившиеся из нищеты, выбившиеся из нужды сметкой, упорством, железным трудом иногородние — в почете у богатых казаков. Держат они мельницы на откупу, много держат казацкой земли в аренде, держат батраков из своей же иногородней бедноты, и лежат у них в банках деньги, ведут торговлю хлебом. Уважают их казаки, у которых дома под железными крышами, и амбары ломятся от хлеба — ворон ворону глаз не выклюет...

* * *

Отчего это с гиком и посвистом скачут по улицам казаки в черкесках, заломив папахи, скачут взад и вперед, раскидывая

лошадиными копытами глубокую мартовскую грязь, и блестят выстрелы в весеннее синее небо? Праздник, что ли?

И колокола, надрываясь, мечут веселый синий звон по станицам, по хуторам, по селам.

А люди в праздничной одежде — и казаки, и иногородние, и дивчата, и подростки, и седые старики, и старухи с завалившимся ртом, — все, все на весенних праздничных улицах.

Уж не пасха ли? Да нет же, нет, не поповский праздник! Человечий праздник, первый праздник за века. За века, сколько земля стоит, первый праздник:

— Долой войну!

Казаки обнимают друг друга, обнимают иногородних, иногородние — казаков. Уже нет казаков, нет иногородних, есть только г р а ж д а н е. Нет „куркулей", нет „бісових душ", есть граждане!

— Долой войну!..

В феврале согнали царя, в октябре что-то произошло в далекой России; никто толком не знал, что произошло, одно только врезалось в сердце:

— Долой войну!

Врезалось и было безумно понятно.

И повалили полки за полками с турецкого фронта. Повалила казацкая конница, шли плотно батальоны пластунов-кубанцев, шли иногородние пехотные полки, погромыхивала конная артиллерия, и все это непрерывающимся потоком к себе, на Кубань, в родные станицы со всем оружием, с припасами, с военным снаряжением, с обозами.

А на Кубани уж советская власть. А на Кубань уж налетели рабочие из городов, матросы с потопленных кораблей, и от них все вдруг стало ясно, отчетливо: помещики, буржуи, атаманы, царское разжигание ненависти между казаками и иногородними, между всеми народами Кавказа.

И пошли лететь головы с офицеров, и полезли они в мешки и в воду.

А пахать надо, а сеять надо, а солнце, чудесное южное солнце разгоралось на урожай все больше и больше.

— Ну, як же нам пахати? треба землю делить, а то время упустишь, — сказали иногородние казаки.

— Землю вам?! — сказали казаки и потемнели.

Стала меркнуть радость революции.

— Землю вам, злыдни!..

И перестали бить своих офицеров, генералов, и поползли они изо всех щелей, и на тайных казацких сборищах стучали себе в грудь и говорили зажигательно:

— У большевиков постановлено отобрать у казаков всю землю и отдать иногородним, а казаков повернуть в батраки. Несогласных — выслать в Сибирь, а все имущество отбирать и передавать иногородним.

Потемнела Кубань, тайно низом полз загорающийся пожар по степям, по оврагам, по камышам, по задворкам станиц и хуторов.

— Та нема ж найкращого краю, як наш край!

И опять стали казаки — „куркулі“, „каклуки“, „пугачі“.

— Та нема ж найкращого краю, як наш край.

И опять стали иногородние — „бісові душі“, „хамсели“, „чига гостропуза“.

Заварилась каша веселая в марте восемнадцатого года, стали расхлебывать ее, до слез горячую, в августе, когда в этом крае еще знойно солнце, и видимо-невидимо ходят облака горячей пыли.

Не потечь Кубани вспять в гору, не воротить старого...

А. Серафимович.

МЕЖДУ БОЯМИ.

Мы об'ясняли крестьянам на-ходу, торопясь, нагоняя ушедших, в чем они ошибаются, что для них означает офицерская, барская власть Колчака, что власть Советов... Понимали, соглашались, но видно было, что толковали с ними на эти темы редко и мало, знать они путем ничего не знали и крутили разговор только около „покоя“.

Так не везде случалось — лишь по глухому захолустью, по таким дырам, как Скобелево. В больших селах — там обычно кололись резко на две половины непримиримых врагов: с приходом белых задирала голову одна половина, мстила, издевалась, преследовала, выдавала; с приходом красных торжество было на стороне других; и они тоже, разумеется, не щадили своих исконных врагов...

Части проходили деревни, одна за другой переправлялись через небольшой мост, рассыпались по лугу, выстраивались цепями.

Из Пилюгина открыли по лугу артиллерийский обстрел...

Но уже далеко на правый край отбежали первые цепи, за ними тонкой жидкой ленточкой выстраивались другие, кучки пропали, растаяли, верный прицел взять было крайне трудно; результаты обстрела были самые ничтожные.

Вошли с Чапаевым в избу, спрашиваем молока. Перепуганная стрельбой хилая, больная хозяюшка притащила крынку, положила краюху хлеба, ласково, любовно, заботливо помогала толпившимся тут же красноармейцам и их кормила, рассказывала, как страшно ей было, когда тут стреляли по деревне... Когда стали отдавать за молоко деньги — отказывается, не берет.

— Я, — говорит, — и так проживу, а вам, кто-е знает, сколько воевать придется.

Так и не взяла; деньги мы сунули ребятишкам, они жались около матери, цеплялись ей за подол, как звереныши, поглядывали блестящими глазенками на незнакомых людей с винтовками, револьверами, шашками и бомбами...

— Вы-то платите, — заметила хозяйка... — Хоть и не надо мне, а ладно... Сена ли, овса, за все отдают... А те — обглодали начисто, хоть бы тебе соломинку заплатили... И Ванюшку сына с лошадью погнали... Вернется ли — один бог знает...

В ее голосе, в манерах, не было подобострастия — говорила правду. Хоть не всегда, не везде расплачивались наши — не знала она того, — про „колчаков" в каждом селе, в каждой деревнюшке одно и то же: обдирают, не платят, растаскивают начисто...

Мы сидим в халупе, и видно из окна, как рвутся по лугу снаряды — в двух-трехстах саженях; здесь и там, одно за другим непрестанно появляются над землей маленькие облака густого черного дыма. И за каждым появлением такого облачка содрогается воздух, трясется земля, как бубенчики, заливаются стекла в окнах халуп. Неприятель бьет по цепям, но неудачно, наугад, без всяких результатов, — перелеты на многие десятки саженей... Мы задерживаемся, ждем свою артиллерию, чтобы с места в карьер пустить ее в дело. Выхожу из халупы, забрался на пригорок, лежу. Вдруг прибегает женщина; оглянулась по сторонам, вытащила что-то из-под фартука, сует:

— На-ка, на, скорее...

Посмотрел — яйцо и, не понимая в чем дело, полный недоуменья, смотрю на нее широкими глазами:

— Сколько заплатить?

— И, што ты родимый, — обиделась она. — Поди, заморился... Какие тут деньги, ешь-ка знай...

Она торопилась, видно было и по речи, и по движеньям — скажет и оглянется: заметят, дескать, деревенские, а белые придут — доложат, там беды не оберешься...

— Да што ты так-то? — спрашиваю.

— А братец с вами у меня... Родной... Заодно воюет... Тоже в Красной армии состоит... Говорили, белые-то заколотили вас, Самару будто взяли, верно ли?

— Нет, милая, неверно, — отвечаю. — Совсем неверно... Сама видишь, кто кого колотит.

— То-то вижу... Ну, будь живой касатик...

И она поспешно юркнула с косогора, прячась и оглядываясь, пропала среди изб... А я сидел со странным, радостным, особенным чувством. Смотрел на яйцо, чему-то улыбался и представлял себе образ этой милой простой женщины. „Есть у нас везде, — думалось мне, — даже в такой дыре, Скобелеве, свои люди... Хоть и не понимают, может, многого, а инстинктом чувствуют, кто куда идет... Вот она, женщина-то, посмотри: ждала... дождалась... рада... и теперь не знает, чем доказать свою радость... яйцо сунула“...

Женщина-крестьянка стояла у погреба и в упор смотрела на меня остановившимся, мутным, растерянным взглядом. В этом взгляде отразился ужас только-что пережитого страдания, в нем отразились недоумение и напряженный мучительный вопрос, ожидание новой, неминуемой, неотвратимой беды, словно она ожидала удара, хотела бы отвести его, но не могла. „Скоро ли?“ — спрашивал этот усталый взгляд, и, верно, не в первый раз и не только на меня смотрела она, такая измученная, и спрашивала „скоро ли“. Возле нее, около избы, приподняв крышку, выглядывало из погреба другое, столь же измученное, серое, полумертвое лицо женщины: под глазами повисли иссиня-багровые мешки, губы высохли, выбились волосы из-под тряпья, наверченного на голову. Вопросом и мольбой был полон скорбный взор.

— Белые здесь аль ушли? — спрашиваю их.

— Ушли, убежали, родной! — ответила та, что выглядывала из погреба... — Можно ли нам отсюда вылезать-то, родной. Стрелять будете еще?

— Нет, нет, не будем, вылезайте...

И одна за другой стали показываться из погреба женщины, — только они, мужиков не было. Выползали еще малые ребятишки; этих закутали одеялами, рогожами, мешками — знать думали, что мучной мешок спасет их от шрапнели... Вытащили за сухие длинные руки старика с серыми мокрыми глазами, с широкой белой бородой. У него на поясе болталась длинная веревка; надо быть, на ней спускали его в погреб.

Когда все выползли вереницей, один за другим, держась за плетень, оглядываясь робко по сторонам, заковыляли они к своим

халупам: большая, значительная картина, как двигались они тенями по плетню в гробовом, драматическом молчании, все еще полные испуга, замученные своим страхом, закоченевшие в сыром, холодном сарае!

На углу толпится кучка крестьян — они тоже еще не понимают, не знают, окончен ли бой, оставаться ли им здесь, или попрятаться снова по избам, под сараи, по баням...

— Здравствуйте, товарищ! — крикнул им.

— Здорово... Здравствуй товарищ! — дружно ответили они, — дождались, слава богу...

Не знаю я, верить ли этим приветственным словом. Может быть, и белых они встречали так же, чтобы не трогали — из робости, от испуга. Но посмотрел на лица — и вижу настоящую, неподдельную радость, такую подлинную радость, которую выдумать нельзя, особенно нельзя отразить ее на немудрящем крестьянском лице. И самому стало радостно.

Мы тронулись на середину деревни; там новая толпа, но видно, что уж это не крестьяне.

— Вы што, ребята, пленные, што ли?

— Так точно, пленные.

— Мобилизованы, што ли?

— Так точно, мобилизованы.

— Откуда?

— Акмолинской области.

— Сколько вас тут?

— Да вот человек тридцать, а то попрятались по сараям; да вон, из огородов бегут.

— Так, значит, остались?

— Так точно, сами.

— А оружие где?

— Сложили, вон там, у забора.

Под'ехал, посмотрел: куча винтовок. Сейчас же к оружию, к пленным наставили своих ребят, приказали охранять, пока не переправим в штаб дивизии. Пленные выглядели жалко; одеты были сквернейше: кто в шубенку какую-то старую, кто в армяк, кто в дырявые пальтишки; обуты тоже скверно: иные в валенках, в лаптях, и все это изодрано до последней степени... Они нисколько не были похожи на войско — просто толпа оборванцев. Являлось недоумение: отчего бы это они так плохо одеты, когда колчаковские войска, наоборот, заграничным добром снабжаются изрядно?

— Что это, — спрашиваю, — ребята, больно плохо одел вас Колчак-то, неужто всех так?

— Нет, это нас только.

— За што так?

— А все не шли... Убегло наших много — кто обратно к себе, а кто в Красную армию...

— Значит, не добром к Колчаку шли?

— А на что он нам... Своих-то одел с позументами, а нас, смотрите вот, — и они показывали свои дыры и лохмотья...— Да все вперед гнал, под самые выстрелы: такую, говорит, сволочь и жалеть нечего...

— А вот вы бежали бы давно...

— Так нельзя бежать-то, сзади нас он своих поставил,—эти не воевали, а только смотрели, чгобы не убегнуть...

— Ну, а теперь как же удалось?

— Да, вон, все в огородах... Между грядами... Полегли и ждали. А потом вышли.

— Куда же теперь: служить в Красной армии у нас станете?

— Так точно, затем и остались, чтобы в Красной армии, куда же нам? Того и хотим.

Разговор на этом окончили.

* * *

Ожило село. Все халупы позаняли красноармейцы. Бабы толпились у колодцев, бежали с водой, торопились ставить самовары, угощали пришедших товарищей. Уж теперь не дичились они, не робели, а молодежь так даже и совсем раззадорилась: девушки деревенские осваиваются с красноармейцами так быстро, что только диву даешься.

Посмотри-ка и теперь: на горе залегла наша цепь; где-то тут, в лесу, совсем неподалеку, отступают неприятельские войска; не рассеялся еще в воздухе пороховой дым, а в раскрытые окна халупы уж манит гармоника, и на зов ее собираются охотно, идут и бойцы, идут и девушки... Тут скоро пойдет плясовая—без этого не обойтись...

Потому еще здесь встречают так радостно красные полки, что не только грабежей или насилий—не было ни единого случая даже самых мелких оскорблений и перебранки: именно, как товарищи пришли к товарищам, полные уважения, взаимной духовной близости.

Огромному большинству не досталось места в избушке; пришлось раскинуться бивуаком на площади у обозов...

Отыскали получше, попросторней халупу; сюда поместили бригадный штаб и оперативный отдел дивизии—он ездит с нами неразлучно все эти последние дни. Протянули кабель, заработал аппарат, заголосили телефоны. Скоро тут появился самоварчик: за столом были командиры и политические работники. Один другому торопился рассказать, что сделал, что видел и перечувствовал в бою. Перебивали, не договаривали, хватались то за одно, то за другое, шумели, спешили один другого перекричать, заставить себя слушать, но каждый не слушать — рассказывать хотел: так он сам был полон неостывшими еще переживаниями. Усталости—как не бывало... Так за разговорами, за шумом прошло с полчаса.

...Вдруг громовой удар, за ним другой, третий... Мы переглянулись, повыскакивали в недоумении из-за стола и прямо к двери: может быть, бомбу кто-нибудь обронил?

Но тут рядом три разрыва... Если артиллерия?.. Но откуда же ей быть? В это время мелькнул ружейный выстрел, за ним еще, еще, еще—поднялась беспорядочная пальба. Красноармейцы, сидевшие кучками возле фургонов, уже повскакали и кидались в разные стороны. Площадь живо опустела. У себя над головой мы увидели неприятельский аэроплан, ровно и тихо, словно серебряный лебедь, уплывавший в голубую даль. Разрывы случились в огромнейшем соседнем саду, где не было ни одного красноармейца... Скоро все успокоилось и приняло свой недавний вид... Уже дрожали сумерки, а за ними легко спустилась покойная звездная, весенняя ночь. Тихо на селе. Ничто не напоминает о том, что только недавно закончился здесь бой, что всюду рыскала и вырывала жертвы беспощадная, жадная смерть. А завтра, чуть подымется солнце, — мы снова в поход. И снова, как мотыльки у огня, будем кружиться между жизнью и смертью...

Д. Фурманов.

ПАРТИЗАНЫ.

(Отрывок).

I.

В ближайшие дни после избиения поляков [1]) отряд стал пополняться. Ехали в большинстве из соседних с Улеею деревень, боясь мести, и из города, — такие приезжали вместе со скарбом,

[1]) Незадолго до описываемых событий партизанский отряд побил польских легионеров-колчаковцев. Действие происходит в Сибири, во время колчаковщины.

с женами и ребятами. Но были из дальних деревень—почти все солдаты германской войны, они приходили впешую, с котомками и с берданками, у некоторых были даже винтовки.

Становище перенесли глубже, чернь к Лудяной горе и здесь разбили палатки. Уже было около полусотни человек.

Встретившись с Кубдей, Селезнев сказал:

— Начальника надо выбирать.

Кубдя словно вытянулся в эти дни, углы рта опустились, а может-быть, придавал ему другой вид и прицепленный к поясу револьвер, снятый с убитого поляка. Кубдя согласился и на паужен назначили собрание.

Кубдя влез на телегу, мужики сели на траву и закурили. Кубдя хотел говорить стоя, но раздумал и только снял картуз.

Среди пяти-шести телег, накрытых для затина кедровыми лапами, бродил белобрюхий щенок, из тайги пахло соломой и, казалось, приехали мужики на сенокос или на сбор ореха. Позади всех стоял на коленках Беспалых и улыбался маленьким, как наперсток, ртом. Ему было приятно, что теперь они не одни и что с таким уважением слушают все Кубдю. Кубдя говорил:

— Товарищи!.. Собрались мы сюда известно зачем, вам рассказывать не к чему. Никто никого не гнал, — по доброй воле... А только против одного: не надо нам колчаковского старорежимного правления, желаем свою крестьянскую власть. Что мы—волки, всякого охотника бояться? У самих сила есть, а кроме—идет из-за Урала советская армия. Нужно продержаться, а там как уж получится—видно будет. Та-ак... А теперь нужно выбрать начальника, потому овца и та своего козла имеет, чтобы водить.

Мужики захохотали.

— Думал я, думал, — продолжал Кубдя, — ну, кроме одного человека, никого у нас нет. А так как надо назначать кандидатов, то мой голос за Антона Семеновича Селезнева.

— А мой за Кубдю, — сказал Беспалых.

Кто-то еще сказал: Соломиных. Соломиных прогудел:

— Куда уж мне? Я с бабой-то едва справляюся.

Долго мужики галдели, как на сходке. Начали поднимать руки. Большинство было за Селезнева. Селезнев густо покраснел. Беспалых сказал:

— Борода загорится.

— Мотри, паря, — добродушно рассмеялся Селезнев, — я теперь начальник.

Но вдруг сжал губы и быстро пошел меж возами к реке.

— Куда он?—спросил Кубдя.

Соломиных посмотрел на идущего по березняку Селезнева и ответил:

— Медвежья душа у человека, никак своей тропы не найдет.

Под вечер в лагерь пришел учитель из Улеи—Кобелев-Малишевский. Он поздоровался со всеми мужиками за руку и сел рядом с Кубдей.

— А я ведь к вам,—сказал он неожиданно для себя.

Когда он шел, он думал только взглянуть на лагерь и уйти. Кубдя посмотрел на его так вытянутую вперед голову, словно его хотели сейчас зарезать, на напряженную улыбку и сказал:

— Милости просим.

Селезнев увидал учителя и обрадовался:

— Вас-то ведь нам и надо, Николай Осипович.

Учитель улыбнулся еще напряженнее.

— Приказ надо написать. А грамотного человека нету.

— Какой приказ?—спросил Кубдя.

— А вот, что отряд действует и пусть идут, кому надо. А наберется больше—мобилизуем округу.

Все одобрили. Селезнев достал бумаги. Учитель сел, взялся за перо и робость его исчезла. Он весело взглянул на Кубдю и сказал:

— Что писать-то?

— Пиши,—говорил кратко Селезнев,—по приказу Правительства.

Учитель запротестовал.

— Надо поставить—какого правительства.

— Лешего ли у нас в деревне знают. Им на любое правительство начхать, абы их не трогали. Написал?..

— По приказу правительства, написал.

— Пиши дальше. Об'является сбор всех желающих... воевать с колчаковскими войсками... пешие и конные... старые и малые... брать с собой обязательно берданку али винтовку... оружия у нас мало... Нет, это не надо!.. Сами догадаются. Являться на сборный пункт... Во-о!.. Как воинский начальник, чисто! А куда являться—и не знаю.

— На небо,—сказал Беспалых.

Кубдя подумал и вставил:

— Говорим так: первый партизанский отряд Антона Селезнева, и никаких.

Селезнев запротестовал.

— Нельзя,—сказал Кубдя,—мужик имя любит.

Все согласились, что мужик, действительно, любит имя...

...В деревнях шел слух, что в город приехал из Омска казачий отряд атамана Анненкова. Деревни заволновались. Казаки отличались особенным сладострастием жестокости при подавлении восстаний. Происходило это потому, что в отряды Анненкова и Красильникова записывались все особенно обиженные советской властью. Атамановцы на погонах носили изображение черепа и двух скрещивающихся костей.

На базарах загромыхали рыдваны, заскрипели телеги — с'езжался народ, а после базара, у поскотины, за селом долго митинговали. Выступали какие-то ораторы, призывали к восстанию, говорили, что Омск накануне падения, в Славгороде и Павлодаре— советская власть, и по-утру, с котомками и винтовками за плечами, видно было на таежных дорогах мужиков, направляющихся к Антону Селезневу.

Город тоже жил тревожно. Говорили, что десятитысячные отряды Антона Селезнева стоят где-то недалеко в тайге и ожидают только удобного случая, чтобы вырезать весь город, за исключением рабочих. На рабочих смотрели с завистью, а начальник уезда капитан Петров часто беседовал с начальником контрразведки поручиком Малышевым. Аресты и расстрелы учащались.

Телеграммы „Рта“ [1]) сообщали, что красные уже взяли Курган и подступают к Петропавловску. Омск эвакуируется, и, словно подчеркивая эти сообщения жирной красной чертой, ползли по линии железной дороги эшелоны с эвакуированными учреждениями и беженцами.

По ночам тайга горела—шли палы, и полнеба освещало алое зарево. И при свете этого зарева из низенькой кирпичной тюрьмы выводили за город к одинокой белой цистерне „Нобеля“ арестованных крестьян. Крестьяне крестились на горевший оранжевой лситочкой восток, и тогда в них стреляли. И незвестно было никому, кто их хоронил и где...

В средине июля поехал в тайгу отряд атамана Анненкова. Было это, вернее, часть отряда, две роты с пулеметами при четырех офицерах. Сам атаман со своими главными силами защищал тогда от восставших крестьян Семипалатинск. Солдаты отряда были озлоблены и неудачами на фронте, и тем, что чехи отказались воевать, и тем, что сильнее разгорается восстание, и их пере-

[1]) Российско-телеграфное агентство.

возят из одного места в другое и убивают, и заставляют других убивать. Озлобленно они жгли деревни, скирды, пороли и вешали крестьян, а те отплачивали тем, что пристреливали отставших или поджигали избы с ночевавшими там атамановцами.

Кубдя хотел ехать в город, дабы сговориться с большевистской ячейкой, работавшей в подполье, но прибежавший из города рабочий с мукомольной мельницы сказал, что ячейка переарестована и члены ее перебиты. Да и в отряд прибывали и прибывали люди. Имелась уже своя канцелярия, где главенствовал учитель Кобелев-Малишевский, хозяйственная часть, которой управлял Соломиных, и все больше скрипело телег в отряде, и все больше приходило людей к Кубде и к Селезневу жаловаться. Говорили обычные теперь крестьянские жалобы: сожгли хлеба, избу, угнали скот, того-то убили; у всех было одинаково почти, и говорили одинаковыми немногословными предложениями, но от каждого мужика и от каждой бабы, отходившей после жалобы прочь,— оставалась на сердце все увеличивающаяся тяжесть. Осанка у всех партизан стала слегка сгорбленная, бросили пить, и даже Беспалых если выпивал, то, ложась спать, стыдливо отворачивался к стене. Никто этой перемены не замечал, все шло, как нужно, люди строжали, отряд становился крупнее, лишь Кубдя временами судорожно хохотал, махал руками—видимо старался отойти дальше от обступивших всех чувства связанности с землей, с ее болями и от этих пахнущих таежным дымом людей, каждый день приезжавших на Лудяную гору.

Один Селезнев ходил с головой, откинутой назад, улыбаясь, обнажая верхние резцы зубов.

— Попом тебе, Антош, быть,—говорил Кубдя.

— А тебе грешником.

Однажды прискакал верхом Емолин. Он радостно потряс всем руки, а Кубдю похлопал по плечу:

— Живешь, парень? Я вас, подлецов, в люди вывел. Молиться на меня должны.

— Достроил амбары-то?—спросил Кубдя.

Емолин закрыл глаза и помотал головой:

— Пока достроишь с вашим братом, нижний ряд сгниет. Ну, и времена. И что такое деется, никак я не пойму. Спятил народ, что ли? И смешно и дико смотреть-то...

— А ты поменьше смотри.

— Неужто нельзя?

Емолин плюнул и лукаво хихикнул.

— Я ведь хозяин. Мне любопытно, как люди жисть устраивают, я и смотрю.

— Ты помогай.

— Ну, от нашей помоги вшами изойдешь. Тут инова калибра человек требуется. Я вот метаюсь, метаюсь, езжу-езжу и никак не пойму—какой тут человек надобен. Режут друг друга, жгут и все ждут кого-то, а?

Емолин подтянул подпругу и залез в седло:

— А у вас тут свобода! Кто хошь, приезжай. Вот они какие нонешние-то разбойнички, видал ты их! Чудно живете, парни, чудно!

II.

— Бегут, бают, колчаковские-то войска!.. Чуть ли не Омск взяли. Вся земля под советской властью, паре, буде, во-о!..

Маленький веснущатый Беспалых даже присел на корточки, словно не мог выдержать такой мысли. Горбулин кормил из черепка белобрюхого щенка молоком. Щенок мотал мордой, белые брызги летели вокруг, сползали по мягкой шерсти. Между возами ходили мужики с тоскливыми и озабоченными лицами, в бору звенели топоры, ржали лошади.

— Где зимовать-то придется,—сказал Горбулин, похлопывая щенка по спине.—Одуреешь без работы-то. Мается-мается народ и сам не знат, пошто.

— Знал бы—так и не маялся. Анненков-то близко.

— Лихоманка его дери, сломит и он шею!

— А там уж как придется. Либо он, либо мы—кому-нибудь придется.

— Чернь-то большая, уйдем.

— С пулей далеко не уйдешь. Им ведь английского пороху не жалко.

Беспалых удивленными глазами посмотрел в тайгу и со злостью вскричал:

— И как только английский мужик смотрит, зачем таку пакость позволят. Добро бы наша темень была, а то ведь у них, бают, и неученых-то нет.

— Врут!—сказал Горбулин с убеждением.—Не может быть, чтоб неученых не было; дураков везде много. А посылают снаряжение и морочат, што, дескать, охотиться народу надо.

— Из винтовок-то?

— Из винтовок на медведя, а там в прочего зверя.

— Обмундирование-то как, а?

Горбулин озадаченно посмотрел Беспалому в лицо.

— А это уж их дело, не знаю!..

Подошел Кубдя, немного вялый, с тревожным беспокойством на корявом лице.

— Собирай монатки-то,—сказал он. Беспалых вскочил.

— Уходим, что ли? Я сказывал, Анненков близко.

Кубдя поправил пояс. Патронташ и револьвер как-будто стесняли его.

— Никуда не уходим. Мы тут будем. Бабы с возами уйдут... от греха дальше. А нам, коли придется, так в белки надо.

— По другому следу?

Беспалых крепко уперся в землю и свистнул:

— Вот плакались—работы нету!..

Между возами шла спокойная широкая фигура Селезнева. Он хозяйственным оком окидывал телеги и рыдваны и, как поторапливал раньше при молотьбе, немного покрякивая, так и теперь торопил:

— Собирайся, крещеные, собирайся. Эку уйму лопатины-то набрали.

Какая-то старуха в грязном озяме всплакнула:

— Жалко, ведь, барахлоть, Антон Семеныч.

— Так... так...—согласился Селезнев.

Горбулин довольным голосом произнес:

— Ай-да, большак!..

Через час, по узким таежным тропам, подпрыгивая на корнях тянулись в черни ирбитские телеги, траншпаки, коробки. Пищали ребятишки, в коробах гоготала птица, мычали привязанные за рога к телегам на веревках коровы, а мохноногие, пузатые лошаденки все тащили и тащили телеги. Поспевала земляника, и пахло ею тихо и сладостно. Как всегда, чуть вершинами шебуршали кедры. А внизу, на далекие версты, в тропах ехали люди; плакали и перекликались на разные голоса, как птицы.

Человек триста партизан пошли за обозами, за Золотое озеро; на елани осталось не больше сотни. Ушедшие были вооружены пистонами, дробовиками, а оставшиеся—винтовками. Расставили сторожевые посты, часовых и по тайге секреты. Стали ждать.

— Доволен?—спросил Кубдя у Селезнева.—Али еще скребет.

— Как-нибудь проживем,—ответил Селезнев, ухмыляясь.

— Вот и благословили тебя. Должон доволен быть.

В голосе у Кубди слышалось раздражение.

— Не жалуюсь. А кабы и пожалился—какая польза.

— Будто новорожденный ты, ступить не знаешь куды.

Селезнев вскинул взгляд поверх головы Кубди и повел рот вбок.

— Слышал ты, — сказал он смягчающе. — Улея-то в перстъ легла.

Беспалых одурело подскочил на месте.

— Сожгли?

— Спалили, — ответил просто Селезнев, вынимая кисет. — Ладно, что бабу во-время увез. Повесили бы. Озлены они на меня.

— Придут седни.

Селезнев завернул папироску, прытко повел глазами и слегка прикоснулся рукой до Кубди.

— Сёдни не будут, помяни мое слово. А Улея-то только присказка, притча-то потом будет.

Он разостлал шинель на землю.

— Ложись, отдохни.

И, положив свое тело на землю, он углубленным, тягостным голосом проговорил:

— Самое главное—не надо ничему удивляться. А там уже и гнести почему тебя будет, а, Кубдя? Ты как думаешь?

— Я вот думаю, — сказал Кубдя, — что у нас пулеметов нету, а у них три. Покосят они нас.

— Они укоротят, — с убеждением проговорил Горбулин.

Селезнев сорвал травку и начал ее разглядывать.

— Мала, брат, а так можно брюхо лошади набить, беда! — сказал он с усмешкой. — Ноне травы добрые. Оно, конечно, у кого косилка, лучше, чем литовкой. А я так морокую, что в кочках-то с машиной не поедешь, Кубдя?

Кубдя тоже ухмыльнулся:

— Не поедешь, Антон Семеныч.

Селезнев утомленно закрыл глаза.

— А и устал я в эти дни. Будто тысячу лет прожил. Ты, Кубдя, хиреть начал.

— Во мне-то и никогда жиру не было.

— Это плохо. Без жиру, как без хлеба. Завсегда запасы надо иметь.

Он прикрыл лицо картузом и крупно зевнул.

— Добро, в горе хоть гнусу нету. А то б заели.

И, чуть лишь прикрыв глаза, сонно захрапел...

Через два дня, поутру, партизаны встретились с атамановцами у Поневских ворот. Поперек речки Буи лежит восемь гро-

мадных камней. Среди них с плеском и грохотом скачет вода, вскидываясь белыми блестящими лапами кверху. У левого берега вода спокойнее; здесь даже можно проскользнуть на лодке. Вверх дальше по Буе – горы, похожие на киргизские малахаи из зеленого бархата, а внизу — речная заливная равнина. Партизаны спускались по реке, а атамановцы поднимались кверху.

Атамановцы растянулись по елани длинной цепью, окопались, поставили два пулемета и начали стрелять. Мужики стреляли поодиночке, тщательно прицеливаясь и разглядывая, не высунется ли казак. Несколько раз атамановцы вскакивали и с неверными криками: „ура!“ бежали на партизан. Но тотчас же падало несколько убитыми и ранеными; атамановцы опять окапывались и торопливо щелкали затворами. Мужики лежали за кедрами и молчали.

На небольшой елани, слева окруженной потоком, справа— чащей, в которой лежала нестрелявшая вторая рота атамановцев, резали высокие пучки и ярко-синие шпорники пули перестреливавшихся. Людей кусали комары, и тех из атамановцев, которых ранило, пекло солнце, они просили пить. Но пить им никто не давал; всем хотелось убить больше тех мужиков, которые спрятались за кедры и неторопливо, метко стреляли.

Так они перестреливались около полутора часов.

Наконец, офицеры устроили совет и приказали наступать, то-есть во что бы то ни стало итти на стрелявших из-за деревьев партизан и перебить их. И хотя бежать в высокой, опутывающей ноги траве было нельзя, и не было надежды, что партизаны побегут и не будут стрелять,—все же мысль эта никому не показалась дикой, и атамановцы, вместе с офицерами, крича „ура“ и стреляя, полезли по траве и по чаще. В раскрытые рты набивалась трава, осыпающая неприятную сухую пыльцу. Рядом как-то немного смешно падали раненые и убитые—атамановцы же продолжали кричать „ура“, стрелять и итти вперед. Из-за кедров, все так же помаленьку, лениво стреляли мужики, и казалось, что дерутся они не серьезно, а сейчас бросят ружья и выйдут просить мировой.

До кедров осталось не более ста шагов, как вдруг мужики выстрелили разом и закричали:

— Ура-а!..

От крика ли, или от чего другого, но все—и атамановцы, и мужики — почувствовали, что кому-то нужно от кого-то бежать. И партизанам захотелось кричать. Они остановились и закричали не своим голосом:

— У-а-а-а...

И, повернув обратно, побежали.

Из-за таежных стволов, на окаемок, выскочили мужики в озямях, в ситцевых рубахах и нестройно заорали:

— Товарищи! Бросай винтовки-и!..

— Конец...—думали атамановцы и бежали, сами не зная куда.

Позади себя им мерещилось мужицкое дыхание, оскаленные лохматые лица, и меднокрасные пятна заплясали в глазах у атамановцев.

Некоторые из них упали в воду и поплыли на другую сторону. Туда же прыгнули двое офицеров, но плыть они не умели, и, непонятно суетясь руками в воде, офицеры схватились за сучья повисшей над водой талины. В это время на берег выбежали Кубдя и Беспалых и, увидев офицеров, словно напоказ, подождали, когда они крепко уцепились за сучья, тогда, вскинув ружья, выстрелили. Напрягая волну, река потащила тела.

Насилу добежав до конца елани, атамановцы увидали здесь свои пулеметы. Тогда они вновь почему-то почувствовали силу и начали отстреливаться.

— Назад!—оглушенно заорал Селезнев. И, как цыплята под наседку, пригибаясь, мужики побежали в тайгу.

На бегу Беспалых почувствовал боль в холке и, пощупав мокрую штанину, сообразил: „ранен“. Он улыбнулся вдруг ставшим белым, как слоновая кость, лицом и сказал громко Кубде:

— Ранили меня...

— Эх, олово!—сказал Кубдя и, взяв его под мышки, повел.

Позади на елани опять шли вперед атамановцы. Мужики, отстреливаясь, медленно повернули вправо и пошли в горы. А их снова ровной цепью, стреляя и прячась за стволы, догоняли атамановцы. И ни мужики не знали тех, кто их догоняет, ни атамановцы не знали, кого они хотят убить.

— Ура-а!—время от времени кричали атамановцы.

Ноги у Беспалых ныли, голова тяжелела, и все тело было лишнее. Его вели, подхватив под руки, Кубдя и Горбулин, а позади шел растрепанный и потный Селезнев и, после каждого выстрела, торопил:

— Иди, иди, не отставай!..

Вошли в березовую чернь.

В бледноватой зелени берез, как темные пуговицы на светлом платье—пихты. Опять мешали итти огромные травы, не было уже папоротника, но резал руки сладко пахнувший осот.

Беспалых, словно охмелев от боли, начал заплетаться языком и при каждом шаге отчаянно кричал:

— Пустите, ребята, пустите.

И, ощущая цепенеющую усталость в руках, Селезнев пятился, стрелял и печальным голосом повторял:

— Не ной, Беспалых... не ной, парень... Поторапливайся... Не отставай...

Мужики уже всей оравой ушли вперед. Подыматься в гору становилось все круче. Остановились перевязать рану Беспалых, но, услышав близко перекликающиеся голоса атамановцев, опять пошли. Под ногами скользили гальки, далеко по окоемку приходилось обходить каменные „лысины", а позади, не переставая, щелкали впустую выстрелы атамановцев. Селезнев повеселел и повесил за плечи винтовку.

— Уйдем,— сказал он.—Уведем их к лешему на козлы.

Голова у Беспалых покачивалась, как созревшая маковка под ветром. Солдатские штаны смочились густой кровью, этой же кровью были выпачканы руки у Горбулина и Кубди. У Кубди на локтях сатиновой синей рубахи была широкая прореха, виднелось розоватое, искусанное комарами тело. Селезневу стало муторно смотреть, и он отстал.

Чем они выше подымались крутыми под'емами между плитами камней, величиной с избу, серых, с ровными, словно отпиленными краями,—тем сильнее они чувствовали какую-то ждущую их неизвестную опасность. Они начинали прибавлять шагу, несмотря на усталость, и не обходить россыпи. Кончились березки, осины. Лохматились одни кедры, и хотя так же грело солнце, но с белков дул суровый, крепкий и холодный ветер. Они затянули крепче пояса и, как-будто желая разорвать опутывающие сети тишины, нарушаемой этим одним ветром, заговорили громче.

Под ногами захрустел мох. Они остановились, вытерли замазанные глиной в черни ноги о седую, хрумкающую, как снег, траву, затянули крепче рану у Беспалых, переглянулись и молча, торопливо пошли выше.

Ветер развевал волосы, горбом вздувал рубахи.

Мысли, с устатку ли, с другого чего, разжижались, и нельзя было заставить их исполнять свою обычную работу.

Селезнев теперь указывал дорогу. Он был весь мокр,—даже толстый драповый пиджак вымок, будто был под дождем. Белки глаз у него подернулись красными жилками, а зрачок все распол-

зался и расползался, как масляное пятно на скатерти. Он кинул фуражку и шел без шапки, с рассеченной ветром черной бородой.

Кубдя чувствовал себя разопревшим, словно он был втиснут в какое-то иное тело, и плыл там куда-то, теплый, склизкий. Рядом, на руке висел маленький, кричавший все время рыжеволосый человек. У этого человека был постоянно разинутый рот с болтавшимся там обрубком языка, рот, издававший такие звуки, как-будто резали ножницами листы железа, и временами Кубдя никак не мог вспомнить, где он видел эти мокрые усы и веснущатую морщинистую переносицу.

Вдруг россыпь расширилась, и они увидели перед собой голое, холмистое поле. По полю ровной цепью стояли люди с винтовками, и навстречу им бежало шесть человек с револьверами. Люди были одеты в английские шинели, и мужики, взглянув на них, почувствовали холодный ветер и заметили недалекие, похожие на синеватые сахарные головы, белки снегов.

Селезнев сорвал ружье, крикнул и прервал крик выстрелом:

— Бе...

— Бу-о-ах!..

Затем он замахал руками на Кубдю, лицо его неожиданно помолодело, и он торопливо сказал:

— Бросай... беги...

Он наклонился, сунул Беспалых револьвер и, пригибаясь, побежал. За ним побежали остальные.

Беспалому стало страшно и, желая скорее отвязаться от мыслей о себе, он приставил револьвер к виску, но раздумал и выстрелил в бок.

„Все?..—обрывками на бегу думал Селезнев.—Путем... ошибся... надо было... Мокрой... Балкой...“

И ему пришло в голову, что он хотел еще увидать идущих из России красных.

„Посмотрим...“—мелькнуло у него в голове.

Он остановился и ровным голосом сказал:

— Стой, паря! не убежишь.

Услыхав его голос, Кубдя подумал—„мертвец“, и остановился. Позади них лег Горбулин, винтовку он потерял на бегу.

— Посмотрим... - сказал Антон, всовывая обойму.

Через неделю сводка „на внутренних фронтах“ сообщала, что в районе Улеи бандитские шайки Антона Селезнева рассеяны, а сам он погиб в перестрелке.

А еще через два месяца партизаны и регулярные части Красной армии взяли Никольск, и крестьяне привезли с белков трупы Селезнева, Кубди и еще четырех неизвестных. Вырыли глубокую могилу, пришли рабочие с красными знаменами, оркестр играл „Интернационал“, ораторы, в серых шинелях, с жестяными звездочками на белых заячьих шапках, долго говорили и указывали рукой на восток.

Вс. Иванов.

КРАСНЫЙ ПРИЗРАК КРЕМЛЯ.

Ломая кольцо блокады,
бросая обломки ввысь,
все вперед за грань, за преграды
алым всадником—мчись!

Сквозь жалобы, вопли и ропот
трубным призывом встает
твой торжествующий топот,
над простертым миром полет.

Ты дробишь тяжелым копытом
обветшалые стены веков,
и жуток по треснувшим плитам
стук беспощадных подков.

Отважный! яростно прянув,
ты взвил потревоженный прах.
Оседает гряда туманов,
кругозор в заревых янтарях.

И все, и пророк, и незоркий,
глаза обратив на восток,
в Берлине, в Париже, в Нью-Йорке
видят твой огненный скок.

Там, взыграв, там, кляня свой жребий,
встречает в смятеньи земля
на рассветном пылающем небе
красный призрак Кремля.

Валерий Брюсов.

РАССТРЕЛ.

Город отрезан!

Это на следующий день все повторяли. Большинство ответственных работников успело ночью проскочить на автомобилях (железнодорожный мост накануне опять был взорван кем-то), но некоторые попали в руки белых. Войска с позиций прошли мимо города и тоже успели выйти из кольца. Только два полка на основании каких-то странных распоряжений штаба бригады, ушли куда-то в сторону, в горы. Там они попали в засаду и были истреблены до последнего человека. Небольшой отряд засел в каменоломнях, в шести верстах от города, и собирался защищаться. Рабочая молодежь из города маленькими группками пробиралась тоже в каменоломни, но по дороге туда, рассказывали, уже рыскали раз'езды кубанских казаков...

Жители прятались по домам. Казаки вламывались в квартиры, брали все, что приглянется. Передавали, что по занятии города им три дня разрешается грабить. На Джигитской улице подвыпившие офицеры зарубили шашками двух проходивших евреев.

Шли обыски и аресты. В большом количестве появились доносчики-любители и указывали на „сочувствующих". К Кате забежала фельдшерица Сорокина, с замершим ужасом в глазах, и рассказала: перед фабрикой Бенардаки повешено на фонарных столбах пять рабочих, бывших членов фабричного комитета. Их вчера еще повесили, и она сейчас проходила,—все еще висят, голые по пояс, спины в темных полосах...

За поселком, под шоссейным мостом, чабаны нашли труп застреленного татарина. Спина его была исполосована стальными шомполами. Узнали председателя ревкома соседней татарской деревни. Сгубил его георгиевский его крест, который он нацепил, чтобы умилостивить белых. Накануне вечером казаки, гнавшие арестованных в город, пили вино в кофейне Аврамиди. Урядник бил татарина по щекам и говорил:

— Этакую грязь разводил,—а еще крест носишь!

И сговаривались между собою:

— Всем по двадцать пять шомполов вкатим по дороге, а этого прямо в канаву.

Арестовали в саду во время работы Афанасия Ханова. Арестовали почему-то и Капралова, и увезли обоих в город. Гребенкин скрылся. Тимофей Глухарь тоже скрывался, а вечером, в сумерках, бегал по дачам и просил более мягкосердечных дачников подпи-

сать бумагу, что они от него обиды не имели. Почтительно кланялся, стоял без шапки...

Откуда их столько появилось? Было непонятно. По пляжу и по горам гуляли дамы в белых платьях и господа в панамах, на теннисных площадках летали мячи, на песке у моря жарились под солнцем белые тела, тела плескались в голубых волнах.

Урожай выдался колоссальный. По шоссе с утренней зари до полной темноты скрипели мажары с ячменем, почерневшие от солнца мужики проезжали из степи с косилками, проходили с косами. Они поглядывали на берег, белевший телами, в негодующем изумлении разводили руками и говорили:

— А они, — они опять голые на песке лежат!

В женскую камеру городской тюрьмы, позвякивая шпорами, вошли два офицера, за ними — начальник тюрьмы и солдаты. Молодой офицер выкликнул по списку:

— Сартанова!

Вера отозвалась. Офицер постарше спросил:

— Это которая?

— Что по дороге в каменоломни поймана, г. полковник. Сама заявляет, что коммунистка.

Вызвали еще четырех работниц. Полковник громко сказал:

— Этих пятерых. Завтра утром на тех же свалках, где они сами расстреливали. Перевести в камеру № 7...

В тесной камере № 7 народу было много. Вера села на край грязных нар.

В воздухе висела тяжело задумавшаяся тишина ожидаемой смерти. Только в углу всхлипывал отрыдавшийся женский голос.

Рядом с Верою, с ногами на нарах, сидел высокий мужчина в кожаных болгарских туфлях-пасталах, — сидел, упершись локтями в колени и положив голову на руки. Вера осторожно положила ему ладонь на плечо. Он поднял голову и чуждо оглядел ее прекрасными черными глазами.

— Товарищ, не нужно падать духом.

Он поспешно ответил:

— Нет, я, понимаете, ничего... Так только, задумался...

— У вас семья есть, дети?

— Да. Только я не об этом.

Он помолчал, внимательно поглядел на Веру.

— Вы, товарищ, коммунистка?

— Да. А вы?

— Я, понимаете, тоже коммунист. А только... Фамилия ваша как будет?

— Сартанова.

— Сартанова? У нас в поселке дачном доктор один есть, тоже Сартанов фамилия.

Вера быстро спросила:

— Вы из Арматлука?

— Да.

— Где сейчас доктор Сартанов?

— Дома. Его было арестовали, а в последний день, видно, выпустили. Только теперь он дома.

Вера задыхалась.

— Верно?

— Ну, да. Сам его видел.

Он с удивлением глядел на Веру. Она прижалась головой к столбу нар и беззвучно рыдала, закрыв глаза руками. А когда опять взглянула на него, лицо было светлое и радостное.

— А вы родственница ему?

— Это отец мой... Ну, да! — Она овладела собою.

— Хороший человек. И дочка его, Катерина Ивановна,—тоже хорошая. Очень интересно, понимаете, о жизни всегда разговаривает. Выходит, — сестрица вам. А вы вот коммунистка. У меня на этот счет мысли всякие.

— Какие мысли?

Он помолчал.

Стали подходить другие осужденные.

Вера говорила, и все жадно слушали. Вера говорила: они гибнут за то, чтоб была новая, никогда еще в мире не бывавшая жизнь, где не будет рабов и голодных, повелителей и угнетателей. В борьбе за великую эту цель они гибнут, потому что не хотели думать об одних себе, не хотели терпеть и сидеть, сложа руки. Они умрут, но кровь их прольется за хорошее дело; они умрут, но дело это не умрет, а пойдет все дальше и дальше.

На замасленном столе тускло чадила одинокая коптилка. В спертую вонь камеры сквозь решетчатое окно чуть веяло свежим воздухом, пахнувшим горными цветами.

Красавец-брюнет с огненными глазами, в матросской куртке, спросил:

— А как скажете, товарищ, скоро социализм придет?

Вера почувствовала, какой нужен ответ.

— Теперь скоро. В Германии революция, в Венгрии уже установилась советская власть, везде рабочие поднимаются.

— Через два месяца будет?

— Ну, не через два... — Вера поглядела на него и улыбнулась. — Через два-три года.

— Это ничего. Столько можно подождать.—Матрос радостно засмеялся. — То-то они так злобятся: чуют, что кончено их дело!

Рабочий в пиджаке, с умными, смеющимися глазами, отозвался:

— И ничего не кончено. Не выйдет у нас никакого социализма. Не такой народ.

Ханов нетерпеливо отмахнулся:

— Ну, ты, Капралов, — всегда вот так!

Матрос, сверкая глазами, ринулся на него:

— Как не выйдет?!

— Не выйдет. Не будет ничего. Не справится народ. Больно работать не любит. Только когда для себя. И опять прихлопнут вас буржуи, как перепелок сеткой.

Вера с удивлением смотрела на него:

— За что же вы сюда попали?

Ханов засмеялся:

— Он у дачников книжки отбирал для общественной библиотеки, а они на него показали. Вот и попал в загон, как козел меж барашков.

Спорили. Шутили, смеялись. Засиделись до поздней ночи и улеглись спать, не думая о завтрашнем, и спали крепко.

Толпа людей рыла за свалками ров,—в него должны были лечь их трупы. Мужчины били в твердую почву кирками, женщины и старики выбрасывали лопатами землю. Лица были землистые, люди дрожали от утреннего холода в волнении. Вокруг кольцом стояли казаки с наведенными винтовками.

Солнце вставало над туманным морем. Офицер сидел на камне, чертил ножнами шашки по песку и с удивлением приглядывался к одной из работавших. Она все время смеялась, шутила, подбадривала товарищей. Не под'ем и не шутки дивили офицера, — это ему приходилось видеть. Дивило его, что ни следа волнения или надсада не видно было на лице девушки. Лицо сияло рвущеюся из души, торжествующею радостью, как-будто она готовилась к великому празднику, к счастливейшей минуте своей жизни.

Девушка выпрямилась, блаженно взглянула на синевшее под солнцем море, на город под ногами, сверкавший в дымке золотыми крестами и белыми стенами вилл. И глубоко вдохнула ветер. Рядом, привычными, мужицкими взмахами, работал киркою высокий болгарин в светло-зеленых пасталах.

— Товарищ Ханов, правда, как хорошо?

На всю жизнь в памяти офицера осталось ее лицо. Он не мог бы сказать, красиво ли было это лицо, и все-таки такой красоты он никогда больше не видел.

Офицер ощерил зубы под подстриженными темными усиками и встал.

— Стройся! Спиной ко рву!

Ханов ревниво отстранил ставшего подле Веры Капралова, расправил широкую свою грудь и восторженно вздохнул. Никогда не знала его душа такой странно-легкой, блаженной радости, как сейчас, под направленными на грудь дулами. Он запел, и другие подхватили:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!..

Матрос, горя глазами, тряс кулаком в воздухе:

— Да здравствует советская власть! Да здравствует социализм! Не долго уж вам, проклятые!...

Офицер бешено крикнул:

— Пли!!

В. Вересаев.

ТОВАРИЩ КОЖУХ.

Кавказское солнце, даром что запоздалое, горячее. Только степи прозрачны, только степи сини. Тонко блестит паутина. Тополя задумчиво стоят с редеющей листвой. Чуть тронулись желтизной сады. Белеет колокольня.

А за садом в степи бесчисленное людское море, как тогда, при начале похода, такое же необозримое, людское море. Но что-то новое покрывает его. Те же бесчисленные повозки беженцев, но отчего же на лицах, как отражение, как живой отблеск, печать непотухающего ожидания?

Те же бесчисленные отрепанные, рваные, голые, босые солдатские фигуры, но отчего, как по нитке, молчаливо вытянулись в бесконечные шеренги, и выкованы из почернелого железа исхудалые лица, и стройно, как музыка, темнеют штыки?

И отчего лицом к этим шеренгам стоят такие же бесконечные ряды одетых и обутых солдатских фигур, но врозь, куда попало покачнулись штыки и оттиснулись на лицах растерянность и жадное ожидание?

Как тогда необозримая громада пыли, но теперь она осела осенней отяжелелостью, и отчетливо прозрачная степь, и отчетливо видна каждая черта на лицах.

Тогда среди безгранично взбаламученного людского моря зеленел пустой курган, и чернели на нем ветряки, так и теперь среди людского моря пустая полянка, и на ней темнеет повозка.

Только тогда буйнее разливалось по степи человеческое море, а теперь затаилось и молча стояло в железных берегах.

Ждали. И молчаливая без звуков, без слов торжественная музыка разливалась над необозримой толпой в синем небе, в синей степи, в золотом зное.

Показалась небольшая толпа людей. И те, что стояли в шеренгах с железными лицами, узнали в этой подходившей кучке своих командиров, таких же исхудалых, почернелых, как и они сами. И те, что стояли рядами против них, узнали своих командиров, одетых, с здоровыми обветренными лицами, как и у них самих.

И шел среди первых Кожух небольшого роста, почернелый до самых костей, исхудалый до самых костей, оборванный, как босяк, и на ногах шмурыгали разбитые с разинутыми почернелыми пальцами опорки. На голове замызганно обвисла рваными полями когда-то соломенная шляпа.

Они подошли и сгрудились около повозки. Кожух взобрался на повозку, стащил с головы ошметку соломы и оглядел долгим взглядом и железные шеренги своих, и бесчисленно терявшиеся в степи повозки, и множество печальных безлошадных беженцев, и ряды главных сил. Было в них что-то расшатавшееся. И у него шевельнулось глубоко запрятанное, в чем и сам бы себе не признался, удовлетворение: „разлагаются“.

Все, сколько их тут ни было, все смотрели на него. Он сказал:

— Товарищи!

Все знали о чем здесь будут говорить, но мгновенная искра пронизала смотревших.

— Товарищи, пятьсот верст мы шли голодные, холодные, разутые. Козаки до нас рвались, як скаженнии. Не було ни хлеба, ни провьянту, ни фуража. Мерли люди, валились под откосы, падали под вражьими пулями, не было патронов, голыми руками...

И, хоть знали это — сами все вынесли, и знали другие по тысячам их рассказов, слова Кожуха блиснули неиспытанной новизной.

— ...дитэй оставляли в ущельях...

И над головами, надо всем над громадным морем, пронеслось и впилось в сердце, впилось и задрожало:

— Ой, лышенько, диты наши!..

От края до края колыхнулось человеческое море:

— Диты наши!.. диты наши!..

Он каменно смотрел на них, выждал и сказал:

— А сколько полягло наших под пулями в степях, в лесах, в горах, поляглы на вик викы!..

Все головы обнажились, и до самого до края бесчисленно поплыло могильное молчание и, как надгробная память, как могильные цветы, в этой тишине тихие женские рыдания.

Кожух постоял с опущенной головой, потом поднял, оглядел эти тысячи и поломал молчание:

— Так за що ж терпели тысячи, десятки тысяч людей цыи муки? за що?!..

Он опять посмотрел на них и вдруг сказал неожиданное:

— За одно: за советскую власть, бо вона одна крестьянам и рабочим, нима у них більш ничого...

Тогда вырвался из груди неисчислимый вздох, стало нестерпимо, и скупо поползли одинокие слезы по железным лицам, медленно поползли по обветренным лицам встречавших, по стариковским лицам, и засияли слезами дивочьи очи...

— ... за крестьянскую и рабочую...

„Так вон оно що! Так вот за що мы бились, падали, мерли, погибалы, терялы детей!“

Точно широко глаза разинулись, точно в первый раз услышали тайную тайну.

— Та дайте ж людэ добрии, мэни сказаты,—кричала, громко сморкаясь, баба Горпина, продираясь к самой повозке, цепляясь за колеса, за гародку—та дайтэ ж мэни...

— Та постой, бабо Горпино, нехай же батько кончае, нехай россказуе, а тоди ты!

— Та не трожьте мэни,—отбивалась локтями старая и цепко лезла,—никак ее не стянешь.

И закричала расхристанная с выбившимися седыми клочковатыми волосами, с сбившимся платком, закричала:

— Рятуйте, добрые люди, рятуйте! Самовар у дома вкинулы. Як мэни замуж выходить, мамо в приданое дала, тай каже: береги

его, як свет очей, а мы вкинулы. Та цур ему, нэхай пропадае! нэхай живе наша власть, наша ридна, бо мы усю жисть горбы гнули та радости не зналы. А сыны мои... сыны мои...

И захлюпала старая старыми слезами не то неизбывного горя, не то смутной самой ей непонятно-блеснувшей радости.

И опять по всему людскому морю взмыло тяжким и радостным вздохом и побежало до самых до степных до краев. А на повозку хмуро, молча лез Горпинин старик. Ну, этого не стянешь,—здоровенный старина, насквозь проеденный дегтем, земляной чернотой, и руки, как копыта.

Вылез и удивился, что высоко и сейчас же забыл это, и обветренный, стоеросый, как немазанная телега, захрипел голос:

— Во!... старый коняка, а добрый був возовик. Цыганы, сами знаете, наскрозь лошадей видють, скрозь ему лазили и у роти, и пид хвост, кажуть десять годив, а ему двацать три!.. Смоляной зуб!...

Засмеялся старик, в первый раз засмеялся, собрал вокруг глаз множество морщинок-лучинок и хитро засмеялся детским, шаловливым, так не вязавшимся с его глыбисто-земляной фигурой смехом.

А баба Горпина потерянно хлопнула себя по бедрам:

— Боже ж мий милый! бачьте добрии людэ, чи сказився, чи що! мовчав, мовчав, цилый вик мовчав; мовчки мэни замуж узяв, мовчки любыв, мовчки бив, а тут забалакав. Що таке буде? чи с глузду з'ихав, бодай его, чи що!..

Старик сразу согнал морщинки, насунул обвисшие брови, и опять на всю степь захрипела немазанная телега.

— Побилы коняку, сдох!.. Все потеряв, що на возу, пропало. Ногами шли. Шлею зризав и ту покинув; самовар у бабы и вся худоба дома пропала, а я як перед истинным,—и заревел стоеростым голосом:—не-жа-ли-ю!.. нэхай, нэ жалко, нэхай!.. бо це наша хрестянская власть. Без нэи мы дохлятина, як та падаль под тыном, воняемо...—и заплакал скупыми собачьими слезами.

Валом взмыло, бурей прошлось с конца в конец:

— ... га-а-а... це ж наша громада-а наша ридна власть! Нэхай живе!.. бувай здорова, совитска власть!..

Из конца в конец.

„Так от воно счастя?!...“—огненно обожгло в груди Кожуха, а лицо—железно-спокойное, и каменные челюсти.

„Так от як воно!..„—нестерпимо радостно своей неожиданностью зажглось в железных шеренгах исхудалых в тряпье

людей!—„так от за вищо мы голодни, холодни, замученнии, нэ за шкуру тильки свою!..“.

И матери с незаживающим сердцем, с невысыхающими слезами, — нет, не забыть им никогда голодно-оскаленных ущелий, никогда! но и эти страшные места, страшная о них память претворялись в тихую печаль и тоже находили свое место в том торжественном и огромном, что беззвучно звучало над бескрайне раскинувшейся по степи человеческой громадой.

А те, что стояли одетые и сытые множеством рядов лицом к лицу с железными шеренгами исхудалых голых людей, те чувствовали себя сиротами и в этом неиспытанном торжестве и, не стыдясь просившихся на глаза слез, поломали ряды и, все смывая, двинулись всесокрушающей лавиной к повозке, на которой стоял оборванный, полубосой исхудалый Кожух. И покатилось до самых, до степных до краев:

— Оте-ец наш!!.. веди нас, куды знаешь... и мы свои головы сложим!

Тысячи рук протянулись к нему стащили его, тысячи рук подняли его над плечами, над головами и понесли. И дрогнула степь на десятки верст всколыхнутая бесчисленными человеческими голосами.

— Уррр-ра!! уррр-а!... а-а-а... батькови Кожуху!..

Кожуха несли и там, где стояли стройные ряды, несли и там, где стояла артиллерия, пронесли и между лошадьми эскадронов, и всадники оборачивались на седлах и с восторженно изменившимися лицами, темнея открытыми ртами, без перерыва кричали.

Несли его среди беженцев, среди повозок, и матери протягивали к нему детей.

Принесли назад и бережно поставили опять на повозку. Кожух раскрыл рот, чтоб заговорить, и все ахнули, как будто увидели его в первый раз:

— Та у его глаза сыни!..

Нет, не закричали, потому что не умели назвать словами свои ощущения, а у него глаза действительно оказались голубые, ласковые и улыбались милой детской ласковой улыбкой, — не закричали так, а закричали:

— Уррр-а-а нашему батькові!.. Нехай живе!.. Пидемо за им на край свита... будемо биться за совитску власть. Будемо биться с панами, с генералами, с ахвицерьем.

А он ласково смотрел на них голубыми глазами, а в сердце выжигалось огненным клеймом:

„Нима у меня ни отца, ни матери, ни жены, ни братьев, ни близких, ни родни, тильки одни эти, которых вывел я из смерти... Я, я вывел... а таких миллионы, и округ их шеи петля, и буду биться за их. Тут мой отец, дом, мать, жена, дети... Я, я, я спас от смерти тысячи, десятки тысяч людей... Я спас от смерти в страшном положении“...

Выжигалось огненно в сердце, а уста говорили:

— Товарищи!..

Много ораторов дожидаются своей очереди. Каждый несет самое важное, самое главное, и если он скажет, так все рухнет. А громада слушает. Слышат те, которые густо разлились вокруг повозки. Дальше долетают только отдельные обрывки, а по краям ничего не слышно, но все одинаково жадно, вытянув шею, наставив ухо, слушают. Бабы суют ребятишкам пустую грудь, либо торопливо покачиваются с ними, похлопывая, и тянут шеи боком, наставляя ухо.

И странно, хотя не слышат, или хватают с пятого на десятое, но в конце-концов схватывают главное.

— Слышь, чехо-собаки до самой до Москвы навалились, а им там морды дуже набили, у Сибирь побигли.

— Паны сызнову зворушились, землю им отдай.

— Поцелуй мени в зад, тоди отдам.

— Слыхал, Панасюк: в России Красная армия.

— Яка така?

— Та красная: и штаны красные, и рубаха красная, и шапка красная, сзаду, спереди, скрозь красный, як рак вареный.

— Буде брехать.

— Та ей бо! зараз аратар балакав.

— И я слыхав: солдатив там вже нима, вси красноармейцами прозываются.

— Мабуть и нам красни штани выдадут?

— И дуже, балакают, строго—дисциплина.

— Тай куды дущей, як у нас; як батько схотив всыпать пид шкуру, вси, як взнуздании стали ходить; гля: як идут в шеренге — аж як по нитке. А по станицам проходили, никто вид нас не плакав, не стонав.

Перекидывались, хватая у ораторов обрывки, не умея высказать, но чувствуя, что отрезанные неизмеримыми степями, непроходимыми горами, дремучими лесами, они творили, пусть, в неохватимо меньшем размере, но то самое, что творили там, в России, в мировом, творили здесь голодные, голые, босые, без

политического руководства и освещения, без материальных средств, без какой бы то ни было помощи. Сами. Не понимали, но чувствовали и не умели это выразить.

До самой, до синевы вечера, сменяя друг друга, говорили ораторы, и по мере того, как они рассказывали, у всех нарастало ощущение неохватимого счастья неразрывности с той громадой, которую они знают и не знают, и которая зовется Советской Россией.

А. Серафимович.

ЛЕНИН.

Из аппаратной, где хрипели морзе и юзы, Ленин прошел в свой маленький кабинет. Сел в кресло и мелким бисером на квадратике бумаги написал:

„Тов. Дзержинский, я согласен. Договоритесь окончательно с Яковом Михайловичем. Необходимо: 1) проделать всю операцию в кратчайший срок, 2) о деталях условиться с военными властями, 3) провести это завтра на Полит-бюро.

С коммунистическим приветом Ленин".

Нажал кнопку. Вошел секретарь, молодой рабочий, с простым и строгим лицом. Ленин сам запечатал записочку и передал ее секретарю. Потом, через другую дверь, вышел к телефонной будке. Говорил с Арзамасом. Слышалось только: „А? что? Алло! Центр города еще в наших руках. Что? в наших. Слышу, слышу. Центр еще держится. Рабочие вооружены. Алло! С какой стороны? Лаишева. Хорошо. Звоните еще часа через два. До свиданья".

И опять через свой кабинет прошел в аппаратную, где хрипели юзы и морзе...

А в Лаишеве уже вешали „за большевизм", расстреливали, топили, пороли, отрубали уши...

А в Казани в номерах бывших Щетинкина по коридорам подходили друг к другу, советывались, как быть со штабом и золотом. Одни терялись. Другие ободряли.

А с Порохового, Алафузовского и Крестовникова заводов двигались темно-синие колонны рабочих к Казанской крепости.

И в Нижнем-Новгороде собирали огромные „Ильи Муромцы" для полетов над Казанью и Самарой.

А у Московского совета на площади стоял полк рабочих и красноармейцев, готовых к отправке на фронт и ждущих Ленина.

Звонили ему по телефону, он обещал, а все не ехал. Андронников, который отправлялся на фронт во главе этого отряда, взял автомобиль на дворе Московского совета и переулками, чтобы не расстроить ряды полка, выехал в Кремль.

При самом в'езде в Кутафью башню, он чуть не столкнулся с автомобилем, в котором на правой стороне, привалясь немного к боку, сидел Ленин в помятой черной шляпе. Увидев Андронникова, Ленин в момент перекинулся на другую сторону автомобиля и крикнул:

— Вы за мной. Я еду, еду.

Автомобили разминулись, но Ленин задержал свой и Андронников, догнав его, пересел к Ленину.

Андронников видел перед собой песчаного цвета лицо, морщины, расходящиеся от носа, словно высеченные по камню, зрачки черные и огненные. Лицо такое простое. Если бы не глаза, то даже скучное. А в глазах есть противоречие: они добрые и строгие, но под добротой и под строгостью где-то глубоко таится смех. Такой веселый, солнечный, как у Пана. Но это самое — и доброта и строгость, и смех, и ум, сливалось вместе во что-то особенное и вместе с тем простое, человеческое. Этим особенным и простым человеческим Ленин словно обнимал Андронникова.

Вот именно от этой необыкновенной обыкновенности Ленина, Андронников всегда становился втупик, когда его спрашивали: „А каков Ленин сам по себе?".

Помятую шляпу свою Ленин прихлопнул на самые уши, чтоб не сдуло, и опять погрузился в правый угол автомобиля.

— Как, по вашему, возьмут Казань или нет, — спросил он Андронникова?

— Едва ли удержим, — ответил Андронников.

— А как настроение?

— Да у нас настроение хорошее. Ребята понимают опасность.

Ленин сразу насторожился: прищурил немного левый глаз и приподнял правую бровь. Немного в бок, подставляя правое ухо, наклонился к Андронникову: если Ленин слушал, то весь без остатка.

— Понимают, — говорил Андронников, — особенно рабочие. Впрочем, теперь и красноармейцы.

— А как относятся к созданию большой армии, настоящей?

— Хорошо. Ведь без этого не обойтись.

Автомобиль с переулка в'ехал во двор Совета.

Ленин из автомобиля, по привычке своей, словно вырвался,

вбежал по лестнице и промелькнул в комнату президиума. Андроников не поспевал за ним.

Потом они оба вышли на балкон. Андроников был торжественен. Голубые глаза его блестели, все черты лица, слегка потемневшего от бессонных ночей и голодовки стали более определенными и напряженными. Новая кожаная куртка „на рыбьем меху" — военная обновка, облегала его непривычно, неуклюже, но так блестела, так хорошо, по новому охватывала плечи, руки, грудь. И в душе Андроникова было большое обновление. Все вещи и люди были уже другими: свежими и новыми.

Рядом с ним стоял Ильич и, перегибаясь через перила балкона, поворачиваясь немного вправо и влево, произносил речь. Говорил, исторгая слова из самой глубины своей сущности, отчего и звук голоса был точным, налитым той особенной жизненной силой, которая полной чашей льет в сердце уверенность. Все слова у Ленина обыкновенные. А попадет это слово в сердце, раскусишь его — в нем ядрышко. И от этого горячего Ленина, от его изборожденного песчаного лица, от простых глаз, не то огненных, не то коричневых, от всей его плотной фигуры на Андроникова опять нашло то странное закружение, которое обнимало его по особенному, человеческому, по родному. Будто это старший брат его.

Среди речи Ленина Андроникову ударило вдруг в уши: „Дьявольски трудное дело управлять страной... Неужели мы с ним управляем страной", — подумал Андроников. И вот такой коричневый пиджачок на Ленине, помятая шляпа. А власть, все это родное, свое — и власть. Вспомнил Андроников, что металл так плавится: сначала горячий, мягкий, послушный ударам, согласный руке. А выплавится — станет холодный, режущий, всегда мощный, непобедимый. Вот и власть так родилась из огня, из горяча. Потом охлаждается, чтобы быть непобедимой.

Ленин давно уже кончил. Говорил кто-то из полка, а в голове Андроникова все вертелось: „непобедимы мы, мы непобедимы".

Тем временем на плошади уже скомандовали строиться и уходить. Андроников немного растроганный, взволнованный сел в свой автомобиль.

— Товарищ, — спросил его шоффер, — что, как Владимир Ильич вообще... так вообще, человек какой?

Как и все: обыкновенный.

— Нет.

— Почему же „нет".

— Да потому, что нет.

Вечером у приятелей городского района были проводы Андронникова.

Бертеньев, Андронников да еще присоединившийся к ним Резников выволокли пианино из-под всякого хлама, обтерли пыль, от которой чихнули поочередно две жавшиеся друг к другу девушки.

— Я верю только в Ильича. После Брестского мира я приобрела к нему необычайную веру, — проговорила девушка в синем пенснэ, Несмелинская, сидевшая на ручке дивана.

— Ильич. Никто не говорит про это, — отозвался Андронников.

— Да уж защитника крестьян нельзя отыскать большего, как он, — вставил Бабаев.

— Вот именно, — согласилась Несмелинская.

— Да только он их защищает особенно, с рабочей стороны к ним подходит, — заметил Андронников, который пыхтел на четвереньках, поправляя педаль пианино.

— И совершенно верно... Вот, что я могу рассказать вам, ребята.

Бабаев почему-то перетянул пояс потуже, разгладил пятерней лохматую бороду, колупнул еще раз в своем затылке, крякнул:

— Ммд... Вот написал я раз к Ленину письмо. Не так, мол, надо подходить к крестьянину. И все, значит, по порядку ему изобразил. И то и это, и то и это, и все такое. Неправильно, мол, ты немного, Ильич, и так далее. Прошло уже много времени. Перед самой моей поездкой на фронт, пошел я к Ленину, тем наипаче, что мне было дано ответственное задание по части полковника Муравьева. Ммда... Пришел я к нему. Говорит он со мной о том, о сем, а о письме не напоминает. Что, думаю, за оказия. А у меня на конверте и расписка его есть. Неужто, думаю, не читал. — Нет, наверно, мол, забыл, делов много. Неловко это мне маленько. Тем наипаче, что я там подробно о продовольственном деле писал. Выбрал я минутку среди разговора и спросил: „А что, Владимир Ильич, получили вы мое письмо?" Он за столом по середине, я немного сбоку. Как он сразу повернулся ко мне всем корпусом, кулаки в бок упер, а лицом-то ко мне близко-близко перекинулся через кресло, перекосился, знаете, как всегда на один глаз.—„Получил", говорит. И откинулся опять

назад про другое разговоры ведет. А про письмо ни гугу Постой, думаю, опять я выбрал минутку, и осторожно: „А вы... того, мол, читали?“. Опять одним глазом прищурился, другим как стрельнет. — „Читал“, говорит, а сам опять о другом. Ничего, видно, не поделаешь. Не хочет говорить. Потом стал прощаться. И все: „товарищ Бабаев“, да „товарищ Бабаев“.—Видать, что-то еще хочет... А я ничего. Схватился уже за ручку двери, хочу отворить. Он меня за руку. — „Знаете, — говорит, — товарищ Бабаев: если вздумаете что написать — буду рад. Ваши письма мне передадут прямо. Пишите обязательно“. Распрощались по хорошему. Вот, ведь, какой он. Значит понял, что я ему дело писал.

Бертеньев опытной рукой попробовал клавиши на пианино и заиграл. Вся комната осветилась сразу, словно двойным светом. „Управлять значит — рука с рукою, мысль одна“,—подумал Андронников под звуки волнующей его музыки. „Все выше, все выше“, — твердил он сам себе неизвестно о чем.

А звуки лились, словно радовались своему воскресению из хаоса.

„Все смелее, смелее“,—твердил про себя Андронников неизвестно почему.

А за окнами, не закрытыми занавесками, притаилась тихая, черная московская улица. Тихая, черная, как лихая изменница.

— Трррр, трррр...—как бешеный ворвался телефонный звонок во все уши.

Андронников сидел близко к телефону.

— Слушаю,—сказал он.

— Где, в Басманном? — спросил он, встрепенувшись и побледнев.—А, в Замоскворечье, у Михельсона... Сейчас еду.

Оборвались звуки музыки, звуки слов, оборвались мысли и чувства.

Андронников, нахлобучив фуражку, успел только сказать:

— Ленина... стреляли...

А. Аросев.

ЛЕНИН.

1.

Комната.
Лент телеграфных аршины.
Аппарат.
У стола затаенный свет.

Как всегда...
А теплые губы машины
шопотом:
— Нет...
— Нет...
— Нет...
Нет!!
И с губ, перекошенных в пене,
в грохоте,
вое,
шуме
вырвалось:
„Нет... Ленина!! —
Ленин...
Умер!!!“
Телеграфист шагнул,
покачнулся пьяный
и такую же весть
передал в ветра
и опять
засочился раной
обезумевший аппарат.
И над бьющейся головой человека
поднялся телеграф
и
рухнул, крича,
на колени.
— Ильича!!
И услышала проводов просека
— Ильича!!
— Ленина!..
— Ленина!
— Ленин!!

2.

Мерным
тяжелым боем
билось железное сердце
заводов.
В свисте и скрипе ветра
деревня
закопалась старушкой.

И вдруг...
пушкой
бабахнула весть:
— слу —
шай —
те,
го — ро — да...
— Бе — да!!
И глуше:
— де — рев — ня...
слу — шай:
— Ленин!..
— Спокойствие!
— Месть!
— Не рыдать!
И города
в свист и в тяжелую тьму
по одному:
— Есть!
— Есть!
— Есть!
Городов не счесть
но в городах — заводы
и,
как осенние воды,
заводы —
в грохоте человечьей реки.
И у каждой рабочей руки,
у руки из живого мяса,
котлом паровым —
в воздух
и в дым
лопнуть готовые вены.
Дрогнули стены...
Казалось:
минута... минута...
Один, и другой,
и третий,
встретив
зрачками зрачки,
отойдет

и... встанут, крутяся, станки
перестанут
шуршать
приводы
и встанут заводы,
и под дыханием смерти
мертвые подымутся города
и вокзалы.
Казалось:
И...
. . . . . .
Задымила первая фабрика,
другая...
Шагая
железными каблуками
о камень,
тронулись по дорогам трамваи
хромая,
пошли паровозы,
грузовики,
пешеходы.
К станкам подойдя,
стали, бледнея, люди.
И груди
вздохнули не в такт мехам.
Только:
отдан приказ глазам.
Только:
Глазам приказ
отдан:
На пол завода —
Ни слезы!
Ни дождя! —
Будь медным.
Это рабочие
выполняли победно
последний
приказ вождя.

С. Малахов.

СОВЕТСКИЙ ЧАСОВОЙ

Заткало пряжею туманной
весь левый склон береговой.
По склону поступью чеканной
советский ходит часовой.
Во мгле туманной берег правый,
за темной лентою Днестра
припал к винтовке враг лукавый,
в чьем сердце ненависть остра.
Кто он? Захватчик ли румынский?
Иль русский белый офицер?
Иль самостийник украинский?
Или махновский изувер?
Пред ним, дразня его напевом
рабочей песни боевой,
на берегу на том, на левом
советский ходит часовой.
Лукавый враг — стрелок искусный,
послал он пулю, знал, куда.
Но не ушел убийца гнусный
от справедливого суда.
В кругу ль убийц, ему подобных,
наедине ли, все равно.
Под вихрь и чувств, и мыслей злобных
ему мерещится одно:
там, над Днестром, во мгле туманной,
все с той же песнью боевой,
все той же поступью чеканной
советский ходит часовой.

Демьян Бедный.

СОЛОНСКИЙ ЯР.

I.

К слобожанским Млинкам подошли могучие леса Полтавщины и за три версты остановились.

Стоят стеною, хмурятся. В гущину дорожка по папоротнику за сизыми кущами, к Солонскому Яру.

Солонский Яр: яр и село. В селе пахнет дубовым молодняком, стоит над яром—селом, а ниже в пропасть потянулись строй-

ные и темные яворы, и только верст за десять выплывают, чтоб молчаливо выйти на запад, на юг.

Днем по-над селом скользит лоскут перламутровых туч, а в ночи тучи никнут за пропастью, тогда горит Солонский Яр светляками — и лес, и село, и небо.

Тогда горит, чарует папоротник.

Солонский Яр — природный кремль.

Солонские острожники сказывали:

— Есть Холодный Яр, а это — Солонский Яр... Вот, то-то же...

А в Млинковской волости жаловались:

— Прохвосты! Чортова батька выдерешь их оттуда.

Чесали затылки. Собирались на сходку. Обдумывали. Еще чесали затылки.

— Что тут поделаешь? А? Запетлевали, как есть!

...Когда настает ночь, Млинки напряженно смотрят на темную стену полтавского леса и ждут. Но неведомо, в какой загон забредут солонские волки. Только ранним утром шумит село.

Ранним утром узнают, кого обобрали до „нитки".

...Стоит могучий дуб на полпути к лесу, а по направлению к нему сереет утренний шлях, от ветряков перегибается на делянку молодняка.

...В немытое окно волостного совета дороги почти не видать.

Савко Гордиенко — безусый председатель с острым лицом — поглядел в окно и подошел к толпе.

— Ну что? И сегодня обобрали кого-нибудь?

— Да как же: Матвея Юхименка.

Подошел еще один селянин и безнадежно развел руками

— Не иначе, как дивизию надо сюда.

Поддакивают.

В комнате тяжелый запах архивной бумаги, а писаря перьями скрипят.

Савко стукнул себя по лбу:

— Вот напасть... Придется воевать...

Согласились.

— Глядите, вам видней... А что напасть, то это правда.

Но сосед Савка предупреждал:

— Ты гляди, Савко, пять председателей укокошили, так... может и тебя отправят на тот свет. Это, брат, тебе не фронт, не австрияка галицийский.

...А в село из Солонского Яра выползали какие-то люди и исчезали где-то за тынами.

Еще там было слышно про Савка:

— Такая ему фортуна: смирен будет — пусть председательствует, а затронет...

...Над Солонским Яром растаял последний луч, в лесу начало темнеть. С севера поплыла туча, тоже шла на запад.

...Пахло дубовым молодняком.

II.

„...Приказываю немедленно выловить банду, что в Солонском Яру. Отряда прислать не могу, почти все люди в раз'ездах".

Такой наказ от уездного военного комиссара.

Савко подумал: „Оно и, правда, пора".

Собрал милиционеров:

— Айда!

Милиционеры — старые партизаны, дух партизанщины глубоко сидит.

Рыжий милиционер, старшина [1]), говорит:

— А что, того... можно будет в Солоновке самогону... слышишь, Савко?

Председатель не слышит — задумался. Думает, что ему делать: острожников, конечно, на селе не поймаешь, а солончане-то своих не выдадут.

...Скоро в'ехали в лес. Кони насторожили уши и прислушиваются к эху, что отдается в гущину от удара копыт.

Глухи столетние леса Полтавщины и отчего-то тут грустно.

Насторожились кусты, трещат ветки. Иногда кони шарахаются в сторону, и тогда шелестят листья на весь лес.

Рыжий милиционер полез за кисетом, а другой рукой поравнял своего коня с Савкиным.

— Слушай, друже, может не будем тревожить их, уладим?

— Это кого? солончан?

— Ну, да!

Савко отвечает:

— Приказ есть с уезда. Нельзя...

Остальные четыре милиционера пыхтели цыгарками и молча оглядывали гущину. Сизый дым махорки тучею стоял над отрядом, а потом струйками расходился за ветвями, за зеленью.

...Под'езжали к Солонскому Яру. Дорожка ведет прямо в село, а нужно заехать с другой стороны.

---

[1]) Старшой.

Пустили коней в гущину, и зашумел, затрещал лес.

Верховые под'езжали, спрятав лица в седла, а кони легко храпели и упрямо продирались к просеке.

Солнце давно уже грохотало над лесом, но тут его не было слышно.

Здесь никогда не было солнца и всегда стояла затень.

...Порешили: когда выедут на опушку, айда на Голохвастовский край (это квартал в Солонском Яру).

Винтовки приготовить, но без приказа старшего не стрелять.

Продирались еще и, наконец, сквозь чащу прорезались дорожки света. Отряд, наконец, выскочил на опушку.

...Залаяли собаки. По яру забегали фигуры.

— Стой! Куда бежишь? Стой!

Голоса верховых суетились в зелени, и со всех концов откликались отголоски.

Савко крикнул:

— Стреляй в воздух

Бухнул выстрел над Солонским Яром, и вдруг село стало мертвым.

Под'ехали к голохвастовским строениям.

— Дома хозяева?

Выходили бабы, испуганно смотрели на верховых, но, узнав млинковских хлопцев, всплескивали руками.

— А, чтоб вам ни покрышки. Ну, и напугали ж вы.

— А мы подумали и взаправду комуния наскочила.

Савко сурово поглядел и спросил:

— Где ваш председатель?

— Какой председатель?

— Да староста ж?

— Так бы и говорили... Марфа! А ну-ка позови председателя.

Вскоре пришел и председатель.

— Где твои голохвастовцы? С уезда пришел приказ арестовать их.

Усмехается:

— Да где ж я их возьму?... Господи! Леса ж таки, слава тебе, Микола угодник, не маленькие—есть-то где спрятаться.

А потом заморгал подслеповатым глазом:

— Пожди, Савко, пойду, может-быть, достану чего. Как же так: гости приехали, надо же все-таки подкрепиться.

Савко решительно отрезал:

— Никоторого гвоздя!

— Сполняй, что требуют.

Рыжий милиционер с досадой почесал затылок:

— Слышь, Савко, а магарыч и не помешал бы, ей-богу.

Но млинковский председатель ничего не слушал. Приказал своим хлопцам выбирать из голохвастовских скрынь добро, а „старосте“ приказал тотчас подать подводу.

Заорали, заголосили, завыли бабы; засуетился и „староста“.

Зашумел Солонский Яр.

В каждой хате раскрыли скрыню и повыбирали из нее одежду на поводу.

А уезжая, Савко пообещал еще и спалить все голохвастовское гнездо, если острожники добровольно не явятся в Млинки.

Лишь только отряд с подводой скрылся в лесах, к хатам стали стекаться какие-то темные люди. И долго слышен был грозный гомон в Солонском Яру...

III.

В Млинках шумел базар.

Несколько оседлых здешних цыган теребили за хвосты лошадей и выкрикивали, как и двести лет тому назад.

Бегали, лопотали перекупки.

А возле блестящих гор горшков стояли важные гончары Полтавщины.

Савко и рыжий милиционер носили по базару барахло, что собрали в Солонском Яру, и выкрикивали:

— Люди добрые, признавайте свое добро!

Подходили, лапали одежду, качали головами, но никто не осмеливался признать свое.

В толпу падало белое солнце и пахло сливами и яблоками, еще пахло конским потом, и мычали покорные коровы.

Тогда к Савку подошел низенький человек в разорванной свитке.

Лицо стянуло ему морщинами и казалось, что он плачет.

Пощупал зеленый платок, погладил его нежно и еле слышно промолвил:

— Конечно, Дунькин... Дуньки моей...

Но вдруг куда-то исчез — нырнул в толпу. Только около „потребилки“ подошел он снова к Савку и тоненько, как-будто горох рассыпал, спросил:

— А, что, Савко, не слыхать ли, долго война еще будет?

А потом потрогал еще раз зеленый платок и вздохнул про себя:

— Конечно, Дунькин...

Блеют овцы. Через базар прошла отара, и пыль спрятала солнце.

Где-то выкрикивают щетинники, и бежит гул за выгон, где стоит заколоченная панская усадьба.

— Люди добрые, признавайте свое добро.

...Но не видит Савко, что за ним следят солончане; злобно, лукаво смотрят на него.

А когда обернется он к ним, покажут они ему спину, а по спине чорта с два узнаешь.

Рыжий милиционер поблескивает красным носом и далеко несется от него запах самогона.

Еще с час походили — никто не признает...

Что за напасть!

Пошли в волостной совет, сложили солончанское барахло около шкафа.

...В совете полно народа.

Зашло несколько человек в комнату председателя:

— Не так вы делаете, Савко, не след выносить его на базар.

— Почему это?

Подошел к Савку Онищенко, из комнезама, на ухо говорит:

— Здесь они.

— Кто это?

— Да солончане ж, голохвастовцы.

Ударил себя Савко по затылку.

— Так вот почему никто не признает!

Позвал рыжего милиционера:

— Тотчас собери хлопцев, надо окружить: голохвастовцы тут.

Покачал головой рыжий;

— Где их там найдем тепер?.. Давайте, пожалуй, вдвоем

Некогда Савку болтать, схватил винтовку и побежал.

Ходит меж гончаров, будто горшки внимательно разглядывает, а сам глазами впился в толпу.

Играет солнце на поливяных горшках и весело поблескивают горы гончарного добра.

...А голохвастовцы, должно-быть, заприметили что-то неладное, к лошадям пошли.

Наконец, Савко увидел их. Кинулся в толпу.

Но уже было поздно: только пыль закурила по дороге к ветрякам, что на полтавский лес.

— Эй, держи!

Савко прицелился и выстрелил.

Зык! Шум! Рев!

Но голохвастовские кони исчезли уже за ветряками.

Кинулся Савко к волости, вскочил на кобылу, крикнул рыжего милиционера и—айда за солончанами.

...Затревожился базар, стали гончары складывать горшки на возы, цыгане потянули за хвосты лошадей, двинулись люди к домам.

Только щетинники внимательно разглядывали свой товар на ларьках и еще сзывали перепуганный народ.

Где-то кричала перекупка:

— Куда ты утащил, харцызник!

— Люди добрые, держите злодея!

IV.

Темная наша отчизна. Разбрелась по желтым целинам черноземa и горной росой и на пожнях своих золотых полей. Блуждает она за ветряками и никак не найдет веселой дороги.

Темная наша отчизна... Взмыленные кони остановились на опушке. Молвил Савко:

— Утекли!

У рыжего милиционера от сумасшедшего бега нос стал точно луковица.

Утирал платком пот.

— Повернем, должно быть, домой, или как?

— Нет! Айда на Солонский Яр!

— Да чого ж мы поедем?

— А того, что надо высмотреть, осточертели уже.

Рыжий говорил, что не безопасно вдвоем в такое логово тащиться.

Но Савко стоял на своем.

Поехали.

За полверсты остановились, спешились и из чащи оглядели Солонский Яр. Савко ждал, что возле дворов суетня начнется, но на улицах никого не было видно: и яр, и лес, и село,—все притаилось в зеленой тишине.

Так переждали, должно быть, часа два. Потом Савко велел переехать на другую сторону, что утонула в молодняке, куда не достигало око.

Когда сели на коней, в лесу завечерело и снова остро запахло молодняком.

Сорвался заяц и зашелестел по листьям.

...Темная наша отчизна и темные в ней леса. Тянутся они на Полтавщине молчаливо на запад, на юг.

... Говорил милиционер:

— А, может, помирились бы... Слышь, Савко.

— Нельзя.

— А то, ей-богу, магарыч выпили б...

Савко остро вглядывался в гущину. Солнце, должно быть, уплыло за горизонт, и по лесу ходили уже тяжелые сумерки.

Когда снова в'ехали на тропинку, что ведет к Млинкам, Савко вдруг схватил рукою винтовку. Но в этот миг громыхнул выстрел и далеко раздалось грозное эхо.

Кони рванулись и кинулись из лесу. Засвистел ветер.

Громыхнул еще один выстрел, и зашумел лес от щелканья копыт: за млинчанами летела погоня из голохвастовцев.

Рыжий милиционер остановил коня.

— Братцы, не бейте!

Но Савко понимал, что пощады ему не будет. Как сумасшедший, гнал он свою кобылу на Млинки.

Цок! Цок! Цок!

Еще далеко позади солончане, но Савку добежать бы до ветряков.

Цок! Цок! Цок!

Свистит ветер в ушах. Гнедая кобыла остановилась, тяжело дышит на деревья... (неужели нагоняют?)

...Свистит ветер.

...Наконец, Савко выскочил в поле. На западе тлело небо... Поле горело бурьянами.

Снова громыхнул выстрел—то выскочила на опушку ватага солончан.

Савкина кобыла пролетела еще несколько шагов и грохнулась на земь.

Захрипела.

Савко залег за лошадиную тушу и начал отстреливаться.

Ватага остановилась. Но то был лишь один миг; тотчас же солончане пошли в обход.

Тогда Савко ползком полез к Млинкам.

У ветряков выпустил он последнюю пулю и кинулся к последней хате.

Вскочивши во двор, он залез под комору...

...Скоро во дворе были и Солончане.

V.

Млинки точно вымерли, только собаки упорно лаяли по дворам. Заслышавши выстрелы, млинчане попрятались по хатам, не выходили.

Голохвастовцы вытянули из хаты хозяина:

— Говори, где он? Ты ж видел, куда он спрятался?

— Да я ж, ей-богу...

Свистнула шмелем в воздухе нагайка.

Хозяин заплакал и указал на комору.

Заревели солончане, окружили здание.

— Гей, ты! Чего перепугался, вылезай!

И наставили под комору отрезы.

...Савко молча вылез, огляделся вокруг себя и склонил голову.

Злорадными зеленоватыми светляками горели у голохвастовцев глаза.

Подошли к Савку, молча раздели его, и голого повели в поле.

Шел по дороге Савко и тупо глядел на полтавский лес.

...Млинки молчали.

...За ветрякамн голохвастовцы остановились:

— Хлопцы! У кого нож поострее? Ну? Вынимай!

...А затем двое отошли в сторону, подошли к хате и пустили два красных петуха.

...На далеких гонах горели огнем суховея духмяные бурьяны.

Поднялся ветер.

Зашумели Млинки.

Ударили в разбитые колокола.

Заголосили улицы:

— Спасайте! Спасайте!

...А глубокой ночью от слизанного пожаром края двинулись толпы людей на голохвастовцев.

...Тою же ночью величавое зарево пожара стояло над Солонским Яром.

И снова на далеких гонах горели огнем суховея духмяные бурьяны и остро пахло дубовым молодняком.

М. Хвылевый.

ОЛЕНКА.

(*Отрывок*).

Оленка — с отрядом красных партизан, что под командою Матяша уже месяц гуляет по степям и оврагам южной Полтавщины; пролетали села, зазывая к себе хлопцев, собирали всех, кто не хотел вкладывать шею в золотое ярмо.

И было это горячей летнею ночью, когда кузнечики так настойчиво трещали, а темная тень поднималась от земли к темному небу. Тогда лежали партизаны и ждали у дороги — за кустами: вдыхали ароматы земли и ловили ухом тишину: —туп, туп, туп — ускоренно... кони!

Ждали остро, напряженно. Оленка лежала в цепи, воткнув свой карабин в ночь.

Когда-то были мысли и сердце боязливые, а теперь — всем существом жалась к верному стальному товарищу и ждала резкого, короткого: пли.

И вот пришло. Ближе и ближе топот. Вихрем мчатся кони. Тогда зазвенела цепь, брызнув огнем. Загудело и отдалось над землей:

— Пли!

Как ветер, метнулись кони, высоко поднявшись на задние ноги и взмахнувши гривою — бурею помчались в степь. Пронзили воздух тоненьким свистом пульки и мягко стукали, когда попадали в тело.

— Тум, тум, тум...

Распылился цепью повстанческий отряд, как-будто развернул крылья широко, широко заляскали стальные зубы... Было и окончилось. А потом...

Лежал в своей крови офицер. Метко бил карабин: там, где сердце выше всего поднимало грудь,—чернела маленькая дырочка, а оттуда струилась кровь.

Оленка знала, чья пуля пронзила золотом шитый мундир.

— Так и должно быть.

А вороной конь офицера и другие кони летали на свободе.

Эй, хлопцы — ловите!

Когда переловили коней, Оленка сказала:

— Этот будет моим, — и товарищи согласились потому что любили своего синеглазого „ад'ютанта".

С того времени вот уже месяц она гуляла на своем вороном „соколе"...

... Под покровом ночи выступили хлопцы. Командир впереди; рядом Оленка.

Широко и свободно стелется дорога; бежат от нее во все стороны узенькие дорожки меж хлебами: бежат, свиваются без конца убаюканные шелестом трав, что рядом коврами стелятся. И на этих дорожках рассыпался отряд, рассыпались хлопцы на запад и восток по двое: расплылась сила и утонула во тьме.

Мягко ступают кони, командир и четверо. Четвертая—Оленка Врезались глаза в тьму—рука стиснула сталь. Мягко воздух прижимается к лицу, к загорелой шее. Лоскочет за ухом ветер — прислушайтесь!

Силуэтами движутся люди. Как-будто в сказке, прочитанной в детстве, на фоне черной ночи выступают кони, замирает звук в траве, притаился. Да разве ж это не те загорелые хлопцы, что потом, в огне и железной буре, пролетели Украину широкую от Дона до Карпатских гор!

Сильно стучит сердце в молодых грудях, остро смотрят глаза. Эй, не зевай!

... Самая верная рука и самое острое ухо у Кожуха.

— Слушайте — топот.

Замерли кони. Вьюном гибко, как сталь, что, сдавленная с двух концов, мгновенно выпрямляется.

Кожух спустился с седла. Приложил ухо к земле.

— Идут. Идут недалеко с востока.

Что делать? Широкая и гладкая степь и далеко видно темные силуэты: ни кустов, ни кочек никаких.

— Поворачиваем на юг.

И еще:

— Оставить одного — разведку.

Взглянула Оленка: т. командир — я.

Нырнула в траву.

Силуэты расползлись, во тьме—тихо... Весело ступали кони. Винтовки выныряли из-за плеч.

... Так рассказывали потом.

Не по своей охоте шли трое: два хлопца и одна дивчина со связанными руками.

Впереди и сзади тесной стеною вооруженная стража: горят на солнце сабли острые, усмехаются золотые погоны—только глаза пьяно мутнеют и огонь кривит губы... Что, — попались!

Идут двое и между ними Оленка в солдатской фуражке. Жить, так хочется жить, так хочется широких степей, круга товарищей.

Вспоминает... Плывут картины. Вот змеится насыпь. Плывут стальные рельсы. Где теперь он, ее отец?.. А там где-то гремит грохочет неприятельский эшелон... Луна то выглянет, то в тучи ныряет... Дальше и дальше мчится мысль. Грохот, страшный крик, — а быстрые кони несутся хлебами...

Это не суд был.
— Бандиты?! А? — партизаны красные!
Лисья голова и маленькие светящиеся глаза.
— Знаменитая Оленка?
— Я — ровно, спокойно сказала дивчина.
— Расстрелять!..

И. Сенченко.

МИКУЛИН ХОД.

(*Отрывок*).

Он восстал, черноземный и серый,
вечный сеятель солнечной ржи,
кистенем да неистовой верой,
размахнулся Микула-мужик.
Он по старой старинушке — колом,
он по царской короне — дубьем.
По широким полям и по селам
раскололся малиновый гром.
Зарумянилось облако в небе,
грохнул колокол в серых полях.
Запрокинулся месяц, как гребень,
в золотых, как снопы, волосах.
Красный день развеселые зенки
пялит на поле спелое ржи,
где блестят, как иконы на стенке,
золотые кривые ножи.
Размахнулся Микула рядниной,
поднялся головой до небес.
Стонет тяжко под красной дубиной
злых врагов пошатнувшийся лес.

Где взмахнет — ляжет улочкой ворог,
где ударит — мокренько-мокро.
Зачерпнула деревни и горы
даль в свое голубое ведро.
Лупит с розмаху старый Микула,
необхватный народушко-сноп,
по купецким откормленным скулам,
кистенем да в напудренный лоб.
Глаз Микулы востер да зорок.
Кистенем — и навстречу, и вслед.
Где взмахнет — ляжет улочкой ворог,
а ударит — и признаку нет.

П. Орешин.

АНДРОНОВА КОММУНА.

I.

Сидит Андрон в исполкоме — приказ за приказом.

„В бывшем доме священника немедленно оборудовать сцену для разного представления. Столяра Тихона Белякова и плотника Кузьму Вахромеева мобилизовать без всякого уклонения. У Прохора Черемушкина взять на общую пользу восемь досок поделочного тесу".

Ругается Черемушкин маленьким языком — большой молчит.

И Тихон с Кузьмой ругаются маленькими языками—большие молчат.

— Вот так правитель!

Сказать большим—в контру-революцию попадешь.

Секретарь исполкомский пишет:

„Немедленно всем коллективам села Рогачева запахать озимое красноармейкам".

Вся волость ругается маленьким языком.

Вот так правитель!

Ничего не поделаешь. Тихон с Кузьмой „сцену тешут" в батюшкином дому, топорами громко постукивают. Стонет старый батюшкин дом. Трещат доски, ломаются перегородочки. Везет Прохор восемь досок на общую пользу, хлещет лошадь под задние ноги. Глаза под шапкой огнем горят, на зубах песок хрустит.

Ничего не поделаешь.

Пашут мужики озимое красноармейкам, от удивленья почвакивают.

— Ну, и порядки!

Плохие порядки, а все-таки пашут. Никому не хочется в контр-революцию попасть.

II.

Поют девки с бабами, горя не чувствуют. Или глаза другие у них—видят только веселое—или совсем нет такого горя, чтобы не петь.

Выгрузил Максим Иваныч сорок пудов по приказу испол-комскому, думал: почернеет Рогачево село вместе с хозяином.

Нет!

Выгрузил Трифон Самойлович пятьдесят пудов по приказу исполкомскому, думал: ахнет Рогачево село вместе с хозяином.

Нет!

Увезли Лукьяна Лукьяныча в дом принудительный, думали: солнце светить перестанет, а солнце светит попрежнему, и ветер дует попрежнему. Дождь идет, звезды по ночам горят, месяц сторожем ходит: над полями, над лесами, над селами дальними, над деревнями ближними. Ничего с места не тронулось...

Москва — город, Казань — город, Самара — город, Рогачево—село, Худоярово—село. В Москве, слыхать, недовольны, в Казани, слыхать, недовольны. В Рогачеве котел кипит.

Берегись, Андронова коммуна!

Сотнями зубов будут рвать. Сотнями рук будут бить.

Мало!

Сотнями ног будут топтать.

И этого мало!

На огне живым сожгут. К лошадиному хвосту привяжут, по полям, по горам, по оврагам будут волочить изуродованных.

Берегись, Андронова коммуна!

Помянутся тебе и Черемушкины восемь досок, взятых на общую пользу, помянутся и девяносто пудов, выгруженных по приказу исполкомскому. Ударит колокольня в большой колокол, ударит в маленькие колокола. Разлетятся от ударов голуби перепуганные, рассыпятся во все стороны воробьи ошарашенные. Упадет замок, Андроном повешенный, растворятся двери церковные, Андроном запертые. Возрадуются угодники, ликом почерневшие. Наденет батюшка ризу пасхальную, наденет дьячок новый стихарь. Поднимет батюшка кадило зажженное, возгласит голосом, давно неслыханным:

— И во веки веков!

Покроет Рогачево село вместе с дьячком:

— Аминь!

И будет, как прежде.

Сцену в батюшкином доме разломают, доски попорченные Черемушкину отдадут, станут минувшее вспоминать.

— В каком году?

Кипит котел в Рогачеве селе.

Косы с топорами точатся, мужики рубить коммуну Андронову собираются.

— Смерть!

А девки с бабами флаг красный для коммуны шьют.

Ничего не поймешь.

Привезли исполкомские атласу-материи из города.

Аннушка Прохорова — главная закройщица. Старуху-мать в угол зажала—и тут хорошо. На столе машинку швейную поставила, атлас-материю расстелила скатертью. Девок накликала, бабам на ухо шепнула.

Словно замуж готовят коммуну некрещеную. Машинки стучат, ножницы щелкают, девки шелком голубым вышивают по красному:

— Пролетарии всех стран.

Одна—в избу, одна—из избы.

Какой праздник пришел?

Тут и Яшка Мазла, и Гришка Копчик с деревянной ногой, лучший Андронов советник.

Вышивают девки голубым шелком по красному, играют песни в пять голосов.

Вот так порядочки!

III.

Сидит Андрон в исполкоме — приказ за приказом. Все нутро исполкомское бумажками залепил: курить нельзя, плевать нельзя, ругаться нельзя. Земельный декрет, продовольственный декрет. Гужналог, продналог, губпродком, райпродком. И все неукоснительно, без всякого промедления. Ленина подпись, Калинина подпись, Андронова подпись с большой закорючкой.

Сорок лет висел в переднем углу Николай-угодник при старом режиме. Андрон распорядился:

— Снимите! Предрассудок темной массы.

Ничего не поделаешь.

Привез старика из города с белой бородой, сказал:

— Это Карла Маркс, дадим ему первое место.

А Тихону Белякову, столяру рогачевскому, приказал:

— Немедленно оборудовать раму малиновой краски!

Поставил Карла на место Николая в передний угол, по бокам еще двоих: Ленина с Троцким.

Долго думал Потугин, Софрон Семеныч. Пришел поглядеть— верно. Стоит в углу старик седой, волосы как у попа. И еще двое по бокам. Один глаз прищурил, другой в шапке, борода клинышком, лицо немужицкое. И венки из сосновых веток и лента красная, две хоругви с золотыми кистями. Только лампадки не хватает.

Поглядел Потугин грустно этак, плюнул и ушел. Встретил Михайлу на улице, головой покачал.

— В часовне был у твоего сына. Больно хорошо — лучше некуда. Новых святых произвел.

А Михайла как маленький.

— Нет моей воли! Видишь, под ногтем сижу.

Чья же тут воля? Михайлиной нет, Потягиной нет, все Рогачево одним голосом говорит:

— Помимо нас работают!

IV.

А на улице слухи растут: в казаках генерал поднимается, в Сибири генерал поднимается. Ведут генералы войско несметное, несут народу крестьянскому освобождение. У кого хлеб брала коммуна—назад. Лошадей брала—назад. Все—назад. Генерал, который в казаках поднимается, прямо сказал:

— Вы, старички, не сумлевайтесь. Поможете мне—живо разделаюсь. Губпродкому—смерть, райпродкому — смерть, картинки большевистские — в печку.

И тот, генерал, который в Сибири поднимается, прямо сказал:

— На хлеб—цена, на овес — цена. Кто бесплатно возьмет — под суд на четыре месяца.

Потугин на печке лежал пятый день: ломота в спине появилась. Услыхал про генералов — легче стало. Вышел на улицу и бороду расчесал, словно к празднику.

— Богов коммунских выкидать надо!

Трифон Самойлыч шопотом:

— Прижмут.

И Максим Иванович шопотом:

— Закрутят!

А Прохор Черемушкин восемь досок на душе таскает, будто восемь грехов.

Не дают они покоя ему, сон разбивают, от еды отталкивают.

Кольнет перо хозяйское Прохора, вскочит ночью, а генералы—вот они: как на картинке стоят, и писарь генеральный с бумагами.

— Ты — Черемушкин?

— Я.

— У тебя взяли восемь досок поделочного тесу?

— У меня.

— Распишись!

Замучили восемь досок. Сам не рад, от хозяйства отбился—остановиться не может. Бегает из улицы в улицу, шепчет:

— Двенадцать тысяч казаков... Земля на откуп... Беспартийных не трогают...

Каменный сидит в исполкоме Андрон, неподвижный. Брови нахмурил, шею напружинил. Не мужиков видит с растрепанными бородами—жизнь мужицкую темную. Гришка Копчик с деревянной ногой доклад Андрону делает.

— Генералов ждут мужики, до твоей головы добираются. Какие меры принимать?

Молчит Андрон. Только ноздри раздуваются, словно в гору высокую лезет. Сломал перо у красной председательской ручки, ручку надвое переломил, обломки — под ноги.

— Дураки!

Долго стоял у окна, разглядывал знакомую рогачевскую улицу. Баба с ребенком прошла, свинья у ворот развалилась. Низко пригнулись избенки под тяжелыми соломенными крышами. Грязь, навоз, бедность. Отец мешает, мать мешает, каждая избенка затаила темную мужицкую злобу. Не жалеть нельзя и жалеть нельзя. Итти надо: против отца с матерью, против друзей и товарищей. Против всей жизни итти.

Горят мысли в Андроновой голове, болью тяжкой распирает виски.

— Дураки!

Поглядел на Гришку Копчика, глазами вспыхнул.

— Бить буду, если поперек моей дороги встанут! Головы отверну, не пожалею. Я знаю, что делаю. Война, так война...

VI.

Ну, вот и война.

Лежит Потугин на печке—расслабился. С одной стороны — генерал, с другой стороны—генерал. Встали два генерала с двух сторон говорят:

— Слушай, Маркель Семеныч: на хлеб—цена, на овес—цена. Хочешь?

Радостно сердцу стариковскому — деньги. Смотрит хорьком из норы, а на пороге смерть мужицкая с косой за плечами.

— Кайся, старик, от Андрона приказ тебе вышел...

Потемнело в одном глазу; в другом зарябило. На улице рев, шум, крик. Закрутились мужики рогачевские, на дыбы встала воля черноземная. Вбежала сноха со двора прямо на печку.

— Тятенька, хлеб коммунисты берут по амбарам!

Эх, вы, силы мужицкие дуба столетнего!
Эх, ты, хлебушка, кровью добытый!

Слетел Потугин соколом с печки—долой и семьдесят четыре года. Распрямилась спина стариковская, заиграли ноздри молодецкие. Выбежал с растрепанной головой, увидал топоришко зазубренный.

Ой, ты, гой еси, сила мужицкая!

Стиснул топорище — война!

С одной стороны — генерал, с другой стороны — генерал. На хлеб — цена, на овес — цена.

Увидал Потугин Андронову шапку с красной звездой — загорелась земля под ногами красным огнем. Заплясали в глазах избы мужицкие, заревели в ушах трубы медные. Наскочил на Андрона, замахнулся топоришком зазубренным.

— Бей!

Крикнул и сел.

Увидал Андрон глупую смерть от зазубренного топоришка, рассердился.

Отскочил на два шага, выхватил револьвер из кожаного мешочка.

— Стрелять буду!

Блеснули сбоку железные вилы, заревела толпа:

— Бей!

Война, так война.

Выстрелил в воздух Андрон, не хотелось крошить мужиков, а пуля-то — вот она!

Сидит на дороге Потугин, пальцами землю царапает. Иголкой вошла в левый бок, укусила мухой в жаркий день Андронова штучка. Несутся мужики из конца в конец, словно лошади степные невзнузданные. Дымят глаза, налитые злобой, дрожит земля под ногами некованными. В казаках генерал поднимается, в Сибири генерал поднимается. На хлеб — цена, на овес — цена.

— Бей!

Эх, вы, силы мужицкие дуба столетнего!
Эх, ты, хлебушка, кровью добытый!

Размахнулся Тарас Тимофеич лопаткой железной — мимо. Увернулась Андронова голова с красной звездой. Грохнулся на спину Тарас Тимофеич, руки раскинул крестом на дороге. И его мухой укусила маленькая пуля, попавшая в лоб.

Война, так война.

Гонят Гришку Копчика с деревянной ногой по большой рогачевской улице, словно волка пятьдесят собак. Видит Гришка смерть свою от мужицких рук — забежал на двор к Андронову отцу, а Михайла и дверь на крючок. Скоблит Гришка запертую дверь в испуге смертельном—нет спасенья. Бросился на крышу—нога деревянная сорвалась.

Смерть...

Навалило на Гришку десять мужиков самых здоровых. Рвут Гришкино тело в двадцать рук, топчут Гришкино тело в двадцать ног. Затоптали вместе с Гришкой и Трифона Самойлыча попавшего вниз.

Забежал Прохор Черемушкин с вилами железными в исполком.

— Бей!

Поддел Карла Марксова в переднем углу и понес, словно сноп ржаной. Грохнул на улице оземь—пляши! Пляшет Рогачево село танец невиданный, свищет, гудит, кувыркается.

Война, так война.

Сорвали со стены земельный декрет, продовольственный декрет.

— Топчи!

На хлеб — цена, на овес — цена.

— Вали в райпродком!

Пошли в Мазлову избу.

— Жги!

Увидали Андронову избенку.

— Поджигай!

Загорелись две избенки в двух концах, высунули, красные языки из черных соломенных крыш. Поднялись на них волосы багровые, полились слезы огненные.

Мечется Михайла с ведерком пустым, бегает бабушка Матрена с сундучком Андроновым вокруг. Некому добро тащить, некому насос наставлять. Выбежал со двора меренишка с красной лентой в хвосте, фыркнул, махнул вдоль по улице. Бежит из ворот курица черная, шею вытянула, крыльями хлопает.

Смерть!

Закрутил ветерок волосы багровые, бросил искры ковшом во все стороны — разыгрался.

Вспыхнули крыши соломенные там и там, ударили топоры по налишникам, зазвенели стекла в окнах звоном пронзительным. Вылезли на улицу колоды дубовые, сундуки с крышками оторванными. Полетели из окошек разбитые иконы, кадушки, ведра, тулупы, скамейки, кровати, чугуны, хомуты и лопаты.

— Пож-ар!

Скачут бочки пожарные, гремит насос с кишкой не работающей. Воют бабы, воют собаки, ржут лошади. Крик, стон, шум, рев. Война, так война.

VII.

Улегся ветерок, успокоился. Прошумели воды поднятые, легли в берега.

Вышел месяц ночью темной, одиноко глядит из черного облака: на поля пустынные, на деревни дальние, на деревни ближние. Торчат трубы обгорелые, слышатся жалобы тихие.

Пепел.

Не Мамай прошел—рать мужицкая: с вилами острыми, с топорами зазубренными.

Скорбь.

Стоит Андрон темной ночью на пепелище отцовском, крепко сжимает голову, платком перевязанную.

Лежит дорога дальняя, непосильная — тяжело итти. Давит горе мужицкое, заливает сердце слезы и жалобы. Не жалеть нельзя и жалеть нельзя. Вперед зовет дорога трудная: через жалобы тихие, через трубы обгорелые, через черное горе мужицкое.

Низко падает голова Андронова, платком перевязанная, болью тяжкой виски распирает... Не жалеть нельзя и жалеть нельзя...

А. Неверов.

III ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

Мы идем —
революционной лавой!
Над рядами
флаг пожаров ал.
Наш вождь
миллионноглавый
третий Интернационал.
Мы идем,
рабочий мира,
слушай!
Революция идет.
Восток в шагах восстаний.
За Европой
океанами пройдет, как сушей
красный флаг
на крышах ньюйоркских зданий.
В новом свете
и в старом
ал
будет
третий
Интернационал.
Мы идем.
Вставайте, цветнокожие колонии!
Белые рабы империй, —
встаньте!
бой решит —
рабочим властвовать у мира в лоне,
или
войнами звереть Антанте.
Те
или эти.
Мир мал.
К оружию,
третий
Интернационал!
Мы идем!
Штурмуем двери рая.
Мы идем.

Пробили дверь другим.
Выше, наше знамя!
Серп,
огнем играя,
обнимайся с молотом радугой дуги.
В двери эти,
стар и мал!
Вселенься, третий
Интернационал!

В. Маяковский.

ЗА ХЛЕБОМ.

Ночью пришлось слезать.

На станции горели фонари бледным светом.

В темноте копошились люди.

Двигались огромными толпами, толкая друг друга, тонули в криках, в тонких голосах плачущих ребятишек.

Лежали стадами, плакали, молились, ругались голодные мужики.

Точно совы безглазые, тыкались бабы:
с закутанными головами,
с растрепанными головами.
Тащил ребят, привязанных к спине,
тащили ребят уцепившихся за подол.

Словно овцы изморенные, падали бабы около колес вагонных, кидали ребятишек на тонкие застывшие рельсы.

Щенками брошенными валялись ребята:
и голые,
и завернутые в тряпки,
и охрипшие, тихо пикающие,
и громкоголосые, отгоняющие смерть неистовым криком.

Еще одним горем прибавилось в гуще голодных и злых, переполнивших маленькую киргизскую станцию. Еще одна капля человеческого страдания влилась, никому не нужная, никем не замеченная.

Вытряхнул кондуктор Мишку, весело сказал:

— Довез тебя до этого места, говори — слава богу. Теперь, иди, отца ищи.

Дал еко Мишкин отец.

Далеко Мишкина мать.

Походил он в чужом голодном стаде, согнанном из разных сел и деревень, тяжко вздохнул.

Начал вагон искать, в который посадил его товарищ Дунаев, а ночью все вагоны одинаковые, все вагоны заперты, словно амбары, насыпанные пшеницей. Заперлось, загородилось горе вшивое, никого не впускает.

Поторкался Мишка в один вагон, кто-то крикнул в маленькую щелочку:

— Чего тебе надо?

— Наши едут здесь.

— Шагай дальше! Ваши уехали, остались только наши...

Поторкался в другой вагон — не ответили.

Из третьего закричали:

— Чего людей беспокоишь?

Не пускай всякий сброд!

Обошел Мишка два раза длинный растянутый поезд, поежился, поморгал глазами, сел.

— Черти безжалостные! С'ем я, что ли, ваши вагоны?

Пошел.

А итти некуда.

Стоят вагоны темные в три ряда. И ночь будешь ходить — не отворятся, и день будешь ходить — не отворятся. Везде ползают люди:

под вагонами,

за вагонами,

на станции,

за станцией.

А прижаться, а горе свое рассказать некому.

Лезет горе Мишкино из глаз опечаленных, но плакать Мишке нельзя: это он хорошо знает. Никто не услышит голос жалобный, никто не поднимет слезу упавшую.

Надо терпеть.

И отец покойный всегда говорил:

— Слезами беде не поможешь.

Все равно Мишка должен доехать, если поехал. Теперь уж, наверно, немного осталось, а назад не вернешься... Попадется на дороге город большой, можно будет ножик с ремнем продать. Начал Мишка высчитывать, который день, как он из дому ушел, перепутал: если нынче среда, то десять дней, а если пятница — двенадцать дней.

За станцией в ящике навозном рылся мальчишка, залезая головой по самые плечи. Остановился Мишка около него, поглядел с любопытством.

— Ты чего тут делаешь?

Не ответил мальчишка.

Взглянул равнодушно, опять залез по самые плечи. Вытащил мосол, сунул за пазуху. Подошел и Мишка к ящику с другой стороны, тоже стал торопливо рыться. Оба рылись молча, хватая друг друга за руки. Через минуту Мишка залез в ящик с ногами, мальчишка в озлоблении дернул его за рукав.

— Я тебя звал сюда?

— Сам пришел.

Мишка в ящике казался маленьким — торчала одна голова. Хотел мальчишка или ударить его по высунутой голове, или картуз закинуть в сторону. В это время пробежала собака с огромной горбушкой в зубах. Увидал мальчишка хлеб в собачьих зубах, стремительно бросился за собакой, размахивая руками. Выскочил и Мишка из ящика.

— Кидай кирпичем!

Кирпича под руками не было.

Схватил Мишка обрубок рельсы, но поднять не мог.

Бежали двое голодных с двух сторон, а собака, подбрасывая задом, убегала за станцию в поле. Легко перескочила канаву за станционными огородами, остановилась на бугорке, держа в зубах украденную горбушку.

Остановились и ребята.

С темных сырых огородов бежали еще собаки.

— Укусят! — сказал Мишка.

Мальчишка мрачно ответил:

— На одну бы я пошел с хорошей палкой.

— Тебя как зовут?

— Трофим.

— Айда назад.

— Погоди, сейчас они драться будут.

— Зачем?

Трофим не ответил.

Стоял он в одной рубашке с разорванной грудью, босиком и без шапки. На плечах, вместо пиджака, висел обрывок рогожки, стянутый веревочкой под горлом, и маленький, неразговорчивый Трофим в таком наряде похож был на маленького смешного попа в коротенькой ризе.

Собаки обнюхались молча.

Потом зарычали, оскалились, свились клубком, кувыркнулись, выпрямились, снова наскочили.

Долго смотрел Трофим на них молча, немигающими глазами, потом сказал глухим, загробным голосом:

— Хорошо с собачьими зубами быть.

Мишка на минуточку оробел, разглядывая Трофима. Кто он такой, в коротенькой поповской ризе?

Схватит Мишку по-собачьи за самое горло, повалит вот тут и отнимет пиджак с картузом. Теперь богатых везде убивают, а Мишка богаче Трофима.

От страха Мишкиного Трофим еще больше вырос, освещенный месяцем на пустынном мертвом поле, наполненном голодными, грызущимися собаками. Было собак не более пяти, а Мишке казалось — тысячи их с оскаленными ртами, и когда перегрызут друг-друга, станут они людей на станции грызть...

Трофим неожиданно сказал:

— Ты боишься собак?

— А ты?

— Я ничего не боюсь.

— Который тебе год?

— Четырнадцатый.

Поглядел Мишка на Трофима с боку и тоже сказал, как-будто ничего не боится:

— Ровесники мы с тобой: мне тоже четырнадцатый пошел.

— Врешь!

Чтобы сделать себя большим, Мишка чуть-чуть поднялся на носках.

— Скоро пятнадцатый пойдет. Я только ростом маленький, а годами старый. Два пуда поднимаю.

— Чего?

— Чего хочешь: гирю или мешок.

На станцию вернулись „дружными“.

Узнал Мишка, что Трофим из Казанской губернии, был в четырех городах, ушел из дому шестой месяц, пробирается в Ташкент. Если доедет туда, назад не вернется. Очень плохо у них в Казанской губернии, жрать нечего, поэтому и отец у Трофима помер раньше времени—тридцати восьми лет от роду. Два раза на войне был — не умер, а с голоду повалился.

В голову Мишки лезли невеселые мысли.

Сидели они с Трофимом рядом в тесном вокзальном проходе

около самых дверей, рассказывали про свои деревни, которые теперь неизвестно в какой стороне остались. Мишка рассказывал вяло, слушал неохотно. Надоело думать ему об этом, надоело и повторять каждый день. Перед глазами зажмуренными:

лентой развернутой,
проходил Ташкент, город невиданный:
сытый,
хлебный,
улыбающийся.
Глядят оттуда буграми высокими:
черные куски,
белые куски,
пшеница багорная,
пшеница поливная.
А зерно не как у нас — крупное...

Перебивая Мишкины мысли, Трофим громко шепнул незасыпающим голосом:

— Ты сколько фунтов с'ешь?

— Где?

— В Ташкент когда приедем.

Подумал Мишка, поднимая отяжелевшие веки, тихо сказал:

— Много!

Долго плакала баба с ребенком.

Кашляли мужики в темноте.

Лаяли собаки за станцией.

Трофим с Мишкой подбадривали друг-друга хорошими надеждами. Ехать уговорились вместе. Прислушиваясь к собачьему лаю, видел Мишка огромную степь без людей и жилья, а по этой степи тысячами бегут голодные собаки с оскаленными ртами. гонят большую лохматую собаку с горбушкой в зубах, вьются огромным клубком. Летит собачья шерсть под застывшим месяцем степью пустынной. Горят собачьи глаза, щелкают зубы... Перегрызли собаки друг-друга, откуда-то новые явились, ринулись на станцию диким стадом, махнули через Мишкину голову, подмяли под себя. Приподняли, бросили, ухватились за пиджак с картузом. Вырвался Мишка в ужасе смертельном, открыл глаза, заснувшие, не поймет ничего. Крик, шум, ругань, визг, а Трофима рядом нет.

— Паровоз подают!

Стон. Крик. Плач.

— Пустите!

— Посадите!

— Задавили!

— Батюшки!

— Сунь по зубам!

Нельзя оставаться на маленькой станции в безлюдной киргизской степи:

голод с'ест,

вошь с'ест,

тоска с'ест,

отчаянье...

За крыши хватаются, за колеса, за буфера, за подножки.

На крышах, на колесах, на буферах, на подножках—только бы уехать из страшного, пустого места. На руках висеть, волочиться по шпалам, уцепившись за вагонный хвост—только бы уйти, убежать от голодной настигающей смерти.

Завертелся Мишка, закружился.

Не пробить ему огромную людскую стену около вагонов.

Колыхнет живая стена, двинет локтями, попятится задом, отбросит в сторону, потащит на другой конец. Нет силы перескочить живую лязгающую стену, нет силы и оторваться от нее. Тянет, всасывает она, крутит в котле, душит, мнет.

Бросился Мишка к маленькому застывшему паровозу, навстречу Трофим под рогожкой несется, маленьким, смешным попом в коротенькой ризе.

— Попал?

— Куда?

— Айда со мной!

До смерти обрадовался Мишка — двое не один.

Ухватил Трофима за рогожку — поскакали мимо мужиков с бабами, мимо вагонов. Прибежали в самый хвост—солдат стоит. Поглядели на солдата издали, вперед ударились.

— Стой!—сказал Трофим.—Надо на крышу лезть. Ляжем на брюхо — нас не увидят...

Встал Мишка на плечи Трофиму — до крыши высоко.

Потянулся маленько, чтобы за крючок ухватиться—сорвался, грохнулся, ударил Трофима ногами по голове.

Рассердился Трофим, крикнул:

— Баба! становись под меня.

Больно ушибся Мишка, но плакать некогда.

Встал под Трофима, и Трофим сорвался, ударил Мишку ногами по голове.

— Айда в другое место — не залезешь тут.
— Руку я зацарапал.
— Кровь?
— Течет маленько.
— Посыпь песком!..

Когда свистнул паровоз, покрывая людские голоса, Мишка с Трофимом лежали на крыше вагонной, вниз брюхом. Трофим облегченно шептал, нюхая пыльную крышу:

— Живой маленько? Сейчас поедем...

А. Неверов.

О ШАПКЕ.

(Отрывок).

В девятнадцатом, в Киев, на отдых
я, усталый, приехать смог.
И покою два дня лишь отдав,
на третий — в окопы лег.
Мы, голодные, жизнь творили.
Но знали: есть голод — волк.
В этот день мы без пуль покорили
восставший девятый полк...
Да, о шапке...
И вот, оттуда
голодранцем в Москву припер
и в Цека получил, как чудо,
ордер
„На головной убор".
Ордер этот
в охапку.
В распределитель путь.
Получил я там — летом! —
шапку
котиковую,
не какую-нибудь...

. . . . . .

И теперь, вот сейчас, сегодня,
мимо салом заплывших витрин,
я шагаю, знаменем подняв
шапку военных годин.
И теперь, что-нибудь покупая,

выбирая ли, роясь в вещах,
я об ордере прежнем мечтаю
и новых идущих днях.
И, прочтя бюллетень о банкноте
или весть о борьбе биржевой,
я гляжу на встревоженный котик
с думой грозовой:
пусть катается кто-то на Форде [1]),
проживает в десятках квартир...
Будет день:
мы пред'явим
ордер
не на шапку —
на мир.

А. Безыменский.

КОМИТЕТ БЕДНОТЫ.

В сборную избу, к Василию Климову, сбираются необычно дружно. Как и вчера, в ней духота и шум. Лица расплываются в табачном дыму, который сиреневыми, слоистыми потоками медленно течет к открытым окнам. За столом—пять членов Комитета бедноты и двое уездных учетчиков. Звучнее всех голос председателя Комитета, Власа Зубова, солдата без руки.

— Мы кровь проливали! Мы законное право имеем!..

К его звонкому тенору примешивает свой тихий, хрипложалостливый голос школьный сторож, тоже член Комитета:

— Братцы! Товарищи! Свобода гибнет!.. Голод!.. Беспременно поделиться!..

— С кем делиться? Почему делиться? Много с нами делятся?—кричит, точно лает, зажиточный мужик, торговец, Данило Силин.

— А вот скажут с кем, тогда узнаешь!

Рядом крикливо негодует баба-солдатка:

— Это ни на что не похоже! Как же это так? Где это видано, чтобы хлеб отбирали?

— Замолчи, Марья! У тебя не отымают! Тебе еще самой дадут!

— Товарищи! Братцы!.. Не жалейте для свободы!..

---

[1]) На автомобиле. Форд—владелец автомобильных фабрик в Америке.

Гуще духота и жара; гудит, стонет изба. То и дело выходят на крыльцо—освежиться, остынуть. Тут—тоже толчея и спор.

Напротив, через дорогу — синяя вывеска с чайником. Из окон—хрип граммофона, пьяные голоса, брань и звук посуды.

К прилавку подходят многие еще с неостывшим возбуждением, красные, всклокоченные.

— Ну-ка налей!

— Для сурьезности, что ль,—улыбается трактирщик и сейчас же сочувствует,—шантрапа, голоштанники, а поди, поперечь им! Сила теперь!

Он цедит из чайника мутноватую жидкость и кладет рядом половину огурца.

— Да-а, времячко... Ванька, подкрути граммофон!

Между чайной и сборной—живая, подвижная цепь. Там и тут хлопают двери; из окон одинаковый шум. Не сразу поймешь, где собрание. Только под окнами сборной—толпа взволнованных баб жадно ловит знакомые голоса.

Резко донесся все покрывающий тенор председателя Зубова:

— ...В протокол занести: Комитет постановил отобрать излишки у Никандра Демина, Данилы Силина, Петра Хвощ...

Взревнула в толпе под окном жена Петра, завыла Дарья Силина.

Зубов кричал:

— ...Марье солдатке выдать пять... Инвалиду Игнату...

Метались голоса в избе, метались за окном, и двигалась живая цепь через улицу...

Никандро был дома, когда сын вернулся с собрания. Молча, вопросительно поднял тяжелые брови.

— Постановили отобрать. Оставят по пудов десять на едока,— тихо, не глядя на отца, сообщил сын.

Побелел Никандр, ноздри раздулись; протяжно, сильно потянул в себя воздух, необмятая красная рубаха на груди заколыхалась. Потом он густо выдохнул, грузно дрогнул плечами и порывисто шатнулся к двери...

Зажигались огни. В сборной было тише, чем в трактире. Цепь оборвалась, только одинокие, замешкавшиеся фигуры еще ковыляли изредка через улицу и заставляли ржаво петь дверной блок.

Теплый, пахнущий травами и ласково вспыхивающий кроткими зарницами, предосенний вечер тихо и мягко окутывает село. Уплывают в сумрак очертания построек, силуэты недвижных деревьев и низких палисадников.

Церковь, с тонкой белой колокольней, отодвинулась вглубь и мутно сереет, постепенно тает, будто слепленная из дорожного апрельского снега.

Неожиданный гул набата разом рвет тишину.

Захлопали окна, двери, испуганно заметались темные фигуры. Из чайной вырвалась человеческая волна, и десятки глоток наполняют дикими голосами всколыхнувшееся село.

В конце улицы, над гумном, кроваво зажигается край черно-синего неба; из розовых клубов дыма развертываются пламенные ленты.

— Пожар! Пожар!

— Багры давайте! Бочки выкачивай!..

С ведрами, ушатами бегут на гумно. Пылает уже полнеба. Из огромного огненного костра взвиваются охапки горящей соломы и оставляя за собой искристый след, подолгу кружатся над овинами, амбарами, сенными сараями. Иногда летят далеко в поле, чертя по небу осыпающимся огненным хвостом, и там медленно гаснут.

Вой, плач, крики нижут ночь во всех направлениях.

— Амбары горят! Амбары!..

Но горели не амбары, а никандровские скирды необмолоченной нови. Четыре широких горящих столба вскидывали ярко-оранжевые и золотистые языки, точно четыре жертвенника древнему грозному божеству.

* * *

Румянится утро; закурлыкал колодезный журавель. Никандро медленно идет улицей на гумно — ссутулился, походка тяжелая, за плечами будто мешок-пятерик.

На крыльце школы умывается сторож. Увидав Никандра, с грустью соболезнует:

— Какое несчастье-то! А? Сколько народу можно было прокормить!.. Ведь голод там... В городу-то!..

Никандро вспыхивает, выпрямляется; по лицу скользит злая усмешка.

— А если это я сам? Нарочно!.. Понимаешь — сам!..

Выкрикнув, он сразу угасает, снова сутулится и, не дожидаясь ответа, продолжает путь. За плечами теперь тяжесть всех шестидесяти пяти лет; тяжесть какой-то новой правды и неправды.

П. Низовой.

СДАЧА В АРЕНДУ.

Был Семенов комиссаром полка. Теперь — предзавком. Каждый день революции ставил новый вопрос,—и беспощадно-настороженным слушателям — раньше красноармейцам, крестьянам, теперь же рабочим, — нужно было ответить понятно и крепко. Чтобы ответить, он каждый раз снова и снова осмысливал жизнь, и мозги уставали, как мускулы после тяжелой работы. Но ответ находил.

А вот третьего дня:

„Исходя из вышеуказанного, приготовить завод металлургический литера „Г“ к сдаче в аренду“, сказали лиловые буквы с белой хрустящей бумажки. С недоумением и тревогой, в разносной книге расписался: „Семенов“.

Зачем в аренду? Разве плохо работали? Неправильно это... Что ребятам сказать? Со столовой-то как?... Ээх!

А ребята обо всем откуда-то знали. Издевались, язвили и нечего было ответить.

В завод в прокатный цех, туда, где раньше работал на вальцах, устремился Семенов, железными опилками к магниту.

Слева могуче гудел завод. Выше крыш прыгали вспышки печей.

Спорил с Винокуровым. До конца не соглашался с ним. А пока шел к заводу, доводы Винокурова перестроились, стали проще, понятней, — стали его доводами.

И опять Семенов готов к борьбе, сейчас он свою новую уверенность обрушит на ребят.

Завод в поясе огней, в рубахе ночной темноты, с каждым шагом рос перед глазами.

Шел по темному заводскому двору. Семенов ни разу не запнулся о кучу мертвого железа. Ноги знали, куда итти.

В прокатке, где лязги и визги живого железа, слов не слышно, железо мешает. Смотрел на привычное.

Пламенеющую болванку несет сумрачный кран. Волны жара проходят по ней, отсвет огней на лицах. Взвизгнула цепь.

И в такт быстрым и точным движениям под одеждой дрожали мускулы Семенова. Захотелось давно неиспытанной работы, беззаботных и легких мыслей.

Семенов от станка ушел в дальний угол.

Сел на скамью. Задумался. Ему на плечо опустил тяжелую руку Лазо, черноглазый и смуглый поляк.

— Здорово, Лазо!

— Добрый вечер, товарищ Семенов...

Лазо—спорщик, подцепит сейчас... Борцом цирковым подобрался Семенов.

Но Лазо о здоровьи жены, о квартире...

Подходили другие ребята, здоровались ласково, пристойно. Но Семенов ждал: и вот среди приятных, легких слов Лазо вдруг бросил Семенову:

— Насчет сдачи завода, товарищ Семенов... Об'ясни. Ты, вот, наиглавный пан... Должен все понимать... Все разом притихли.

— Да, потому, что ты... власть. — Слова Лазо тяжелые, раскаленные. Семенов быстрым и острым взглядом окинул всех. Эти — свои — каждым словом, каждым движением требуют, ждут...

На железе, как на мягкой траве, привольно лег Дмитрий Язвин, еще в школе прозванный Клюв — за длинный нос. Друг и приятель. Но и он уперся буравчиком-взглядом в Семенова.

— Ребята... Этот вопрос поставленный — очень большой... Нужно широкое понятие иметь...

— Брось, — тяжело говорил Казимир и смотрел в землю. — Я тебя, как брата, прошу... У нас холуи есть, так довольны, порядку больше будет...

— Оно, конечно, порядку больше, — вздохнул дослышавший только конец разговора Макаров, старик, колючелицый, маленький, одноглазый. — Ох-хо, хо!

— Ишь, дед, — по хозяину стосковался!

— Ха, ха, ха!

— По мне так: испорти завод, а хозяина не впусти,—уронил Лазо. — Да чего уж, везде буржуи верховодят...

— К чему, товарищ Лазо, эти лишние слова! Ну, какое может быть верховодство буржуазии? На всех постах,—кто? Свои, рабочие! В тресте нашем, можно сказать, центральном, — Винокуров. Какой он буржуй? А Каська здесь демагогию... Положение у треста пиковое. Как ни крути, а сокращаться нужно. Кризис одним словом...

Говорил Семенов, об'яснял, точно разгибая пружину: она не дается, а он тяжело выпрямляется. И слова его для каждого были не чужие, как иногда привозили из центра звонкоголосые ораторы, а свои, обиходные, находили легко свое место.

Но Лазо ворчал большой собакой, и с него не сводил Семенов спокойных глаз. Кончил Семенов, оглянул всех — и тугой пружиной развернулся Лазо.

— Кризис. Нет, брат родный! Ты меня не заговоришь! Понасажали спецов, вот и выходит кризис и всякое другое воровство.

— Вот и нет в тебе понятия!

— Ладно, — завизжал вдруг до этого спокойный Ильичев. — Чуть что—и „нет понятия“. Ты больно понятлив. У матери ревматизм шестьдесят годов, а она с утра по стиркам...

— К чертям собачьим...

— К бесовой маме...

— Товарищи, зачем крик, разберемся...

— Оставь, Митрий.

— Черти бессознательные!

Все повскакали с мест. Загрохотала упавшая скамья. Они рычали друг на друга, а вокруг грохотало и визжало железо. Ругань вот-вот перейдет в драку. Но через минуту опять стихло, все сели, только что места переменили.

Лазо лег на скамью. Семенов сел на железо рядом с Язвиным.

— ... Войти в государственный расчет. Как-никак, а ведь мы в окружении мелкого хозяйского крестьянства. Нельзя так—вынь да положь коммунизм.

— Это правильно, конечно,—вяло согласился Ильичев.

На минуту замолчали все.

— А вот, ребята,—ясно сказал Дмитрий, во время спора молчавший. — Насчет евреев и коммунистов, всякая брехня, и это рабочему не годится. Напрасно... А вот — плохо...

Помолчал немного и обвел всех твердым взглядом.

— Все, как было, так и осталось,—сказал он. Да... Вот, пошел я на чехов, на Колчака... Я до подробности всего не понимаю, но знал, что иду за рабочее дело, за то, что со старой, проклятой жизнью кончено будет. Я хоть в партии не был, но я коммунист, ребята... — горячо крикнул он. — Я программу и газету — все понимаю и даже рассказать все могу.

— Хорошо задумали коммунисты, правильно. Но я все-таки смотрю, ничего у них не выходит, и вертаются они к старому.

В восемнадцатом году в селе Петрищевке умер от заражения раны наш Шкулев, комиссар; он говорил мне перед смертью: „Вот, товарищ Язвин, войну кончим — вернешься в Москву, и какая жизнь будет всем людям! Новая жизнь... Вспомнишь Шкулева...“ Его ж вспоминаю, но где она, новая жизнь...

Кто-то вздохнул.

Кто-то злобно выругался.

— Эх, Октябрь! Я тем часом был... як сухий, запалянный ляс... Як мы буржуев и юнкерей били и топили! Агитаторы всякие, интернациональные речи... По всему свету революция...

— Хуже нет наших панов! Злы, як псы, шкодливы, як коты... А теперь у Ленина, як у Пильсудского, — насмешливо обратился он к Семенову.

— Чего ж... У них капитал, а у нас нэп'а,—поддержал Язвин.

— Коммунисты против нэп'а не могут... А!

В груди Семенова домна, сейчас вот откроет ее, и хлынет раскаленный металл. Думал сильно и осторожно.

Все ждали ответа. Язвин, Лазо, Ильичев и другие.

Выпрямился. Сжав кулаки, сунул их в карман.

— От нэп'а нам нельзя... Нам нашему государству... Нашему.

Наше — его и всех их, и так ясно это, что трудно было об'яснить. Нашел, говорил, слово за слово, и креп в каждом слове.

— Трест на рынке—баркас на воде. Ветер дует, паруса надувает. Управлять умеешь — баркас вперед идет. Ну, а иногда вроде ошибка, или место незнакомое. Сел на мель. Вот, и с нашим трестом. Пришлось ему сокращаться, и выгодней всего за счет нашего завода. Но мы от всего не откажемся. Зубами держать будем, да... В случае чего, столовую забастовкой отстоим... А мы все — большие умники, и ты, Лазо, и Митька... Ругаетесь, а сами не знаете, что делать... Эх вы! — Хотел выругать, но сдержался — не к чему.

— Вот, наша столовая, это уже первый камень коммунизма... Вот так и будет.

Быстро заговорил Ильичев:

— Это, конечно,—твоя правда... Кормят здорово. Граммофон. Песни хорошие. Ленина речь. Кра-а-сота.

— Правильно, — поддержал Каська. — Справно. Это уж коммунизм.

Опять тихо Язвин:

— Нет, ребята, ничего, я вижу, вы не понимаете. Правда, нам хуже не стало. Восьмичасовый день, он нашего брата человеком сделал. И столовая... Но я знаю: которые умные буржуи, у их это заведено...

„Меньшевик", вдруг подумал Семенов; вспомнил семнадцатый год и такие же слова, очень умные и все же неправильные.

„Меньшевик".

— Идешь по Тверской, по Кузнецкому и видишь магазины и вывески, и автомобили. Рази это коммунизм? От чего ушли, туда и пришли. Кто живет и жиреет, а кто...

„Нет, не меньшевик. Не понимает.. И ребята“... Хотелось их баюкать, как младенцев, и было жаль, что они не видят большого и ясного.

— Ну? — тонким тоскливым голосом спросил Дмитрий.

— Ты скажи, ты хоть конец покажи, как.

— А революция мировая что же, после дождичка, а? — насмехался Лазо.

— Революция мировая — она будет... Но до нее держаться надо. А вы...

Прервал себя оттого, что заметил — плохо слушают... Обратился к Язвину.

— Так-то, Митя, говоришь: „коммунист“, а рюмишь... как девчонка. Вот и выходит, что беспартийщина... Наше партейное дело—солому ешь, а форс не теряй. Большевик,—он никогда не должен теряться.

* * *

Широкий, как озеро, двор завода залило рабочими. Жарко пахло машиной и человеком, когда Семенов кричал с трибуны во все стороны многоглавого двора.

— Товарищи! Об'являю экстренное общее собрание рабочих и служащих завода литер „Г“ — открытым. Слово для доклада и информации о событии в Германии имеет товарищ Зибкинд.

Молчали. Жарко дышали, и Дмитрия от этого жара томило.

Товарищ Семенов! Я сказать желаю. Ей-бо, — просили его глаза.

Семенов кивнул твердым подбородком. И, только Зибкинд с натугой и хрипением кончил, Дмитрия вскинуло пружиной на трибуну; и не смолкли апплодисменты, а он широко бросает слова, зернами в землю, в черную многоглазую землю.

— Понимать теперь нужно каждому, как коммунистическая партия для нас старается. Потому она есть наша партия, и если мы когда шебутились, то были в заблуждении... Приходилось им иногда не по справедливости поступать, но это по нужде... А почему? А потому, что собственная темнота русского народа тормозила наш ход.

— Взять хоть нэп. Он был по нужде товарищи, штоб продержаться. А теперь нам с западу пришлють машины, и мы их установим. Будет у нас большая продукция товаров. Что же мы с этими товарами делать будем? Делить! — Он помолчал и взглядом тронул сотни молчаливо слушающих глаз.

— Мы! Эти товары! Будем менять у хрестьянства! На хлеб! Этим мы загубим нэпмана и спекулянта. Хлеб же пойдет для наших товарищей на запад.

Чувствовал Дмитрий, что он сетью своих слов заневодил людей и теперь могуче тащил их туда, куда нужно.

— Что нэп, это—за которое боролись? Каждый скажи, нэп—это конец, и более бороться не за что.

— Конечно, с голоду не умираем, как в 19—20 году, и стараемся себе подсобить и в зарплате, и столовую тоже организовали... Но разве это есть коммунизм?—спросил он всех. И себя.

— Оглянись каждый к себе в дом!.. Ведь какая наша рабочая жизнь... Бабы страдают в темноте и в поповской паутине. Да и наш брат—есть, который „пролетарии всех стран“ не понимает.

— Разве это правильная жизнь? Это понимать нужно, что жизнь эта неправильная, что бороться за коммунизм каждому надо, потому от нашей теперешней жизни иначе не уйдем...

— И этот нэп, это только перетерпеть, чтоб как-нибудь, а сейчас нам к коммунизму прямая дорога... Наши планы на постройку коммунизма уже давно готовы. Но Ер-Ка-Пе [1]) отложила их в ящик... Пусть, мол, полежат. А теперь мы их вынимаем и можем опять перейти к постройке коммунизма. Но теперь мы работу ведем шире.

Еще и еще говорил Язвин, и радость в его словах полыхала огнем мартеновских топок в тихую летнюю ночь. Об'яснил насчет всего, и, когда кончил, радостной бурей взревел двор, и рукоплескания гремели прибоем...

Ю. Либединский.

НАВСТРЕЧУ ГРЯДУЩЕМУ.

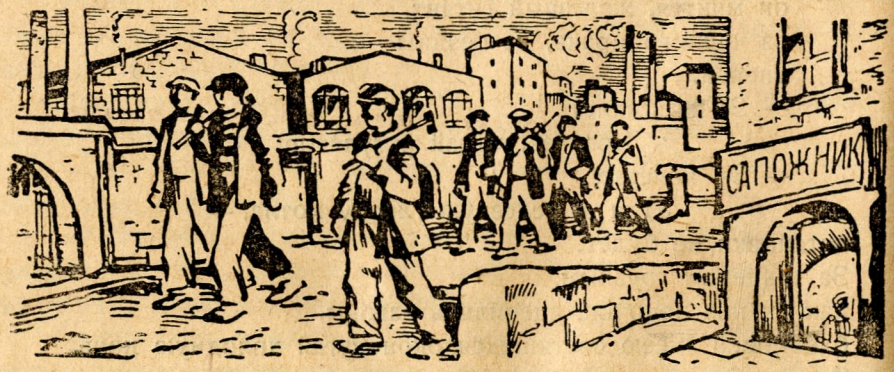
Пылающей грудью
разрезая тьму,
грохотом,
свистом,
шипеньем
трезожа молчанье полей,
бросая, как вызов,
как пламенный вызов,

---

[1]) Российская Коммунистическая Партия (теперь переименованная во Всесоюзную — В. К. П.).

в бездоное небо снопы красных искр,
он мчится, железный гигант,
из черного мрака, из бездны —
вперед.
— Эй машинист,
Крепче сжимай регулятор!
— Эй кочегар!
Угля в железную глотку котла, —
остановки не будет.
За тендером грузным,
как звенья цепочки, сцепились вагоны,
блестящей змеею светящихся окон пугая холодную ночь.
Толкают друг дружку, гудят в ожиданьи:
покажется город гигантский,
тот город, куда с нетерпеньем стремятся они,
тот город, куда их могучей рукою ведет
машинист.
— Еще, еще угля в утробу железную!
По стрелкам гремя, мимо станций, без остановок,
— ведь поезд сквозной —
мчись, железный гигант!..
Без остановок!
Не хватит воды, мы собственной кровью наполним котел.
Не хватит угля, телами накормим железную глотку...
Вперед!
Горизонт побледнел...
Там, во тьме беспроглядной,
бледно-матовый свет показался...
Растет...
Все шире...
Все ярче...
Это город...
Это он льет сиянье огней...
От пламенных глаз паровоза к нему протянулись лучи...
Как братья, они обнялись с огнями желанного города.
Наш поезд и он, мы — одно.
Мчись, железный гигант!
Удваивай бешеный темп саженных колес!
Мгновенье еще — мы у цели.
Быстрее, быстрее,
вперед!

А. Крайский.



ГУДКИ.

Когда гудят утренние гудки на рабочих окраинах, это вовсе не призыв к неволе. Это песня будущего.

Мы когда-то работали в убогих мастерских и начинали работать по утрам в разное время.

А тепер утром в восемь часов кричат гудки для целого миллиона.

Теперь мы минута в минуту начинаем вместе.

Целый миллион берет молот в одно и то же мгновение.

Первые наши удары гремят вместе.

О чем же поют гудки?

Это утренний гимн единства!

А. Гастев.

ЛЕН.

(*Отрывок*).

Лен, лен!
Синий, синий, белый, белый,
полным цветом пышет лен.
Ветер смелый,
легкокрылый,
разгоняет летний сон.
Как от арфы потаенной,
вольно льются крики-звоны,
и плывет за тоном тон.
В звонах-ласках,
в легких плясках
кружат дивных фей сплетенья
как фантазии виденья.
А меж ними,
молодыми—
буйным цветом пышет лен

Г. Чупрынка.

СУКОННЫЙ ГОРОД.

Здесь были когда-то кровавые битвы и сечи — сначала с татарами, потом с турками, затем с поляками. Недаром и села окрестные называются Побойна Великая, Побойна Малая, Сеченцы, все это следы давних страшных лет, следы набегов, жестокой кровопролитной борьбы, опустошений. Почти шестьсот лет стоят Дунаевцы как пограничное сельбище Подольской земли—и много жестокого видели за эти годы и многотысячные татарские чамбулы, налетавшие черной смертной бурей, и дикие турецкие ятаганы, беспощадно рубившие мирный украинский люд, и гневные полчища Богдана Хмельницкого — резню, трупы, увод пленных, дымы пожарищ. Не раз и не два дунаевецкие поля были ареной трагических событий. Генрих Сенкевич, описывая бурную эпоху казацких войн, часто упоминает в своих романах Дунай город — это есть Дунаевцы.

Но сами Дунаевцы своего прошлого уже не помнят. Наиболее отдаленным в их преданиях событием является начало девятнадцатого века, когда владелица Дунаевец, графиня Красинская, бабка известного польского поэта Сигизмунда Красинского, переселила сюда двадцать немецких семейств кустарей текстильщиков и устроила первую суконную фабрику. Отсюда и ведется дунаевецкое летосчисление, с этого рубежа начинает маленький городок свою жизнь, истоки его суконной славы.

До войны здесь работало свыше тридцати небольших кустарных фабрик с общей численностью рабочих до шестисот человек. Война, как метлой, смела все фабрики: по распоряжению военного командования, машины до последнего винта были эвакуированы — частью в Саратов, частью в другие города, в глубь страны. Эвакуация производилась беспорядочно, бессистемно: от машин никакого следа не осталось, — все прахом пошло, точно потонуло или ветром развеялось.

Ободранные, лишенные оборудования, фабричные здания стояли голыми, заброшенными до 1920 года, т. е. до укрепления на Подолии советской власти.

— Трудное было время, темное, — говорят старые ткачи. — Молодежь и людей средних лет угнали на войну, семьи остались без кормильцев, а тут заработка никакого, хоть землю кусай.

— Намаялись так, что и вспоминать тяжело. А многие пострадали оттого, что оказались австрийскими или германскими подданными. Рабочий человек знал одно: выработать себе и своей

семье кусок хлеба. Разве он думал когда-нибудь, чей он подданный? Был ему досуг этим заниматься? А как грянула война, моментально разделение вышло. И вот совершенно необеспеченных бедных людей взяли да и выслали всех: кого на Урал, кого на Волгу, кого еще дальше... Был у нас ткач Долинский, старик, и жена у него, сновальщица, тоже старуха. Загнали их куда-то под Казань. Обнищали старики в ссылке в корень. Долинский там из милости водоливом на барках спину гнул, последнее свое здоровье ухлопал, и, когда в восемнадцатом году вернулся, оказался измученным, разбитым калекой. Вернулся на голое место: фабрики бездействовали, работы нет, жить нечем. Не выдержал человек, дошел до крайнего отчаяния — бросился в колодец и утонул. И все мы горя хватили в те годы...

— Да, много пришлось тут потрудиться и нам, и советской власти, чтобы мертвые фабрики снова в ход пустить,—рассказывают дальше ткачи. Главное дело — оборудование, — в нем вся сила. А где его взять? Из воздуха не ухватишь. Спасибо, власть пришла на помощь. Постепенно, понемножку стали покупать машину за машиной. А сколько с перевозкой намытарились. Прямо с бою каждый станок взят. Устанавливали все рабочие, кто только мог. Некоторые работали над сборкой и установкой буквально под пулями гражданской войны. Только какую-нибудь банду отгонят, еще слышно как пулемет стречку бьет, а они уже опять гнутся, собирают, налаживают, стараются.

— Зато теперь можно смело сказать: наша взяла. Производство гудит. Сукно рекой выкидывается—сорок тысяч аршин каждый мясяц выделываем. Это для нас рекордная цифра; если бы кто-нибудь в двадцатом году или в двадцать первом году сказал, что такой продукции достигнем, мы бы сами не поверили.

У высоких фабричных ворот сторожевая будка. Сторож спрашивает у меня пропуск.

— Без пропуска у нас никуда,—поясняют мне мои спутники—два ткача и заведующий производственно-техническим отделом, молодой инженер.

Ровный, чистый, мощеный двор огромен, как поле. Высокие трубы густо дымят над фабричными корпусами: слышится глухой ритмический шум. Чувствуется биение пульса большого, крепко налаженного, трудового человеческого муравейника.

— Вы туда не смотрите, — говорит, улыбаясь, один из ткачей, кивая в сторону корпусов. — Главная наша сила и крепость вот тут.

И он показывает налево, на большое глухое, безмолвное здание. Это склад шерсти. В складе полутемно. Он доверху, до самых потолков, забит туго спрессованными восьмипудовыми тюками.

— С сырьем у нас прочно, — говорит с спокойной уверенностью инженер.

Шерсть затюкована по сортам, по маркам. Марки обозначаются буквами латинского алфавита А и В. Это шерстяные сливки, наивысшие сорта, а чем дальше от начала алфавита, тем сорт ниже.

— Вот, обратите внимание, — показывает инженер, — здесь австралийская, купленная нами через Ленинград-порт, а вот тут ростовская, тонкоручная, своего, так сказать, отечественного происхождения.

Австралийская ослепительно бела и чиста, как гигроскопическая вата, ростовская значительно желтее.

— Качественно они почти одинаковы. Ростовская даже будет немного эластичней, прочнее. Зато австралийская лучше принимает краску.

Идем по фабрике — из корпуса в корпус, из цеха в цех. Всюду непрерывный грохот, стук, шум, жужжанье. Крутятся трансмиссионные валы, текут, шелестят приводные ремни, воздух полон горячим сухим дыханием машин.

Рассмотрим стадии работы. Партия шерсти, смешанная из нескольких сортов, окропленная олеиновой кислотою или керосином, пропускается через волчок, разрыхляющий смеску и делающий ее более равномерной. Волчок не велик, но боек, быстр, зубчаст и прожорлив: его барабан стремительно втягивает клочья шерсти, и остервенело воя, как настоящий волк, которого запрягли в работу, с ветром выкидывает расчесанную шерстяную массу. Сейчас же из под волчка шерсть поступает в целый ряд чесальных машин. Чесальные машины представляют собою сложную систему вращающихся валиков, одетых кардными лентами, т. е. каучуковым или войлочным покровом, усеянными длинными и тонкими стальными иголками. Из первой машины шерсть выплывает нежнейшими двухаршинными полосами душистой ваты. Эта вата передается следующей чесальной машине, которая посредством многочисленных делительных ремешков рассучивает ее на отдельные пухлые нити и мягко навевает на особые валики. Получается, так называемая, предпряжа. Чесальные ассортименты новейшей конструкции работают настолько чисто, легко и изящно, что вызывают невольное чувство восхищения. Чесальщику и че-

сальному мастеру около них почти нечего делать, остается лишь заботливо смазывать соответствующие части.

Предпряжа прямо на валиках поступает в прядильный цех на сельфакторы. Сельфакторы занимают весь нижний этаж длиннейшего корпуса и трещат, как неисчислимые стаи сорок: здесь тысячи веретен крутятся с мелькающей быстротой, которую трудно уловить глазом, выделывая из предпряжи тонкие прочные нити. Широчайшие сельфакторские каретки то от'езжают, то под'езжают, сотни сучащихся нитей сматываются на веретена. У каждого сельфактора по два нитковала: они следят за работой машины и, если предпряжа где-нибудь рвется, ловко ловят концы, легким соприкосновением соединяют, сращивают разрыв и переходят дальше от нитки к нитке. Нитковлы почти все фабзайчики и комсомольцы—юная, крепкая, растущая смена старых уставших кадров рабочих. Человеческого голоса в жужжаньи прядильного цеха совершенно не слышно. Чтобы что-нибудь сказать, нужно наклоняться к самому уху собеседника и кричать во всю силу. Пряжа для основ идет к сновальщицам на третий этаж, а пряжа для утка—ткачам.

Работа сновальщиц похожа на средневековое колдовство: с такой непостижимой затейливой хитростью разматывают они со шпулек и сматывают на аппараты густые пучки нескончаемых ниток. Вливаясь в руки сновальщиц с целого поля шпулек, нитки образуют как бы снопы лучей и с плавной бесшумностью ложатся в белый покой основ. Готовые основы по квитанциям раздаются ткачам.

Надеть основу на ткацкий станок — кропотливейшее и труднейшее дело: каждую нитку надо безошибочно провести через бердо и соответствующий ременный глазок. А ниток в основе несколько тысяч штук. Вот тут и изловчайся, чтобы маху не дать. Старые ткачи достигают в этом деле виртуозной быстроты и сноровки, молодые же и малоопытные потеют и гнутся чрезвычайно долго. Работа ткачей вообще—одна из самых сложных и самых ответственных. Чтобы ткань имела достаточную густоту, в каждый вершок ее надо вбить не менее сорока ниток утка, иногда же до восьмидесяти и больше, в зависимости от сорта сукна. Чем выше сорт сукна, тем труднее и медленнее его ткань. Бывают самые замысловатые переплетения, требующие строжайшей тщательности и внимательности.

— Ткачи—наша гвардия,—говорят на фабрике.—Они сукну главные родители.

И, действительно, это самая многочисленная и влиятельная квалификация; в союзе за ткачами решающий голос. За последнее время ткачеству начало учиться много комсомольцев. Учатся с горячим рвением, упорно, настойчиво, преодолевая шаг за шагом все трудности сложной работы. Стать ткачом—гордость, это значит достигнуть общепризнанной профессиональной зрелости и солидности.

Механические ткацкие станки стучат железным мощным звяком, как огромные равномерные маятники; стальные челноки, подобно летучим змеям, скользят взад и вперед в сжимающихся и разжимающихся чащах основ. И лишь изредка, когда вдруг порвется какая-нибудь ниточка, ткач на минуту останавливает бой станка, связывает порвавшиеся концы, и снова начинается гулкое пристукивание заскальзывающих нитей спорового утка.

Старые ткани, снятые со станков, регистрируются в особой книге, на них вышиваются очередные порядковые номера, после чего открывается путь в валялку,—начинается длинная цепь обработки, пока сукно не примет своего надлежащего вида и не будет доведено до такой отделки, что уже „лицом в грязь не ударит".

Во время валянья, т. е. стремительно-текущего кольцеобразного вращения тканей в мыле и соде, в глубоких глухих ящиках, отмываются жиры, пыль, — все то, что будет мешать окраске. Сукно становится гуще, плотнее, крепче и приготовляется для дальнейшей аппретуры.

Аппретура—это длинная вереница мытарств, которую проходит каждый отдельный кусок ткани. Чего, чего тут только с ним не делают. В сукномойках моют с такой настойчивостью, точно хотят выхлестать водою каждую отдельную шерстинку. В центрофугах беспощадно ошеломительно колесуют. В красильных чанах заваривают красильной краской, держат в едком клокучем пару, потом наматывают на барабаны и снова часами обхлестывают водой в сукномойках, где суконные полосы непрерывными водопадными струями ниспадают сверху вниз через узкие круглые люки и вновь поднимаются наверх в потоках воды.

А карбонизационные камеры, выжигающие растительные соринки, попавшие в шерсть. А сушка в распластанном виде на движущихся рамах в жарких механических сукносушилках. А прохождение через стригательные машины, где острейшие, сверкающие белизной, спиральные ножи сбривают пух и случайно выступившие волоски. А фронтоватые начесы жестких француз-

ских шишек на ворсовальных машинах. А горячий двухсотпаровый паровой пресс, разглаживающий с такой беспощадностью, какая не снилась в самых пылких мечтаниях ни одному утюгу.

Все это надо перенести и вытерпеть. Красота даром не дается.

* * *

Главный оптовый и розничный сбыт дунаевского сукна сосредоточивается в Киеве и Харькове. Но большое количество продается также в Виннице, Одессе, Екатеринославе, Николаеве, Зиновьевске и Сталине. Были оптовые продажи даже в Вологодскую губернию.

Самое широкое русло, по которому сукно с фабрики переходит к потребителю — кооперация. Это мощный, верный и оборотистый покупатель.

Во время обеденного перерыва рабочие рассказывают:

— За последний год мы крупно шагнули. Такой ассортимент сейчас выделываем, что самим любо-дорого: и гвардейское, тонкие бостоны до самых моднейших, и английское костюмное, и пальтовые драпы, и пледы, и платки, и одеяла,—одним словом все, что спрашивает рынок. И в другом не отстали. Раньше шли на дровах. Маята с ними анафемская, будь они трижды не ладны и дорого, и хлопотливо. А чуть сухих нет, или вместо граба подвезли дуб,—сейчас же котлы сипят, пару настоящего не дают, ремни не тянут, машины поневоле бастуют, получаются простои, „почеканья". Что делать? Попробовали, перешли на каменный уголь. Стало немного лучше, но все-таки дорого. А теперь мы придумали хитрость: переходим на жидкое топливо, на нефть. Экономия получается громаднейшая. Прямо обидно, что раньше не догадались. Ну, да вот разживемся немного, тогда и не такую еще штуку устроим. Есть у нас заповедный план, давний, нужный—электрификация. Вот как ахнем, да электрифицируем производство, тогда наши дунаевцы зашумят.

В. Юрезанский.

ПЕСНЯ ТКАЧА.

Ткем мы прочные полотна.
Под ритмичный шум машин
на уток ложатся плотно
нити тонких паутин.

Веселей ныряй, челнок,
от работы—в жизни прок.
Было время жизни трудной:
силы тратили ткачи

за работой тяжкой, нудной,
в грозных окриках — „молчи!“
И тянулась жизнь без грез,
полна ужаса и слез.
Миновали дни лихие,
сгибли прахом палачи.
Лейтесь, песни огневые!
Будьте счастливы, ткачи!
Веселей ходи, челнок,
чтоб прочнее бил уток.

Ф. Шкулев.

ТКАЧ.

В расчетной книжке
под именем моим
значится прописью:
ткач.
Так ли?
Верно ли?
Можно ли верить,
чтоб Васька, когда-то подпасок,
стал—ткач?
Всего лишь год,
как с поля на завод.
Вместо кнутовища
основа,
вместо свирели—
гудок.
И песни поет уж не Васька,
а ткацкий станок.
Можно ли верить,
думать, мечтать,
чтоб Ваське подпаску
ткачом стать?
В контору, айда...
„Ошибка тут,
я ученик ткача,
а тут ткач“.
—Какого же тебе рожна?
Вчера завком из ученика
в ткача перевел.
Все мы подпаски, а после
Ткачи.
Ведь не даром из жизни черной
соткали красные дни.

В. Горнов.

ТРИНАДЦАТЬ.

(Отрывок).

I.

Ваньке тринадцать, и сказываются тринадцать во всем. Словно тринадцать крохотных бесов прыгают они на Ванькиных радостях и тихо жмутся при его грусти. И сам Ванька, маленький, щуплый, похожий на облезлого котенка, кажется жертвой своих тринадцати. Это не он радостно шмыгает по отделениям, визжит и пожимает руку каждому встречному, когда от их фабрики в Московский совет проходит коммунист, и не он в исступлении свистит и тоненьким голосом кричит „долой“, когда какой-нибудь меньшевик пытается „околпачить“ его товарищей.

Это — тринадцать.

Сам же Ванька тих и скромен, скромен и робок. И когда, случается, сгущается над фабрикой гроза закрытия, всем нутришком своим чует Ванька, как тревожатся его тринадцать, и от этого выступают серые ложбинки на покатом детском лобике. Тихой тенью бродит синяя промасленная блуза и не знает, куда податься.

К директору трусит Ванька, хоть и знает, что директор красный, свой, директор—рабочий и коммунист.

Угнетает чтой-то обстановка в кабинете. Веет от нее великой строгостью, и кажется, что вот-вот раздавят Ваньку, маленького, надвигающиеся стены. На стенах — „говорите кратко“, „время — деньги“ и еще много картонок понаклеено, и сам старый Ленин, Владимир Ильич, дорогой и близкий, промеж них, улыбаясь, спрашивает:

— Ванька, зачем пришел? Такой-сякой, не мешай директору.

И надо, значит, по коридору во двор, и через двор в ремонтную, рядом во флигель, где на маленькой двери прописью скромно:

„Здесь помещается ячейка РКСМ“.

Ваньке тринадцать, а в уставе — четырнадцать. Так и сказано: членом союза может быть каждый рабочий подросток в возрасте от четырнадцати.

А покамест можно с совещательным. Ах, как не хочется быть совещательным, больно обидно: Гришка-то ведь член решающий, в одном классе и в одной мастерской... Федька, Сенька, Васька, Стенька, Ванька Длинный, — тоже — чем они?...

Вся беда в тринадцати.

И когда, бывает, на собрании выносят резолюцию и целый лес рук вырастает над массой голов, так и хочется поднять руку заодно со всеми, а боязно—вон, кажется, каждый смотрит и говорит: „Ванька, не забудь устав...“

Ночью в темной затхлой комнате спит Ванька с братом Митрием в одной кровати. Спит Митрий сладко, крепко; обдает вокруг дыханьем потным и горьким.

Смотрит Ванька долго на лицо брата; жадно ловит перебои сердца, дышит спертым воздухом и потихоньку:

— Митрий, а Митрий...

— Чего?

— Я... обсчет ячейки...

— Ну, чего? Опять со школой, верно? Завтра, завтра...

— Нет, я не об этом...

— Все равно завтра, спать надо...

— Почему это так — с четырнадцати?

— Что с четырнадцати?

— В уставе...

— В каком уставе?

— В рекесемовском...

— В рекесемовском потому, чтоб шпингалеты, как ты, в союз не лезли. Понял?

— Понял. Только, Митрий... чем я хуже других?

Поздней ночью воет по округе ветер; пляшет, словно бесшабашный комсомолец. И похоже, будто собирает ветер на собрание звезды. Эх, а звезды, звезды-то комсомолочками из-за туч по небу сыплют:

— Что скажешь, товарищ ветер?

И когда уже нет ветра и нет звезд, и густой туман заволакивает аудиторию неба, орет фабрика во всю фабричную глотку:

— У... у-у-у-у...

Медленно подымается в доме мать. Слышно, как возится она за перегородкой, сводится рот от сладкой зевоты:

— Ох, ох, ох... грехи наши тяжкие...

И уже знает Ванька, что сейчас проснется отец и скажет мягко: „Мать, а мать, самоварчик бы", а потом громче: „Эй, комсомол, слышь, старуха-то по нас убивается". И кажется Ваньке, будто нарочно это отец про комсомол; знает ведь, что безбилетный Ванька. Утром урчит самовар, как старый резец по железу; утром на стеклах окон соки ушедшей ночи. Отец и Митрий пьют и смотрят в сизую муть. Толкуют о работе. Мать приглядывает за Ванькой: руки жилистые в подбородок, глаза умильные, ласковые.

— Пей, пей, Ванюшка, с хлебцем, сынок. Исхудал ты совсем в рекесеме вашем...

II.

Ночью в черной затхлой комнате спит Ванька вместе с братом Митрием в одной кровати.

Снится ему, будто причалил к фабрике паровоз огромной мощности. „Ух", — рявкнул, дернул и пошел, пошел к Москве-реке, а Москва-река и не река вовсе—море, море социальной революции. Паровоз, не думая, — на волны. Плещут волны через крышу, заливают нутро паровоза. Полыхает пламя топки, обжигает жадные языки моря, и шипят, шипят тяжелые поленья.

А у топки кочегаром Ванька.

Пузырями, пузырями кожа, набегают белыми буграми, лижут их и разрывают волны.

„Ах... уйтить бы от собачьей топки, прыгнуть бы в седые волны, освежить бы тело".

Только слышит Ванька:

— Что, устал, товарищ Назаренко?

Глянул — Ленин.

— Нет... не устал, товарищ Ленин...

— А как думаешь, довезем до коммунизма?

— Довезем, товарищ Ленин...

— Ну, тогда валяй, братец, отселе недалече...

— Есть, товарищ Ленин.

Пузырями, пузырями кожа; набегают белыми буграми, лижут их и разрывают волны.

Вдруг — стоп... остров...

На острове лето. Струится солнце. Ластится ветерок. Цветут дома. Выходят люди.

— Здравствуйте, товарищ Ленин, а это кто с вами?

— Это комсомолец Назаренко.

— Нет, не комсомолец я, товарищ Ленин... по уставу не хватает года.

— Ах, вот как.

И вдруг вынимает Ленин новенький комсомольский билет и подает Ваньке. Видит Ванька в нем свою фамилию, имя... Ах!...

— Ванька, а Ванька...

— Что, товарищ Ленин?

Продирает сонные глаза и видит Митрия.

— Что, где... билет, билет?...

— Какой билет?

— Союзный билет...

— Чей?

— Мой...

— Откуда?

— Товарищ Ленин дал...

И вдруг понял Ванька, что снился Ленин, и больше нет ничего

С горечью рассказал Митрию.

Тронуло Митрия:

— Вижу, Ванька, будешь ты комсомольцем, что надо. Только мы с тобой тепер в одном положении — тебе в комсомол, а мне в партию... Так же, как и ты, страдаю: молод—говорят...

Тихим звоном отозвались в сердце слова брата.

— Верно, верно. Митрий, нам как раз по году не хватает, давай уговор: в будущем году сразу вступать.

— Есть такое дело.

Шелестели языками до рассвета.

III.

В этот день не клеилась на фабрике работа. У работниц рвались нитки на басонах, и проворные руки неумело боролись с цепкими стальными пауками. У ткачей неправильно шел узор, останавливались машины, и прозорливые опытные очи не могли сразу нащупать причину порчи.

В ремонтной, в пуговичной, в барабанном—тоже, и даже старый кузнец, весь лохматый и заросший, никогда ни с кем не говоривший, кроме своих инструментов, обжег длинную седую бороду, после чего сказал Ваньке (заменял Ванька дедова подручного):

— Эх, нейдет чтой-то...

И потом, насупив брови и прикрыв огонь:

— Слушай, юнец, хоть ты и консомолец, и во всем, как и в работе, ни чорта не смыслишь, одначе спрошу тебя, почему не-гоже мне, старому, взрослых коммунистов об этом спрашивать.

Ванька Щуплый—пот рукой и нос рукой. Выпрямился и заерзал глазами по старику.

— Я, Антипыч, охотно...

— Охотно, это я и так знаю, что охотно—побалакать, лишь бы не работать. А вот ты скажи мне...

Голос его задрожал.

— Что, это верно, что Ильич того... плохо...

— Верно, Антипыч...

А в басонной и ремонтной собирались группами и толковали.

И никто не просил расходиться.

Молодежь даже во двор вышла. Манька Шустрая глаза в землю, смирна, как курица.

— Ребятки, где бы нам секретаря сыскать?

— В райком ушел...

— А Митрий?

— Тоже.

С'ежились в комочек, и сердца в комочек; челноками мечутся предчувствия.

А в окне Ванька. Хочется Ваньке к своим. С дрожью в хитрость:

— Я, Антипыч, сбегаю раз-раз... Все доподлинно узнаю...

— Што ж, иди...

Зазвенел звоночек в фабзавуче. Высыпали фабзайчата. Длинный Петька впереди крикнул:

— Што ж это вы, ребята, носы опустимши?

Манька злобно:

— Не знаешь разве?

Длинный Петька выступил:

— Знаю; ну и что же?... польза-то какая в отчаиваньи этом?... Тут помощь нужна, врачи нужны, потому никакой бог над нами не сжалится; а врачей и без нас дадут. Наше же дело, ребятки, вот в чем: получился ноне циркуляр в ячейке об юбилее партии. Надо в партию подарочек получше флотского заправить, — вот вам, чорт вас ешь, и помощь Ильичу... Потому работничков в партии мало — заработался Ильич.

Отлегло немного у ребят. Ванька Щуплый бойко:

— Братцы, кого ж передать-то?

— Ясное дело, не тебя, шпингалета...

А на завтра собирались комсомольцы в клубе. Секретарь партийный Пал Мироныч о партии, о Ленине, о комсомольцах. Мол, нужны сейчас помощники Владимиру Ильичу — умаялся больно. А помощников готовит комсомол — вот вышло время на помощников.

Все ясно, все понятно Ваньке, только что ежели вдруг да согласится Митрий... как подденут Ваньку ребята, что скажет токарь Володин?... Нет, не может этого быть, ведь уговаривались, и потом Мироныч скажет, что нельзя — по уставу не хватает году.

Председатель — бойкая шальная голова,—сразу двумя звонками звякает, — одним медным, другим глоточным — свое дело знает.

— Товарищи, бюро ячейки выдвигает Солодкову Анну, девятнадцати лет и Назаренко Митрия, семнадцати. Ребятки кажется, всем известные, и свое согласие из'явили.

Голоса в ответ пчелиным гудом.

— Есть... знаем... поддерживаем... об их и думали...

Смотрит Ванька в сторону брата; видит: горят глаза по-необычному.

Что ж это Мироныч?

Ничего Мироныч.

— Итак, считаются принятыми.

И уже не слышит Ванька, что говорят дальше, чует только — мутно, мутно в голове; кругом, кругом ребята, кругом, кругом столы и стулья...

— Ах... Что это, никак дурно Ваньке?

— Ну, конешно...

Зазвенели, завизжали голоса, загудели, закричали, загорланили.

— С чего это он?

— Никак с радости, брат-то его Митрий в партию передан.

— Нет, не с радости, вишь, они сговаривались вместе подаваться, один в партию, другой в комсомол. Ну, с обиды, значит...

— Ах, вот как... Он еще не комсомолец разве?

— Именно, что тринадцать ему, и главное—один у нас такой всего-навсего, а то организовали бы пионеров...

Ночь была теплая, полувесенняя.

У ворот домишек собиралась шаломыжить молодежь, а в домишке на кровати Ванька комом маленьким, невзрачным.

„Что же это... что ж это такое... прав или не прав Митрий?"

„Кто важнее: Ванька или Ленин?"

В ночь на двенадцатое марта в Москве, в Хамовниках, и большом зале второго университета говорил Антонов о юбилее партии.

И после Антонова говорила старая большевичка Труба, вспоминала о царском подполье. Говорили и вспоминали другие с выцветшими глазами. И со всех концов обширной залы текли по головам белые ручейки записок.

Были в записках приветствия Ленину, пожелания скорого выздоровления; и от написанных, хорошо и плохо, складно и нескладно, одинаково пахло неистертыми мозолями, нерастраченным потом, нераспаханным мозгом.

И когда передавали в партию выделенных комсомольцев, и каждый из передаваемых под наплывом чувств, душимый спазмами, пробирался к столику, получал кандидатскую карточку, книжку Бухарина и юбилейный значок,—в бешеной пляске рук, в гомоне криков, в звоне здравиц задыхалась аудитория, и тонул оркестр в топи ребяческих глоток.

И не было в зале Ваньки, как не было других Ванек, Колек, Петек, Дунек и Манек, — было одно многоглазое, многоголовое чудовище, одна радость играла в груди его, одна любовь полыхала.

И, когда подходил к трибуне Митрий, крикнул Ванька, что есть мочи, закрыв глаза от бешеного напряжения:

— Митрий, не срами консомол... Будь честным помощником Ильичу...

И кругом оглянулись на Ваньку, увидели его невзрачную фигурку, тонущую в радости. Ванька выхватил из кармана книжки, вырвал листок и начал лихорадочно марать на нем нервным почерком, потом передал соседке и прошептал:

— Пишите...

— Пишу...

— Еще раз... очень прошу передать привет... дорогому вождю пролетариата В. И. Ленину. В. Н. с фабрики „Кумач“ имени тов. Свердлова.

И поплыла одинокая записочка к председателю; вот тот получил, взял, раскрыл, улыбнулся:

— Товарищи, поступило еще одно предложение послать приветствие Владимиру Ильичу. Нет возражений?...

Не было.

М. Колосов.

ТКАЧИ.

Вот что снилось молодому королю.

Ему снилось, что он стоит в длинной низкой мансарде [1]) среди визга и стука множества ткацких станков. Скудный дневной свет проникал в решетчатые окна и освещал истощенные фигуры ткачей, склонившихся над работой. Бледные, болезненные дети сидели, скрючившись, на больших поперечных балках. Когда челноки проскакивали через основу, дети поднимали тяжелые рейки и сжимали ими нити. Их лица были изнурены голодом, а тощие руки дрожали и путались. Какие-то истощенные женщины сидели за столом и шили. Отвратительный запах наполнял комнату. Воздух был тяжелый и спертый, а по стенам текла сырость и капала на пол.

Молодой король подошел к одному из ткачей и стал следить за его работой.

Ткач сердито взглянул на него и сказал:

— Что ты глядишь на меня? Уж не шпион ли ты, приставленный нашим хозяином?

— Кто ваш хозяин?—спросил молодой король.

— Наш хозяин!—горько воскликнул ткач.—Он такой же человек, как и я. И, воистину, между нами только и есть та раз-

---

[1]) Комната под крышей многоэтажного дома.

ница, что он носит нарядные одежды, тогда как я хожу в рубище, да еще та, что я умираю от голода, а он не мало страдает от пресыщения.

— Страна свободна, — сказал молодой король, — и вы не находитесь ни у кого в рабстве.

— На войне, — ответил ткач, — сильные порабощают слабых, а в мирное время богатые порабощают бедных. Чтобы жить, мы должны работать, а они дают нам такую скудную плату, что мы умираем от голода. Мы работаем для них с утра до ночи, а они копят в своих сундуках груды золота, тогда как дети наши увядают преждевременно, и лица дорогих нам людей становятся черствыми и злыми. Мы давим виноград, а вино пьют другие. Мы сеем зерно, но стол наш пуст. Мы закованы в цепи, хотя никто их не видит; мы рабы, хотя люди считают нас свободными.

— И со всеми это так?—спросил король.

— Да, со всеми,—ответил ткач,—это участь молодых и старых, мужчин и женщин, детей и стариков, согбенных под тяжестью лет. Купцы притесняют нас, и мы вынуждены подчиняться их требованиям. Никто не заботится о нашей судьбе. По нашим закоулкам, лишенным солнца, бродит нищета с голодным взглядом. Но что тебе до всего того? Ты не из наших рядов, у тебя слишком счастливый вид.

И он мрачно отвернулся и снова бросил челнок в зев основы.

О. Уайльд.

ДВЕ БОЖЬИ МАТЕРИ.

На окраине огромного города, высоко над рекой, красиво белел большой дом. Внизу, на берегу, черно дымила фабрика.

В третьем этаже белого дома, в громадных комнатах, залитых солнцем, жил хозяин фабрики с семьей. В полутемном подвале жил ткач с ткачихой с той же фабрики.

У фабрикантши родилась дочка. У ткачихи тоже родилась маленькая.

В великолепной спальне висел образ божьей матери в золотой ризе. Барыня верила в бога, но знала, что толку от него никакого не будет, если у человека нет денег. У ткачихи, в запаутиненном углу, тоже висела доска с почернелым ликом и глазами. Ткачиха с глубокой верой молилась, думала, что на нее смотрит сама божья мать живая.

У фабрикантши были вокруг ребенка няньки, мамки, горничные, и кормила молодуха, которая из-за нищеты с тоской бросила свое дитя в деревне умирать на кислой соске, набитой ржаным хлебом.

Ребенок ткачихи целый день, надрываясь, кричал голодный, в мокрых вонючих пеленках, некому приглядеть — мать и отец целый день за гремучим станком на фабрике, и ни на минуту не замирала тоска по своему маленькому.

Дочка фабрикантши расцвела, как цветок, розовая, с перетянутыми ниточками ручками и ножками. И смотрели на нее нарисованные на доске глаза в золотой оправе. Дочка ткачихи — желтенькая, со старушечьим личиком, кривыми ножками, как пожелтевшая травка в темноте погреба. И смотрели на нее почерневшее лицо, нарисованное на потрескавшейся доске.

Заболела дочка фабрикантши. Налетели со всех сторон самые знаменитые доктора, профессора, платили им большие тысячи, и выпользовали девочку. Опять она, розовая и живая, щебетала, как птичка. И смотрела на нее хорошо нарисованная доска в золотой оправе.

Заболела дочка ткачихи, стало ей сводить ручки и ножки, почернело маленькое личико, повело посиневший ротик. Билась головой о доски измученная мать, рвала волосы, кидалась на колени и страстно молилась, мучительно сжимая грудь костлявыми руками и исступленно глядя на почернелую доску полными муки, слез, надежды, отчаяния глазами:

— Мати пресвятая, пречистая заступница! Спаси ты мне дочечку... вызволи ты мне дочечку... пущай поздоровеет моя дочечка... поставь ты ее на ножки... за что так она мучится?!.. Мати пресвятая ..

Гудит гудок, бросает ткачиха, глотая слезы, больную крошку, бежит работать на фабрикантово семейство. Уходит и ткач на работу, а в глазах—тоска.

Умерла маленькая и лежала, как желтенький свернувшийся листик, а в углу висела черная доска.

Поп торопливо похоронил, стараясь поскорей отделаться и скороговоркой приговаривая:

— Пути господни неисповедимы... зато ей там хорошо будет... на том свете.

— Хочь бы она в этом, хочь бы часочек, один бы часочек, как следует пожила,—захлебываясь, выговорила мать.

Поп прикрикнул:

— Не гневи господа. Господь каждому дает крест, и каждый должен нести его. А то гореть тебе в пещи огненной.

Росла и расцветала дочка у фабрикантши, у ткачихи тлела в могиле, никогда не заживала тоска у замученной женщины.

Попрежнему висели две божьи матери, одна—наверху, в вызолоченной оправе, хорошо нарисованная на доске, другая—в полутьме подвала, полопавшаяся, на почернелой доске.

А. Серафимович.

* * *

За прялкою баба в поняве сидит;
ребенок больной в колыбели лежит,
лежит он и в рот не берет молока,
кричит он без умолку—слушать тоска!
Торопится баба: рубашка нужна,
совсем-то, совсем обносилась она.
Надеть-то ей нечего, — просто напасть!
Прядет она ночью, днем некогда прясть.
И за полночь ярко лучина горит,
и грудь от сиденья щемит и болит,
и взгляд притупился, устала рука...
Дитя надрывается,—слушать тоска!
И баба садится и снова прядет,
и снова покою ей крик не дает.
„Молчи, говорю! мне самой до себя!
Ну, чем же теперь исцелю я тебя?“
Поют петухи: видно скоро рассвет,
дымится лучина, и гаснет—и нет;
притих он и глазки сомкнул.
Уснул он,—да только уж на-век уснул.

И. Никитин.

БІБЛІОТЕКА НАУК. ТОВ. ім. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ

ТКАЧИ.

(*Отрывок*).

Старик Баумерт. Всюду горе. Где бедность, там всегда беда за бедой. И никакого спасенья.

Ткач Гейбер. Что у тебя завернуто в платочке?

Старик Баумерт. У нас дома совсем пусто стало,— пришлось зарезать собачку. Немного на ней мяса-то — с голоду

бродила еле живая. А такая махонькая, славная собачонка была. Сам я не в силах был ее зарезать, — духу не хватило.

Пфейфер *(осмотрев работу Бекера, выкрикивает)*. Бекеру тринадцать с половиной зильбергрошей.

Бекер. Я за платой пришел, а не за милостыней.

Пфейфер. Кто получил расчет, выходите! Повернуться негде.

Бекер *(окружающим, не понижая голоса)*. Это жалкая подачка и больше ничего. Ты тут гнешь спину за станком с утра и до вечера, восемнадцать часов работаешь, каждый вечер встаешь из-за станка в поту, ошалевши от пыли и жары, — а за все получай тринадцать с половиной зильбергрошей. Мыслимое ли это дело?

Пфейфер. Здесь запрещено кричать.

Бекер. Не вам мне затыкать глотку!

Пфейфер *(вскакивает с места, с криком)*. Это мы еще увидим! *(подходит к стеклянной двери и кричит в контору)*. Господин Дрейсигер, господин Дрейсигер, будьте любезны пожаловать сюда.

Дрейсигер *(толстый человек, лет сорока, с одышкой; строгий вид)*. Что случилось, Пфейфер?

Пфейфер *(злобно)*. Бекер грубиянит.

Дрейсигер *(принимает внушительный вид, откидывает голову назад и пристально глядит на Бекера, с дрожащими от гнева ноздрями)*. Ах, вот как Бекер. *(Пфейферу)*. Это тот, который?.. *(Служащие утвердительно кивают головой)*.

Бекер *(дерзко)*. Да, да, господин Дрейсигер. *(Указывая на себя)*. Это тот, который... *(указывая на Дрейсигера)*, а это тот, который...

Дрейсигер *(возмущенно)*. Что этот человек себе позволяет?

Пфейфер. Слишком ему хорошо живется. Ну, да он и допляшется. Поживем — увидим.

Бекер *(грубо)*. Не дери горло, скареда! Мать твоя, верно, загляделась на сатану, когда на помеле вылетала из трубы в полнолуние, — оттого ты и уродился таким чортом.

Дрейсигер *(вспылив, ревет)*. Молчать, не то!.. *(Он дрожит и делает несколько шагов вперед)*.

Бекер *(поджидая его, с решимостью)*. Я не оглох. Я еще хорошо слышу...

Дрейсигер. Еще одно слово, и я сейчас же пошлю за полицией. Я долго не раздумываю. Скручу я вас, молодчиков. Не с такими справлялся.

Бекер. Еще бы! Порядочный фабрикант может справиться с двумя-тремя стами ткачей так быстро, что не успеешь оглянуться. У порядочного фабриканта четыре желудка, как у коровы, и зубы, как у волка. Он всех слопает.

Дрейсигер *(служащим)*. Не давать ему больше работы.

Бекер. Да мне все равно — за станком ли умирать с голоду или в канаве на улице.

Дрейсигер. Вон! Сию минуту вон!

Бекер *(твердо)*. Прежде я должен получить расчет.

Дрейсигер. Сколько ему следует, Нейман?

Нейман. Двенадцать зильбергрошей и пять пфеннигов.

Дрейсигер *(поспешно берет у кассира деньги и сердито бросает их на стол; несколько монет падает на пол)*. Вот... вот... и проваливайте! Вон с глаз моих!

Бекер. Сначала мне должны заплатить.

Дрейсигер. Вот деньги, и если вы не уберетесь... Теперь двенадцать часов. Красильщики сейчас придуть обедать и...

Бекер. Деньги я должен получить в руку — сюда (*касается пальцами одной руки ладони другой*).

Дрейсигер (*мальчику*). Поднимите, Тильгнер.

Мальчик *(поднимает деньги и кладет в левую руку Бекера)*.

Бекер. Вот так, — чтобы все было в аккурате *(не спеша прячет деньги в старый кошелек)*.

Дрейсигер *(видя, что Бекер все еще медлит, говорит нетерпеливо)*. Уж не помочь ли мне?

В толпе ткачей происходит движение. Слышится глубокий, долгий вздох, затем стук падающего тела. Общий интерес сосредоточивается на этом новом происшествии.

Дрейсигер. Что случилось?

Голоса. Его повалили на пол. Он почти ребенок. Что с ним? Болезнь приключилась или что другое?

Дрейсигер. Кого повалили? *(подходит ближе)*.

Старый ткач. Вот он лежит.

Толпа расступается. На полу лежит восьмилетний мальчик в глубоком обмороке.

Дрейсигер. Кто-нибудь знает этого мальчика?

Старый ткач. Он не из нашей деревни.

Старик Баумерт. Да, ведь, это как будто Генрихов мальчик *(внимательно разглядывает его)*. Ну, конечно, это Густав, сын Генриха.

Дрейсигер. Где живут его родители?

Старик Баумерт. У нас, в Кашбахе, господин Дрейсигер. Отец по вечерам ходит играть — он музыкант, а весь день он у станка. У них девять человек детей, и скоро будет десятый.

Голоса мужчин и женщин. Им плохо живется, у них крыша протекает. У матери нет и двух сорочек для девяти мальчиков.

Старик Баумерт *(трогая мальчика)*. Ну, что с тобой, малыш? Проснись!

Дрейсигер. Давайте поднимем его вместе. Какое безрассудство посылать слабого ребенка так далеко. Принесите воды, Пфейфер.

Ткачиха *(помогая поднять мальчика)*. Лучше б уж тебе здесь умереть, родимый!

Дрейсигер. Принесите лучше коньяку, Пфейфер.

Бекер *(о котором все забыли, стоял все время, следя за происходящим. Теперь уже взявшись за ручку дверей, чтобы уходить, он кричит громко и насмешливо)*. Дайте ему лучше жрать, — он быстро очнется! *(уходит)*.

Дрейсигер. Этот человек плохо кончит... Возьмите мальчика под руку, Нейман... Осторожно... осторожно... Вот так. Мы его поведем в мою комнату. Ну, что же?

Нейман. Он что-то хочет сказать, господин Дрейсигер. Он шевелит губами.

Дрейсигер. Что тебе, мальчик?

Мальчик (*едва слышно*). Я го...лоден.

Дрейсигер *(бледнея)*. Ничего не понимаю.

Женщина. Кажется, он сказал...

Дрейсигер. Мы его потом расспросим. Ведите его, не останавливаясь. Положите его у меня на диване. Доктор скажет нам, в чем дело.

Дрейсигер, Нейман и ткачиха отводят мальчика в контору. Среди ткачей оживление, как в школе после ухода из класса учителя. Все вытягиваются, расправляют члены, переминаются с ноги на ногу, — и через минуту начинается обычный громкий разговор.

Старик Баумерт. А ведь, Бекер-то был прав.

Несколько голосов. Мальчик сам сказал. Разве в первый раз это здесь, что с голоду валятся? И что-то еще будет зимой, когда вот так все будут высчитывать да урезывать плату? Картофель в нынешнем году не уродился — одно горе! Так все и будет хуже да хуже, изо дня в день, пока все мы не повалимся с голодухи.

Старик Баумерт. Лучше всего сделать так, как ткач из Нентвиха — набросить петлю на шею и повеситься на станке...

Пфейфер *(вбегая)*. Господин Дрейсигер, у черного входа тоже уже толпа людей. Они взламывают дверь. Кузнец Виттиг колотит в нее ведром, как бешеный.

Снизу все явственнее доносится: *„Подавайте нам сюда приемщика Пфейфера!— Пфейфера сюда"*.

Фрау Дрейсигер *(убегает, пасторша следует за нею)*.

Пфейфер. Милый, дорогой, бесценный господин Дрейсигер, возьмите меня с собою! Я вам всегда верно служил, я всегда хорошо относился к рабочим. Не от меня, ведь, зависело повышать им плату. Они меня убьют, если я здесь останусь. Ах, господи помилуй! Моя жена, мои дети...

Дрейсигер *(уходит, тщетно пытаясь отделаться от Пфейфера)*. Да оставьте вы меня. Все это уладится, как-нибудь уладится! (*Уходит с Пфейфером).*

Несколько секунд комната остается пустой. В гостиной дребезжат стекла. Слышится страшный треск, затем громовое „ура", и, наконец, все стихает. Проходит несколько секунд, потом слышны осторожные шаги, поднимающиеся в первый этаж; при этом раздаются робкие восклицания: *„влево", „наверх", „осторожней, осторожней", „да не толкайся", „ага, вот те и на", „долой цепи", „идем плясать", „да иди же ты", „ну, иди же".*

Появляются в сенях молодые ткачи и девушки; они не решаются войти и толкают друг дружку. Через несколько секунд робость проходит, и худые болезненные, одетые в лохмотья фигуры, наполняют кабинет Дрейсигера и гостиную... Старик Баумерт и несколько молодых и старых ткачей вбегают, как на охоте, друг за другом и кричат наперерыв охрипшими голосами.

Егер. Где он.

Бекер. Где живодер?

Старик Баумерт. Небось, посылал нас жрать траву, так мы тебе напихаем земли в рот.

Виттиг. Как только его поймаем, так сейчас и вздернем.

Первый старый ткач. Возьмем за ноги и вышвырнем в окно, на камни, чтоб уже не поднялся.

Второй молодой ткач (*входя*). Удрал?

Все. Кто?

Второй молодой ткач. Дрейсигер.

Бекер. А где Пфейфер?

Голоса. Ищите Пфейфера! Ищите Пфейфера!

Старик Баумерт. Ищите Пфейфера, пусть придет морить голодом ткачей! *(Смех)*.

Егер. Если он сам не попался нам в руки, так мы разгромим его дом... Пустим его по миру.

Старик Баумерт. Он будет беднее церковной крысы.

Все бросаются в комнаты с намерением разнести дом.

Бекер *(побежавший вперед, поворачивается и останавливает других)*. Стойте, слушайте меня! Когда мы здесь покончим, тогда только и начнется. Отсюда двинем в Билау, к Дитриху. Он завел механические станки. Все наше горе от проклятых фабрик...

Голос *(в окно)*. Ткачи, выходите!

Старик Хильзе. По мне, делайте что хотите *(садится за станок)*. А я буду работать.

Готлиб *(после короткой борьбы)*. Я пойду и буду работать. Будь, что будет.

Уходит; доносится песня ткачей, которую поют много голосов совсем близко; она звучит, как глухой однообразный стон.

Голоса соседей *(в сенях)*. О, господи Иисусе, они, как муравьи, со всех сторон ползут... Откуда это взялось столько ткачей?.. Не толкайся, я тоже хочу видеть... Ах! Ах! Они целой тучей идут.

Хорниг *(появляется среди других в сенях)*. Ну, и представление, скажу я вам, не каждый день это увидишь. Сходите-ка к верхнему Дитриху. Там опять такого наделали, что просто любо-дорого. Ни дома, ни фабрики, ни погреба, ничего не осталось... Теперь они к здешнему Дитриху идут.

Массовое пение замолкло.

Голоса соседей. А они совсем не злые на вид.

Хорниг. Подождите, что еще будет. Они теперь со всех сторон замок облепили. Вот видите маленького толстого человечка с ведром в руках? Это кузнец из Петерс-Валдау... Страх какой силач! Он с самыми горячими лошадьми умеет справляться! Когда он схватит кого-нибудь из фабрикантов — не сдобровать.

Голоса соседей. Ишь ты, как свистнуло... Вот камень в окно влетел... Вот-то, верно, перепугался старик Дитрих... У него что-то вывешивают... Доску... Что на ней написано?.. Ты читать умеешь?.. На что бы я был годен, если бы читать не умел... Ну, так прочти... „Вы все... будете... удовлетворены“.

Хорниг. Напрасно он это сделал. Все равно не поможет. Они решили разнести фабрику. Хотят истребить механические станки. Ведь они ручной ткацкий промысел погубили: это и слепой поймет. Сегодня ткачей не усмирить — разошлись больно. Ни ландрат, ни полиция не образумят их, — а тем более доска с надписью. Кто видел, как они хозяйничали, знает, что это не шутки.

Голоса соседей. Глядите, глядите, сколько народу!.. Что им нужно? *(Торопливо)*. Они через мост перешли. *(Со страхом)*. Верно с другой стороны обойти хотят. *(С удивлением и страхом)*. Они к нам идут, к нам идут... Они пришли звать ткачей.

Все убегают, сени остаются пустыми. Толпа бунтовщиков, грязных, запыленных, с раскрасневшимися от водки и напряжения лицами, одичалых, оборванных, врывается в сени с криком: „Ткачи, выходите!“ и рассыпается по отдельным ткацким. В комнату старика Хильзе входят Бекер и несколько молодых ткачей, вооруженных кольями и кнутами. Узнав старика Хильзе, они останавливаются несколько одумавшись.

Бекер. Отец Хильзе, бросьте работу. Пусть работает, кому охота, — вам пора уже отдохнуть. Об вас мы позаботимся.

Первый молодой ткач. Вы никогда не пойдете спать без ужина.

Второй молодой ткач. У ткачей опять будет крыша над головой и рубаха на теле.

Старик Хильзе. Откуда вас чорт принес с кольями и топорами?

Бекер. Их мы обломаем о дитрихову спину.

Второй молодой ткач. Мы их запихаем фабрикантам в горло, чтоб и они знали, как от голода жжет.

Третий молодой ткач. Идемте с нами, отец Хильзе. Мы им спуску не дадим.

Второй молодой ткач. Нас они тоже не жалели. Ни бог, ни люди над нами не сжалились. Теперь мы сами постоим за себя...

Г. Гауптман.

ТКАЧИ.

Глаза их сухие, не блещут слезами, —
сидят у станков и скрежещут зубами:
„Германия, саван тебе мы соткем,
в него мы тройное проклятье вплетем.
Мы ткем, неустанно мы ткем!

Проклятие богу, пред кем мы с мольбою
склонялися в голод и холод зимой!
Напрасно мы ждали, надежды полны,
он нас обманул, одурачены мы.
Мы ткем, неустанно мы ткем!

Проклятье ему, королю всех счастливых!
Не жаль ему нас, бедняков терпеливых;
последний он грош отнимает у нас;
„Стрелять по собакам!“ — он отдал приказ!
Мы ткем, неустанно мы ткем!

Проклятье тебе, о наш край лицемерный,
где царствует стыд и позор беспримерный,
где вянет без света цветок полевой,
где кормится тленьем червяк гробовой!
Мы ткем, неустанно мы ткем!

Челнок снует, станок гремит,
и день, и ночь все ткач сидит.
„Мы старой Германии саван соткем,
в него мы тройное проклятье вплетем.
Мы ткем, неустанно мы ткем!“

Г. Гейне.

СКУПЩИКИ.

— Вышел Молотков, сказывают, вышел! — сказал кто-то, пробегая мимо, и кучка кустарей метнулась за ним. В то же время, в другой стороне улицы показался фонарь, и за ним, все увеличиваясь и прихватывая за собой встречных, потянулся целый хвост народа.

Фонарь остановился у широкой сводчатой двери подвала. Загремели болты, открылась какая-то темная нора. Скупщик прошел туда, опустил прилавок, перегородивший широкий вход, поставил на него фонарь и уселся, освещенный огнем на фоне этой пещеры. Толпа тотчас же плотно сомкнулась за ним, теснясь и чуть не влезая друг на друга.

Это значит, что „богачи“ засветили огни, и началась настоящая скупка.

Обстановка скупки придумана как бы нарочно для того, чтобы во всяком стороннем человеке вызвать жуткое чувство. Темная

нора, трепетный огонек сального огарка в фонаре, освещающий фигуру за прилавком, и напряженные лица кустарей, напирающих с улицы. Скупщик одет в теплой шубе, кустари дрожат от пронизывающего ветра. Он сдержан, холоден, спокоен, — они взволнованы. Он развертывает образцы и равнодушно отодвигает одни, назначает цену за другие. Соответственно с этим на физиономиях мастеров сменяются выражения: надежды у тех, кто подходит, — страха у тех, чьи образцы в руках скупщика,— вражды на лицах отходящих... — Вот паук, раскинувший свою сеть у входа в пещеру, — невольно приходит в голову при виде этого человека, сидящего у фонаря за прилавком в середине загороженного входа.

Но, с другой стороны, если бы скупщик не засветил сегодня своего огня, многие кустари впали бы в уныние. Если бы не вышло их трое или четверо, уныние достигло бы значительных размеров. Если бы не явился один, все Павлово [1]) принуждено было бы голодать целую неделю и, пожалуй, прекратить работу за недостатком материала.

Итак, выходя, он оказывает этой толпе благодеяние. Он скупит эти замки и ножи, а отсюда, из его подвала, они разойдутся по всему белому свету, попадут и в Турцию, и в Персию, и на далекие недоступные рынки неведомых стран Средней Азии.

Он здесь не один. Рядом, вдоль улицы и в переулках, горят такие же огни, идут те же разговоры. Он знает, что все его соседи будут сбивать цены до той степени, до какой только масса будет поддаваться. И он должен не отставать от соседей, иначе его товар выйдет дороже, и Москва возьмет у других.

И вот он окидывает толпу острым, проницательным взглядом. Он ее давно изучил; он видит, как люди жмутся, точно испуганные бараны, и думает, что „ноньче народ станет уступать до последнего". Это его не радует и не печалит, он просто принимает это к сведению.

— Рука, что ли Иван Иваныч?—и кустарь кидает образцы на прилавок.

Скупщик медленно разворачивает и равнодушно отодвигает товар.

— Не рука.

Может быть, он и мог бы взять этот товар, но ему нужно укрепить свое положение и расшатать положение другой стороны.

[1]) Село Нижегородской губ., место кустарного производства металлических изделий.

Для него отодвинутые образцы — несколько гривенников барыша, для кустаря, работавшего их целую неделю, это новая неделя сравнительной обеспеченности или голода. Кустарь схватывает образцы и судорожно выбивается из толпы, чтобы бежать к другому огню, а в оставшейся толпе этот эпизод посеял некоторую долю неуверенности и уныния.

— Рука, что ли? — спрашивает следующий.

— Почем отдашь?

— Попрежнему, Иван Иваныч, как всегда.

— Без полтины.

— Много дороже слышали...

— Надо было отдавать.

И он опять завертывает образцы и отодвигает их, обращаясь к следующему.

Это он пробует, до какой степени народ поддается. Через некоторое время, после нескольких уступок, после того, как кустари обежали другие огни, он уже отлично знает положение сегодняшнего рынка.

Вот перед ним старик, деревенский кустарь, с которым он ведет дело давно и с которым пускается иногда в приятельские разговоры.

— Не сойдутся опять образцы у тебя с товаром. Личка[1]) у вас плоха, — говорит он.

— Личка у нас ноне, Иван Иваныч, первый сорт. Ноне мы рабочих нажали несколько. Забудут спать-то.

— Почем?

— По шести гривен.

— Уступай, Потапыч, уступай.

— Уступлено, Иван Иваныч, сами знаете, по восьми брали.

— Знаю, что по восьми. Да еще уступить надо. Ноне сам видишь, до слез уступает народ.

Уступают до слез! Скупщику не нужны эти слезы. Зачем они ему? В общем, человек все-таки человек, и слеза народа иному скупщику, может-быть, даже неприятна. Но он ее выжмет. Ему нужна уверенность, что дальше уже не идет уступчивость, что больше не выжмет ни он, ни его сосед, что предел уступчивости народа достигнут для данного рынка. Конкуренция — пресс... Кустарь — материал, лежащий под прессом, скупщик — винт, которым пресс нажимается. Мне самому пришлось видеть, как во время

---

[1]) Личить — значит обтачивать поверхность ножей на камне перед полировкой.

приемки[1]), которая следует за скупкой, торговец взял в руки связку образцов, оглядел их, посмотрел записанную цену и швырнул с досадой в общую кучу.

— Еще упала цена! Все уступают да уступают. Этот замок полгода назад шел по рублю, ноне вон по шести гривен валят. Из-за чего работают только, дьяволы, — за такую цену отдавать!

— Разве это вам не выгодно?—спросил я, удивленный этою досадой на дешевизну покупки.

Оказалось, что в данном случае, действительно, ему было невыгодно: на прежних базарах он запасся большим количеством товара, и, если бы цена поднялась, он продал бы дешевый товар дороже. Теперь цена еще упала, и ему придется, наоборот, дорогой товар пускать по более дешевой цене. Но он, конечно, жмет на скупке так, как всегда; необходимо дождать до последней возможности.

К огню подходит молодой мастер и молча, угрюмо кидает товар на прилавок. Он, видимо, уже обегал другие огни, слышал цены, но из него скупщический пресс выжимает не слезу, а угрюмое ожесточение. Скупщик окидывает его проницательным взглядом и с особенным вниманием присматривается к образцам. Мастер с оттенком презрения наблюдает эту процедуру. Он знает, что образцы у него безукоризненны, что скупщику это известно, что именно потому-то он и не может отдать товар так дешево, как отдают другие. Каждое продолжительное понижение цены понижает также общее качество товара; форма остается та же, но вес и работа — другие. Он — артист своего дела, гордый своим искусством, один из тех, которые до последней возможности не идут на компромиссы...

— Почем?

— Знаете сами, почем брали.

— Теперь дешевле.

— А как?

— Полтина.

Мастер сам берет образцы с прилавка, не дожидаясь, пока их завернет скупщик.

— За полтину этот товар отдавать — солому надо есть. Не научились еще дети у нас.

— Научатся, — говорит скупщик хладнокровно.

---

[1]) На скупке принимаются от кустаря образцы, к которым привешивается ярлычок с обозначением условленной цены. Во время приемки кустарь доставляет условленное количество самого товара.

Много, конечно, нужно упражняться в жестоком деле, чтобы так спокойно кинуть ближнему такое слово. Но в этой железной торговле вырабатываются и железные сердца, не знающие жалости.

Мне пришлось однажды зайти в дом кустаря. Он сидел больной на своей постели, встретив меня каким-то лихорадочно-беспокойным взглядом. Разговаривая, он все посматривал в окно и на двери.

— Вы о чем-то беспокоитесь? — спросил я.

— Беспокоюсь, верно. Баба у меня с образцами послана. Болен сам. Это в нашем деле, господин, беда большая, что бабу послать к торговцу... Запугивают их... Ну, вот идет, кажись, погоди-ка...

В избу вошла молодая женщина, села в изнеможении на лавку и как-то виновато опустила руки на колени.

— Почем? — спросил мужик угрюмо.

— По шести.

— Так и знал. Это, господин, пятаком дешевле самой низкой цены. Говорил ведь я цену тебе?

— Не берет. Нипочем, говорит, завтра этот товар не возьмут, в последнее и брали.

И вдруг, как-то встряхнувшись и вытирая рукавами слезы, молодая женщина заговорила с истерическою торопливостью:

— Да еще дает пять с полтиной и смеется: „Бери, грабь, загребай с меня деньги лопатой". — „Полно, говорю, вам над беднотой над нашей смеяться, Василь Василич! Какая это цена!" — „Да ведь отдают!" — „От нужды отдают, мол. Плачут, да отдают". — „Какая, говорит, вам нужда, в своих домах живете, в калошах ходите, по праздникам белый хлеб покупаете. Вот будет нужда, как в прочих местах уже дошел народ: по пяти семей в одну избу натолкаетесь, на десять человек одна шуба, а о пшеничном хлебе и думать забудете".

Женщина посмотрела на меня и на мужа обезумевшими, испуганными глазами.

В. Короленко.

ПЕСНЯ О ПОРТНИХЕ.

И она была девочка —
тонкая и душистая как ветка,
обвивала она ручонками
жесткую шею отца.

И отплывали мучения,
нудная боль мигрени,
стены наборной,
запах свинца.

А разве не бегала она в школу
по звонкой мостовой, каблучками стуча,
когда река полая,
река мутная
плавилась в юных лучах?
И не ей ли, цветной и ласковой
за пугливую розовость щек
старый дядя из кармана вытаскивал
непропитый еще пятачок?
А потом, когда отдали к мадаме,
жизнь пошла совсем не такая:
днями, неделями, годами
шили и шили, не уставая,
шили и пели: „Хороша я".
Днями, неделями, годами
лампы керосиновые чадили,
хозяйка и утюги шипели.
О молодости, о радости, о силе
согнувшись портнихи пели.
Зимы и весны проходили,
иней и листья уносили,
портнихи их не видали.
Целые полчища талий
перед портнихами мелькали,
длинных, широких и узких, и всяких.

Н. Полетаев.

ШВЕЯ.

Нынче праздник. За стеною
разговор веселый смолк.
Я одна с моей иглою
вышиваю красный шелк.

Все ушли мои подруги
на веселый свет взглянуть,
скоротать свои досуги,
забавляясь как-нибудь.

— Шей нарядные одежды
для изнеженных госпож!
Отвергай свои надежды!
Проклинай их злую ложь!

И в покорности я никла,
трепетала словно лань,
но зато шептать привыкла
слово гордое: восстань!

Белым шелком красный мечу,
и сама я в грозный бой
знамя вынесу навстречу
рати вражеской и злой.

Ф. Сологуб.

В БУЛОЧНОЙ.

Нас было двадцать шесть человек — двадцать шесть живых машин запертых в сыром подвале, где мы с утра до вечера месили тесто, делая крендели и сушки. Окна нашего подвала упирались в яму, вырытую перед ними и выложенную кирпичом, зеленым от сырости; рамы были заграждены снаружи частой железной сеткой, и свет солнца не мог пробиться к нам сквозь стекла, покрытые мучной пылью. Наш хозяин забил окна железом

для того, чтобы мы не могли дать кусок его хлеба нищим и тем из наших товарищей, которые, живя без работы, голодали; наш хозяин называл нас жуликами и давал нам на обед тухлую требушину.

Нам было душно и тесно жить в каменной коробке под низким и тяжелым потолком, покрытым копотью и паутиной. Нам было тяжело и тошно в толстых стенах, разрисованных пятнами грязи и плесени. Мы вставали в пять часов утра, не успев выспаться, и — тупые, равнодушные — в шесть уже садились за стол делать крендели из теста, приготовленного для нас товарищами в то время, когда мы еще спали. И целый день, с утра до вечера, одни из нас сидели за столом, рассучивая упругое тесто и покачиваясь, чтобы не одеревенеть, а другие в это время месили муку с водой. И целый день задумчиво и грустно мурлыкала кипящая вода в котле, где крендели варились, лопата пекаря зло и быстро шаркала по кирпичу, сбрасывая скользкие вареные куски теста на горячий кирпич. С утра до вечера в одной стороне печи горели дрова, и красный отблеск пламени трепетал на стене мастерской, как будто безмолвно смеялся над нами. Огромная печь была похожа на уродливую голову сказочного чудовища— она как бы высунулась из-под пола, открыла широкую пасть, полную яркого огня, и дышала на нас жаром и смотрела на нашу бесконечную работу двумя черными впадинами отдушин над челом. Эти две глубокие впадины были, как глаза безжалостные и бесстрастные очи чудовища; они смотрели на нас всегда одинаковым темным взглядом, как-будто устали смотреть на рабов, и, не ожидая от них ничего человеческого, презирали их холодным презрением мудрости.

Изо дня в день в мучной пыли, в грязи, натасканной нашими ногами со двора, в густой духоте мы рассучивали тесто и делали крендели, смачивая их нашим потом, и мы ненавидели нашу работу острой ненавистью, мы никогда не ели того, что выходило из под наших рук, предпочитая кренделям черный хлеб. Сидя за длинным столом друг против друга, — девять против девяти, — мы в продолжение длинных часов механически двигали руками и пальцами, и так привыкли к своей роботе, что никогда уже не следили за движениями своими. И мы до того присмотрелись друг к другу, что каждый из нас знал все морщины на лицах товарищей. Нам не о чем было говорить, мы к этому привыкли и все время молчали, если не ругались,—ибо всегда есть за что обругать человека, а особенно товарища. Но и ругались мы

редко — в чем может быть виновен человек, если он полумертв, если он—как истукан, если все чувства его подавлены тяжестью труда? Но иногда мы пели, и песня наша начиналась так: среди работы вдруг кто-нибудь вздыхал тяжелым вздохом усталой лошади и запевал тихонько одну из тех протяжных песен, жалобно-ласковый мотив которых всегда обличает тяжесть на душе поющего. Поет один из нас, а мы сначала молча слушаем его одинокую песню, и она гаснет и глохнет под тяжелым потолком подвала, как маленький огонь костра в степи сырой осенней ночью, когда серое небо висит над землей, как свинцовая крыша. Потом к певцу пристает другой, и — вот уже два голоса тихо и тоскливо плавают в духоте нашей тесной ямы. И вдруг сразу несколько голосов подхватят песню,—она вскипает, как волна, становится сильнее, громче и точно раздвигает сырые, тяжелые стены нашей каменной тюрьмы.

Поют все двадцать шесть, громкие, давно спевшиеся голоса, наполняют мастерскую; песне тесно в ней: она бьется о камень стен, стонет, плачет и оживляет сердце тихой щекочущей болью, бередит в нем старые раны и будит тоску... Певцы глубоко и тяжело вздыхают; иной неожиданно оборвет песню и слушает, как поют товарищи, и снова вливает свой голос в общую волну. Иной, тоскливо крикнув: эх!—поет, закрыв глаза, и, может-быть, густая широкая волна звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль, освещенной ярким солнцем, широкой дорогой, и он видит себя идущим по ней.

Пламя в печи все трепещет, все шаркает по кирпичу лопата пекаря, безмолвно смеясь... А мы выпеваем чужими словами свое тупое горе, тяжелую тоску живых людей, лишенных солнца, тоску рабов... Так-то жили мы, двадцать шесть, в подвале большого каменного дома, и нам было до того тяжело жить, точно все три этажа этого дома были построены прямо на плечах наших...

М. Горький.

„МАЛЬЧИК“.

Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простыньку, заткнул ее пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко:

— Мальчик, воды!

Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с тою обостренною внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке

прибавился еще один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо в худую маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как-будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шопота.

Если его брил не сам хозяин, Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михайло, то шопот становился громким и принимал форму неопределенной угрозы:

— Вот, погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду, и его ждет наказание. „Так их и следует", думал посетитель, кривя голову на бок и созерцая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку' пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жесткую щетину бороды.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал тремя годами от роду больше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посетитель попроще, а подмастерья в отсутствии хозяина ленились работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик, тогда и подмастерья кричали на Николку, но не всерьез, а только для удовольствия окарначенного простачка. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничал и держался, как большой: курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался сквернымн словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть на крупную драку; когда возвращался оттуда счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощечины: по одной на каждую щеку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей, и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днем споты-

кавшийся от желания спать, приваливался в темном углу за перегородкой, а Михайло читал „Московский Листок“, — Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоем, и об'яснял „мальчику“, что значит стричь под польку, бобриком или с пробором.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родные брата. И зимою, и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух голых женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушиных следов да увеличивалась черная копоть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела керосиновая лампа-молния. И утром, и вечером, и весь день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: „Мальчик, воды“, и он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать, и часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слыхал резкого крика: „Мальчик, воды“ и все худел, а на голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого худенького, веснущатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика.

Л. Андреев.

ВАНЬКА.

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки

с колодками, прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стал перед скамьей на коленях.

„Милый дедушка, Констентин Макарыч!—писал он.—И пишу тебе письмо. Поздравляю Вас с Рождеством и желаю тебе от господа бога. Нету у меня ни отца ни маменьки, только ты у меня один остался".

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка, лет 65-ти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне, или балагурит с кухарками, ночью же окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит, как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет во-время подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник, или украсть у мужика курицу. Ему уже не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли его до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притоптывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу.

— Табачку нешто нам понюхать? – говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

— Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и млечный путь вырисовывается так ясно, как-будто его перед праздником помыли и потерли снегом...

Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать:

„А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за

волосы на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянному заснул. А на деле хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, а в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают.

А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру"...

Ванька покривил рот, потер своим черным платком глаза и всхлипнул.

„Я буду тебе табак тереть,—продолжал он,—богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я, Христа ради, попрошусь приказчику сапоги чистить, али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда выросту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молиться, все равно, как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома все господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на окне, крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что, небось рублей сто кажное... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают".

„Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи — для Ваньки".

Ванька судорожно вздрогнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой у господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука.

Веселое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а, глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде, чем вырубить елку, дед

выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть: „держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!“

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее...

„Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом богом тебя молю, возьми меня отсюда. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, Кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай“.

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес: „На деревню, дедушке“.

Потом почесался, подумал и прибавил: „Констентину Макарычу“. Довольный тем, что ему не помешали писать, он одел шапку и, не набрасывая на себя шубейку, прямо в рубахе выбежал на улицу.

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках пьяными ямщиками с звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель.

Убаюканный сладкими надеждами, он, час спустя, крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

А. Чехов.

В УЧЕНИИ У ШОРНИКА.

С тех пор, как Ваньке крикнули в первый раз: „берегись“, и он отскочил от колеса, с тех пор, как грохот завода в первый раз охватил его со всех сторон и покатился над его головой, — ощущение страха и какой-то „жуткости“ уже не прекращалось. Гигантская телега все катилась, ворочая тяжелыми колесами, громыхая и угрожая со всех сторон.

— Берегись! — кричали Ваньке в мастерских, где ремни грозили захватить его своим вращением, — берегись, берегись, берегись!... Тачки с железом мчались мимо, катились стопудовые валы, громадные цилиндры, препровождаемые в сборную, перекатывались сердитым и гулким громом. — Берегись!

Ванька поступил к шорнику в науку. Учился у шорника и другой мальчик Сенька. Наука была не хитрая: нужно было заготовлять тонкие ремешки и сшивать ременные полосы. Каждые полчаса откуда-нибудь кричали: — шорни-и-к! — и старик кидался по лестнице вниз, чтобы связать разорванный привод. В свободные промежутки он чинил старые сапоги, бродни и бабьи „чирки", что давало ему сторонние доходы.

Этой премудрости он начал обучать и своих новых учеников.

Впрочем, у мальчишек, кроме шорника, было немало непосредственного начальства: в сущности весь завод заявлял на них права, и, как шорник ни ворчал и ни ругался, — все же их то и дело посылали в разные концы завода с самыми разнообразными поручениями.

Сенька быстрее ориентировался в суетливой обстановке. Он сначала присмотрелся к наиболее опасным местам, изучил характер машин, запомнил, где выдвигаются поршни, где можно получить удар какого-нибудь рычага, каких-нибудь железных пальцев, шнырял незаметно и быстро под руками особенно сердитых рабочих.

В несколько недель он усвоил уже и общий ход всего грохочущего и вечно подвижного чудовища-завода и сделал попытку приладиться к нему с наибольшим удобством.

В большой комнате, где работал шорник, в углу лежали кучи железного лома и всякого мусора. У окна, освещавшего эту комнату, шорник приладил свою незатейливую мастерскую. Дальняя половина тонула в вечном сумраке, падавшем от потемнелых и закоптелых стен. Когда дверь была заперта, — в комнате становилось сравнительно тихо. Гул и грохот завода скрадывали сумрачные стены, и только окна вздрагивали по временам и жалобно звенели от тяжелых ударов парового молота.

Однажды, когда шорник вышел, Сенька проскользнул за мусорную кучу и прилег там в уютном углу. Заслышав шаги по лестнице, мальчишка тотчас же выскочил оттуда, но угол ему понравился. Он натаскал туда сена и устроил гнездо. Понемногу он стал смелее, и, когда шорник возвращался на место, он продолжал лежать еще некоторое время. Затем, тихо прокравшись

к двери, вбегал в комнату, будто возвращаясь откуда-нибудь с „посылки“. Ванька только дивился смелости своего друга.

Однажды шорника позвали к главному приводу. Он собрал целую вязанку тонких ремешков, взял нож, широкую полосу ремня и удалился. Сенька тотчас же юркнул в гнездо.

— Ванько, а Вань!.. — кликнул он, выглядывая оттуда, как заяц из своей ямки. — Подь сюда-ты!.. Право.

Ванька испуганно оглянулся. Предложение было заманчиво и страшно. По случаю большого заказа завод работал усиленно, и на мальчишках это обстоятельство отражалось тем, что их глаза подвелись синими кругами и потускнели, ноги ныли от постоянной беготни, а подзатыльники сыпались на них еще чаще.

Ванька робко подошел к мусорной куче. Сенька лежал там, будто на перине. Его совсем не было видно, места было более чем достаточно на обоих. Ванька поддался соблазну. Через несколько минут в ушах Ваньки грохот завода стал будто стихать, стушевываться и, наконец, совсем смолк, только ноющее чувство страха и грозящей беды не переставало носиться над головой уснувшего ребенка.

Характер у шорника был суровый. Сидя в своей мрачной комнате, на „седухе“, он не знал никакого „спокою“, ежеминутно ожидая призыва к приводам. Такая собачья должность естественно располагала к некоторой ожесточенности нрава, и потому шорник вечно ворчал что-то про себя, ругая и людей, и завод, и ремни. и даже скотину, из которой ремни были приготовлены. Этой же строгостью были отмечены и отношения шорника к ученикам. Он понимал, что мальчишки отданы ему в „науку“, и имел довольно высокое представление о своем долге по отношению к ним, но осуществлял этот долг по-своему; задавал ворча работу, ворчанием же выражал свое удовольствие, если работа исполнялась хорошо, — неудовольствие же и наставление преподавал в форме трепки и подзатыльников.

Вернувшись от главного привода, он заворчал, что мальчишек опять услали.

Вдруг его серое лицо вытянулось, брови приподнялись от удивления: из угла послышался долгий вздох сладкого сна.

Прислушавшись еще, шорник подошел к мусорной куче, взглянул на нее и остановился, пораженный изумлением: мальчики спали обнявшись. Ванька свернулся при этом калачиком и спрятал голову на груди Сеньки. Последний одной рукой охватил приятеля, другую широко откинул и весь развалился. Эта

возмутительная поза, казалось, была рассчитана нарочно, чтобы возбудить в шорнике сильнейшее негодование, так как эта мирная беспечность противоречила сердитой озабоченности гремящего и пыхтящего завода.

Завод имел свои неписанные, но непреложные законы. Как за свистком следовало начало работы, с такой же неизменностью за проступком мальчишек должна была последовать трепка. Данный поступок выходил из ряду, он поразил шорника своей неожиданностью и громадностью вины. Вечно гремящий завод не знал, пожалуй, ничего, что больше нарушало бы его уставы, чем этот мирный сон в тихом углу двух забывшихся мальчишек. Если бы они сами не спали в эту минуту, они бы слышали укоризненный рев старого завода, призывающий на них примерную кару.

Шорник выбрал средней длины круглый ремень, протянул его в руке и взмахнул в воздухе. Ремень оказался подходящим, — размашистый и хлесткий. План шорника состоял в том, чобы поднять обоих за уши, а затем, поочередно, наказать ремнем.

Первая часть плана была исполнена с успехом. Оба преступника в одно мгновение почувствовали странное ощущение и на половину повисли в воздухе. Шорник поднял их за уши в известной симметрии, повернул к себе и взглянул в лица мальчишек своим суровым бесстрастным взглядом. На детских лицах виднелось недоумелое выражение испуга и боли. Несколько раз хлопнув сонными глазами, они, казалось, стали приходить к пониманию действительности.

— Дяинька, дяинька-а... — пискнул Ванька, тяжело повиснувший в левой руке шорника, между тем как Сенька барахтался с молчаливым ожесточением. Он не просил пощады. Он знал характер старого завода, знал, что спать не полагается, знал, что вечно чинить ремни и бегать по приводам не весело, — и сумма этих знаний сложилась в представление о неизбежности жестокой трепки. И только его шустрое тельце инстинктивно барахталось, протестуя против неестественного и неудобного положения.

Шорник развел головы мальчишек и стукнул их одну об другую, раз, другой...

Каждый раз мальчишки щурились, и потом на их лицах появлялось выражение надежды, что это последний удар. Радостное значение этой надежды умалялось, впрочем, видом упругого ремня, который болтался под мышкой у шорника. В третий раз мальчишки закрыли глаза в ожидании удара, и сердчишки их замерли. Но удар не последовал.

В комнате произошло что-то странное.

Несколько секунд тревожного ожидания, заминка, какие-то голоса. Мальчишки открыли глаза и сначала не могли понять, что перед ними происходит. Какая-то незнакомая барышня стояла рядом с шорником, трясла его за плечо и что-то говорила быстро, взволнованно, прерывающимся и захлебывающимся голосом. Шорник оглядывался на нее с недоумением и даже испугом. А в дверях, раскрывая свою неизменную табакерку, стоял начальник завода Дормидон, искоса поглядывающий на всю сцену.

Шорник отпустил уши мальчишек, но тотчас же, все оглядываясь на незнакомую барышню, прихватил их за шиворот.

— Отпусти, отпусти совсем! — вскрикивала она, злобно тормоша шорника за плечо. — Слышишь, отпусти!..

— Нельзя мне, барышня, чтобы отпустить... Потому я их учу, — сказал шорник вразумительно.

— Учит, он учит! — с негодованием воскликнула барышня, в свою очередь поворачиваясь к отцу.

— Так точно, — отвечал шорник, — потому они сиротки.

— Что он говорит, что он говорит, этот ужасный человек, — спрашивала барышня, странно мигая широко раскрытыми глазами. Видимо, она не могла понять причинную связь между сиротством и трепкой.

— Сиротки-с, — наставительно пояснил барышне шорник, — то-есть без отца-матери, вот что...

— Он с ума сошел! Папа, папка, да что ж это ты? Да как же ты допускаешь сумасшедшего тиранить ребят?

— Кажись, в своем разуме еще... — ответил шорник тоном угрюмой обиды.

— Как же ты не понимаешь, что сирот надо жалеть?

— То-то жалеть, и я говорю. Кто ж их теперича без отца-матери выучит? Вы, барышня, вот что: вы не мешайте.

— Папа! Да что он говорит? Господи! Какой невозможный человек!

Губы у барышни дрогнули; она взглянула на отца, и по лицу ее протянулась складка, как у ребенка, готового заплакать. Шорник, в свою очередь, был глубоко уязвлен названием „невозможного человека", — названием, значения которого он не мог понять, и потому считал его особенно обидным.

Он тоже взглянул на Дормидона и выпустил мальчишек, как бы умывая руки.

— Шорни-и-ик! — раздался вдруг снизу призывный окрик. Шорник угрюмо потупился, как человек, претерпевший напрасную обиду, и, собрав свои ремни, двинулся к дверям.

— Пойдем, Миля! — позвал Дормидон.

— Не смей бить их, — не смей, не смей! — крикнула барышня вдогонку шорнику и затем погладила головы ребят. — Не бойтесь, детки. Он не будет... Хорошо, хорошо, иду...

Мальчики остались одни.

— А что, слышь... — заговорил первый Сенька.

— Чего? — откликнулся Ванька механически.

— Как же теперича! Будет нас шорник драть, ай уж нет?

— Не знаю... — произнес Ванька задумчиво... — Какая она!.. — добавил он помолчав.

— Ты про барышню-то? Дочка она Дормидону приходится... Я, чай, не станет драть-то. Потому барышня не велела...

И Сенька просиял. Однако, тотчас же оба мальчика притихли: по лестнице опять тяжело подымался шорник.

— Слышь, пострелята! — заговорил он обыкновенным, несколько суровым голосом, но без сердца. — Ступай на господский двор, барышня требует... Ну, чего смотрите, — продолжал он, усаживаясь на свою седуху. — Не бойтесь, чай не с'едят там... Вишь, и учить не дает... Ступай, ребята, ступай!

— Видишь вот... Больно горяча... — ворчал он сквозь усы, в которых держал конец ремня. — Учить уж не смей... Нас небось не учили?.. Ну-с...

Он качал головой и улыбался, при чем его жидкие усы шевелились, а губы как-то странно искривлялись.

И долго в темной комнате слышалось одинокое ворчание серого, угрюмого шорника.

В. Короленко.

ИЛЬЮША „В ЛЮДЯХ“.

Каждый день рано утром дед Еремей будил мальчика, оба они вплоть до позднего вечера ходили по городу, собирая тряпки, кости, рваную бумагу, обломки железа, куски кожи. Велик был город и много любопытного было в нем, так что в первое время Илья плохо помогал деду, а все только разглядывал людей и дома, удивлялся всему и обо всем расспрашивал старика. Еремей был словоохотлив. Низко наклонив голову и глядя в землю, он ходил со двора на двор и, постукивая палкой с железным концом, утирал слезы с лица рукавом своих лохмотьев или концом

грязного мешка и, не умолкая, певуче, однотонно рассказывал своему помощнику:

— А этот дом Пчелика купца, богатый человек: в серебре живет в хрустале.

Илья с увлечением начал помогать старику рыться в мусоре. Было очень интересно раскапывать палкой кучи разного хлама, а особенно приятно было Илье видеть радость старика, когда в мусоре находилось что-нибудь особенное. Однажды Илья отрыл в помойной яме большую серебряную ложку, и дед купил ему за это полфунта мятных пряников. Потом он откопал маленький, покрытый зеленой плесенью, кошелек, а в нем оказалось больше рубля денег. Порой попадались ножи, вилки, гайки, изломанные медные вещи, хорошие жестянки из-под ваксы и маринованной рыбы, а как-то раз в овраге, где сваливался мусор со всего города, Илья открыл совершенно целый, тяжелый медный подсвечник. За каждую из таких ценных находок дед покупал Илье гостинцев.

Находя какую-нибудь диковину, Илья радостно кричал:

— Дедушка, гляди-ка, гляди! Вот так а-яй!..

А дед, суетливо и беспокойно оглядываясь, увещевал его:

— Да ты не кричи! Не кричи ты... ах, господи!..

Он всегда пугался, когда находили необыкновенные вещи и, быстро выхватывая из рук мальчика, прятал в свой огромный мешок.

— Вот так поймал я рыбину! — хвалился Илья, оживленный удачей.

— Молчи, знай помалкивай!.. Младенец ты милый, — ласково говорил старик, а слезы все текли, текли из болящих его глаз.

— Гляди, дедушка, костища-то какая — во! — снова кричал Илья.

Кости и тряпки не беспокоили деда; он брал их из рук мальчика, очищал щепочкой грязь с них и совал в мешок спокойно. Дед сшил небольшой мешок, дал палку с железным концом, и мальчик гордился этими вещами. В свой мешок он собирал разные коробочки, поломанные игрушки, красивые черепки, и ему нравилось чувствовать все эти вещи у себя за спиной и слышать, как они постукивают там. Собирать все это научил его дядя Еремей.

— А ты собирай эти штучки и тащи их домой. Принесешь, ребятишек обделишь, радость им дашь.

Городские свалки нравились Илье больше, чем хождение по дворам. На свалках не было никого, кроме двух-трех стариков,

таких же, как Еремей, и так же рывшихся в мусоре, и здесь не нужно было оглядываться по сторонам, ожидая дворника с метлой в руках, который придет и начнет браниться нехорошими словами, прогонит да еще иной раз и ударит.

Каждый день Еремей, порывшись в свалках часа два, говорил мальчику:

— Будет, Ильюша милый!.. Посидим-ка... отдохнем, давай поедим малость!

Он вынимал из-за пазухи ломоть хлеба, разламывал его, и они ели, а поевши отдыхали с полчаса, лежа на краю оврага. Овраг выходил устьем на реку, и ее видно было им. Широкая, серебристо-синяя, она тихо катила мимо оврага свои волны, и, глядя на нее, Илье хотелось куда-то плыть по ней. За рекою развертывались пустынные зеленые луга, стоги сена стояли на них серыми башнями и далеко на краю земли в синее небо упиралась темная зубчатая стена леса. Было в лугах тихо, ласково, и чувствовалось, что воздух там чистый, прозрачный и сладкопахучий... а здесь было душно от запаха преющего мусора; запах этот давил грудь, щипал в носу, и от этого у Ильи, как и у деда, тоже слезы из глаз потекли...

Лежа на спине, мальчик смотрел в небо и не видел конца высоте его. Грусть и дрема овладевали им, какие-то неясные огромные образы зарождались в его воображении. И сердце его сладко замирало в чувстве тихой, покойной радости.

Вечером, возвращаясь домой, Илья входил на двор с важным и недоступным видом человека, который хорошо поработал, желает отдохнуть и совсем не имеет времени заниматься пустяками, как все другие мальчишки и девчонки. Всем детям на дворе он внушал почтение к себе своей солидной осанкой и мешком за плечами, в котором всегда уж лежали разные интересные штучки.

Дед, улыбаясь ребятишкам, говорил им какую-нибудь шутку.

— Вот и пришли лазари, весь город облазили, везде напроказили!..

— Илька!.. Иди, помой рожу да приходи в трактир чай пить!..

Илья в развалку шел к себе в подвал, а ребятишки гурьбой следовали за ним, осторожно ощупывая содержимое мешка. Только Пашка, дерзко загораживая дорогу Илье, говорил:

— Эй, ветошник! Ну-ка, кажи что принес...

— Погодишь! — говорил Илья сурово, — напьюсь чаю — покажу...

В трактире его встречал дядя, ласково улыбаясь.

— Пришел, работничек? Ах, ты, сердяга!.. Устал?

Илье было приятно слышать, что его называют работничком, а слышал это он не от дяди только. Однажды Пашка что-то созорничал; Савел поймал его, ущемил в колени пашкину голову и, нахлестывая его веревкой, приговаривал:

— Не озоруй, шельма, не озоруй! На вот тебе, на! на! Другие ребята в твои годы сами себе хлеб добывают, а ты только жрешь да одежу дерешь!..

Принялся Илья в этот вечер за обычное свое занятие — раздачу собранных за день диковин.

Дети уже давно ждали его. Они уселись вокруг Ильи и жадными глазами глядели в грязный мешок.

Илья доставал из мешка лоскутки ситца, деревянного солдатика, полинявшего от невзгод, коробку из-под ваксы, помадную банку, чайную чашку без ручки и с выбитым краем.

— Это мне, мне, мне! — раздавались завистливые крики, и маленькие грязные ручонки тянулись со всех сторон к редкостным вещам.

— Погоди! не хватай!.. — командовал Илья. — Разве игра будет, коли все растащите? Ну, открываю лавочку! Продаю кусок ситцу... Самый лучший ситец, цена полтина!.. Машка, покупай!

— Купила, — отвечал Яков за сапожникову дочь, и, доставая из кармана заранее приготовленный черепок, совал его в руку торговцу, но его Илья не брал.

— Ну, какая это игра! А ты торгуйся, чорт!.. Никогда не торгуешься, разве так бывает!

— Я забыл! — оправдывался Яков, и начинался упорный торг; продавец и покупатели увлекались им, а в это время Пашка ловко похищал из руки то, что ему нравилось, убегая прочь, и приплясывая, дразнил их:

— Розини вы! Дураки, черти!

Из трактира выходил дед Еремей и, приставив ладонь ко лбу, кричал:

— Ильюшка! Ты где? Иди-ка, спать пора!..

Илья послушно шел за стариком и укладывался на свое ложе — большой куль, набитый сеном. Сладко спалось ему на этом куле, хорошо жил он с тряпичником, но скоро промелькнула эта приятная жизнь...

Однажды утром дядя разбудил Илью, говоря: — Мойся почище, да скорее...

— Куда? — сонно спросил Илья.

— На место! Слава богу, нашлось! В рыбной лавке будешь служить.

У Ильи сжалось сердце от какого-то неприятного предчувствия. Желание уйти из этого дома, где он все знал и ко всему привык, вдруг исчезло, а эта комната, которой он не любил, теперь показалась ему такой чистой, светлой. Сидя на кровати, он смотрел в пол и ему не хотелось одеваться...

— Веду тебя служить к человеку почтенному, всему городу известному, Кириллу Ивановичу Строганову. Он за доброту свою и благодеяния медали получал, — не токмо что! И состоит гласным в думе, а может, будет избран даже и в градские головы. Служи ему верой и правдой, а он тебя, между прочим, в люди произведет... Ты парнишка серьезный, не баловник... а для него оказать человеку благодеяние все равно, что плюнуть.

Илья слушал и пытался себе представить купца Строганова. Ему почему-то стало казаться, что купец этот должен быть похож на дедушку Еремея, такой же тощий, добрый и приятный. Но, когда он пришел в лавку, там за конторкой стоял высокий мужик с огромным животом. На голове у него не было ни волоса. Но лицо от глаз до шеи заросло густой, рыжей бородой. Брови тоже были густые и рыжие, а под ними сердито бегали маленькие зеленоватые глазки.

— Кланяйся! — шепнул дядя Илье, указывая на рыжего мужика. Илья разочарованно опустил голову.

— Как зовуть? — загудел в лавке густой бас.

— Ильей, — ответил дядя.

— Ну, Илья, гляди у меня в оба, а згри — в три! Теперь у тебя, кроме хозяина, никого нет! Ни родных, ни знакомых — понял? Я тебе и мать и отец, — и больше от меня никаких речей не будет...

Илья исподлобья рассматривал лавку. В корзинах со льдом лежали огромные сомы и осетры, на полках поленницами были сложены сушеные судаки, сазаны и всюду блестели жестяные коробки. Густой запах тузлука стоял в воздухе, и в лавке было душно, тесно. На полу, в больших чанах, тихо и бесшумно плавала рыба живая — стерляди, налимы, окуни, язи. Но одна небольшая щука дерзко металась в воде, толкала других рыб и сильными ударами хвоста разбрызгивала воду на пол. Илье стало жалко ее.

Один из приказчиков — маленький, толстый, с круглыми глазами и крючковатым носом, очень похожий на филина — заставил

Илью убирать из чана заснувшую рыбу. Мальчик засучил рукава и начал хватать рыб как попало.

— За башки бери, дубина! — вполголоса сказал приказчик.

Иногда Илья по ошибке схватывал живую неподвижно стоявшую рыбу; она выскальзывала из его пальцев и, судорожно извиваясь, тыкалась головой в стены чана.

— Возись живее, — командовал приказчик.

Но Илья уколол себе палец костью плавника и, сунув его в рот, стал сосать.

— Вынь палец! — басом крикнул хозяин.

Потом мальчику дали большой, тяжелый топор, велели ему слезть в подвал и разбивать там лед так, чтоб он улегся ровно. Осколки льда прыгали ему в лицо, попадали за ворот, в подвале было холодно и темно, топор, при неосторожном размахе, задевал за потолок.

Через несколько минут Илья весь мокрый, вылез из подвала и заявил хозяину:

— Я разбил там какую-то банку...

Хозяин внимательно поглядел на него и молвил:

— На первый раз прощаю. За то прощаю, что сам сказал... За второй раз нарву уши...

И завертелся Илья незаметно и однообразно, как винтик в большой и шумной машине. Он вставал в пять часов утра, чистил обувь хозяина, его семьи и приказчиков, потом шел в лавку, мыл ее, мыл столы и весы. Являлись покупатели — он подавал товар, выносил покупки, потом шел домой за обедом. После обеда делать было нечего, и если его не посылали куда-нибудь, он стоял у дверей лавки, смотрел на суету базара и думал о том, как много на свете людей и как много едят они рыбы и мяса, овощей; однажды он спросил приказчика, похожего на филина:

— Михаил Игнатьевич!

— Ну-с!

— А что будут люди есть, когда выловят всю рыбу и изрежут весь скот?

— Дурак! — ответил ему приказчик.

Другой раз он взял газету с прилавка и, стоя у двери, стал читать ее. Но приказчик вырвал газету из его рук, щелкнул его пальцем по носу и угрожающе спросил: — Кто тебе позволил, а? Осел...

Этот приказчик не нравился Илье. Говоря с хозяином, он почтительно ко всякому слову прибавлял почтительный свистя-

щий звук, а за глаза называл купца Строганова мошенником, ханжой, рыжим чортом. По субботам и перед праздниками хозяин уезжал из лавки ко всенощной, а к приказчику приходила его жена или сестра, и он отправлял с ними домой кулек рыбы, икры, консервов. Любил приказчик издеваться над нищими. Когда к дверям лавки подходил какой-нибудь старик и, кланяясь, тихо просил милостыню, приказчик брал за голову маленькую рыбку и совал ее в руку нищего хвостом так, чтобы кости плавников вонзились в мякоть ладони просящего. И когда нищий, вздрагивая от боли, отдергивал руку, приказчик насмешливо и сердито кричал:

— Не хочешь? Мало? Пшел прочь...

А однажды старуха-нищая взяла тихонько сушеного судака и спрятала его в свои лохмотья; а приказчик видел это; и вот он схватил старуху за ворот, отнял украденную рыбу, а потом нагнул голову старухи и правой рукой, снизу вверх, ударил ее по лицу. Она не охнула и не сказала ни слова, а, наклонив голову, молча пошла прочь, и Илья видел, как из ее разбитого носа, в два ручья, текла темная кровь.

— Получила? — крикнул приказчик вслед ей.

И, обращаясь к другому приказчику, Карпу, сказал:

— Ненавижу я нищих!..

Душа мальчика воспринимала впечатления, они тлели в ней, и от этого тления голова его постепенно отягощалась туманом суждений о всем, что происходило перед его глазами. Порой ему — молчаливому и серьезному — становилось так скучно смотреть на людей, что хотелось закрыть глаза и уйти куда-нибудь далеко, — уйти и уж не возвращаться сюда, в эту серую скуку. К дяде за полгода службы его отпускали два раза. Прошло еще несколько недель такой жизни, и вдруг судьба сурово, но все же милостиво улыбнулась Илье. Однажды утром, во время оживленной торговли, хозяин, стоя за конторкой, вдруг быстро начал перебирать все на ней. Лоб его покраснел, густо налившись кровью, и на шее туго вздулись жилы.

— Илья! — крикнул он. — Погляди-ка на полу... не лежит-ли десятирублевка?..

Илья взглянул на купца, потом быстрым взглядом окинул пол и спокойно сказал: — Нет...

— Я же говорю — погляди, как следует... — рявкнул хозяин густым басом.

— Да я глядел...

— Мм... Хорошо, упрямая шельма! — пригрозил хозяин.

А когда покупатели ушли, он позвал Илью, схватил крепкими толстыми пальцами его ухо и начал рвать из стороны в сторону, приговаривая рычащим голосом: — Велят глядеть, — гляди, велят глядеть, — гляди...

Илья уперся обеими руками в брюхо хозяина, сильно оттолкнулся, вырвал ухо из его пальцев и злым голосом, с дрожью обиды во всем теле, громко закричал:

— Что вы деретесь? Деньги Михаил Игнатич утащил... да! Они у него в левом кармане, в жилетке...

Совиное лицо приказчика изумленно вытянулось, дрогнуло и вдруг, размахнувшись правой рукой, он ударил Илью по голове. Мальчик упал со стоном и, заливаясь слезами, пополз по полу в угол лавки. Как сквозь сон, он слышал звериный рев хозяина:

— Стой! Куда?.. подай деньги...

— Он врет-с...—раздавался тонкий голос приказчика.

— Поди сюда...

— Ей-богу-с...

— Гирей кину в башку!

— Мои это-с... Р-разрази меня...

— Молчать!..

И стало тихо. Хозяин ушел в свою комнату. Илья, держась за голову руками, сидел на полу и с ненавистью глядел на приказчика, который стоял в другом углу лавки и смотрел на мальчика нехорошими глазами.

— Что-с, сволочь, здорово я тебя двинул?—тихо спросил он, оскалив зубы.

Илья дернул плечами и промолчал.

— А сейчас я тебе дам... памятку!

Приказчик, не торопясь, пошел на мальчика, уставив в лицо его свои круглые злые глаза. Но Илья встал на ноги, твердым движением взял с прилавка длинный тонкий нож и сказал: — Иди!..

Тогда приказчик остановился, неподвижными глазами измеряя коренастую крепкую фигуру с ножом в руке, остановился и презрительно протянул:

— А, ка-торжное отродье!..

— Ну, иди, иди!—повторил мальчик, шагнув навстречу ему. Перед глазами Ильи все вздрагивало и кружилось, а в груди своей он ощущал большую силу, смело толкавшую его вперед.

— Брось нож!—раздался голос хозяина.

Илья вздрогнул, взглянул на рыжую бороду и налитое кровью лицо, но не тронулся с места.

— Положи, говорю, нож!..—тише сказал хозяин.

Илья, плавая в каком-то мутном тумане, положил нож на прилавок, громко всхлипнул, и снова сел на пол. Голова у него кружилась и болела, ухо саднило, он задыхался от огромной тяжести, выросшей в его груди. Она затрудняла биение сердца, медленно поднималась к горлу и мешала ему говорить.

Голос хозяина донесся до него откуда-то издали: — Получи расчет, Миша...

— Позвольте-с.

— Вон!.. А то я полицию позову... Вон!

И снова в лавке стало тихо. Илья оглянулся от неприятного ощущения, ему показалось, что по лицу его что-то ползает. Он провел рукой по щеке, отер слезы и увидал, что из-за конторки на него смотрит хозяин острым, царапающим взглядом. Тогда он встал и пошел нетвердым шагом к двери, на свое место.

— Стой, погоди!—сказал хозяин.— Сам ты, Илья, воровал?

— Нет...

— Верю... Ты не воровал... Ну-с, а Карп, вот этот самый Карп, как он,—ворует?..

— Ворует!..—как эхо повторил мальчик.

— Карпушка! Слышал ли, что про тебя сказано!—с усмешкой спросил Строганов.

— Слышал...

— Ну, и что же?

— Ничего... Всяк по-своему разумеет... И, конечно, ежели вам угодно, то вы его слова возьмете за правду... Воля ваша...

Но Строганов сурово скомандовал:

— Запирай лавку!..

Когда Илья шел домой, Карп, потрясая головою, говорил ему:

— Дурак ты, дурак. Ну, сообрази, зачем затеял канитель эту? Ты думаешь, что он не знал, что мы с Мишкой воровали? Да он сам с того жизнь начинал. А что ты про меня сказал, это тебе не простится никогда... Не-ет! Я тебе припомню. Оно указывает, что ты меня не уважаешь...

Илья молча слышал эту речь, но плохо понимал ее. Вечером хозяин позвал Илью к себе наверх.

— Ага! Ну-ка, поди-ка! — проводил его Карп зловещим восклицанием.

Войдя наверх, Илья остановился у двери большой комнаты, среди которой под тяжелой лампой, опускавшейся с потолка, стоял круглый стол с огромным самоваром на нем. Вокруг стола сидел хозяин с женой и дочерями. Когда Илья вошел, они плотно придвинулись одна к другой и со страхом уставились на него тремя парами голубых глаз.

— Вот он!—сказал хозяин.

— Скажите, пожалуйста, какой! — опасливо воскликнула хозяйка и так посмотрела на Илью, точно раньше она никогда не видала его. Строганов усмехнулся и внушительно заговорил:

— Позвал я тебя, Илья, затем, чтобы сказать тебе—ты мне больше не нужен, стало-быть, собирай свою хурду-мурду и уходи... Илья вздрогнул, удивленно раскрыл рот и, повернувшись, пошел вон из комнаты.

— Стой! — сказал купец, протянув к нему руку, и, стукнув по столу ладонью, повторил тоном ниже:—Стой!..

Затем он поднял палец кверху и солидно и медленно заговорил снова.

— Позвал я тебя не за одним этим... Нет... поучить тебя надо... Надо об'яснить тебе, почему стал ты мне вреден. Никакого худа ты мне не сделал. Паренек ты грамотный... И нелениВый... Честный и здоровый... Н-да! Все это твои козыри. Но и с этими козырями ты мне не нужен... так сказать, не ко двору... Почему,—вопрос... Н-да...

Илья понимал, что его хвалят и гонят вон. Это не об'единялось в его голове, вызывало в нем двойное чувство удовольствия и обиды, ему казалось, что хозяин сам не понимает того, что он делает... Тогда мальчик шагнул вперед и смирно, с по•тением в голосе, спросил:

— Это вы меня прогоняете, что — с ножем давеча?

— А, батюшки! — испуганно воскликнула хозяйка. — Какой дерзкий! Ах, господи!

— Вот! — сказал хозяин с удовольствием, улыбаясь Илье и тыкая пальцем по направлению к нему. —Ты дерзок! Именно так! Ты дерзок... А служащий мальчик должен быть смирен... Смиренномудр, как сказано в писании... Он живет на всем хозяйском... у него пища хозяйская и ум хозяйский и честность тоже... А у тебя свой... И оттого ты дерзок... Ты, например, в глаза человеку лепишь—вор... Это нехорошо... это дерзко... Ты, ежели честный, мне скажи об этом человеке, но — тихонько скажи... я уже сам определю все... Я—хозяин!.. А ты вслух—вор. Нет—ты

погоди, коли из троих один честен — это для меня ничего не значит. Если один честен, а девять подлецы, никто не выиграет... но человек пропадет. А ежели семеро честных на трех подлецов — твоя взяла. Понял? Которых больше, те и правы.

Строганов отер ладонью пот со лба и продолжал: — Опять же — хватаешь ты ножик...

— О, господи Иисусе! — с ужасом воскликнула хозяйка, а девочки еще плотнее прислонились одна к другой.

— Сказано — взявши нож, от него и погибнешь... Н-да... Вот почему ты мне совсем лишний... Так-то... На вот тебе полтинку и — иди... Уходи... Помни: ты мне ничего худого, я тебе тоже... Даже — вот на! Дарю полтинник. Может, мне даже жалко тебя... Но неподходящий ты! Коли чека не по оси, — так ее до езды надо бросить... Ну, иди...

— Прощайте! — сказал Илья.

Речь хозяина он выслушал внимательно и понял ее просто — купец прогонял его потому, что не мог прогнать Карпа, боясь остаться без приказчика. От этого Илье стало легко и радостно.

— Держи деньги!

— Прощайте! — повторил Илья, крепко сжав в руке серебряные монетки.

— Покорно благодарю!

— Не на чем! — ответил Строганов, кивнув ему головой.

— А-яй-яй! Ни слезинки не выронил... — донесся вслед Илье укоризненный голос хозяйки.

М. Горький.

СЕНЯ ИЗ ХВОРОВКИ.

I.

Осенью Николай повез сына в Москву. Верст тридцать шли до уездного городка. Прошли городок ночью. Попадались фонарики на столбах, ночные сторожа посвистывали на перекрестках, под ногами лежали камни. Николай торопился, боялся опоздать на машину. Пили чай в большой комнате, ели баранки. Приходили заспанные люди с ярлыками. Потом гукнуло что-то, загромыхало, зашипело. Ударили в колокол, все заспешили, забегали.

Попали в вагон — „лучше избы" — и забрались спать на верхнюю лавочку. Трясло и постукивало, и Сеня не мог заснуть. Была темная ночь, и ничего не было видно. С грохотом мелькал встречный поезд, и Сеня думал: это в Хворовку.

Утром поезд выбросил на каменную площадку вокзала сотни людей, и Сеня увидал „машину“: невысокий паровоз сопел, точно хотел отдышаться, и грязный человек с тряпкой ходил вокруг, потирая части „машины“.

Круглые камни увидал Сеня под ногами, и везде пугливый взгляд его встречал камни. Уходя в небо, хмуро глядели большие дома сотнями окон; гремели вагоны конки, неслись извозчики.

— Иди, иди... привыкнешь, сказал отец.— Вот тебе и Москва. Ни травы, ни дали, ни полей: железо и камни.

— Голубок, тятя... и тут голубок!

Ходивший по камням голубок обрадовал, напомнил родную сторону.

Долго шли по улицам и переулкам и, наконец, вышли на большую площадь с высокой башней. На башне ударили часы и напомнили колокол сельца Иванкова.

— Ниток-то што намотано... Зачем нитки-то, а?— спрашивал Сеня, указывая на проволоки, густо тянувшиеся над головами.

— Телеграф это... известия по ним дают на тыщи верст... Тут все машины... И ты по машинной части пойдешь... Вот и пришли.

Они вошли под сводчатые ворота высокого каменного дома. Спертым воздухом пахнуло навстречу; склизкая грязь липла к ногам. Полутемный дворик был охвачен с четырех сторон облезлыми каменными домами, по которым от земли и до чердаков извивались тонкие железные лестницы с площадками, с развешенным на перилах тряпьем и грязными тюфяками. Над лесенкой в подвальный этаж, в углу двора, висела вывеска с изображением самовара, кастрюль и подноса: „Медная и самоварная мастерская Ивана Максимовича. Принимает заказы и починку“.

Они спустились по каменной разбитой лесенке в подвальный этаж, будто на дно колодца.

— Жить тут будешь... У Ивана Максимыча. Земляк наш, иванковский... Шапку-то сыми да поклонись,— торопливо говорил Николай отворяя ободранную дверь.

Лязг и грохот ударили в уши. Тяжкий запах кислоты и гари защипал глаза, защекотал в горле. Под окнами стояло человек шесть грязных рабочих, стучали молотками, точили и скребли по железу. У огня стоял мальчик, похожий на чертенка, и ногой дергал большие раздувающие мехи; огонь вспыхивал синими языками, и сотни искр сыпались на кирпичный пол.

Вышел из боковой комнаты тощий, рыжий хозяин Иван Максимыч, поговорил с Николаем, хмуро взглянул на Сеню и сказал:

— Дела-то нонче тово... куда мне его?

Николай долго кланялся и просил.

— На вас, Иван Максимыч, вся надежда.

Потом Николай с хозяином куда-то ушли, а Сеня сидел в углу у лохани, оглушенный лязгом и визгом. Мальчик бросил раздувать горн и завертел громадное колесо.

К вечеру воротился отец, дал Сене пятак и сайку, похлопал по спине и сказал не совсем твердым голосом:

— Из милости Иван Максимыч уж взял... Ты это понимай... Из милости... Кому ты нужен? Вот и потрафляй... Прибьет ежели,—смолчи. Уж вы, Иван Максимыч, обучите уж... Заместо отца, стало-быть... Ну, прощай.

Он еще раз потрепал Сеню по спине, постоял, подумал и ушел совсем.

Хозяин велел Сене снять сапоги и дал опорки; отобрал зипун и выдал пальтишко, фартук и старый без козырька картуз.

— Приглядывайся пока что... Вот тащи с Васькой лохань.

Вертевший колесо мальчик взял из-за угла палку и показал, как надо действовать. В заднем углу двора они вылили помои в яму, и мальчик сказал:

— Здоровый ты... Как тебя звать?.. Сенька?.. А меня Васька. А хозяина рыжим зовут. Об стенку умеешь играть? Плевое дело. Тебе отец денег дал?

— Да, пятачок...

— В воскресенье сыграем. Я тебе и в три листика покажу. Из деревни?

— Да. Из Хворовки...

— А я из шпитательного. Рыжий у нас злющий, каждый день выволочка, такой чорт...

II.

Первые недели было тяжело. Надо было привыкать к новым порядкам: быть на-чеку, лететь по первому зову. Иван Максимыч давал подзатыльники; хозяйка рвала вихры. День принадлежал Ивану Максимычу, вечер хозяйке.

— Лопать-то лопаешь, а за самоваром, дьяволенок, не доглядел!..

И Сеня получал таску.

— У, каторжный! Хоть бы здохли вы все, окаянные!.. Девчонка оборвалась, а он и ухом не поведет...

— А меня утюгом как двинет в самое это место,—показывал Васька ожог на щеке. — Такая ведьма...

С утра и до ночи нельзя было присесть и отдохнуть; приходилось бегать в булочную за хлебом, где всегда давали довесок сладкого, в мясную и на рынок с хозяйкой, на бассейн за водой; приходилось два раза в неделю носить в город товар— кастрюли и самовары.

Но была и еще работа.

Посредине мастерской стояло большое „чертово" колесо с бегающим широким ремнем. Этот ремень вертел длинную железную палку с колесиками, от которых шли ремешки к станкам. К этому-то колесу и приставил хозяин Сеню.

— Колесо... — кричал мастер.

Сеня повисал на ручке привода, колесо медленно повертывалось с унылым писком, и маленькие станочки и точилки-полировщики начинали жужжать. Первое время Сеню занимала эта работа: он один заставлял жужжать и вертеться станки. Но когда раскачавшееся колесо ударило его в подбородок и швырнуло на пол, он понял, почему оно — „чертово".

— Ты что ж, чертенок... — кричал из-за перегородки Иван Максимыч. — Только упусти еще у меня.

— Два года его вертел, такое чертово колесище... — пояснял Васька. — Я уж его сломал раз, да опять сделали. Одного мальчишку совсем пришибло...

День в мастерской начинался с шести утра и кончался в восемь, когда старший мастер Кирилл Семеныч снимал с головы ремешок. Тогда все бросали работу и шли мыть руки, потом выходили курить к воротам, а Сеня с Васькой помогали хозяйке. Потом ужин, потом надо убрать посуду, принести воды, подмести мастерскую. Потом Иван Максимыч отправлялся в трактир, и надо было дожидаться его и не задержать за дверью.

Кончив работы, мальчишки приносили из чулана рваные тюфяки и устраивались спать на полу. Тушили лампу и в уголке, возле лохани, начинали шептаться. Вспоминали прошлое, счастливое в сравнении с настоящим. Сеня говорил о деревне.

— А волки у вас есть? — спрашивал Васька. — А ведьмеди есть? Ужли нет ведьмедей, а? Ишь, крысище бегает... А есть у вас там... тигра?..

— Нет. У нас зайцы... Надысь Семен волка вилами запорол...

— Хорошо у вас, — вздыхал Васька. — А я и в лесу не был ни разу... Меня на камнях нашли, на мостовой.

Как-то Иван Максимыч целый день был не в духе, ругал мастеров и клялся, что „скоро вся эта канитель кончится".

— Лампы заправляй! — крикнул он Сене.

Тот жался у дверей.

— Что?.. бутыль разбил?.. склизко?!

Он ударил наотмашь, сбил Сеню с ног и принялся действовать подвернувшимся оловяным прутом. Васька юркнул за печку. Мастера бросили работу.

— Брось!—крикнул Кирилл Семеныч хозяину.—Убьешь мальчишку! Брось!

— Не встревайся, ты!.. Наживи дело и командуй...

— Дело! Не смеешь людей терзать: ежели еще бить будешь, прямо к мировому заявлю.

Настала ночь. Сеня не мог заснуть.

— Будя реветь-то, — утешал Васька. — У тебя отец есть... Отпиши ему, что, мол, дерется рыжий, он тебя и возьмет в деревню. А мне вот... у меня ни души нет. Барин, который...

— Какой барин?

— Из шпитательного, который приходит. Жалился я надысь, а он пальцем загрозил... серди-тый. А то давай? Сенька, убегем...

Сеня вздохнул. Вздохнул и Васька.

— Не уйтить только. Рыжий хи-итрый.

Вот что, Сенька, пойдем к тебе в деревню. Возьмет меня твой отец, а?

— Не знаю...

Чиркнула спичка в темноте и осветила мастера Кирилла, сидевшего на лавке и раскуривавшего трубку. Спичка потухла, и лохматая голова Кирилла потонула во тьме.

— А ты, Сенька, не отчаивайся,—услыхал Сеня знакомый голос.—Поплакал, тоску-то замирил, и будет. Жизнь, брат, еще впереди,—гляди, и в мастера выйдешь. Да-а... теперь что еще... А бывало проволокой драли, да-а-а... Вон он, Васька-то... из воспитательного дома... без отца, без матери, а ничего, терпит...

— Я, Кирилл Семеныч, уже привык. У меня, Кирилл Семеныч, даже синяки не вскакивают...

— То-то и есть. Терпи, казак, в атаманы выйдешь.

Скоро трубка перестала попыхивать; Кирилл Семеныч заснул.

— Умный он у нас,—сказал Васька.—Самый умный изо всех. И книжки все читает, звонки лектрические может!

III.

Скучно тянулось городское лето. Во дворе, обставленном каменными стенами, нагретый за день воздух сгущался от выгребных ям; на улице было душно от нагретого камня. Лета, с прохладой лесной глуши, привольем лугов и полей, здесь, в городе, не было. Самое солнце, казалось, было не то.

Оно появлялось только в обед, выплывая белым палящим шаром из-за чердака соседнего дома, слепило глаза, играя на стеклах, и скоро опять уходило за крыши. Оно было точно в плену, сжато камнями, и не было ему простора, как в Хворовке.

Там,—помнил Сеня,—громадный пунцовый шар медленно выползал из-за дальнего косогора, и какой простор был для него в небе! Выйдя из-за косогора, солнце поднималось над полями, над лесом, плавало в небе, потом начинало склоняться, золотило крест колоколенки, краснело, как утром, закатывалось далеко-далеко.

— В деревню хочешь?—спрашивал Кирилл Семеныч, замечая тоску на лице Сени. — Да, хорошо в деревне!.. Вот господа на дачи уехали, а мы... так и помрем здесь. А ты того... не расстраивайся. Может, на завод куда попадешь... Есть такие заводы, за городом где. Там, как вышел, тут тебе и лес, и речка, и все. А тут—город. Он, братик, верст, на пятнадцать идет, и камни все. Вот погоди, на кладбище пойдем в праздник.

Прогулка состоялась. Прихватили и Ваську. День выдался серенький, скучный. Шли унылыми улицами, пробирались огородами, пустырями. Кладбище лежало на поле, среди громадных ям, оставшихся от кирпичного завода. В березах уныло кричали галки. Кирилл Семеныч ходил среди могил и читал надгробные надписи. Было невесело.

Дорогой домой Кирилл Семеныч угостил квасом и моченными грушами.

— Эх, братики! Вот и грушки поели, и кваску попили. А я-то как жил... Ни души у меня родной не было.

— А мать-то, у вас, Кирилл Семеныч, в деревне жила?

— Мать то... — вздохнул Кирилл Семеныч. — Не у всякого мать бывает, братики... Вон у Васьки нет матери. Ну, живей, на конку полезем!..—и все трое побежали догонять отходивший от заставы вагон.

Наступили осенние дни. На улицах была грязь, днями лил дождь. В мастерской огни зажигали рано. Сырость выступала по углам, и было холодно спать на полу. Мастера не выходили

к воротам, а после работы сидели на лавках и дымили махорку. Кирилл Семеныч пристраивался к лампочке и читал.

В один из таких вечеров Васька жался у печки. Ночью Сеня слышал, что Васька бредит.

Утром Васька не мог подняться.

— Васька, становь самовар! — крикнула хозяйка. — Ты чего это, паршивец, не поднимаешься?

Васька не двинулся, только повернул голову и жалобно посмотрел на хозяйку.

— Васька-то заболел никак, — сказала хозяйка.

— Ты чего это, Васька? — спросил Иван Максимыч.

— Голову кружит...

— А, чорт!.. прохватило... Вставай-ка лучше, расходишься.— Тут вмешался Кирилл Семеныч.

— Чего тревожишь? Вишь, красный лежит...

День начался. Стучали молотки, визжали подпилки, скрипело чертово колесо. Гарь стлалась по мастерской из горна. В уголке, у лохани, лежал Васька, прикрытый с головой грязным лоскутным одеялом.

Наступил вечер.

— Васька, ужинать будешь?

Васька открыл глаза и молчал. Подошел и Кирилл Семеныч.

— Что, как дела, а?

— Ки-рилл Семе-ныч... — хриплым голосом зашептал Васька. — Дышать тяжко... глотку захватило...

— Глотку?.. — тревожно спросил мастер. — Хозяин, а хозяин! Иван Максимыч!.. В больницу его надоть... глотку у него захватило.

Иван Максимыч собирался в трактир.

— Завтра отправим... Может, отлежится.

Весь вечер Кирилл Семеныч с Сеней просидели возле Васьки.

— Э-эх... ни отца, ни матери... Постой-ка... бредит никак...

Оба наклонились.

— Это он про груши... как на кладбище ходили... помнит... —сказал Кирилл Семеныч. Вот зима придет, под Девичье свожу вас, на каруселях прокачу...

— А не помрет?

— Помрет — царство небесное... Маяться не будет.

Пришла ночь. Вернулся Иван Максимыч, и заснуло все в мастерской. Сеня уже стал забываться, как вдруг сильный крик

разбудил его. Он поднялся на локти и прислушался. Было темно и страшно, и в этой темноте слышался тяжкий хрип.

— Кирилл Семеныч! — позвал Сеня. — Кирилл Семеныч!..

Мастер вскочил и зажег лампочку. Васька, разметавшись, хрипел. Худая грудь с медным крестиком поднималась часто-часто.

— Помирает никак... — дрогнувшим голосом сказал Кирилл Семенович. — Васютка!.. Эй!.. Иван Максимыч! Хозяин!..

Он принялся стучать в дверь, за перегородку.

— Васька помирает!.. Вставай...

Ужас охватил Сеню. Он сидел на лавке и не отрывал глаз от угла, где под тусклой лампочкой лежал на грязном тюфяке задыхавшийся Васька. Возле стояли вз'ерошенный хозяин и мастера, Кирилл Семеныч натягивал сапоги.

— В больницу надоть, чево тут... — бормотал хозяин.

— Без тебя знаю, — кричал Кирилл Семеныч. — Давеча надо было!.. Вам что!.. Говорил, давеча отвезти... Давай его пачпорт!..

Засуетились, забегали. Кирилл Семеныч натягивал на Ваську пальто, сверху обвязал шарфом.

— Мальчишка на камнях спит, у двери... Сколько раз говорил лавки сделать, — горячился Кирилл Семеныч. — Сами-то на перинах дрыхнете.

Наняли извозчика. Кирилл Семеныч взял Ваську на руки и вынес из мастерской.

— Ишь, развоевался, старый хрен...—сказал Иван Максимыч, уходя досыпать ночь.

IV.

Иван Максимыч что-то был мрачен. Дни и вечера проводил в трактире, возвращался буйный и все грозил, что „скоро все это кончится".

Что должно „кончиться" — никто не знал. Загадка раз'яснилась скоро.

Недели через две после отправки Васьки в больницу, в мастерскую явились человек в форме с портфелем и господин в котелке и тоже с портфелем, показали Ивану Максимычу какую-то бумагу и предложили уплатить деньги. Иван Максимыч клялся, что ему самому не платят, что его разорили вчистую.

— Вы отказываетесь? — спросил господин в форме.

— Как же я заплачу, ежели мне за товар не уплатили?

Тогда господин в форме предложил мастерам быть свидетелями, сел за столик и приступил к описи имущества. К большому

колесу и станкам привесили ярлычки с печатью и об'явили, что продажа с торгов будет через две недели.

В тот же вечер мастера потребовали заработную плату. Произошел скандал; хозяин заявил, что у него нет ни копейки. Ивана Максимыча били, несмотря на уговоры Кирилла Семеныча. Хозяйка заперлась в коморке, Сеня забился в угол. Сбежался народ, пришла полиция и составила протокол.

Утром мастера взяли паспорта, изругали хозяина и ушли. Остался только Кирилл Семеныч.

Через две недели в мастерской происходили торги.

Иван Максимыч сидел у окна и смотрел, как по его мастерской расхаживали посторонние люди, оглядывали станки и перешептывались. Это были барышники. Иван Максимыч проклинал теперь час, когда пришло ему в голову завести свое дело. В этом большом городе, где кругом десятки таких заведений, как у него, трудно было прочно стать на ноги. За перегородкой плакала хозяйка. Сеня смотрел на осунувшееся лицо хозяина. Он уже забыл побои, ругань и окрики. На его глазах рушился весь Иван Максимыч, становился таким же, как и Кирилл Семеныч, как он сам, без средств, без инструментов, с одними рабочими руками.

— Куда теперь он пойдет?—думал Сеня.—Зима скоро...

Торги кончились быстро, станки взвалили на извозчиков и увезли. Долго возились с чертовым колесом: несколько человек выволакивали его из мастерской.

Вечерело. В пустой мастерской было темно.

На утро Кирилл Семеныч забрал свои пожитки, взял паспорта и сказал:

— Ну, Сеня, пойдем... Народ мы привышный, пойдем, куда подешевле, до места. В ночлежный пойдем.

Ив. Шмелев.

КАМЕНЩИК.

Ах этот стук, этот шум, эти крики на улице, как раз против моего окна, гонят всякую мысль из головы, не дают мне ни минуты покоя, отрывают от работы!.. И некуда мне деться от этого неугомонного шума. С утра до вечера он не прекращается, а когда я, измученный дневным зноем, ложусь спать, то ясно слышу его даже во сне. И это уже два месяца, представьте себе! С тех пор, как против моих окон начали строить это несчастное здание, я не написал ни одной строчки, а стук и шум не переставали звучать в моих ушах.

Не в состоянии что-нибудь сам сделать, сижу день-деньской у окна и гляжу на работу других. От движения, беготни, работы нескольких десятков людей, суетящихся в этом тесном месте, словно муравьи в куче, нервное раздражение проходит. Я успокаиваюсь, глядя, как мало-по-малу под руками массы рабочего люда растет громадное здание, как подымаются вверх его стены, как шипит и курится известь, которую гасят в больших досчатых ящиках, а оттуда спускают в ямы; как каменщики обтесывают кирпичи, приспособляя их к надлежащему месту; как женщины и девушки носят цемент в бадьях, через ушки которых пропущены палки; как помощники, согнувшись в дугу, на деревянных носилках, ярмом наложенных на плечи вокруг шеи, тащат кирпич вверх по лесам. Ежедневная тяжелая работа этих людей проносится передо мною, словно туча, и, слыша их крики, шутки и разговоры, я забываюсь, будто тону в каком-то безбрежном, непроницаемом тумане, и быстро, неуловимо плывет час за часом, день за днем.

Лишь надсмотрщики со своим криком, со своей руганью, угрозами, бранью, да произволом над рабочими отвлекают меня от этого тумана, напоминают о живой, скверной действительности. Надсмотрщиков всего двое, а, между тем, всюду их видно и слышно. Где кто из них пройдет, там все рабочие нагибаются и умолкают. Ничем им не угодишь, ничто им не нравится, на все у них готова брань, готово сердитое, ругательное слово. А если какой-нибудь рабочий посмеет отозваться, оправдываться или вступиться за товарища, тотчас лицо пана надсмотрщика наливается кровью, из уст брызжет пена, и достается же тогда от него виновнику!.. Хорошо еще, если ему позволят остаться, если не прогонят в ту же минуту с работы... Но, ведь, они здесь полные хозяева, их власть над рабочими безгранична, а, прогнав одного, они сейчас же достанут четырех, которые сами же будут напрашиваться на место прогнанного. О, нынешнее лето для надсмотрщиков урожайное. Выбирай любого и урывай из платы, сколько хочешь, — ничего не скажут рабочие. А если кто-нибудь из них вздумает пожаловаться архитектору—долой, пусть гибнет с голоду, если не хотел быть покорным.

Однажды, когда я, по обыкновению сидя у окна, посматривал на работу, поднялся вдруг крик на фасадной стене. Причины крика я не видел, — слышал только как надсмотрщик набросился на одного рабочего, высокого, мрачного, средних лет каменщика, и начал ругать его последними словами. А тот ничего: наклонился

и продолжал работу. Но это упорное, угрюмое молчание еще более рассердило надсмотрщика.

— Ты, ворюга, голяк, арестант, сейчас же вон с работы! — с пеною у рта кричал мастер, все ближе подступая к рабочему.

Я видел, как мрачное, склонившееся над кирпичем, лицо каменщика все более краснело, словно наполнялось жаром. Он стиснул зубы и молчал.

— Что мне сто раз тебе говорить, висельник, босяк, разбойник, а!.. Марш отсюда!.. Сейчас же убирайся, а то прикажу сбросить!..

Работник, очевидно, боролся сам с собою; лицо его даже посинело. Наконец, не разгибаясь, он поднял голову и медленно, с невыразимым презрением в каждом звуке процедил:

— Мужик — мужиком! Не дай, боже, из мужика пана...

При этих словах надсмотрщик остолбенел. Очевидно, слова каменщика поразили его в самое больное место: он был из крестьян и теперь, став „паном надсмотрщиком", очень стыдился своего происхождения. Однако, минуту спустя он оправился и крикнул:

— Вот как!.. так ты со мною разговариваешь!... Подожди же, я тебе покажу!.. Я тебя научу!.. Вон!..

Работник не трогался с места и продолжал работать.

— Убирайся, разбойник!.. Ступай ко всем чертям, а не то велю позвать полицейского!..

Работник упрямо стучал молотком о кирпич. Тогда надсмотрщик подскочил к нему, вырвал из рук молоток и швырнул на улицу. Разозленный каменщик заскрежетал зубами и выпрямился.

— Хам! — крикнул он, — какого чорта ты пристаешь?.. Чего тебе от меня нужно?..

— А!.. так ты угрожаешь?! — рявкнул надсмотрщик — Караул!.. Караул!.. Разбойник!..

На этот крик прибежал другой надсмотрщик, и оба соединенными силами бросились на каменщика. Тот не защищался. Кулаки посыпались на его плечи; сопровождаемый пинками, немой от гнева и отчаяния, он сошел с лесов и взял на плечи свой мешок с инструментами.

Остальные рабочие, видевшие эту сцену, работали молча, склонившись над кирпичом и стиснув зубы. Никто из них не сказал ни слова.

На другой день я встал рано и выглянул в окно. На улице было еще тихо. Рабочие только-что сходились „на фабрику". Я очень удивился, увидав между ними прогнанного вчера камен-

щика. Заинтересованный я начал смотреть, что из этого выйдет, когда придет надсмотрщик. Рабочие мало беседовали между собою, а к прогнанному и совсем никто не подходил; он стоял сбоку, около забора.

Но вот и надсмотрщик подошел, пыхтя отчего-то, словно кузнечный мех. Он быстро окинул взглядом рабочих: сердитый взор его остановился на прогнанном вчера каменщике.

— А, ты, мерзавец, снова здесь!.. Зачем ты здесь?.. Кто тебя звал?..

— Пан надсмотрщик, — отзывается рабочий, приближаясь на два шага (среди общей тишины слышно, как дрожит его с трудом сдерживаемый голос), — пан надсмотрщик, простите меня!.. Что я вам сделал!.. За что вы лишаете меня хлеба!.. Вы, ведь, знаете, что я теперь нигде не найду работы, а дома...

— Вон, арестантская рожа! — рявкнул надсмотрщик, которому сегодня не по нутру была покорность, как вчера упорное, мрачное молчание.

Каменщик свесил голову, взял под мышки мешок с инструментами и пошел.

Целую неделю потом я видел по утрам эту сцену на улице. Прогнанный каменщик, очевидно, нигде не мог найти работы и каждое утро приходил просить надсмотрщика, чтобы тот его принял. Но надсмотрщик был тверд, как камень. Никакие просьбы, никакие мольбы не трогали его, и чем больше каменщик гнулся и пресмыкался перед ним, чем глубже западали его потускневшие глаза, тем больше издевался над ним надсмотрщик, тем все более неприятными и презрительными словами бранил он бедного рабочего.

А этот несчастный после каждого отказа стискивал зубы, брал молча под мышки свой мешок и, не оглядываясь, торопливо уходил, словно боялся страшного искушения, так и толкавшего его на скверное дело.

Было это вечером в субботу. Неожиданный дождь захватил меня посреди улицы, и я принужден был спрятаться в ближайший трактир. В трактире не было никого; грязная, сырая комната была слабо освещена одною лампою, которая печально раскачивалась на потолке, а за прилавком дремала старая, толстая еврейка. Осмотрелся я по сторонам, — вот диво! — за одним столом вижу знакомого каменщика рядом со своим врагом — надсмотрщиком. Перед каждым из них стоит стакан пива до половины надпитый.

— Ну, давай вам бог, кум! — сказал каменщик, ударяя своим стаканом о стакан надсмотрщика.

— Давай бог и вам! — ответил тот тоном немного более мягким, нежели на улице во время работы.

Меня заинтересовало это странное товарищество. Я велел подать себе бутылку пива и сел далеко, в другом конце комнаты, в углу.

— Да, что, кум, — говорил каменщик развязно, но, видимо, через силу, — нехорошо, что ты так на меня вз'елся, право нехорошо... За это, кум, господь гневается.

Говоря это, он стукнул стаканом о стол и потребовал еще два стакана пива.

— Ты, ведь знаешь, кум, какая у меня в доме нужда... И говорить не стоит... Жена больна, работать не может, а тут я, по твоей милости, уже целую неделю ни вот столечки не заработал... Да еще, если бы я один был, то как-нибудь терпел бы. А то, видишь, больная жена да и бедные птенчики уже едва ползают, хлеба просят... Сердце разрывается, кум, право... Отец, ведь, я им...

Надсмотрщик слушал эти слова, понурив голову и качая ею, словно дремал. А когда еврейка принесла пива, он взял стакан, стукнул о стакан каменщика и сказал: — За здоровье твоей жены!..

— Дай, боже, чтобы и ты не болел, — промолвил каменщик и отпил немного из своего стакана. Видно было по его лицу, как неохотно его уста касались напитка. Ах, быть-может, на него пошли последние гроши из одолженного четырьмя днями раньше гульдена, который должен был прокормить всю его несчастную семью до лучших дней, ибо другой, бог весть, удастся ли одолжить... А теперь он за последний грош решился угостить своего врага, чтобы хоть этим его задобрить.

— И что же ты, кум, милый, думаешь... Что я тебе такого сделал... Что в сердцах сказал тебе грубое слово... А сколько мне наговорил. Право, кум, нехорошо так обижать бедного человека!

Кум, выпив пиво, снова склонил голову и качал ею, словно дремал.

— Да полно, — заговорил несмело каменщик, — пожалуйста, в понедельник того... Сам видишь, — некуда бедному человеку деться... На улице с женою и детьми пропадать остается.

— А что... Прикажешь подать еще пива? — прервал его слова надсмотрщик.

— А конечно, конечно!.. Эй!.. еще кружку пива!..

Еврейка принесла пива; надсмотрщик выпил его и вытер губы.

— Ну, так как же будет? — спросил тревожно каменщик, стараясь взять надсмотрщика за руку и глядя ему в лицо.

— А... как будет?! — ответил тот холодно, вставая и собираясь уходить. — Благодарствую тебе за пиво, а на работу в понедельник нечего тебе приходить, я уже другого принял. И вообще (эти слова он сказал уже около самых дверей шинка), таких разбойников, таких висельников, как ты, мне не нужно...

И одним прыжком надсмотрщик выбежал на улицу и захлопнул за собою дверь пивной.

Как громом, поразили эти слова несчастного каменщика.

Долгое время стоял он неподвижно, не зная, вероятно, что и думать. Потом очнулся. Какая-то дикая мысль блеснула в его голове. Одною рукою рванул он стол, за которым сидел, оторвал от него одну ножку, а потом отломанною ножкою замахнулся по стойке. Брязг, звон, шум, крик еврейки, гомон набежавших людей, крик полицейского — все слилось в дикую, оглушительную симфонию. Минута — и несчастный каменщик очутился среди кричащей и визжащей толпы, которая с большим шумом отдала „взбесившегося разбойника“ в руки полицейского. Грозный страж общественной тишины схватил его за плечи и толкнул вперед. Рядом с полицейским поволоклась перепуганная до полусмерти шинкарка, оставив, вместо себя, в пивной какую-то другую еврейку, а вместе с ними, голося и шумя, целая толпа уличной голытьбы повалила к полиции.

Ив. Франко.

ТОСКА.

Вечерние сумерки. Крупный, мокрый снег лениво кружится около только-что зажженных фонарей и тонким, мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных

огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой красе, и уличная суматоха становится шумнее.

— Извозчик, на Выборгскую!—слышит Иона.—Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом. видит военного в шинели с капюшоном.

— На Выборгскую, — повторяет военный. — Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный садится в сани.

Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается, и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

—Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной, движущейся взад и вперед массы. — Куда черти несут? Пррава держи!

— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает где он, и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный. — Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, повидимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сопенья.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит.

— А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.

— Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

— А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля.

— Сворачивай дьявол! — раздается в потемках. — Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай... — говорит седок. — Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, повидимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач. — Троих... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак, — для него теперь все равно, были бы только седоки...

— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. — Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

— Гы-ы... гы-ы... — хохочет Иона. — Какая есть.

— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.

— Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена —сырая земля... Хи-хо-хо... Могила, то-есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что слава Богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном под'езде. Опять он одинок и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы, и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.

— Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона от'езжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи. Ему невмоготу [1]).

„Ко двору — думает он. — Ко двору!“

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора, Иона сидит уже около большой, грязной печи. На печи, на полу на скамьях храпит народ. В воздухе „спираль“ и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

„И на овес не выездил, — думает он. — Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда спокоен...“

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стало-быть, пить!

— Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История!

Иона смотрит, какой эффект [2]) произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель дожен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

„Пойти лошадь поглядеть, — думает Иона. — Спать всегда успеешь... Небось, выспишься...“

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один,

[1]) Не под силу.

[2]) Впечатление.

думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

— Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза..—Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить...[1]) Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребенок приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина..

Иона увлекается и рассказывает ей все...

А. Чехов.

БЕЗРАБОТНЫЙ.

Он ходил от дома к дому,
он ходил со двора во двор,
ныло сердце: нет знакомых,
пели руки: есть топор.

Занозило плечи мукой,
хрип в груди засел с утра:
— Продаются на день руки,
звонкость, свежесть топора!

— Пару рук, не знавших лени,
за макуху с топором!..
Но молчали: двор осенний,
пес худой, безлюдный дом.

Вышел дворник за ворота
и сказал: в голодный тиф
где ты, брат, найдешь работу,
видишь, даже пес притих!

— Что ж, — ответил он, —не спорю,
но пока, с твоей руки,
обойду еще раз город
и три раза кабаки.

Было поздно. Стало позже,
он ходил с двора во двор,
и, встречая дом пригожий,
замирали сладкой дрожью
и работник и топор.

М. Голодный.

АГАША.

I.

— Агаша! Подай пальто! Где же калоши?

Агаша бросала тарелки и бежала подавать калоши, но в это время раздавался окрик:

---

[1]) Умер.

— Агаша! У тебя еще стол не накрыт. Что за безобразие!..

Агаша подшвыривала калоши и стремглав бросалась в столовую. Ее останавливали возгласы:

— Агаша! Беги в лавочку, купи скорее папирос!

— Агаша! Вот тебе записка, отнеси сию же минуту к портнихе!

Агаша, растерянная, с растрепанными глазами, металась из стороны в сторону, не зная, с чего начать, потом мысленно махала на все рукой и бежала в лавочку. Вернувшись, она выслушивала выговоры: от барыни — за то, что ушла не сказавшись; от барышни — за то, что не снесла письмо перед обедом. Потом опять бежала в лавочку за лимоном, потом принималась чистить юбки и кофточки, если барыни собирались куда-нибудь. Тут ей доставалось за то, что юбки не вычищены во-время.

— Барыня, да ведь минутки свободной не было! — пробовала она возразить.

На это барыня возмущалась:

— Вечные ответы! Ты знаешь, что я ответов не люблю! Смотри, Агаша, не выводи меня из терпения! „Минуты свободной не было!“ Что же делала целый день, спрашивается?

Агаша твердо удержала в памяти, что барыня ответов не любит, и потому молчала и глядела на огонь лампы, держа кофточку в руках.

— Изволь отвечать! — вспыхивала барыня. — Это еще что за манера — молчать, когда тебя господа спрашивают?

Агаша совсем переставала понимать барыню, и глаза ее делались круглыми.

II.

Господа уехали в театр!

Вздох облегчения вырвался из души Агаши, когда она заперла за ними двери и опустила тяжелый железный болт.

Она прошла в комнаты барышни и барыни, прибрала разбросанные платья, вылила воду, открыла постели на ночь. Кажется, все!

Агаша прошла в кухню. Кухарка ушла со двора, и в кухне все было тихо. Перед иконами потрескивала лампадка. У двери на подстилке мирно спал громадный сан-бернар Нэлли. На полатях, над печкой, мурлыкали две кошки. Вытопившаяся плита делала воздух душным, да и от возни с посудой Агаше стало очень жарко.

„Выйти, посидеть на вольном воздухе, — мелькнуло у нее в голове. — Я с крылечка звонок-то услышу, если что!“ Набросив платок на плечи, она вышла на крылечко.

После жарко натопленной кухни казалось прохладно, но было тепло. Стояла тихая, весенняя ночь, придававшая отпечаток тихой ласки даже этому дворику, затерявшемуся посреди каменных улиц и громадных домов.

Агаша присела на ступеньку и глубоко задумалась...

— Что-то теперь дома у нас делается.

Вспомнилась ей родная деревня, речонка Льнянка, быстрая и прозрачная, со множеством пескарей, мелькающих и точно дразнящих: так вот и поймал бы! Вспомнилась березовая роща, поля сенокос...

Вспомнились и родные: мать, брат, отданный в ученье в губернский город, две сестренки.

Мать рано овдовела и работала за мужика: сама и в поле, сама и за дровами в лес. Агаша рано начала помогать ей. В пять лет она была уже „нянькой“ и, переваливаясь, таскала на своих руках сестренку, закутанную в ситцевое одеяло из лоскутов, а в свободные часы бегала за несколько верст к помещикам продавать грибы или ягоды. В восемь лет ей ничего не стоило истопить печь, сварить картошку, задать корму скотине.

Когда Агаше минуло одиннадцать лет, она стала помогать матери и деньгами. Случилось это так. Их деревенская учительница, Марья Николаевна, очень полюбившая смышленную девочку, предложила ей остаться у нее — прислуживать ей. Агашина мать с радостью согласилась на предложение учительницы, и девочка поселилась у нее, получая рубль в месяц и, кроме того, иногда разные ситцевые кофточки да белье.

Почти три года Агаша ничего не стоила матери, да еще приносила ей 12 рублей в год. Для них это было подспорье не малое.

Господи! Как ей хорошо жилось у учительницы!

Агаша не считала за труд ту работу, какая у нее была там. Прибрать комнату, накрыть на стол, почистить платье, которых у учительницы и было-то — раз-два да и обчелся, да кое-что иногда зашить, — вот и все. Обедала она вместе с Марьей Николаевной, с ней же в одной комнате и спала. Летом Марья Николаевна отпускала Агашу помочь матери управиться в поле, а по праздникам — на улицу. Среди своих подружек слыла Агаша первой песельницей.

Так жила Агаша до последнего года и считалась и умной и смышленной, и хорошенькой... Не то что здесь!

III.

В последний год стряслась над их деревней беда. Все лето стояла засуха. Земля ничего не уродила в этот год, и настал голод.

В начале зимы, пока оставался запас, сохранявшийся на посев, да водились деньжонки, еще можно было терпеть. Потом стали проедать все. Кто победнее, давно уже пошел „в кусочки“, но в окрестных деревнях „кусочков“ было мало. Хлеб стали печь пополам с лебедой и мякиной, потом начали подмешивать толченую кору. Скот кормили соломой с крыш.

Марья Николаевна последние гроши отдавала, чтобы купить хлеба и прокормить хоть приходивших в школу детей. Но когда вместе со школьниками приходили и те, которые еще не учились или недавно кончили, и голодными глазами смотрели на то, как другие ели, сердце у нее разрывалось, и она плакала тяжелыми слезами. Свое жалованье она тратила на хлеб и давно уже ходила в прорванных башмаках и худом платьице, не тратя на себя ни гроша.

Однажды вечером, прочитав какое-то письмо, Марья Николаевна подозвала к себе Агашу и сказала:

— Слушай меня внимательно, Агаша. Ты видишь, что кругом творится, и сама поймешь, что мне теперь каждая копейка нужна. Значит, держать тебя мне больше нельзя.

У Агаши дух захватило от этих слов, и что-то подкатило к горлу. Вся дрожа, она охватила руками колени Марьи Николаевны и прижалась к ним.

— Постой, постой, Агаша, — говорила Марья Николаевна:

— Я не гоню тебя, только ведь и тебе деньги нужны, иначе как перебьется твоя мать? У меня есть родственники в Москве, люди не богатые, но и не бедные; они пишут мне, что хотят взять в услужение деревенскую девочку лет 15 и спрашивают, нет ли у меня хорошей. Я сейчас же подумала о тебе. Жалко мне с тобой расставаться, но, ведь, они тебе положат жалованья рубля три, а то и четыре в месяц. Такие деньги на полу не валяются. С матерью я поговорила. Она, конечно, рада. Я им напишу, они вышлют денег на дорогу, и поезжай!

Агаша молчала. Мысли кружились в ее голове. Страшно ехать.. Чужие люди... Москва далеко... Зато мамка сыта будет. Деньги-то какие... А как же Марья Николаевна одна останется?..

Почти всю ночь проговорили и проплакали Агаша с Марьей Николаевной, а через неделю Агаша, вся дрожа от страха, уже садилась в вагон.

Как сейчас помнит она оглушившую ее железнодорожную суматоху: свистки, пронзительные звонки, так часто будившие ее ночью, когда она дремала, прижавшись в уголок деревянной лавки распухшим от слез лицом. Когда утром ей захотелось есть, она вынула испеченные мамкой яйца и кусок хлеба и особенно живо вспомнила деревню и мамку. Она ела и плакала, а звонок так и заливался, безжалостно, словно пугая и дразня ее. И теперь, при воспоминании об этом, слезы катились у нее из глаз, а в ушах так и раздавался пронзительный звонок, все громче... громче.

— О, Господи! Да никак это в передней! Так и есть: в передней звонят! — вдруг очнулась Агаша и перепуганная кинулась отворять дверь.

IV.

— Что ты? С ума сошла? Мы полчаса стоим! — набросилась барыня на Агашу. — Я уже думала, вы тут умерли. Готов самовар?

— Сию минуточку закипит, барыня,—ответила Агаша. Сердце у нее захолонуло. Только бы не вошла барыня в кухню: сидя на крыльце, она и забыла о самоваре.

— Нет, как вам это понравится? — вскрикнула в отчаянии барыня, входя в столовую и всплеснув руками.

— Стол не накрыт! Я же тебе говорила, что к половине двенадцатого все должно быть готово, а теперь первый час! Ты опять спала! Физиономия вся красная. Нет, скажи, пожалуйста, зачем ты ехала служить в город, если ты не можешь привыкнуть? Я ведь тебя, милая, не насильно держу. Я деньги плачу и требую, чтобы все исполняли! Она долго еще проговорила бы, но в эту минуту раздался звонок. Это были приехавшие вслед барышня с подругой и еще знакомый с женой. Господа принялись ужинать. Пошел говор, смех... Под эти звуки Агаша дремала, сидя на сундуке у стенки и вскакивая каждый раз, когда до нее доносилось:

— Агаша, подай тарелку!

— Агаша, хлеба нарежь!

— Агаша, лимон! Агаша!

Гости раз'ехались. Господа готовятся ко сну.

— Агаша, налей, мне чаю, — приказывала барышня.

— Воды в рукомойник, Агаша! — кричала барыня.

— Этот пакет снесешь завтра на почту, отдашь заказным. Да пораньше, как только откроют, — внушительно говорил барин.

— Меня не будить! — заключила барыня. — Можешь итти.

— Спокойной ночи.. — пробормотала Агаша еле слышным голосом и отправилась к сундуку, на котором спала. Но не успела она до него добраться, как опять раздалось:

— Агаша, Агаша!

— Что угодно?

— Не слышишь, что ли? Нэлька царапается. Выведи ее погулять.

Наконец, уснуло все: и господа в постелях, и Нэлли на цыновке, и Агаша на своем сундуке.

Т. Щепкина-Куперник.

ГОСПОЖА И ДВЕ СЛУЖАНКИ.

У барыни, старушки кропотливой,
неугомонной и брюзгливой,
две были девушки служанки, коих часть
была с утра и до глубокой ночи,
рук не покладывая, прясть.
Не стало бедным девкам мочи:
им будни, праздник — все равно;
нет угомона на старуху:
днем перевесть она не даст за пряжей духу;
зарей, где спят еще, а уж у них давно
пошло плясать веретено.
Быть-может, иногда б старуха опоздала,
да в доме том проклятый был петух:
лишь он вспоет — старуха встала,
накинет на себя шубейку и треух,
у печки огонек вздувает,
бредет, ворча, к прядильщицам в покой,
расталкивает их костлявою рукой,
а заупрямятся — клюкой,
и сладкий на заре их сон перерывает.
Что будешь делать с ней?
Бедняжки морщатся, зевают, жмутся,
и с теплою постелею своей,
хотя не хочется, а расстаются.
Назавтрее опять, лишь прокричит петух,
у девушек с хозяйкой сказка та же:
их будят, и морят на пряже.

„Добро же ты, нечистый дух!“
Сквозь зубы пряхи те на петуха ворчали:
„Без песен бы твоих мы, верно, боле спали;
уж над тобою быть греху!“
И, выбравши случай, без сожаленья
свернули девушки головку петуху.
Но что ж? Они себе тем ждали облегченья;
ан в деле вышел оборот
совсем не тот:
то правда, что петух уж боле не поет —
злодея их не стало;
да барыня, боясь, чтоб время не пропало,
чуть лягут, не дает почти свести им глаз,
и рано так будить их стала всякий раз,
как рано петухи и с роду не певали.
Тут поздно девушки узнали,
Что из огня они да в полымя попали.

И. А. Крылов.

ПАМЯТНИК ТРУДА.

Подземный рокот цементных артерий,
тяжелый взлет двадцатых этажей,
как вымыслы причудливых поверий,
цветенье электрических огней.
Безгласный хор гранитных изваяний,
застывший гимн тревоги и труда,
каких веков здесь пресекались грани,
кем создан, сотворен, когда?
Кто скажет — здесь „мое“ и дерзостно отторгнет
от общей музыки своих усилий звук?
Здесь тысячи творцов в проклятьях и восторге
сплели живую вязь из чудотворных рук.
Прислушайся, и ты услышишь внятно,
как дышат площади и говорит гранит,
на ржавых кирпичах увидишь крови пятна,
горячий пот на плитах заблестит.
О, памятник Труда, ты величав и вечен,
о, глыбы тяжкие и плиты площадей,
ваш каждый камень огненно отмечен
бессмертным подвигом неведомых людей.

В. Кириллов.

В НЕДРАХ ЗЕМЛИ.



ДОНБАС.

Уж полночь, а выси багряны, —
наверное плавят чугун.
Как в кожаных куртках отряды,
видения строем бегут.

Не улицы — просто линии,
по счету. И в шлаке поля.
Но миру доносят по радио
про сердце твое из угля...

А в искрах полночной радости,
за оградой воспетых шахт,
уснули села в бурьянах по брови,
и в прудах беломесячный страх.

М. Доленго.

УГЛЕКОПЫ.

Мы уголь ломаем, кусок за куском,
под мелким подземным дождем,
сквозь камень и воду, сквозь глину с песком
мы узкие штольни ведем.
Крепче, мой молот, сильнее ударь,
мой черный, увесистый молот!
Наш вечный погонщик, и сторож, и царь —
жестокий, мучительный голод.

Пусть камень сорвется, пусть лопнет бадья —
окончен последний расчет.
Шахтер, пред тобою могила твоя,
Ты сам ее вырыл, как крот
ты сам ее вырыл в утробе земной,
по двадцать копеек за фут:
голодные люди дешевой ценой
на гибель себя продают.
Мы солнца не видим. Как пасмурный сон,
проходят во тьме наши дни;
когда из колодца мы вылезем вон,
уж в окнах мелькают огни,
да звезды мерцают так низко вдали
и шлют нам холодный привет
за то, что одни мы для целой земли
тепло добываем и свет.
Там пахнет зеленой и свежей весной,
а здесь — ядовитый угар.
Смертельные газы висят пеленой,
и носится взрыва кошмар.
Здесь бездна зияет, куда ни ступи,
и Смерть притаилась в углу.
Шахтер под землею, молчи и терпи,
ты сам поступил в кабалу...
Крепче, мой молот, ударь посильней,
пора уходить нам домой...
Мы солнца не видим в неделю шесть дней,
а счастья не видим в седьмой.

Н. Тан.

В ШАХТЕ.

Сыро и мрачно, как будто в могиле,
выпало кайло из рук.
Ломит спина, и дышать нету силы,
в голову режущий стук...
Что стоишь?
Дрему прочь!
Эй, долби
день и ночь!
Отдыха нет и минуты единой,
силы нет кайлом взмахнуть.

Если б подняться и выпрямить спину,
воздухом свежим вздохнуть...
Что стоишь?
Дрему прочь!
Эй, долби
день и ночь!
Поздно иль рано?.. Сыро и мутно.
Тянется час, как года.
Дайте вздохнуть нам, вздохнуть нам, вздохнуть нам.
Дайте заснуть... навсегда.
Что стоишь?
Дрему прочь!
Эй, долби
день и ночь!

С. Черкасенко.

ПОД ЗЕМЛЕЙ.

Сквозь густую мглу впереди в десятке саженей мелькнули красноватые огни ламп. Удары и характерный обсыпающийся шорох теперь явственно неслись оттуда.

Свод понижался все больше и больше; рабочий опустился, наконец, на колени и полез на четвереньках; мы сделали то же, и через минуту очутились среди странной, невиданной дотоле обстановки. Узкий проход раздался, уходя в обе стороны в темноту, а сверху, на расстоянии всего полутора аршин, ровно и гладко тянулась пустая порода. Короткие стойки, плотно упираясь рядами в верхний и нижний пласты, странно белели древесиной среди этой непривычной обстановки, поддерживая огромную, давившую их тяжесть в миллионы пудов. Здесь, даже согнувшись, нельзя было ходить и только можно было передвигаться ползком.

Это было место выработки угля.

Со всех сторон, дымя среди тяжелой, густой мглы, слабо и как-будто с усилием горели лампы, и сквозь дым там и сям смутно виднелись скорчившиеся фигуры молча работавших или пробиравшихся на четвереньках между стойками рабочих. Воздух, пропитанный гарью, дымом и испарениями человеческих тел, был сладковато приторен и сильно нагрет. Шум врубающихся топоров, осыпающийся шорох угля, учащенное прерывистое дыхание работающих людей наполняли это глухое подземелье.

Я прополз дальше между стоящими по пути подпорками. Металлический излом антрацита при слабом меркнущем пламени

ламп бросался в глаза. Мощный пласт его, в полтора аршина толщины, залегал здесь, зажатый сверху и снизу между каменными породами, и его оттуда надо было добывать. И я невольно с каким-то смешанным чувством удивления и почти страха глядел на эту поблескивавшую на лампах мертвую поверхность уплотненной массы, требовавшей от людей таких усилий, напряжения и риска. Ощущение висевшей над головой тяжести давило. Достаточно было малейшего сдвига почвы, сотрясения, просачивания воды или встречи мягкого грунта, чтобы вся эта страшная масса, раздробив в щепы подпорки, опустилась до самого пола.

Вязкий глухой удар раздался возле меня, и в то же мгновенье черная туча осколков угля обдала мне лицо, больно просекая кожу. Я отшатнулся в сторону.

Шагах в трех от меня рабочий врубался в каменноугольную массу, отделяя ее от пола. Он лежал на левом боку и частью на спине и, держась обеими руками за длинную рукоять особенного удлиненного топора, с усилием взмахивал им над самым полом, болезненно содрогаясь всем телом от крайне неловкого положения и усилий попадать в одно и то же место; голова тянулась за ударами и ноги судорожно подергивались, шурша по мокрому полу мелким углем. И каждый раз, как кайло глубоко и силой врубалось снизу в узкую расщелину, отделяя угольный пласт от каменного пола, брызги осколков с шумом вырывались оттуда, с ног до головы обдавая забойщика. И он в такт каждому размаху напряженно и торопливо отворачивал голову, крепко зажмуривая глаза. Я слышал его подавленное дыхание и тоже зажмуривал глаза и прятал лицо за столбик каждый раз, как топор с розмаху уходил совсем с рукояткой в расщелину.

А кругом неслись такие же глухие удары кайл, смутно копошились неясные фигуры рабочих, с усилием горели лампы и, покрывая все это, также неподвижно-безжизненно стояла сладковатая густо-синевшая мгла. Мне становилось трудно дышать. В висках стучало, перед глазами все слегка шло кругом, а во рту усиливалось приторное, вызывающее тошноту, ощущение. Теперь уже хотелось выбраться отсюда поскорее, но ни сопровождавшего рабочего, ни приятеля не было,—они проползли куда-то дальше. Мне не видно было концов лавки [1]); она тянулась в обе стороны саженей на тридцать. То место, где я мог пробираться только на четвереньках, когда-то было заполнено углем, рабочие

---

[1]) Лавка — место выработки угля.

его выдрали и поставили коротенькие столбики, поддерживавшие верхний пласт пустой породы, оставшейся на весу.

Рабочий, врубавшийся возле меня, вывел снизу длинную щель. Он сел, подогнув голову, и отер грязною рукою пот. Я не мог разглядеть выражения его лица, но мне видно было, как облипала его тело насквозь смоченная потом и сочившейся по полу водой рубаха. Он пододвинул к себе лежавшие возле кучкой коротко нарезанные столбики и, вырубив по углублению в угольном пласту и в полу, стал косо устанавливать подпорки, чтобы подрубленная снизу стенка угольного пласта не вывалилась до времени и не раздавила его. Через минуту он опять уже лежал на боку и, дрыгая ногами и корчась, стал зарубать щель дальше...

Мгла, сырость, грязь, пробиравшаяся за платье, холодная вода и эта густая нагретая атмосфера, от которой стучало в висках и затруднялось дыхание, нагоняли страшное оцепенение и апатичное ожидание, когда я, наконец, отсюда выберусь.

— Митька!—послышалось возле меня, и звук человеческого голоса сейчас же глухо замер.

— Иди, штоль!

— Сейчас! — донеслось без отклика из густой мглы.

Зарубщик забрал оставшиеся жердочки и кайло, отполз от пласта и сел возле меня, согнувшись всем своим длинным туловищем. Он был худ и с узкой запавшей грудью. Слой угольной грязи придавал его чертам неподвижность, и только глаза блестели лихорадочно и возбужденно. Мокрая, черная от угля рубаха и порты облипали его, еще более выказывая худобу тела.

— Трудно же у вас тут работать, — проговорил я, желая вызвать его на разговор.

Он ничего не отвечал и сидел, сумрачно глядя перед собой.

— Митька! — позвал он опять, не обращая на меня никакого внимания. — Что ж не починаешь? — и вдруг прибавил раздраженно и злобно скверное ругательство.

Из мглы, цепляясь спиной за нависнувший потолок, приполз в такой же черной и мокрой рубахе парень, сел возле, скрючившись, и стал, ухая, вгонять тяжелым молотом железные клинья между нависнувшим сверху потолком и пластом угля, чтобы отделить последний от породы.

— Да так, работа наша... — проговорил вдруг рабочий, обернувшись и глядя на меня с раздражением, — кабы ежели шахтеры не ругались нехорошим словом, так святыми бы все поделались,

вот как иные прочие схимники спасаются, молют бога. Вот наша какая работа.

В его словах слышалось раздражение, точно я был в чем-то виноват.

— Да вот, поглядите, вот он теперича гонит клинья, вот не расчитает, рухнет пласт, от него лишь мокро останется, да и нас с вами не помилует.

Забойщик продолжал бить молотом. Глухо, точно предвещая что-то недоброе, отдавались удары, и толстые концы клиньев, уходя в глубь, становились с нашей стороны все короче, образуя сверху все более и более заметную расщелину. Томительное ожидание овладело мной. Я никак не мог освободиться от гнетущего впечатления, которое производила эта расходившаяся вверху темная щель. Парень перестал бить; принял одну подпорку, другую... Что-то тяжело хрустнуло.

— А что бывают...

Я не успел договорить: страшный треск и грохот потряс подземелье. Что-то тяжелое и неуклюжее перевернулось. Все лампы разом дрогнули, на секунду ярко вытянув пламя. Все заколебалось и, казалось, каждое мгновение готово было рухнуть среди мглы. Я судорожно попятился к проходу, поскользнулся и упал. Мимо с шумом пролетели, переворачиваясь в воздухе, две выбитые страшною силою подпорки. Что-то еще раз ухнуло, каменный пол под ногами дрогнул, и все успокоилось. Только на том месте, где перед этим возился рабочий, зияла темная, уходившая в глубь пустота, и перед ней неподвижно грудой лежал вывалившийся пласт угля в несколько сот пудов весу.

Отбойщик, изгибаясь и неловко махая под низким потолком, раскалывал его на меньшие куски.

— Иной раз так-то вываливают пласт, — проговорил, выправляя фитиль в своей лампе, все время спокойно остававшийся на месте зарубщик, — верхний пласт лопнет, осядет, подпорки в щепки, лавку-то всю со всем народом и накроет. А испужались? — добавил он уже добродушно и улыбнулся.

И странно было видеть улыбку на этом суровом и неподвижном от грязи лице.

— Мы — народ привычный, а и то иной раз жуть берет.

Он забрал подставки, кайло и лампу, прополз дальше, лег на бок и опять, болезненно корчась, стал зарубать щель.

А кругом было все то же: доносившиеся отовсюду глухие удары, смутно копошившиеся фигуры, густая сладковая атмо-

сфера и синевшая повсюду мгла. Все работали, храня угрюмое молчание, — ни песен, ни говора. Эта мрачная вечная ночь вытравила у людей веселость, оживление, шутку, смех, песни! Каждый, напрягаясь, рубит, раскалывает, загоняет клинья и таскает куски угля, подавляя в себе отвращение к мертвому труду, и тоску и удручающую апатию, навеваемую окружающей обстановкой. Одно только постоянное желание, не заглушаемое даже многолетней привычкой, таится в душе, сжимая сердце вечно сосущей тоской: доделать работу и выбраться наверх. Впрочем, и выбравшись наверх, рабочий не видит дневного света: спускаются в шахту до рассвета, а выходят когда на земле уже ночь.

* * *

К отбойщику подполз, таща за собой салазки, новый рабочий, и они вместе, молча, стали нагружать огромные куски разбитого пласта.

Тягальщик, надев лямку, поправил ее на груди, потом стал на четвереньки и, подогнув голову, изо всех сил натянул веревку. Но трудно было сдвинуть придавленные тяжелою грудою салазки. Руки и ноги скользили по мокрому полу. Он цеплялся за все неровности, пробуя ногой и ища точки опоры, дергая то в ту, то в другую сторону, как лошадь, которая не может взять сразу нагруженный воз. Раза два я видел, как раз'ехались у него руки и ноги в полужидкой грязи, сочившейся на полу, и он ударился грудью о плитняк.

На него тяжело было смотреть, — это была агония труда. Он бился, скользил и падал, как привязанный на цепи, и пядь за пядью брал расстояние, и мертвая груда угля понемногу и незаметно приближалась к выходу, где были проложены рельсы, и уголь перегружали в вагончики.

Он добрался до подпорок возле меня и, опрокинувшись на бок, стал в них упираться руками и ногами, точно с отчаянием отбивался от кого-то, и я слышал его порывистое, шумное дыхание и то особенное болезненное кряхтение, похожее на стон, которое вырывают из груди чрезмерные физические усилия. Ременная лямка, прижимая взмокшую рубаху, обозначалась по телу узким и длинным рубцом...

Он добрался до меня, ослабил лямку и сел, отирая пот, который, смешиваясь с грязью, катился по лицу.

— Самое чижолое до столбов выволочить; главное, взяться не за что, аж ногти посрываешь, — поговорил он, заметив,

вероятно, на себе мой пристальный взгляд. — Дозвольте папиросочку.

Я торопливо достал и подал ему. Он взял и, наклонившись к лампе, стал закуривать, при чем вспыхнувшая папироса осветила уже обыкновенное человеческое лицо.

— Давно вы тут работаете?

— Да вот уж другой год маюсь, жисти своей тут решаюсь. На лето, конечно, уходим.

— И нынешнее лето уйдете?

— А то как же? Да ведь это, милый человек, как иные прочие господа летом на теплые воды, али в за границу ездят, так наш брат,—на работы. Как вылезешь это отсюда, о господи! — кругом весна, солнышко-то, матушка, так и греет, так печет, аж глазам больно. Станешь на косовицу, али хлеб подойдет, в артели пойдешь косить, работа веселая, взопреешь — речушка, али ставок, выкупаешься, тут тебе прохлада, тут тебе благодать. Ляжешь это на спину,—он немного откинулся спиной на нагруженные углем салазки — и глядишь в небо, и все глядишь в небо, — и он слегка приподнял голову и поглядел в черный потолок, — аж тебя слезой прошибет, а то иной раз так и заснешь, и тверезый, даже, не то чтобы выпивши. Главное — свету не видать тут...

— Ефимка, какого же ты дьявола там разговоры разговариваешь? Дело из-за тебя стоит! — и град ругательств посыпался на него.

— Что же я собака, что ли, что отдохнуть нельзя? — огрызнулся Ефим.

Он торопливо докурил папиросу, надел лямку, стал на четвереньки и, упираясь руками и ногами, потащил дальше, и опять с его лица сбежало человеческое выражение, и осталось лицо животного, изуродованное судорогами физических усилий.

* * *

Я огляделся кругом: штейгера с товарищем не было видно. Они, вероятно, были в дальнем конце лавки. Рабочие, зарубавшие пласт, разбиравшие уголь и вытаскивавшие его к выходу, красные дымные огни ламп среди сизого тумана и эта гладкая, мертвая поверхность над головой, — все это приобрело какое-то особенное значение, роковое и неизбежное. Страх смутный и неопределенный и ожидание несчастья совершенно мимо воли охватывали душу. Я полез отыскивать своих. Неодолимое желание выбраться, уйти отсюда неотступно овладело мною.

Сидя на корточках, штейгер об'яснял приятелю подробности работ, а тот слушал с растерянным и разочарованным видом: вместо ожидаемого мрачного величия, все было просто и ужасно. Я окликнул их, и мы один за другим поползли к выходу.

Рабочие в угрюмом молчании продолжали свое дело, то там, то сям ползком показываясь из синевшей мглы и не обращая на нас никакого внимания — каждому было самому до себя.

Через несколько минут мы снова очутились в пустынной галлерее, и согнувшись, пошли пешком. Свеча у меня потухла, и мне не хотелось делать усилия зажигать ее, и я следил за светлым кружком лампы штейгера, скользя и спотыкаясь по мокрому плитняку. Доносившиеся глухие удары и шорох осыпающегося угля давно смолкли позади нас, и мы шли среди могильной тишины, унося в сознании впечатление оставленных позади людей, угрюмое молчание и выражение тоски и напряжения на лицах.

Мы следовали за штейгером из одной галлереи в другую, и, вероятно, прошли около версты.

При дрогнувшем свете лампы впереди смутно обрисовалось во мраке что-то странное и неопределенное, оставшееся без движения. Был ли это выступ пласта, или человек — нельзя было разглядеть.

По мере того, как светлый кружок лампы штейгера подвигался вперед, в темноте выделялись сколоченные перекладинами полусгнившие доски, загораживая проход. Что-то живое и миниатюрное зашевелилось там. Это оказался мальчик лет десяти. Он побежал к загораживавшим проход воротам и торопливо отворил их. Ветер со свистом и колебля пламя вырвался с той стороны, охватил нас холодом и сыростью и понесся по галлерее.

— Иваська, это ты?

Мы остановились. Он стоял перед нами, глядя на нас своими наивными детскими глазками. По этому проходу редко гоняли вагоны, и наше появление было для него целым событием. Он был приставлен отворять и затворять ворота, регулировавшие ток воздуха. Ему не давали лампы, чтобы не тратить даром керосина, и он по целым часам сидел возле ворот среди молчания и мрака и прислушивался к шороху и падению капель, невидимо пробиравшихся в темноте по стенам и монотонно и однообразно падавших со свода, наводя уныние и тоску. Детская голова, руки и ноги просили работы, движения, и он мял крошки угля и отковыривал кусочки отгнившей доски.

— Скучно тебе одному?

— Нет, оно не скучно, а только чижало на сердце.

Он перевел на нас свои детские глаза и тоскливо улыбнулся.

Мы постояли с минуту, как-будто нам еще нужно было сказать что-то, и не находили что, а потом пошли дальше. Слышно было, как затворили сзади ворота, и вокруг снова водворилась мертвая тишина и непроницаемый мрак неотступно следовал сзади, с боков, спереди. Мы шли теперь к выходу...

Мы сворачивали куда-то вправо, потом влево, потом вышли в какой-то широкий проход, где рельсы были проложены в два пути, по диагональному ходу, тесному и низкому стукались головами, спотыкались и болтались в воде, и я не знал, откуда и куда мы идем и в какой сторене оставленные нами работы, и машинально тащился за согнутою широкой фигурой молча пробиравщегося впереди штейгера,—все равно мы, в конце-концов, должны же притти к выходу. Мы не попали на поезд и нам теперь все время нужно было итти пешком.

„Нет, не скучно, а только чижало на сердце", все звучало среди темноты, и я старался не думать об этом и отгонял выражение тоски и печали детских глаз и представлял себе, как я заберусь в клетку, и она быстро пойдет мимо влажных стенок сруба.

Долго, очень долго мы шли таким образом; вероятно, сделали несколько верст. Я не знал, возвращались ли мы прежнею дорогой, или штейгер вел теперь нас иными галлереями.

— А не желаете ли взглянуть на помещение для рабочих лошадей рудника? — проговорил он, приостанавливаясь и посвечивая перед собой лампой.

Первое, что я почувствовал, это — радостное облегчение, так как знал, что конюшни были недалеко от выхода. Мы остановились. Единственное наше желание было — возможно скорее выбраться отсюда, но мы почему-то проговорили:

— Ну, что ж, пойдемте.

Штейгер подошел и отворил в стене небольшую дверь. Горячая атмосфера распаренного навоза и многих десятков лошадиных тел пахнуло в лицо и охватила специфическим запахом и теплом. Мы вошли. Около семидесяти лошадей стояло по станкам, слабо выделяясь крупами в полутьме. Они были сыты, с лоснящеюся шерстью. Их здесь отлично кормят и не переутомляют работой, но многие слепы. Лошади очень быстро теряют зрение в темноте. Я прислушался: они мерно и звучно жевали сено, и мне припом-

нилось поле, потухающая заря, распряженный воз при дороге и этот спокойный и мерный звук пережевывания, который всегда вызывает особенное состояние спокойствия и отдыха. Бедные животные! Они уже никогда не увидят солнца, зелени, степного приволья и сложат свои кости в этих мрачных галлереях.

Мы вышли и прошли на площадку к под'ему. Подошла клетка; все уселись; откинулась железная скобка, а площадка с людьми и со всем, что на ней было, мгновенно пропала внизу, а мы минуты с две оставались среди абсолютного мрака и, казалось, без всякого движения.

С прежним гулом и железным грохотом клетка ударилась о перекладины, но это уже не поразило так ухо, как в первый раз.

Как только со стуком опустилась прихватившая клетку скоба, я выпрыгнул на пол...

А. Серафимович.

ВО ТЬМЕ.

Пожар произошел поздно ночью, когда, за исключением работающих в шахтах углекопов, все давно уже спали. По темной равнине пронесся протяжный жалобный гудок. За первым последовал второй, третий... И вскоре острые, сверлящие крики пара слились в потрясающий вопль.

Грушевка проснулась, и в кромешной тьме задвигались люди. Гонимые страхом и надеждой, эти люди бежали прямо на огненный столб. Этот столб, красный и живой, дрожал, вытягивался и кровавым знаменем развевался над рудником. Бежавшие обгоняли друг друга, и слышно было, как они выли на бегу. Тут были и мужчины, и женщины, и дети. Но вот уже близко, и пожар глядит им в глаза. Они видят машинное здание. Огонь ярким горячим кольцом охватил его со всех сторон. Прибежавшие на пожар знают, что в этом здании находится вход и выход из шахт, и, потому, что они это знают, им становится холодно, хотя они и стоят вблизи огня.

Толпа между тем растет и ширится. Многоголосый пар кричит на всю степь и будит чернокаменную равнину. Люди прибегают из Александровска, из соседних рудников и сливаются в одну темную плотную массу. Пламя шипит, клокочет и золотыми фонтанами вылетает из машинного здания, а бездонная мгла пугливо сторонится, и светлый круг пожара увеличивается. Огонь, поднявшись вверх, рассыпается дождем светлых искр. Брызги

пламени, точно золотые пчелы, жужжат, кружатся и, умирая, черным песком падают на землю.

Многоустая толпа молчит. Она в оцепенении. Ужас сковал сознание, мозг и язык. Единственно, что толпа знает и помнит, это то, что под ее ногами в глубоких и душных недрах земли теперь копошатся люди.

* * *

Две артели углекопов, в числе около двухсот пятидесяти человек, за два часа до пожара, работали в трех поперечных шахтах, разбившись на четыре группы. Шахтеры разрабатывали новую жилу. Шахты находились в полуверсте от под'емной площади, в конце пластового ската; эта местность считалась самой глубокой во всей Грушевке. Мощный каменный пласт, с антрацитом в промежутках, толщиною в сто пять сажен, непроницаемым щитом лежал над длинными и узкими коридорами, в которых люди, подобно кротам, грызли каменные недра, удлиняя свои тесные норы.

В последней шахте—№ 12, самой низкой и дальней, работала воронежская артель. Работа в этой шахте требовала известного умения, а главное— осторожности, и поэтому старший Смоляков назначил сюда девятую группу, состоявшую из старых опытных шахтеров.

Старшим или вожаком этой группы состоял один из лучших углекопов Степан Капралов. Это был сильный, рослый человек лет сорока. Капралов знал рудники так же хорошо, как свою родную деревню. При нем взрывались все новые галлереи, и ему были известны все входы и выходы.

За два дня до пожара к Степану Капралову приехал его единственный сын, двенадцатилетний мальчуган. Ребенка привез один из земляков, который, уже заодно, сообщил и о смерти жены. Капралов знал, что его жена больна. Он еще недавно выслал ей деньги на лечение, но он не думал, что эта болезнь так быстро отнимет жизнь.

Сына Степан обласкал как мог, ночью тайком поплакал по жене, а на другой день надо было спуститься в рудник и возиться с печалью было некогда. Не имея на кого оставить мальчика, Капралов, с разрешения штейгера, взял его с собою в рудник.

— А что, Васютка, не боязно тебе?— спросил Степан у сына, когда клетка вместе с ними падала вниз.

— Не,—коротко ответил Васютка и продолжал широко раскрытыми глазами скользить по черным стенам колодца...

* * *

Так как Степан находился в вечерней смене, то особенно возиться с сыном ему не приходилось. На под'емной площадке он нашел груду старых мешков, приготовил в сторонке постель и уложил мальчика спать. Степан был за него спокоен, так как на площадке всегда толчется народ, который в случае чего дал бы ему знать. А Васька, попав на сто сажен под землю, в душной и жаркой атмосфере рудника распарился, изморился и в конце-концов уснул. А утром его разбудил тятька, и они поднялись на свет божий.

То же самое было и в ночь пожара. Васютка спал на мешках у подножия колодца, а отец работал в шахте.

Шахта № 12 шла зигзагами и концом упиралась в нижнюю обходную галлерею, давно уже заваленную пустой породой и упраздненную. Начало брала она из главного проспекта, где были продолжены рельсы до самой под'емной площадки. Параллельно с шахтой № 12 тянулись еще пять новых коридоров, где всего неделю тому назад взрывали породу динамитом.

Степан Капралов, как всегда, работал усердно и следил за товарищами. В девятом часу вечера забойщики вырвали из-под породы „зубы" (деревянные подпорки), и громадный слой антрацита, „искусанный" зубчиками зарубщиков, с оглушительным треском рухнул в пяти шагах от углекопов.

Подождав немного, шахтеры подползли к антрациту и стали его крошить. И пудовые куски жирного, зернистого антрацита один за другим скатывались на середину „гнезда".

Тягельщики, большей частью подростки, прикрепленные железной цепью к ящикам, быстро, на четвереньках, точно ручные медведи, подбегали к гнезду и садились в ожидании, когда нагрузчики наполнят ящики. И при первом окрике „пошел" они торопливо становились на четвереньки и медленно, с большим трудом, тащили ящики к главному проспекту, где их уже дожидали откатчики с квадратными вагончиками, увозившими добычу на под'емную площадку.

Вся эта работа происходила во мраке, в духоте и в жаре, доходившей до тридцати градусов. Углекопы, а в особенности тягельщики, буквально купались в собственном поту. Чтобы ноги не скользили по мокрому камню, тяжелые башмаки тягельщиков были подкованы. И когда на четвереньках они бегали по шахте, звеня цепями, их подкованные ноги производили характерный железный стук, напоминавший топот лошадей по каменной мостовой..

Что бы ни делалось в шахтах, эхо сейчас же подхватывает каждый звук, каждый шорох и быстро разносит их по всему руднику. А когда рабочих нет, в руднике поднимается звон, монотонный и печальный.

Это звенит почвенная вода, падая с камня на камень.

Лампочки шахтеров беспрерывно борются с тьмою, беспомощно долбя красными язычками. Разорвет лампочка клочок плотной бездонной тьмы, и в темно-желтом пятне вырастет согнутая фигура углекопа, обнажится крохотная площадь каменного свода, покажется над головой рабочего мокрый камень, весь в трещинах, из которых тонкими струйками стекает вода — слезы земли, как ее называют углекопы.

Но вот погасла лампочка, и тьма мгновенно проглатывает шахтера.

Степан Капралов поставил лампочку на землю, сам опустился на колени, взял в руки молоток и зубчик и хотел было растянуться, чтобы заползти в гнездо, но в это время до его слуха долетел какой-то странный шум, полный смятенья.

Степан стал прислушиваться. Шум приближался. Опытный шахтер понял, что по шахте с воем бегут тягельщики. Он слышал, как звенели их цепи, стучали по камню их подкованные ноги.

— Эй, бросайте работы, в руднике неладно, — крикнул Капралов и первый выкатился из гнезда.

Отбойщики быстро, один за другим, бросились вон из скважины и сбились в тесную кучу посередине шахты. Красные огоньки запрыгали в дрожащих руках, и по мокрым каменным сводам заплясали человекообразные чудовища.

Оглушительный шум мчался из глубины рудника прямо на рабочих. Слышался странный крик, подобно львиному реву, и треск падающих в лесу деревьев, и грохот водопада, и пушечные выстрелы, и барабанный бой. Вся эта трескотня, весь этот гул, слившись в многозвучный гром, мчался по шахтам и оглушал перепуганных на смерть углекопов. Казалось, сама темнота заметалась по руднику и искала выхода.

Вот прорезывались огоньки и показались тягельщики. Они бежали, как перепуганное стадо оленей, держась близко друг к другу. Цепи свои они роняли по дороге, но зато лампочки были у каждого. Добежав до отбойщиков, они остановились с искаженными от страха лицами. Между ними были мальчики пятнадцати-шестнадцати лет.

— Пожар... Ствол горит... Сердцевина (средняя главная шахта) вся в воде...

Все это прокричал один из тягельщиков и остановился.

„Васютка“ промелькнуло в голове Степана. Он, ничего не говоря, бросился вон из шахты, навстречу подземному грому.

Рабочие побежали за старшим. Обезумевшие шахтеры метались в панике по глубоким каменным недрам земли, черная мгла гналась за ними по пятам, а тяжелые черные скалы давили им головы.

* * *

Пожар вспыхнул мгновенно и застиг рабочих врасплох. Узкая полоса огня скользнула по бревенчатой стене с шипеньем и треском поднялась вверх. А через минуту все помещение было уже об'ято пламенем. Горели толстые сухие бревна, горела деревянная обшивка ствола и масло из упавших лампочек.

Стосаженный колодец, обшитый толстыми досками, являлся в данном случае сильной тягой, и огонь метнулся туда. Люди не успели подать сигнала, как уже оказались со всех сторон окруженными пламенем. И рабочие в ужасе бросились в продольную шахту. Но, отбежав немного, они вынуждены были свернуть в первую боковую галлерею; вода неожиданно преградила им путь. Опасность вырвала рассудок, и люди превратились в животных. Они с диким воем бросились вперед, давя друг друга.

А на площадке свирепствовал огонь. Его кроваво-красные лапы вытягивались и ползали по стенам, по земле, подымались по бревнам к потолку, жадно ища пищи. И все, что способно было гореть, вспыхивало как порох и увеличивало зной и треск.

Васютка мирно спал на мешках лицом к стене. В двух шагах от его ложа находился упраздненный вход давно уже выработанной шахты. Из темной заброшенной пещеры несло сыростью и пустотой.

Огненные змейки неоднократно подползали к спящему мальчику и в злобном бессилии откатывались прочь. Над головой Васютки бушевали стихийные силы. Освобожденная почвенная вода с трех сторон ворвалась на площадку и с ревом бросилась в рудник. Внутри колодца гремело пламя, разрушая и проглатывая обшивку. Толстые доски с оглушительным треском падали с вершины ствола и здесь, внизу, догорали до тла.

Черные винтообразные клубы дыма, как живые существа, бегали по площадке, пока огонь не выталкивал их через колодец наверх.

Вот черная туча дыма упала, обняла мальчика и на мгновение скрыла его из виду. Васютка проснулся весь в поту. Он сел и, не спеша, протер глаза. Сознание еще не вернулось к нему, и он равнодушным взглядом окинул бушевавший вокруг него огонь. Но это состояние длилось недолго. Инстинкт разбудил мальчика и поднял его на ноги. Испуг остановился в его голубых глазах, а из груди вырвался крик отчаяния:

— Тятька! Тятя!! — закричал мальчик и шарахнулся назад к пещере заброшенной шахты.

Голос Васютки утонул в грохоте водопадов и в треске огня.

— Тятя, Степан!! — еще раз крикнул Васютка и кубарем полетел в шахту.

Мальчика толкнула туда новая туча едкого дыма. Васютка руководимый инстинктом, поднялся на ноги и бросился бежать по шахте. Но вскоре он снова упал, ударившись головой о низко упавший каменный свод. Тогда он пополз на четвереньках, как это делают тягельщики...

— Кто здесь?

Васютка услыхал этот человеческий голос над самой головой. Он широко раскрыл глаза и почувствовал облегчение. Он увидал перед собой не кровавый глаз чудовища, а обыкновенную шахтерскую лампочку. Она висела на груди человека, стоявшего перед ним на четвереньках. Это был сам штейгер—Андрей Смоляков...

В это время эхо притащило с под'емной площадки гудение пожара, грохот водопадов и швырнуло весь этот гул на черные камни тесного коридора.

Смоляков вздрогнул, сделал быстрый поворот и пополз назад. Васютка мгновенно перестал плакать, упал на четвереньки и с чисто кошачьей ловкостью подскочил к удалявшемуся штейгеру и крепко обеими руками вцепился в его кожаную куртку.

Смоляков резким движением хотел оттолкнуть мальчика, но тот словно прирос к нему.

— Дяденька, миленький... Не надо уходить... Я боюсь... Дяденька, голубчик, сведи к тятьке Степану...

Васютка говорил торопливо, и в каждом слове его звучала мольба беспомощности.

— Отстань от меня, дьявол, — скрежеща зубами, прошипел обезумевший от волнения и страха штейгер.

— Дяденька миленький, не гони... Я боюсь... Мне больно... У меня кровь...

Смоляков тяжело вздохнул, сел и, сняв с груди лампочку, поднес ее к лицу Васютки. В этот момент рассудок вернулся к нему, и штейгеру сделалось стыдно и больно.

„Что я делаю? Что я делаю?“ мысленно воскликнул он и, путем напряженного усилия, вернул себе хладнокровие и рассудительность.

— Мальчик, ты расшиб себе голову. Погоди.—я сейчас остановлю кровь. Держи лампочку.

Штейгер хотел смыть следы недавней жестокости и каждое слово свое старался пропитать сердечной нежностью и любовью.

— Дорогой мой мальчик, где это ты ушибся? — продолжал он голосом ласкать Васютку и в то же время стал платком перевязывать рану.

У мальчика затылок был сильно расшиблен, и вокруг продольной раны уже образовались черные бугорки запекшейся крови.

— Тебе больно? Да?

— Больно.

— Ну, не плачь, дорогой, теперь не будет больно.

— А тятя мой где?

Он там, на работе... Ну, вот и готово. А теперь уйдем отсюда. Слышишь, как вода за нами гонится. Она уж близко.

— Ой, дяденька, я боюсь.

— А ты держись за меня покрепче и не бойся.

И Смоляков с ребенком пополз вперед.

Спустя немного, Капралов уже сидел на корточках перед сыном, нежно проводил рукой по его спине и ронял крупные безмолвные слезы.

* * *

Время тянулось бесконечно долго. Углекопы давно уже выбились из сил и молча лежали на каменном дне рудника в ожидании смерти. О спасенни никто уже не заботился. Пережитые волнения ослабили нервы, и людьми овладела апатия.

Спички и табак давно уже были израсходованы, и рабочие лишились последнего утешения — курева.

Смоляков был единственным человеком, не потерявшим надежды на спасение, хотя и у него эта надежда быстро догорала, как свеча на ветре.

В руднике стало тихо. Грохот водопадов прекратился, не слышно было и обвалов. Ясно, что наводнение прекратилось. Штейгер уверен, что там, наверху, уже работают водоотливные

машины. Но почему же все это так долго тянется? Ведь пройдет еще немного времени, и люди начнут умирать от истощения...

Вдруг горячее дыхание невидимого существа пахнуло теплой волной.

— Хлебца... Нет ли у тебя, братец, хлебца?.. Васютка помирает... Дай Христа ради... — задыхающимся шопотом проговорил кто-то.

— Это ты, Капралов?

— Я с сыном здесь... Помоги, милый человек... Замлел малец мой.

— Эх, голубчик, рад бы помочь, да нечем...

В ответ из груди Степана вырвался глубокий вздох. И, тяжело дыша, он протащился дальше.

Его остановил Смоляков.

— Ты куда? Там никого нет.

— Уж я не знаю... Силушки моей нету. Всех почитай, обходил, а ни у кого хлебца не добыл.

— А сынишка где?

— Тут, он у меня на руках. Давеча, все плакал, хлебушка просил, а теперя замлел и молчит... Тяжело мне, ох, как тяжело!..

Капралов с трудом выговаривал некоторые слова и дышал громко и отрывисто.

— А ты бы положил мальчика, да и сам бы отдохнул,—сказал Смоляков.

— Нельзя, как положу, так плакать начнет. У него, вишь, голова разбита... О, господи!..

— Потерпи немного, скоро придут люди и поднимут нас.

— Нет, не придут... Забыли... Там, на свете, и без нас людей много.

Не успел Капралов кончить, как по руднику пронесся живой гул и шум. Сначала трудно было понять, что это, но вскоре по отдельно врывавшимся в шахту звукам, можно было разобрать топот ног, человеческие голоса и звонкий стук молотков.

Рабочие ожили и в шахте поднялось бестолковое движение. В черной бездонной тьме они натыкались друг на друга, поминутно меняли направление, на каждом шагу спотыкались, падали и кричали о спасении.

Мгновениями, когда становилось тише, слышались чьи-то стоны, а извне усиленный стук железа.

Наконец, показался огонек. Темно-красная точка вынырнула из черной глубины. Вслед за первым огоньком, словно звезды,

выпали из тьмы и медленно задвигались другие огненные точки Вот выступило очертание человека — темная согнутая фигура и желтое лицо, освещенное лампочкой.

* * *

Солнце купалось в пламени заката, когда из рудника поднялись первые пять спасенных. Это были все мальчики тягельщики. Когда стволовой, длинный и тощий старик с больными глазами, открыл клетку, тягельщики порывисто бросились вон, но тут же остановились, ослепленные светом яркого заката. Они низко опустили головы и, словно овцы, сбились в тесную кучу.

Из колодца вынырнула следующая клетка с углекопами.

И поминутно слышались медные сигналы колокола и шамкающий голос стволового: — „Стоп, — поднимай!"

Тихо шуршал стальной канат, злобно шипел сгущенный пар под'емной машины, и громко вздыхал машинист, широкоплечий, чернобородый здоровяк с детскими голубыми глазами.

Через полчаса поднялась клетка с первыми жертвами катастрофы. На дне клетки, покрытые дырявыми мешками, лежали четыре трупа.

Смерть зареяла над рудником и рождала печаль и молчание.

Трупы были отнесены к загородке и, по приказанию доктора, положены в один ряд...

Закат остыл, побледнело небо над Грушевкой, и медленно спускались сумерки, когда из колодца поднялась последняя клетка. Среди поднявшихся был и Степан Капралов с мертвым сыном на руках.

А. Свирский.

ВАСЬКА ЛОМАКИН.

Васька Ломакин, или, как его прозвали шахтеры, вообще любящие хлесткие прозвища,—Васька Кирпатый, стоит над отверстием главного ствола, поминутно извергающего из своих недр людей и уголь, и, слегка полуоткрыв рот, пристально смотрит вниз. Васька—двенадцатилетний мальчик с совершенно черным от угольной пыли лицом, на котором наивно и доверчиво смотрят голубые глаза, и со смешно вздернутым носом. Он тоже должен сейчас спуститься в шахту, но люди его партии еще не собрались, и он дожидается их...

Кроме „Кирпатого", у него еще есть кличка „мамкин", данная ему за то, что, поступая на службу, на вопрос штейгера: „Ты,

поросенок, чей будешь?“ он наивно ответил: „А мамкин!“, что вызвало взрыв громкого хохота.

Васька до сих пор не может привыкнуть к угольной работе и к шахтерским нравам и обычаям. Величина и сложность шахтенного дела подавляет его бедный впечатлительный ум, и, хотя он в этом не дает себе отчета, шахта представляется ему каким-то сверхестественным миром, обиталищем мрачных, чудовищных сил. Самое таинственное существо в этом мире — бесспорно, машинист.

Вот он сидит в своей кожаной засаленной куртке с сигарой в зубах и с золотыми очками на носу, бородатый и насупленный.

Ваське он отлично виден сквозь стеклянную перегородку, отделяющую машинную часть. Что это за человек? Да полно, и человек ли он еще? Вот он, не сходя с места и не выпуская изо рта сигары, тронул какую-то пуговку, и вмиг заходила огромная машина, до сих пор неподвижная и спокойная, загремели цепи, с грохотом полетела вниз платформа, затряслось все деревянное строение шахты. Удивительно!.. А он сидит себе, как ни в чем не бывало, и покуривает. Потом он надавил еще какую-то шишечку, потянул за какую-то стальную палку, и в секунду все остановилось, присмирело, затихло... Может быть, он слово такое знает?— не без страха думает, глядя на него, Васька.

Другой загадочный и притом облеченный необыкновенною властью человек — старший штейгер Павел Никифорович. Он— полный хозяин в темном, сыром и страшном подземном царстве, где среди глубокого мрака и тишины мелькают красные точки отдаленных факелов. По его приказаниям ведутся новые галлереи и делаются забои.

— Эй, ты, Кирпатый, полезай, что-ли!—услышал Васька над своим ухом грубый оклик.

Васька встрепенулся и бросился к платформе. Садилась та партия, в которой он состоял подручным.

Собственно ближайших начальников у него было двое: дядя Хрящ и Ванька Грек. С ними вместе он помещался на одних нарах в общей казарме, с ними же постоянно работал в шахте и при них же нес в свободное время многочисленные домашние обязанности... Дядя Хрящ принадлежал к числу старых шахтеров, измотавшихся и обезличившихся на долгой непосильной работе. У него не было разницы между добрым и злым делом, между буйной выходкой и трусливым прятаньем за чужую спину. Он рабски шел за большинством, бессознательно прислу-

шивался к сильным и давил слабого и в шахтерской среде не пользовался, несмотря на свои преклонные лета, ни уважением, ни влиянием...

Ванька Грек оказывал „Кирпатому“ нечто похожее на заботу или, вернее, внимание. Конечно, это внимание выражалось в суровой и грубой форме и сопровождалось скверными словами, без которых не обходился шахтер даже в самые лучшие свои минуты, однако, несомненно, это внимание существовало. Так, например, Ванька Грек устроил мальчугана в самом лучшем месте на нарах, ногами к печке, несмотря на протесты дяди Хряща, которому это место раньше принадлежало. В другой раз когда загулявший шахтер хотел силой отнять у Васьки полтинник, Грек отстоял Васькины интересы. „Оставь мальчишку“, спокойно сказал он, слегка приподнимаясь на нарах. И эти слова были сопровождены таким красноречивым взглядом, что шахтер разразился потоком отборной ругани, но, тем не менее отошел в сторону.

На платформу вместе с Васькой взошло еще пять человек. Раздался сигнал, и в тот же момент Васька почувствовал во всем теле необычайную легкость, точно у него за спиной выросли крылья. Вздрагивая и гремя, полетела платформа вниз, и мимо нее, сливаясь в одну сплошную серую полосу, понеслась вверх кирпичная стена колодца. Потом сразу наступил глубокий мрак. Лампочки еле мерцали в руках молчаливых бородатых шахтеров, вздрагивая при неровных толчках падающей платформы. Затем Васька внезапно почувствовал себя летящим не вниз, а вверх. Этот странный физический обман всегда испытывается непривычными людьми в то время, когда платформа достигает средины ствола, но Васька долго не мог отделаться от этого ложного ощущения, всегда вызывавшего у него легкое головокружение.

Платформа быстро и мягко замедлила падение и стала на грунте. Сверху водопадом падали вниз стекавшие к главному стволу подземные источники, и шахтеры быстро сбегали с платформы, чтобы избегнуть этого проливного дождя.

Люди в клеенчатых плащах, с капюшонами на головах, скатывали на платформу полные вагонетки. Дядя Хрящ кинул кому-то из них: „Здорово, Тереха“, но тот не удостоил его ответом, и партия разбрелась в разные стороны...

Васька шел следом за дядей Хрящем и Греком. Их лампочки, раскачиваемые руками, бросали на скользкие, покрытые плесенью, бревенчатые стены галлереи тусклые желтые пятна,

в которых причудливо метались взад-вперед, то пропадая, то вытягиваясь до потолка, три уродливые неясные тени. Невольно все кровавые и таинственные предания шахты всплыли в памяти Васьки...

До места работы было почти полторы версты. Свернув с главной магистрали, партия еще долго шла узкими коленчатыми галлерейками. Кое-где было нужно нагибаться, чтобы не коснуться головой потолка. Воздух с каждой минутой делался сырее и удушливее.

Наконец, они дошли до своей лавы.

В ее узком и тесном пространстве нельзя было работать ни стоя, ни сидя; приходилось отбивать уголь, лежа на спине, что составляет самый трудный и тяжелый род шахтерского искусства. Дядя Хрящ и Грек медленно и молча разделись, оставшись нагими до пояса, зацепили свои лампочки за выступы стенок и легли рядом.

Грек чувствовал себя совсем нехорошо. Три бессонные ночи и продолжительное отравление скверной водкой мучительно давали себя знать. Во всем теле ощущалась тупая боль, точно кто-то исколотил его палкой, руки слушались с трудом, голова была так тяжела, как-будто ее набили каменным углем. Однако, Грек ни за что бы не уронил шахтерского достоинства, выдав чем-нибудь свое болезненное состояние.

Молча, сосредоточенно, со стиснутыми зубами вбивал он кайло в хрупкий звенящий уголь. Временами он как-будто забывался. Все исчезало из его глаз: и низкая лава, и тусклый блеск угольных изломов, и дряблое тело лежащего с ним рядом дяди Хряща. Мозг точно засыпал мгновениями, в голове однообразно, до тошноты надоедливо, звучали мотивы вчерашней шарманки, но руки сильными и ловкими движениями продолжали привычную работу. Отбивая над своей головой пласт за пластом, Грек почти бессознательно передвигался на спине все выше и выше, далеко оставив за собой слабосильного товарища.

Мелкий уголь брызгами летел из-под его кайла, осыпая его вспотевшее лицо. Выворотив большой кусок, Грек только на минуту задерживался, чтобы оттолкнуть его ногой, и опять со злобной энергией уходил в работу. Васька успел уже два раза наполнить тачку и отвезти ее на главную магистраль, где в общих кучах ссыпался уголь, добытый в боковых галлереях.

Когда он возвращался во второй раз порожняком, его еще издали поразили какие-то странные звуки, раздававшиеся из от-

верстия лавы. Кто-то стонал и хрипел, как-будто бы его душили за горло.

Сначала у Васьки мелькнула в голове мысль, что шахтеры дерутся. Он остановился в испуге, но его окликнул взволнованный голос дяди Хряща.

— Что же ты стал, щенок? Иди сюда скорее.

Ванька Грек бился на земле в страшных судорогах. Лицо его посинело, на тесно сжатых губах выступила пена, веки были широко раскрыты, а вместо глаз виднелись только одни громадные, вращающиеся белки.

Дядя Хрящ совсем растерялся, он то и дело трогал Грека за холодную трепещущую руку и приговаривал просительным голосом:

— Да, Ванька... да перестань же... ну, будет же, брат.

Это был страшный приступ падучей. Неведомая ужасная сила подбрасывала все тело Грека, искривляя его в безобразных, судорожных позах.

Он то изгибался дугой, опираясь только пятками и затылком о землю, то тяжело падал вниз телом, корчился, касаясь коленами подбородка, и вытягивался, как палка, дрожа каждым мускулом.

— Постой-ка, Кирпатый, — вдруг спохватился Хрящ: — ты останься постеречь его здесь, а я побегу за людьми...

Он поспешно схватил свою поддевку и, на ходу надевая ее, побежал из галлереи.

Васька остался один над бьющимся в припадке Греком. Сколько времени прошло, пока он сидел, прижавшись в угол, об'ятый суеверным ужасом и боясь пошевельнуться, он не сумел бы сказать. Но понемногу конвульсии, трепавшие тело Грека, становились все реже и реже. Потом прекратилось хрипение, веки закрыли страшные белки, и вдруг, глубоко вздохнув всей грудью, Грек вытянулся неподвижно.

Теперь Ваське стало еще жутче. „Да уж не помер ли?“—подумал мальчик, и от одной этой мысли жуткий холод наежил волосы на его голове.

Едва переводя дыхание, он подполз к больному и дотронулся до его голой груди. Она была холодна, но все-таки поднималась и опускалась чуть заметно.

— Дяденька, Грек, а дяденька Грек,—прошептал Васька.

Грек не отзывался.

— Дяденька, вставайте. Позвольте, я вас поведу до больницы. Дяденька!..

Где-то в ближней галлерее послышались торопливые шаги. „Ну, слава богу, дядя Хрящ возвращается“,—подумал с облегчением Васька. Однако, это не был дядя Хрящ.

Какой-то незнакомый шахтер заглянул в лаву, освещая ее высоко поднятой над головой лампой.

— Кто здесь есть? Живо выходи наверх!—крикнул он взволнованно и повелительно.

— Дяденька,— быстро бросился к нему Васька: — дяденька, здесь с Греком что-то такое случилось!.. Лежит и не говорит ничего.

— Ну, некогда мне с ним, с пьяным, вожаться! — нетерпеливо воскликнул шахтер.—Буди его, малец. Да поскорее только. Неровен час, и у вас обвалится. Пропадете тогда, как крысы...

Голова его исчезла в темном отверстии лавы. Через несколько секунд затихли и его частые шаги.

Ваське поразительно живо представился весь ужас его положения. Каждый миг могут рухнуть висящие над его головою миллионы пудов земли. Рухнут и задавят, как мошку, как пылинку. Захочешь крикнуть—и не сможешь раскрыть рта... Захочешь пошевельнуться,—руки и ноги придавлены землей... И потом, смерть, страшная, беспощадная, неумолимая смерть...

Васька в отчаянии бросается к лежащему шахтеру и изо всех сил трясет его за плечи.

— Дядя Грек, дядя Грек, да проснись же!—кричит он, напрягая все силы.

Его чуткое ухо ловит за стенами—и с правой, и с левой стороны—звуки тяжелых, беспорядочно-спешных шагов. Все рабочие смены бегут к выходу, охваченные тем же ужасом, который теперь овладел Васькой. На одно мгновение у Васьки мелькает мысль бросить на произвол судьбы спящего Грека и самому бежать, очертя голову. Но тотчас же какое-то непонятное, чрезвычайно сложное чувство останавливает его. Он опять принимается с умоляющим криком теребить Грека за руки, за плечи и за голову.

Но голова послушно качается из стороны в сторону, поднятая рука падает со стуком. В эту минуту взгляд Васьки замечает угольную тачку и счастливая мысль озаряет его голову. Со страшными усилиями приподнимает он с земли грузное, отяжелевшее, как у мертвеца, тело и взваливает его на тачку, потом перебрасывает через стенки безжизненно висящие ноги и с трудом выкатывает Грека из лавы.

В галлереях пусто.

Где-то далеко впереди слышен топот последних запоздавших рабочих. Васька бежит, делая невероятные усилия, чтобы удержать равновесие. Его худые детские руки вытянулись и обомлели, в груди не хватает воздуха, в висках стучат какие-то железные молоты, перед глазами быстро-быстро вращаются огненные колеса. Остановиться бы передохнуть немного, взяться поудобнее измученными руками.

— „Нет, не могу!“

Неизбежная смерть гонится за ним по пятам, и он уже чувствует у себя за спиной веяние ее крыльев... Вон вдалеке мелькнул красный огонь факелов, освещающих под'емную машину.

Люди толпятся на платформе.

Скорей, скорей!

Еще одно последнее отчаянное усилие...

Что же такое! Платформа подымается... вот она исчезла совсем.

„Подождите, остановитесь!“

Хриплый крик вылетает из Васькиных губ. Огненные колеса перед глазами вспыхивают в чудовищное пламя. Все рушится и падает с оглушительным грохотом...

Васька приходит в себя наверху. Он лежит в чьем-то овчинном зипуне, окруженный целой толпой народа. Какой-то толстый господин трет Васькины виски. Директор Карл Францевич тоже присутствует здесь. Он ловит первый осмысленный взгляд Васьки, и его строгие губы шепчут одобрительно:

— О, ти храбрий мальчик!

Этих слов Васька, конечно, не понимает, но он уже успел разглядеть в задних рядах толпы бледное и тревожное лицо Грека. Взгляд, которым эти два человека обмениваются, связывает их на всю жизнь крепкими и нежными узами.

А. Куприн.

ШАХТА.

Спустилась—ночь, глухая темень,
могильно-гробовой покой,
но вот кровоточащий кремень
звездою брызнул под киркой.
В глубоких шахтах наши взоры
огнями черными цвели,
просачиваясь в пыль и поры
по жилам угольным земли.

Стучим, а по телам вспотевшим
тьма пишет углем и кремнем,
то брызги злобно, в раны в'евшись,
хлестали каменным ремнем.
Нас с углем изрыгнула шахта,
ночь—как под землею день, черна;
заря заканчивала вахту
у затухавшего горна.
Блуждали тучи, как минеры
по шахтам грифельных высот,
а звезды—лампы в кучах сора,
корявый озаряли свод.

М. Герасимов.

ШАХТА СМЕРТИ.

Шахта № 2 Северной долины, ставшей шахтой смерти, обнаружила свои тайны. Ворот работал безостановочно, под'емная корзина то-и-дело поднималась с тяжелым грузом, доставляя наверх мертвые и живые тела: отличить их можно было только после того, как им в течение некоторого времени вкачивался посредством особого аппарата кислород. Нельзя себе представить более ужасного и потрясающего зрелища. Какое жуткое молчание наступало, когда появлялся кто-нибудь с новой вестью! Как резал душу внезапный крик женщины, надежде которой эта весть вдруг наносила смертельный удар! Стон сострадания проносился в толпе: иногда, при хорошем известии, слышался радостный возглас. Все это колебало душу толпы, как бурный ветер ржаное поле.

А какие передавались в каменноугольном участке рассказы, занесенные вверх из подземного мира, повести невероятных мук и еще более невероятного героизма! В них говорилось о людях, остававшихся в течение четырех дней без пищи и питья и все же теперь отказывавшихся покинуть шахту из желания принять участие в спасении более слабых; говорилось о рабочих, ждавших помощи среди мрака и молчания ночи и поддерживавших свою жизнь каплями влаги, падавшей со скал: они попеременно ложились на те места, где струились эти капли, или мочили в них принадлежности своей одежды, чтобы затем высосать их. Участники добровольческих команд рассказывали, как они стучались в устроенные рабочими баррикады, слышали слабый ответ заключенных и работали, как сумасшедшие, чтобы проникнуть к ним.

Наконец, им удалось проделать маленькое отверстие; послышались радостные восклицания, в темноте ярко заблестели глаза погребенных мужчин, тяжело дышащих и с нетерпением выжидающих, чтобы отверстие расширилось и им подали через него пищу и воду.

В некоторых местах вели борьбу с пожаром. В низ были доставлены длинные пожарные трубы, и рабочие отвоевывали у огня пядь за пядью, в то время как опахало вытягало дым и пар. Участвовавшие в этой работе ставили на карту свою жизнь, но они стремились вперед, не задумываясь ни над чем, так как их погоняла надежда, что за местом, охваченным пожаром, могут скрываться еще другие забаррикадировавшиеся рабочие.

Прошла одна ночь и один день. Из шахты вынесли последние трупы и их доставили в Педро, где должны были состояться массовые похороны, составляющие характерную черту жизни копей. Пожар погас, добровольческие команды уступили место плотникам и столярам, приводящим шахты в прежний вид и устраняющим все опасное и непрочное.

Был час, когда в долине заходило солнце; вершины гор были окрашены в пурпуровый цвет, осенний воздух был бодрящ и свеж. На погружающихся в мрак улицах теснились чьи-то фигуры, слышались крики, люди бежали в одном и том же направлении. Около сотни голосов звенело в воздухе, смешиваясь и переплетаясь, подобно пенящимся морским волнам: „Вперед! Вперед! Достаточно они нас топтали ногами!“ Затем выделился особенно громкий голос: „Расскажи нам! Расскажи! Вперед!“

На ступеньках какого-то дома стоял человек. Его рыжеватые волосы были спутаны, лицо искажено яростью.

— Он полумертвец! — рычал он. — Он лишился голоса, не может поднять руки! Одиннадцать лет он работал на них как вол, а теперь чуть не погиб во время катастрофы, в которой они сами виноваты. Каждый здесь знает, что виноваты они!

— Конечно! Он прав!—раздались голоса.—Расскажи нам все!

— Они хотят дать ему двадцать пять долларов и заплатить за лечение. А сколько будет стоить это лечение? Они выбросят его на улицу, прежде чем он сможет держаться на ногах.

— А там, в больнице, проклятые адвокаты уговаривают их подписать бумаги, когда они еще не совсем пришли в сознание. И именно меня, потому что я мог бы помочь ему, они к нему не пускают. Клянусь спасителем, это уж черезчур! Что мы, рабы или собаки, что должны все терпеть!

— Мы не будем больше терпеть! — воскликнул кто-то. — Мы ворвемся туда, мы увидим, что там происходит!

— Вперед! — крикнул другой. — К чорту их холопов с ружьями!

— Они всегда так делают!

— Так было и с моим отцом!

— А завтра утром № 2 опять открывается!—ревел оратор.— Кто спустится туда?

Мы не спустимся в шахты, пока там не будет совершенно безопасно!

— Они должны платить за настоящий вес! — раздался еще один голос. — Мы требуем контролера при весах, требуем того, что мы зарабатываем!

Другой оратор вскочил на крылечко и начал речь. Это был сгорбленный, истощенный человек, но он обнаружил необычайную силу легких. Он стоял перед толпой и ревел на весь мир о своем нежелании подчиниться насилию.

— Они убийцы и грабители! Они повсюду обирают нас! Я сыт по горло, а вы нет?

В ответ раздался гул голосов; все были по горло сыты.

— Ладно, в таком случае начнем с ними борьбу.

Прибежал начальник шахты, сопровождаемый тремя шахтенными полицейскими. Толпа выстроилась им навстречу; стоявшие впереди сжали кулаки, скаля зубы, словно разозленные псы. Лицо начальника пылало злобой, но он понял, что дело серьезное, повернулся и ушел за подкреплением. Толпа зарычала от восторга. Борьба началась — первая победа была на этой стороне толпы.

Толпа с пением и проклятиями двинулась вперед. Кто-то затянул „Марсельезу“, как безумные подхватили ее остальные, и, словно молнии вспыхивали отдельные слова:

„К оружию, к оружию, вы храбрецы!

Вперед, вперед, с решимостью во всех сердцах!

Победа или смерть!“

Здесь находились угнетенные многих наций, они пели на самых разнообразных языках, но песня была одна и та же. Они пропели несколько тактов, затем общий рев поглотил отдельные звуки. „Вперед, с решимостью во всех сердцах!..“ Некоторые побежали по другим направлениям, чтобы разнести весть, и вскоре собралось все население деревни. Мужчины размахивали фуражками, женщины с криком поднимали кверху руки или двигались

вперед с застывшим на лице ужасом, понимая, что невозможно накормить детей революционными песнями. Несколько мужчин подняло на плечи первого оратора; он должен был повторить свою историю. Он еще рассказывал ее, когда кто-то крикнул, что надо пробраться в госпиталь, чтобы защитить изувеченных от „проклятых адвокатов“. Таким образом, была установлена определенная цель, и толпа хлынула по этому направлению. Мимо промчались некоторые из чиновников, затем показался начальник шахты, кто-то слышал, как он приказал им захватить в конторе револьверы.

Скоро хлынувшая волна остановилась, смешалась с стоявшей у одного из зданий толпой, прислушивавшейся к чьей-то речи. Говорил какой-то женский голос, звучавший в вечернем воздухе ясно и повелительно. Никто не видел говорившую, но все узнали голос. Это была „Красная Мери“, прозванная так из-за своих золотисто-рыжих волос, свешивавшихся тяжелой косой до самого пояса.

Ее сильные, привыкшие к работе плечи, обладали грацией силы. Ее речь, казалось, приводила слушателей в состояние какого-то бешенства. Она произносила фразу, после которой следовал дикий рев, затем еще одну фразу, и ей в ответ неслся еще более страшный рев окружающих.

— Не думаете ли вы, что они сами спустятся в шахту?

— Конечно, нет!

— А будут ли они тогда ходить в шелках и кружевах?

— Конечно, нет!

— Будут ли у них такие нежные мягкие руки?

— Конечно, нет!

— Если бы вы только пожелали об'единиться, они лежали бы перед вами на коленях и молили бы о примирении. Но вы трусы, и они пользуются вашим страхом! Вы предатели, и они покупают вас! Они разрывают вас на мелкие клочья, делают с вами, что их душе угодно, а затем уезжают в экстренных поездах, оставив здесь своих наемников с ружьями, чтобы они топтали вас, били вас в лицо. Долго ли вы будете терпеть все это? Долго ли?

Рев толпы прокатился по улице и вернулся обратно.

— Больше не станем терпеть! Не станем!

Мужчины потрясали сжатыми кулаками, женщины кричали, даже дети выкрикивали ругательства.

— Мы будем бороться с ними! Не будем нести работы рабов!

И тут Мери нашла волшебное слово.

— Будем держаться друг друга!—воскликнула она.—Об'единимся! И если они не соблюдают наших прав, то у нас есть на это один ответ — стачка!

Гул толпы нарастал, словно громовой раскат в горах. Да, Мери нашла нужное слово! Много лет его не произносили в Северной долине; теперь оно пронеслось по толпе, как молния. „Стачка! Стачка! Стачка!" Казалось, они не могли досыта наслушаться этого слова! Многие не поняли речи Мери, но слово было знакомо всем: „стачка!". Они переводили его, произносили на польском, венгерском, итальянском и греческом языках. Мужчины махали шапками, женщины фартуками, в густых сумерках они казались какими-то страшными растениями, шатающимися под напором бури. Мужчины пожимали друг другу руки, более экспансивные иностранцы обнимались. „Стачка! Стачка! Стачка!"

— Мы не рабы! — воскликнула ораторша. — Мы люди и желаем жить, как люди! Мы желаем работать, как люди, или совсем отказываемся от работы! Мы не желаем больше походить на стадо животных, которое, куда хотят, туда и гонят. Мы организуемся, сомкнем свои ряды, станем плечом к плечу! Мы или вместе победим, или вместе умрем голодной смертью! Никто из нас не уступит, никто не станет изменником! Есть ли среди нас человек, способный продать своих товарищей?

Ей отвечал вой, напоминающий вой волчьей стаи. Пусть посмеет показать свою подлую рожу тот, кто намерен продать товарищей!

— Будете ли вы стойки?

— Будем, будем!

— Поклянитесь!

— Клянемся!

Мери протянула к небу свои руки и воскликнула со страстной мольбою:

— Клянитесь жизнью! Клянитесь, что вы будете нас держаться, что никто не уступит, пока мы не победим! Клянитесь! Клянитесь!

Рабочие, подражая ей, протянули руки к небу:

— Клянемся! Клянемся!

— Не позволяйте им осилить, запугать себя!

— Нет, нет, не позволим!

— Держите свое слово вы, мужчины! Держите! В этом вся надежда ваших жен и детей!..

Девушка продолжала говорить, она увещевала их лихорадочными словами, страстными жестами. Ее высокая колеблющаяся фигура была похожа на спустившуюся к людям богиню мятежа. Совершилось чудесное превращение человеческих душ: из крайнего отчаяния родилась надежда.

В Северной долине появилась надежда, — теперь явятся и победа и свобода!

У. Синклер.

ЧЕРНАЯ КРОВЬ.

Поезд резал горные кряжи Закавказья направлением на Каспий. Вдоль железнодорожного пути тянулся черным сухожилием на многие, многие сотни верст первый в мире по величине нефтепровод, опоясав Кавказ железным поясом от Баку до Батума. То он лежит рядом с убегающими рельсами, то, неожиданно, отпрянув вместе с телеграфными столбами в сторону, змеится вдоль нависших каменных глыб, то растягивается по пескам и тонет на горизонте в верстах.

По этому нефтепроводу, из под Каспия, гонится нефть прямо в трюмы океанских наливных судов, стоящих в батумском порту.

Под'езжаем к Баку—краски гаснут и выцветают. Вправо серо-стальное нелюдимое море. Выжженные солнцем берега — оголенные, бестравные. Путь брошен между солончаков, пустынных песков. Всматриваешься пристально в дюнные зыби—тоже нелюдимое, дикое море. Ни травинки. Ни деревца.

Пески, пески, пески...

А по пустыне златогорбый караван верблюдов ленивой чередой с кладями на ребрах. Меняет ноги, точно плывет в опаленной пустыне. Под выгибами шей колокольцы стеклянно звенят однотонным сонливым металлом. И кажется: звенят то сыпучие, зыбкие пески, горячим всплеснувшие под горные подошвы.

Слева неустанно тянется тот же нефтепровод — глянцевито черный, незнакомый для рыжих взлохмаченных пустынь.

Горные отлоги, такие же дикие, как и пустынные пески, точат черные, жирные ручьи. Точно горы плачут смолистыми слезами. Слезы бегут тупо по диким, каменным скулам к подошве горы, чтобы образовать пахучую лужицу с радужными разводами перламутра на поверхности.

Нефть сама вытекает из горных трещин и сочится по склонам чуть ли не на каждом шагу, пока мы под'езжаем к Биби-Эйбату.

Не чудесна ли история этого края — огромного экономического и промышленного края, таящего в себе неисчислимые богатства у дикого берега хмурого Каспийского моря на оконечностях пустынных солончаковых песков?

Еще только сто лет тому назад в этих зыбких, сыпучих пустынях, на Апшеронском полуострове, у Бакинского залива прочилась иная жизнь нетронутого Востока, отгороженная от культуры, цивилизации и промышленности тысячами верст и религиозным фанатизмом.

Апшеронский полуостров изобилует множеством озер вулканического происхождения с горько-соленой водой; вследствие беспрерывных подземных химических процессов по нем рассеяно много газовых и грязевых источников. Зажженный газ горел „вечными огнями" над расщелинами земли. На огни стекались со всех сторон огнепоклонники, созидали здесь свои капища, жрецы проливали жертвенную кровь на жертвенниках в честь своего божества и молились „неупасимому" огню.

Теперь на Апшеронском полуострове, главным образом, Балахано-Сабунчинская площадь, Сураханы сплошь утыканы нефтяными вышками, а на огнях горючего газа мирные гончары, пользуясь естественными удобствами, обжигают свои глиняные горшки.

Во время персидского владычества на Апшеронском полуострове нефть добывалась простым рытьем обыкновенных колодцев, вниз расширяющихся, право владения которыми принадлежало хану, и при покорении этих мест Россией перешло в ее государственную собственность.

Приблизительно с 1872 г. в этом крае начинается, так называемая, „нефтяная горячка". Первые неудачи сменились удачами. Как грибы, стали расти с каждым новым фонтаном, с каждой новой буровой скважиной нефтяные короли, частный капитал давал бешеные, неслыханные проценты.

Под стеной капища огнепоклонников рождались миллионеры, культивировался и креп частно-предпринимательский капитал.

Ротшильд, Нобель, Шибаев — „все побывали тут". И не только они грели руки над черной кровью, „нефтяная горячка", жажда легкой наживы и быстрого обогащения захватила всех бакинцев.

Не было такого уголка на Апшеронском полуострове и островка на Каспийском море, где бы не красовались заявочные столбы.

Появились предвестники прочного воцарения капитала—спекулянты и маклера.

Чтобы судить о том, каких бешеных размеров достигла эта своеобразная биржевая игра, достаточно сказать, что, например, Забратские земли в свое время стоили по пятьдесят восемь рублей за десятину, но достаточно было поставить первую буровую вышку, как цены на соседние участки сейчас же прянули до тысячи рублей и даже до пяти тысяч рублей за десятину.

Все бросились нарасхват раскупать Забратскую площадь. Кроме нефтепромышленников, закупали земли в разных местах— чиновники, вдовы, нередко даже сторожа нотариальных и других контор.

Все стремились к одному — к деньгам.

Хаджи Тагиев — мелкий подрядчик в 1863 году—в несколько лет на глазах бакинцев вырос в крупнейшего миллионера, и уже в 1897 году продал свои нефтяные промыслы на Биби-Эйбате Общ. „Стандарт" за пять миллионов рублей.

И по сей день в Баку ходят легенды о миллионере Тагиеве. Одни вплетают в эту легенду чуть ли не поэтические поэмы, у других миллионы Тагиева пачкаются в теплой человеческой крови и пахнут смертью.

Последнее более правдиво, — и та кровь на Тагиевских миллионах была первой кровью рабочих на пустынных песках, купленных за гроши и ломоть кукурузного хлеба.

На Кавказе рассеяно еще очень много нефтяных промыслов, — в районе Грозного, у Тифлиса, Дербента. В РСФСР на — Тамани, Керчи, по реке Кубани и в Кубанской области в районе Майкопа.

Разработки нефти ведутся также и в Туркестане и в Киргизии.

Несмотря на то, что нефтяные промыслы в нынешнем Азербейджане в районе Баку были открыты гораздо позже американских и с наименьшими техническими оборудованиями, добыча нефти по сравнительной таблице за первые десять лет, т. е. с 1865 г. такова: когда Америка давала 20 млн. пудов, Бакинские промыслы только около одного миллиона, но уже через десять лет Апшеронский полуостров дал столько же, сколько и американские промыслы — 350 млн. пудов; теперешняя же добыча во много раз превосходит добычу самых крупных в мировом масштабе американских нефтяных промыслов.

Особыми буровыми машинами буравится скважина (род артезианского колодца), глубиной в зависимости от залегания нефтеносного пласта до 150 сажен и больше. В скважину укладываются трубы одна на другую, по мере продвижения бурава в глубь подземных недр, накрепко скрепляя их одну с другой.

Обычно новая скважина дает фонтан. Фонтан—исключительное зрелище по своей грандиозности и красоте. Нефть вырывается из недр с огромной силой и поднимается над вышкой на огромную высоту, иногда достигающую 20 — 25 сажен., считая начало фонтана до вершины вышки.

Такой фонтан выбрасывает иногда вместе с нефтью воду, песок, а то и большие камни.

Фонтанная нефть поступает в большие нефтехранилища, вырытые прямо в земле и образует огромные нефтяные озера.

Скважина при нормальной добыче, дает до тысячи пудов в сутки, но хорошие фонтаны выбрасывают гораздо больше, — до пятисот тысяч пудов; один фонтан Нобеля дал даже миллион пудов в один день в марте месяце 1892 года.

Нефть выкачивается из подземных недр особыми паровыми насосами. На нефтеперегонных заводах, которые строятся всегда рядом с промыслами, из нефти гонят химическим путем — керосин, бензин, машинные и столярные масла, парафин, вазелин. Нефтяные остатки, именуемые мазутом, также идут как смазочный материал.

В чистом виде нефть идет как топливо и тепловая сила.

На Грозненских промыслах нам показали закупоренный фонтан, ему во время не дали выйти наружу.

Нефть под сильным давлением, поднимаясь на поверхность земли по трубам скважины, поступает в нефтеотвод и проходит по трубам в резервуары, а оттуда направляется на нефтеперегонные заводы.

— Живое золото,—хлопнул по трубе один из близ стоящих чумазых рабочих.

Живое золото!

Черная кровь!

Эта черная кровь заставляла не один раз скалить волчьи зубы капиталистических стран Запада на Союз Советских Социалистических Республик и угрожает ему бесконечными войнами.

Но рабочий, умевший грызть нефтеносные земли, умевший творить революцию, сумел отбить охоту зариться на рабочие богатства.

В скважинах черная кровь.

Живое золото.

В поршневых же цилиндрах кровавый рабочий пот — залог могущества Октября и крепкой памяти своего вождя и учителя.

Трудом и через труд! *С. Ветлугин.*

В СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ.

Половина седьмого утра. Баку весь окутан огромной тучей белой пыли. Все здесь или белое, или серое, известковая пыль покрывает людей, животных, дома, окна и те немногие растения и деревца, которые растут в парке. Вся местность кажется какой-то странной, потому что все белое. Я вывожу буквы на столе гостиницы, покрытом пылью, но, немного спустя, они снова засыпаются пылью и исчезают.

Кроме того, воздух во всем городе насыщен запахом керосина. Он преследует людей повсюду, и на улицах и в домах. Первое время от непривычки этот воздух вызывает кашель. Керосин примешивается также и к пыли на улице, и когда дует ветер,—а ветер здесь почти никогда не перестает,—то от этой пропитанной керосином пыли появляются жирные пятна на платье. Нам казалось, что мы очутились в самом неприятном месте, хотя мы и увидели Каспийское море.

В Баку около 125.000 жителей, и это самый важный торговый город на Каспийском море. В гавани большое движение; и на кораблях, и на лодках, и на железных дорогах, и возле всевозможных паровых машин деловая суета. Странное впечатление производит вся эта суетливая современная жизнь наряду с вереницами верблюдов, лежащих перед каждым складом, где на них нагружают товары.

Мы должны были поехать в Черный Город, предместье Баку, резиденцию керосиновых компаний. Нас везет туда перс; все извозчики персы; они едут, как дьяволы, так как нет никакой возможности разговаривать с ними, и сами они не желают понимать знаков европейца, которыми хотят дать им понять, чтобы они пожалели лошадей, то остается только одно: сидеть смирно. И еще одно: выйти из экипажа.

Паровик доставил нас на место нашего назначения. Черный Город минирован трубами, по которым течет керосин, паровик проходит по маленьким жирным прудам, пробивающимся из-под земли; поверхность этих прудов отливает разнообразными цветами металлического оттенка. Запах здесь еще сильнее, чем в Баку, и все-таки, несмотря на то, что все здесь покрыто пылью с примесью керосина, кое-где при жилых домах видны маленькие садики, чего совсем нет в керосиновых городках в Пенсильвании. И люди здесь иначе одеты,—все ходят в шелку, в персидском суровом шелку, как бедные, так и богатые.

Инженер водил меня по многочисленным зданиям, мастерским и конторам этого грандиозного предприятия. У фирмы есть свои собственные кузницы, литейные, плотничьи мастерские, модельные мастерские и чертежные. Во многих из этих заведений служат фины, шведы и датчане. Инженер показывал мне также и заводы. Здесь были такие чудовищные печи, что я совсем растерялся. Топки котлов были накалены почти добела, и адский огонь в них гудел, словно маховое колесо. Я поспешил к двери, спасаясь от этого белого гуденья, и остановился только в одной мастерской, где я снова мог видеть и слышать нормально.

Затем инженер повел меня в одно из зданий. Тут варилась зеленовато-коричневая каша, которая, на вид, имела не более ценности, нежели всякая другая грязь; но оказалось, что это было сырье, нефть. И вот здесь, в этом помещении, эту похлебку дистиллировали и превращали в бензин, газолин, риголен и тому подобное. Потом инженер повел меня в другое здание и показал мне, во что еще может превратиться сырая нефть, и при этом он перечислил мне такое множество различных веществ, что я не имею никакой возможности разобраться в моих заметках.

Но инженер продолжал об'яснять мне все, что касалось нефти. „И вот, когда все извлечено,—сказал он,—то остается это". И он указал мне на огромные сосуды с чем-то, что он называл минеральным жиром. Я слышал о всевозможных жирах и маслах: о селедочном жире, о трупном жире, но никогда — о минеральном жире. И вот теперь я увидел его. По правде сказать, эта страшная замазка производила отвратительное впечатление. Но это жалкое вещество оказывалось самым нужным продуктом. „Раньше мы выбрасывали его в море,—сказал инженер,—теперь же мы употребляем его на топливо, мы топим им наши котлы, приводим в движение наши пароходы на Каспийском море, отправляем его в Астрахань и снабжаем им речные пароходы на Волге". „А в заключение мы перегоняем из него краску индиго", — продолжал инженер.

* * *

В наше распоряжение предоставляется пароход из нобелевского флота для поездки к керосиновым источникам в Балканах.

Был тихий вечер с лунным светом. После получасовой езды от Баку мы увидели, что море кипит черными водоворотами. И водовороты изменяются, перемещаются и сливаются друг с другом, напоминая своим беспрерывным движением северное сияние. В водовороты бросают пригоршни зажженной пакли, и в то же

мгновение все море на этом месте вспыхивает ярким огнем. Море горит. Черные водовороты, это нефтяной газ. И вот мы должны плавать взад и вперед среди пламени и тушить огонь винтом.

Мы причаливаем к назначенному месту и сходим на берег. Земля влажная и жирная от керосина, по песку идешь, словно по мылу, воздух насыщен таким острым запахом нефти и керосина, что вызывает у людей непривычных головную боль. Вся область с нефтяными источниками разделена на бассейны, на озера, окруженные песочными валами; но бесполезно огораживать масло, оно просачивается в валы и делает их жирными и влажными.

Сырая нефть была известна древним евреям и грекам, и здесь на Апшеронском полуострове она употреблялась населением на топливо и освещение очень долгое время. Теперь здесь целый город буровых вышек, они повсюду, куда только хватает глаз,— это целый мир, в котором вредно жить, это какой-то невероятный город из черных, жирных, грубо сколоченных нефтяных вышек. А в вышках день и ночь грохочут машины; рабочие громко переговариваются, стараясь перекричать шум, вышки дрожат от исполинского бурава, который вонзается в глубь земли. Рабочие — персы и татары.

Мы входим в одну из вышек. Я задеваю шляпой балку, и шляпа становится такой черной и жирной, что уже никуда не годится; но меня уверяют, что на фабриках в Баку в одно мгновение удаляют масляные пятна химическим путем. Шум ужасный; смуглые татары и желтые персы целыми днями стоят у машины, исполняя свою работу. Здесь выкачивают нефть: черпало опускается в землю и через пятьдесят секунд возвращается назад с тридцатью пудами нефти, потом снова погружается в землю на пятьдесят секунд и возвращается с новыми тридцатью пудами нефти — и так это продолжается круглые сутки, беспрерывно. Но пробуравленная в земле скважина стоила денег, она глубиной в 500 метров, и буравили ее целый год, она обошлась в 60 тысяч рублей.

Мы идем к другой вышке, — здесь бурят.

Скважина еще суха, бурав работает день и ночь в песке и камне, в скале. Эта скважина очень капризная, она известна своенравием во всем городе вышек. Это место открыли в прошлом году, здесь были верные признаки нефти, как, впрочем, и везде здесь, и его начали буравить. Проникли на пятьдесят метров в землю, — а это почти и в счет не идет — вдруг вырывается фонтан

нефти, фонтан невероятной силы бьет из-под земли, убивает людей, сносит вышку. Фонтан такой, который нельзя ничем удержать; это что-то стихийное, он извергает нефть в таком количестве, что образует целые озера вокруг себя, заливает всю землю. Стараются запрудить его и насыпают валы, но валы слишком тонки, и вокруг них возводят новые валы,—фонтан выбрасывает нефти на полтора миллиона рублей в сутки. Он бил двое суток. Потом вдруг остановился. И уже после этого никакими силами земными нельзя было заставить его дать еще хотя бы один литр нефти. Скважина закупорилась. Очевидно какая-нибудь скала в недрах земли закрыла источник. С тех пор все время бурили и бурили, но безуспешно; теперь проникли на 650 метров в глубину, но все напрасно. А бурить продолжают, ведь когда-нибудь да пробуравят скалу. Желтые персы и смуглые татары стоят у бурава с опасностью для жизни; начнет бить этот неудержимый фонтан, как в первый раз, и всех людей отшвырнет через крышу вышки и они будут в один миг разорваны на куски.

Завтра мы будем осматривать Сураханы. Там, говорят, стоит храм Огню.

И вот мы стоим на том месте, откуда легенды заимствовали поэтическое представление о „вечном огне". Здесь в недрах земли таился огонь, который не нуждается ни в каком питании, он горел сам собой и никогда не погасал, и этот огонь стал священным. Древние были плохими учеными, они и не слыхали о том, что нефть происходит из допотопных растений, как каменный уголь. Они не знали и того, что наука оставила эту теорию и перешла к другой, а именно, что нефть происходит из органических веществ в земле или просто из остатков рыб. Древние были несведущи в науке. Они открыли эту густую воду, зажгли ее, и она горела, горела вечно. Она связывалась для них с Митрой—солнцем, которое также вечно горело и представлялось образом божьим. И густая вода стала для них священной, они поклонялись ей и совершали к ней паломничество. А когда кто-то воздвиг храм над этим источником огня, благодарность их была очень велика.

И вот этому-то Митре поклонялись здесь, у священного огня, возле Баку. Сюда стекались на поклонения персы из Индии и гебры из Персии. Для этих благочестивых людей Митра остался тем же, чем был и раньше,—богом над всеми богами, вечным как солнце и как вечный огонь. Для них не было места более священного,—здесь был живой огонь, своего рода солнце в недрах земли! Уже издали, едва завидя очертания белого храма, пили-

гримы бросались ниц, и их охватывал трепет, и они подходили с величайшим благоговением, многократно припадая к земле.

Прибыв к этому храму, они находили себе убежище в маленьких кельях, построенных вокруг этого благословенного дома. И в каждой келье горела маленькая керосиновая лампа, маленькое неугасимое солнце.

Но вот в это место вторглась Америка. Когда пилигримы явились однажды к храму, то нашли керосиновый завод, выстроенный возле самой святыни. Маленькие солнца в кельях были погашены, струи газа были отведены на завод.

Тогда гебры и персы мало-по-малу покинули это место. И они удалились в глухой угол своей земли, чувствуя себя побежденными.

Победили выходцы с Запада.

К. Гамсун.

НА БОЛОТНЫХ ТОПЯХ.

Думали мужики, думали бабы-шептухи:

— Опять водяной в пузыри играть стал. За деревней, за околицею, болото долгое — конем не проехать,пеши не пройти. Сюда десятки верст, туда десятки верст. Лежит то болото пра-пра-прадедово испокон веков, буйной осокой, камышем да плавунцом проросло. Пугает пуще баб, когда хлюпает цвелой водой, хлюпает трясиниками. Ухом к болотине приложишься, будто вода в бычьем пузыре булькает, переливается...

Бабам что? Бабы народ суеверный. Сыч ночью на сосне дуплистой прокричит, мышину склевывая, крестятся старые по чуланам, шопотами шелестят:

— Ох-ти мне! Страхи. Гляди опять леший козлоногий ржет. Ишь ты, как заливается нечистый.

И трубу печную перекрестят глупые, и чан с водой, и избяные оконца, и погребицу, чтоб ненароком леший за порог к ним не влез.

А захлюпает, зачавкает болотина, бабы да старые и тут крестятся.

— Водяной вылез из-пододна, осокой бороду чешет. Слышь, сопит, кряхтит. Упаси душеньку...

Кропят „святой“ крещенской водой коров с овцами, чтобы те в болото не ушли, дорогой с пастбища ногой в трясине не увязли. Увязнет буренушка, потянется ли за зеленой свежинкой — сочной травой, пропала на веки-вечные. Вылезет водяной, схватит

коровенку ручищами цвелыми, когтистыми, уволочет к себе на самое глыбкое место.

У Макара Телегина завязла корова, три дня эдак проревела под самой деревней. Занесла ее нелегкая на болотную топь, загрузла кормилица-поилица. Бьется, как рыбина об лед. Передние копыта высвободит, задом совсем в тину уйдет. Зад высвободит, мордой в стоячих водах захлебывается. Подойти к ней не подойдешь, боязно — сам увязнешь на свою погибель. С твердой кочки бросали, бросали мужики на рога ей аркан веревочный, захлестнуть хотели, вытащить. Да так и погибла телегинская буренушка. Над ней только болотина прохлябала, пузырей пустила видимо-невидимо.

А сам Макар на берегу целую неделю горе свое мыкал. Плакался на судьбу свою.

Бабы свое.

— Уволок таки водяной! Уволок, проклятый.

Обманная, заманчивая эта топь. Поверху трава-мурава буйная, цветы всеми красками весело зацвели. Посмотришь на топь с глинистых угорий, сердце радостью обольется, — замечательные луга, — тучные, жирные, привольные.

Зелено то только сверху, тонкой земляной кожицей топь заволокло. А на той кожице земляной цветы да травы буйные. Ступит неосторожно нога, провалится сквозь земляную наслойку в воды стоячие, в засасывающую тину, и погиб человек.

Страшна этим топь.

Охотники часто пропадают в ней. Да что охотники, отдельный человек! Почудней дела на болотах делались.

Строилась Николаевская железная дорога, что соединяет Ленинград с Москвой. Попалось инженерам-строителям на пути большое болото. Нужно было через эту топь дорогу проложить.

Возили тысячи возов бутового камня, тысячи возов земли, для того, чтобы насыпь крепкую насыпать. Валили камня в трясину без числа и края. Отчаяние брало, как в прорву все пропадало — пожирала трясина. Долго бились рабочие; наконец, им удалось с громадными усилиями утвердить основание для будущей насыпи. А раз основание есть, дело скоро пошло. День, другой, третий, четвертый — готова насыпь. Осталось укрепить шпалы, пути рельсовые уложить.

Но случилась катастрофа.

По-утру идут рабочие из своих землянок к насыпи, подошли и глазам своим не верят. Остолбенели. Что за дела — нет ни на-

сыпи, ни тачек, ни рабочего инструмента. Бились в каторжном труде недели, а насыпь в одну ночь пропала.

Дело же просто об'яснилось. Ночью прошел сильнейший ливень. Насыпь размыло, развезло, и топь снова поглотила, и на этот раз уже целую насыпь, без остатка и следа.

Много очень много в странах нашего Союза болот — десятки миллионов десятин. Сотни лет сторонились от них. Только зло в них и видели; складывались сказки да присказки про несуществующего водяного. На болотины, на трясины да на топи смотрели, как на дьявольское, нечистое место.

Что же оказалось? Оказалось, что в болотах покоятся неисчислимые богатства. Болото может заменить нам и каменный уголь и дрова. Илистое дно болота наслаивается из года в год — ложится пласт на пласт. Гниет осока, гниет камыш, гниют буйно розросшиеся травы и мелкий кустарник, и все это опускается на дно. Дно становится плотнее и плотнее.

В конце-концов под водой образуется масса полуземлистая, полурастительная. Эта масса названа торфом. Торф, как топливо, не уступает дровам.

В двадцати трех северных губерниях европейской части СССР имеется свыше $19^1/_2$ миллионов десятин торфяных болот, не считая тундры Архангельской губернии, где торфяные болота тянутся на протяжение многих сотен верст.

Все промышленное потребление топлива в бывшей Европейской России за последний год перед войной равнялось четырем миллиардам пудов. Если мы при таком же расходовании топлива заменим все его виды исключительно торфом, то при наших торфяных запасах нам хватит на триста лет.

А ведь есть еще колоссальные залежи торфа в Сибири, у нас на Украине, на западе и юго-востоке СССР.

В дореволюционное время на торфяную промышленность мало обращалось внимания. Если разрабатывался кое-где торф, то разработки его были настолько незначительны, что не могли считаться началом торфяной промышленности в дореволюционной России.

Разработка болот обычно велась кустарным способом, — резались из торфяной массы кирпичи в ручную, перетаскивались в ручную, з сушки на сушку доставлялись тоже живой мускульной силой.

Цены на торф росли, с ростом расходов на рабочие руки, мельчал и хирел потребитель. Торфяные разработки хирели, слабели и зачастую совершенно умирали.

Начало торфяной механизированной и электрифицированной промышленности было положено самим тов. Лениным.

В двадцатом году инженерами Классоном и Кирпичниковым была изобретена машина — гидроторф. Тов. Ленин заинтересовался этим изобретением. Благодаря его энергичной поддержке, Совнарком издал специальный декрет, признавший гидроторф делом государственной важности. Декрет дал возможность советским республикам впервые в мире осуществить ценное изобретение и придать ему промышленный характер.

Торфяные разработки производятся теперь у нас исключительно машинами.

Две мощных водяных струи из брандсбойтов режут торфяную залежь, обнажают и сметают прочь корни, пни и корчаги. Не попадись под эту струю — переломает кости в два счета. Огромной силы струя превращает торфяную залежь в жидкую массу. Торфосос ее гонит по большим трубам на поля „стилки". Здесь гидромасса высушивается и формируется на кирпичи.

Каждый торфяник за день поднимает свыше 700 пудов торфа.

Дивится деревня. Развела в изумлении руками. Больше уже не пугают болотные топи водяным, вылезающим из трясины только за тем, чтобы расчесать об осоку свою зеленую, заплесневелую бороду, или утащить телегину корову на илистое днище.

Макар сам сейчас на торфяных разработках, на резке кирпичей. Самому под сорок лет, а засел за грамоту — читать да писать учится. Книжку первую прочитал днесь, и книжка та про торф была написана.

Знает Макар, знает и деревня вся его, сколько добра за околицей в трясинах положено, сколько топь огня даст.

И больше уже не сторонятся болота.

С. Ветлугин.

ШАХТЫ.

I.

Когда я был на Урале, то по пути заехал на сутки в Тагил, на заводы Демидовых. В течение дня я успел осмотреть достопримечательности завода, памятники и музей. Оставалось осмотреть шахты, где добывают руду, т. е. спуститься в глубокое подземелье, почти на четверть версты вниз.

Охотников на такие прогулки бывает, обыкновенно, немного; путешественники либо не решаются на это из предосторожности, либо просто боятся устать. Мне же было интересно прогуляться

под землею, потому что на горы я уже всходил, по морю плавал, на воздушном шаре летал, и, недолго думая, я отправился к заведующему медными рудниками за разрешением, которое мне было обещано; на другой день нужно было явиться в контору не позднее четырех часов утра. Уже заблаговременно я представлял себе это подземелье, глубиною в сто тринадцать сажен, и невольно воображал страшное удушье, тьму, и под этим впечатлением провел остаток вечера, бесцельно бродя по улицам.

В три часа утра я уже был на ногах.

Утро стояло пасмурное, сырое; моросил мелкий дождь. Было свежо.

Проехав все селение, я спустился к подошве Лысой горы, где на громадном пространстве раскинуты заводские постройки, и скоро добрался до конторы, но так как приехал раньше, чем следовало и контора была заперта, то минут двадцать мне пришлось подождать и смотреть, как с разных концов собираются к шахтам рабочие.

Все они одеты в пеньковые куртки, серо-желтого цвета, в такие же штаны, в высокие, побуревшие сапоги, и подпоясаны ремнями; если б у каждого не висел за поясом фонарик и рукавицы, а на головах были бы надеты не картузы, а серые бескозырные шапки, то рабочие походили бы на арестантов. Все они были с бледными, изможденными лицами, без живых красок, и среди серого утра и серых костюмов казались также как-будто серыми и вялыми. Не замечая ни одного свежего лица, ни одной богатырской груди, свойственной рабочему человеку, я спросил, обратясь вообще ко всей толпе, молчаливо стоявшей вдоль стен, — трудна ли их работа в шахте.

Все они с видимым безучастием поглядели друг другу в чахлые, угрюмые лица.

— Кабы не трудна, разве были бы такие! — ответил кто-то из толпы.

Не вспомню, пробил ли звонок или штейгер подал сигнал, но вся толпа начала зажигать свечи в своих фонариках и мало-по-малу исчезать в низенькую дверь шахтенной постройки. Кое-кто, в ожидании очереди, докуривал трубку, кто отдыхал и на бревнах, кто лениво брел и надевал рукавицы.

Когда я снова вошел в контору, сторож уже проснулся и разводил самовар.

— А, вам в шахту? — добродушно приветствовал он меня, кивая головой. — Можно, можно; об вас уж есть распоряжение.

Сейчас смотритель придет, он вас и проводит. Обождите минуточку.

Продрогнув на холоде, я с удовольствием присел у окошка в теплой комнате, а старик, между тем, приговаривая что-то вполголоса, приносил и складывал возле меня одежду.

— Пока что, — обратился он ко мне, — переоденьтесь в наши мундиры, а то грязно там... живой нитки не останется.

Он подал мне такую же серо-желтою куртку и штаны, какие я видел на рабочих, и спросил, глядя на мои высокие болотные сапоги:

— Не промокают? А то я сапоги могу дать.

Я стал одеваться.

— Вот и не так, — остановил меня сторож. — Нужно сперва-начала все с себя снять, а потом надеть куртку, а не то, чтоб прямо на одежду.

Я послушался и снял пиджак.

— И опять этого мало, — не унимался сторож. — Все нужно снять до самой рубашки, чтоб ничего не было.

Мне было слишком холодно, и я не послушался.

— Жарко станет. Жалеть станете! — упрекнул меня в последний раз сторож и помог мне одеться.

— А это вот вам ремень, потуже следует затянуться... А это вот фонарик за пояс, да лишнюю свечку в карман возьмите, в запас. Потом рукавицы надобно захватить, да картуз сейчас по голове подберу...

Одетый в заводской „мундир“, как выражался сторож, я взглянул на себя в зеркало. Толстый нескладный картуз, тяжелый и несколько влажный, огромные кожаные рукавицы, тоже влажные и грязные, помятая рубаха, в рыжих пятнах, серые узкие штаны, заправленные в голенища, и черный фонарик за поясом — делали меня почти неузнаваемым для самого себя. Взглянув на меня, даже сторож, улыбаясь, промолвил:

— Вот теперь, значит, по нашему! Теперь можно и в шахту, а то нешто настоящая одежда выдержит?

II.

В контору вошел смотритель, молодой человек, поздоровался со мной и, видя, что я уже в „мундире“, быстро переоделся в такую же куртку. Мы зажгли фонари, надели рукавицы и вышли во двор. Если я продрог в пиджаке и пальто, то в бумажной рубахе мне было уже вовсе холодно.

Итти пришлось недалеко. Провожатый ввел меня в какое-то крытое помещение, стоявшее среди двора, затем мы спустились по широкой небольшой лестнице ниже, где было темно, — только едва-едва проникал дневной свет, мешаясь с светом наших двух фонарей.

— Теперь спускайтесь за мною, — сказал мне мой спутник. — Держитесь крепче руками и берегите голову.

У наших ног чернела квадратная яма, приблизительно в аршин, в которую как раз могла пройти человеческая фигура. В стену около ямы были вделаны две или три скобки, чтобы можно было за них ухватиться до начала спуска.

Мой провожатый ловко взялся руками за первую скобку и спустил ноги в яму, потом перехватился за нижнюю скобку и скрылся в подземелье. Подражая ему, я сделал то же самое. Ноги мои уперлись во что-то твердое; это была ступенька лестницы. Сначала я оказался по пояс в яме, а затем, переступив следующий порог, скрылся, как мой провожатый, от последнего дневного света в сырой, темной яме, где было холодно, грязно и тесно. Перебирая мало-по-малу ступеньки руками и ногами, мы скоро остановились на площадке.

— Осторожнее! — услышал я знакомый голос. — Беритесь опять за скобку.

Осветив площадку фонарем, я увидел ниже точно такое же отверстие, такие же скобки в стене и снова погрузился в черную яму сначала по пояс, затем и с головой.

Через каждые три-четыре минуты встречались подобные площадки и скобки. Куда я спускался и долго ли нужно мне было спускаться, я не имел об этом никакого представления.

Лестницы, по которым я слезал, — самые обыкновенные, всем известные лестницы, — деревянные, с узкими ступеньками, какие подставляются обыкновенно к домам, чтобы забраться на крышу.

Лестницы были недлинные: ступеней тридцать-сорок, а затем площадка с новой ямой и с новой лестницей. Все перекладины были сырые, на многих комками лежала скользкая жидкая грязь. Хватаясь руками, я промочил уже насквозь свои рукавицы, о которых сначала думал, что они лишние. Иногда пролезать в отверстие было довольно трудно, чтобы не коснуться спиной или головой о деревянные срубы, покрытые, как и ступеньки, влагой, грязью и, может-быть, даже плесенью.

Чем дальше мы спускались, тем становилось мне жарче и в то же время пронизывал холодок промоченную спину и

колена. Нигде не слышалось ни голоса, ни звука, кроме шарканья наших ног; нигде не видно было ни света, ни простора, только сверкали от фонаря две мокрые ступени лестницы, за которые хватался я устававшими руками, — все остальное было сплошным мраком. Откуда-то капала вода на спину и на лицо, откуда-то продувало ветром.

С непривычки я начал уставать и делать на площадках краткие передышки. Проходили минуты за минутами, за лестницей следовала лестница, и, казалось, не будет конца этому спуску, а между тем у меня дрожали уже руки и ноги, пот градом катился по щекам, а спина и колена были в жидкой грязи, и кожаные рукавицы промокли тоже насквозь.

— Скоро ли доберемся? — спросил я, наконец, своего провожатого, который ответил мне откуда-то снизу глухим, далеким голосом:

— Еще лестниц пять осталось.

Продолжая спускаться среди мрака и какого-то неопределенного шума, точно вокруг нас или над нами бежала масса воды, я очутился, наконец, уже не на площадке с дальнейшим черным отверстием, а на твердой почве.

III.

Я стоял у мутной лужи, так что ступни моей не было видно, и с любопытством озирался кругом. Помню, что это был узкий и низкий коридор, где нужно было стоять немного согнувшись и где с трудом возможно разойтись с встречным человеком. Стены мрачного коридора, а также и потолок были высечены из сплошной каменной глыбы. Это и были шахты.

По коридору то и дело пробегали рабочие с узкими маленькими тачками, наполненными кусками руды; здесь, на глубине ста сажен, ежедневно работало пятьсот человек безвыходно по восьми часов в сутки.

Освещая дорогу фонарями, которые уже вынули из-за пояса и держали в руках, мы двинулись по коридору вперед. В иных местах я шел, немного лишь нагнув голову, но чаще приходилось итти с согнутой спиной, и все время по воде, которая булькала и брызгала под нашими ногами. Нередко вдали показывался огонек, и, приближаясь к нему, мы слышали окрик и прижимались к стене, чтобы пропустить мимо себя рабочего с тачкой.

Не знаю, сколько времени шли мы по коридору; иногда попадалось нам похожее на пещеру углубление в стене. Эти углубле-

ния — место добывания руды. Руду добывают, взрывая гору динамитом или вырубая куски топорами; обломки подбирают лопатами, ссыпают в тачки и увозят на „рудничный двор", где посредством машины добыча извлекается из недр на поверхность земли.

В шахте добывается малахит, медный колчедан, бурый железняк с содержанием меди, тальковые глины, оруднелые сланцы, медная руда, магнитный железняк, всего разной руды около трех миллионов пудов в год.

Мы были уже довольно глубоко под землею. Не помню, в каком именно месте, я был удивлен шумом и спросил, глядя наверх, где что-то шумело и как будто катилось.

— Выше нас тоже работают?

— Нет. Это речка рудянка протекает над нами.

Шахта, где мы находились, носит название Авроринской. Она ниже поверхности земли на сто сажен, но нам предстояло спуститься еще глубже, в Северную шахту, глубина которой сто тринадцать сажен.

Приходилось взбираться по деревянным кровельным лестницам, осклизлым и грязным, цепляясь за мокрые перекладины руками. Передо мною тем временем открылась новая картина. Откуда-то сверху на громадной толстой цепи спустилась железная бадья, величиной с хорошую бочку, а от земли отделилась другая, точно такая же громадная бадья, до краев наполненная рудой, и, гремя цепями, тяжело поползла кверху и скрылась во мраке. Между тем рабочие все подвозили тачки, ссыпали руду в порожнюю бадью, и, когда наполнили ее, она точно также со скрипом и грохотом тяжело поползла кверху, а на ее место опустилась вторая — порожняя...

IV.

Мы отправились дальше. Потянулись опять мрачные бесконечные коридоры, но они еще ниже, так что приходилось не только сгибать спину, но даже в иных местах пробираться чуть не ползком, нередко ударяясь в темноте головой о деревянные, бревенчатые оклады и подхваты шахты, и только благодаря толстому картузу не было больно, а в легкой шелковой фуражке, в которой я приехал в контору, можно было бы до крови разбить себе голову.

Северная шахта находится, как я уже сказал, на глубине ста тринадцати сажен. Когда мы вошли туда, рабочие занимались добычей малахита.

Это была высокая пещера, освещенная двумя-тремя свечками, воткнутыми в пробоины. Задняя серая стена, избитая и изрубленная сверкала мелкими, словно пыль, блестками, и местами по ней зелеными пятнами проглядывал малахит.

Рабочие, сильно размахнувшись короткой киркой, вонзали острие в стену и повторяли удар до тех пор, пока к ногам их не падал кусок зеленого камня. Мелкие куски собирались в мешок, а более крупные обломки откладывались отдельно, потому что большие куски идут на разные изделия, а мелочь и россыпь идет для выделки зеленой краски.

— Теперь отдохните, — сказал мой провожатый. — Назад итти будет труднее.

Минут через десять мы отправились дальше. Опять потянулись коридоры, опять заныла согнутая спина, и снова пришлось то нагибаться, то подползать под низкие бревенчатые рамы и шагать по грязи и лужам. Наконец, явилась возможность выпрямиться во вес рост: мы подошли к лестнице.

— Отдохните, и полезем.

Я с удовольствием разогнул спину, немного постоял, отдохнул и, следуя за своим спутником, взялся за ослизлую перекладину.

V.

Опять начались бесконечные лестницы, опять те же узкие площадки, та же жидкая грязь, по которой скользили руки и ноги, только подниматься было значительно труднее, нежели опускаться. Там были и свежие силы, и сухая куртка, тогда как здесь приходилось сильнее напрягать ручные мускулы и стесняться в движении, потому что одежда, насквозь пропитанная влагой и грязью, прилипала к телу, и после трех часов ходьбы с согнутой спиной чувствовалось изнеможение...

Я бессознательно лезу вперед, цепляюсь, словно раненый, за перекладины, и, наконец, меня берет за руку крепкая рука провожатого и извлекает из ямы.

Несколько секунд я сидел на полу, не имея силы подняться, потом, отдышавшись, нетвердыми шагами последовал за своим спутником и с трудом поднялся на какой-нибудь десяток порожков широкой лестницы и вышел на заводской двор, где ярко светило солнце, где дышалось снова легко и свободно.

Было уже восемь часов, когда я вернулся в контору, — следовательно, по шахтам мы бродили часа четыре. Сторож с доб-

родушной улыбкой встретил нас на крыльце и спросил, прищуривая глаз:

— Чайку холодненького теперь, пожалуй, недурно?

Не дожидаясь согласия, он вынес мне стакан жидкого остывшего чаю, который я выпил почти залпом, и только тогда мог проговорить первое слово.

— Говорил, жарко будет! — упрекнул меня сторож. — А еще раздеваться не хотели! Эна, какая грязь — нитки живой не осталось.

Он стащил с меня почерневшую от грязи и воды заводскую куртку, дал мне умыться, помог надеть пиджак и пальто и, поднося еще стакан холодного чаю, хотел проводить меня до извозчика, но вдруг, что-то вспомнив, ударил себя ладонью по лбу.

— Ах, ты, батюшка! Расписаться-то забыл подать!.. У нас ведь это делается до спуска... иначе нельзя. Сначала подписку дай, а потом уж иди... потому что — вдруг какое несчастье?

Может-быть, я и ошибаюсь, но только из его дальнейших слов я понял, что при конторе имеется книга, где дается подписка, что, спускаясь в шахту, я не буду винить никого, если в случае обвала или какого-нибудь несчастья мне не удастся выйти оттуда живым.

Не читая текста, я расписался в книге, или на каком-то листе и поспешил домой, чтобы переодеться, так как на мне, по выражению сторожа не осталось ни одной живой нитки, а в двенадцать часов дня отходил из Тагила мой поезд.

Уже много лет прошло с тех пор, но впечатление, которое я вынес из подземелья, еще надолго останется в моей памяти свежим и сильным.

Н. Телешов.

КУЗНИЦА ПРИ ДОРОГЕ.

Вот кузница при дороге
стоит как гриб, разбухший под дождем.
Кузнец — Игнат. Уже старик. Безногий,
дрожащий над ухватом и гвоздем.

Глаза белесые. В заплатанной рубахе.
Уже с утра он под осадой баб.
Кричат, ругаются. Но жизнь — в тяжелом взмахе,
в презрении на высохших губах.

А на полу среди плевков и сора
заклепка к плугу, зуб от бороны,

заржавленная старая рессора
и штык с войны.

Игнат суров. Лицо в угрюмых складках,
да и тяжел теперь он на под'ем,
вот к непогоде колет под лопаткой,
весь дребезжит. Пора уже на слом.

Но смерть молчит. А жить, так жить — у горна.
Неделя, две — и захрустит ледок,
все так же равномерно и упорно
заходит по подковам молоток.

И кузница стара. Вся на подпорках,
но и она кряхтит, а не сдает.
Молчит Игнат. Он продымит махоркой
неделю. Месяц. Может-быть и год.

Живет старик, живет. Седеет редкий волос.
Согнувшись охает. Работает молчком.
Но всю мужицкую соломенную волость
он держит под железным молотком.

В. Александровский.

КУЗНЕЦЫ.

I.

Мы кузнецы, и дух наш молод;
куем мы к счастию ключи!
Вздымайся выше, тяжкий молот,
в стальную грудь сильней стучи!

Мы светлый путь куем народу,
мы счастье новое куем...
В горне желанную свободу
горячим закалим огнем.

Ведь, после каждого удара
редеет тьма, слабеет гнет,
и по полям родным и ярам
народ измученный встает...

II.

Поднимай же дружно молот, кузнецы,
молодцы!
И стучите в грудь железную сильней,
веселей...

Размягчайте тяжким молотом руду
на виду...
Искры мечутся и дальше пусть летят
и шипят...
Пусть они своим полетом тех сожгут,
что гнетут...
Свищут, дуют пусть без умолка меха,
ха-ха-ха...
Гори, как солнце, пусть сияет на земле
в жуткой мгле...
Поднимайте ж выше молот, кузнецы,
удальцы!
Куйте плуги, разбивайте цепи в прах,
трах, трах, трах...

III.

— Для чего, — меня спросили, —
век я молотом стучу?
Я ответил, ударяя:
— Есть хочу.
— Для чего, — меня спросили, —
плуг и грабли я кую?
Я ответил, ударяя:
— Труд люблю.
— Отчего, — меня спросили, —
я в поту и изнурен?
Я ответил, ударяя:
— Рядом горн.
— Отчего, — меня спросили, —
праздной жизни не ищу?
Я ответил, ударяя:
— Не хочу.
— Кто, скажи, устроит лучше
жизнь тяжелую твою?
Я ответил ударяя:
— Сам скую.

Ф. Шкулев.



СКАЗАНИЕ О КИШЕ.

Давно, давно, в незапамятное время Киш жил на берегу полярного моря. Он был вождем своего селения в течение многих счастливых лет и умер с великим почетом, прославленный своим народом. Киш жил так давно, что только старики помнят завещанное им их предками предание о нем, которое будущие старики завещают своим детям, а те своим, — так до скончания времен. Когда воцаряется зимний мрак, среди ледяных скал бушуют вьюги, убеляя воздух чистым снегом, наступает время рассказов о Кише, — о том, как он стал первым человеком в своем селении, превзойдя всех доблестью и разумом.

Он был славным мальчиком, — так говорит предание, — сильным, здоровым, и уже видел восход тринадцатого солнца, свершившего свой путь [1]). Ибо каждый год зимнее солнце погружает страну во мрак и возвращается снова, чтобы люди могли греться в его лучах, могли смотреть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным охотником. Он погиб в один голодный год в схватке с огромным полярным медведем, спасая жизнь своему народу. Разгорячившись, он так близко подошел к медведю, что тот переломал ему ребра. Но на медведе было много мяса, и народ был спасен.

Киш был его единственным сыном, и после смерти отца остался один со своей матерью. Но ведь люди склонны все за-

[1]) Ему было 13 лет.

бывать очень быстро; забыли они и подвиг отца Киша. А так как Киш был еще мальчиком, а мать его беззащитной женщиной, то скоро забыли и их, и они стали жить хуже всех в деревне.

Это было однажды вечером, в совете, в большом иглу[1]) Клош-Квана, вождя селения. Тут Киш проявил всю пылкость своей крови, все мужество своей души. Встав с достоинством взрослого, он выждал, когда смолкнет ропот голосов, и сказал:

— Да, это правда: нам дают мясо. Но какое? Старое, жесткое, костистое.

И седые старики и дюжие молодые охотники пришли в ужас. Никогда еще не слыхали они, чтобы мальчик говорил как взрослый, осмелился бросить им в лицо такие слова.

Но настойчиво и строго Киш продолжал:

— Я знаю, что мой отец Бок был великим охотником, иначе я не сказал бы таких слов. Говорят, что он приносил с охоты мяса больше, чем два самых искусных охотника, и сам делил его, заботясь о том, чтобы все были сыты: и самый последний старик и самая последняя старуха.

— На, на! — закричали все. — Выгнать мальчишку! Уложить его спать! Он еще не дорос, чтобы говорить так со взрослыми и со стариками!

Киш спокойно ждал, когда смолкнет шум.

У тебя, Уг-Глок, есть жена, — сказал он, — и ты говоришь за нее. А у тебя, Муссук, — и жена и мать, и ты говоришь за них. У моей матери нет никого, кроме меня, а потому говорю я. Мой отец, Бок, положил душу за народ свой, а потому справедливо, чтобы я, сын его, и Айкига, жена его были сыты, когда в деревне есть мясо. Я, Киш, сын Бока, сказал!

Он сел, жадно прислушиваясь к бурным негодующим крикам, вызванным его словами.

— Где это видано, чтобы мальчишки говорили в совете, — прошамкал старый Уг-Глок.

— И при этом учили взрослых, как им надо поступать? — громко крикнул Муссук. — Какой же я мужчина, коли позволяю всякому мальчишке, захотевшему мяса, насмехаться над собой!

Гнев дошел до белого каления. Одни гнали Киша спать, другие хотели совсем лишить его мяса, третьи угрожали побоями за дерзкие слова. Глаза Киша разгорелись, лицо потемнело, налилось кровью. В самом разгаре этого шума он вскочил на ноги.

---

[1]) Дом, хижина.

— Слушайте! — закричал он. — Отныне вы уже не услышите от меня ни единого слова до тех пор, пока сами не придете ко мне и не скажете: „Киш, иди и говори. Весь народ хочет этого". Вот мое последнее слово. Бок, мой отец, был славным охотником. Я сын его, пойду, как и он, на охоту и добуду мяса. И да будет вам известно, что дележ мяса будет справедливый: ни одна вдова, ни один слабый не будет ночью плакать, прося мяса в то время, как сильные стонут в великих муках от обжорства! Я, Киш, сказал!

Насмешки, презрительный смех посыпались ему вдогонку, но Киш крепко стиснул зубы и вышел из иглу, даже не оглянувшись.

На следующий день он вышел на взморье. Видели, что он нес в руках лук и стрелы с костяными наконечниками, а на плечах большое отцовское копье. И много смеялись, много шутили над ним. Не случалось еще, чтобы такие молокососы ходили на охоту в одиночку.

Охотники качали головами, пророчески бормотали что-то, женщины с грустью смотрели на Айкигу, лицо которой было важно и печально.

— Он вернется очень скоро, — утешали они ее.

— Пускай отведает, — говорили охотники, — это будет ему хорошим уроком. Он вернется кротким и послушным.

Прошел один день, другой день; на третий подул сильный ветер, а Киша все не было. Айкига рвала себе волосы, вымазала сажей лицо, охваченная великой скорбью. Женщины нападали на мужчин с горькими упреками за-то, что они послали мальчика на верную смерть. Мужчины молчали, — они знали, что не нынче-завтра, когда стихнет метель, им придется итти искать труп Киша. Но на четвертый день, рано утром Киш вошел в деревню. Возвратился он со славою: на плечах его лежали крупные части убитого медведя. И была в его походке важность, в речах — дерзость.

— Берите собак скорее, берите сани и идите по моему следу, ибо далек будет ваш путь, — воскликнул он. — Там на льду, много мяса — большая медведица и два медвеженка. Дай мне есть, Айкига, ибо я устал и хочу спать.

И он пошел к себе в иглу, и ел много, и спал потом двадцать часов под ряд. Много высказывалось сомнений, много было горячих споров в народе. Опасен полярный медведь, но втрое опаснее медведица, у которой есть медвежата. Охотники не дали

веры словам Киша: не свершают мальчики таких чудес! Но женщины кричали, восхваляя мясо медведя, и нельзя было не верить. И, отправляясь в путь, охотники все еще роптали: „Если бы он вправду убил медведя, не бросил бы он так труп его". (В странах севера надо сейчас же рассечь труп убитого медведя, иначе мясо замерзнет и затвердеет так сильно, что его не возьмет самый острый нож, тащить же по неровному льду мерзлую тушу медведя в триста фунтов совершенно невозможно). Но, прибыв на место, они нашли убитых медведей, трупы же их были рассечены с полным знанием дела, а внутренности удалены.

И так началась тайна Киша, которая все росла и росла со временем. В следующий раз он убил большого пестуна, а затем огромного, свирепого медведя и медведицу. Обычно он пропадал на охоте дня три-четыре, но случалось, что и вся неделя проходила в его скитаниях по снежным равнинам. Всегда он отказывался от товарищей, желавших его сопровождать. И дивился народ:

— Как он делает это, — спрашивали охотники друг друга. — Он не берет собак, а без них обойтись невозможно.

— Почему ты охотишься на одних медведей? — спросил Киша Клош-Кван.

И Киш дал надлежащий ответ:

— Да потому, что на медведе много мяса.

В деревне стали поговаривать о колдовстве.

— Ему помогают злые духи, — утверждали одни, — потому и удачна охота его. Как же иначе?

— Может-быть, не злые духи, а добрые, — говорили другие. — А может быть, охотясь с Кишем, Бок научил его искусству охоты, — ведь, он был славным охотником.

Но счастье попрежнему благоприятствовало Кишу, и менее удачливые охотники кормились добываемым им мясом. При дележе мяса, Киш бывал справедлив, следуя примеру своего отца. Все были сыты: и последний старик, и последняя старуха; себе же Киш брал самое необходимое. И его доблесть и его справедливость вселили в народ почтение и даже страх. Говорили, что он будет вождем после смерти старого Клош-Квана. И желали, чтобы он заседал в совете, но стыдились просить его об этом, а сам он не хотел итти первым.

— Я хотел бы построить себе иглу, — сказал как-то Киш, обращаясь к Клош-Кван и охотникам, — большой иглу, где нам с Айкигой было бы покойно.

— Ай, — важно согласились они.

— Но нет у меня времени на это, ибо все мое время отнимает охота. Пусть народ, питающийся моей медвежатиной, построит мне иглу.

И построили иглу, величиной превосходивший иглу Клош-Квана. Киш и его мать перебрались в него и были счастливы в первый раз после смерти Бока. Но еще более гордилась Айкига тем положением, которое дал ей ее чудесный сын, — она стала первой женщиной в селении. И женщины шли к ней за советом и ссылались на мудрость ее речей в спорах со своими мужьями. Но все же главное, что занимало всех, была удивительная охотничья тайна Киша. И однажды Уг-Глок бросил ему в лицо обвинение в колдовстве.

— Тебе помогают злые духи, — сказал он, — потому и удачна охота твоя.

— Разве мясо дурно? — отвечал Киш. — Кто-нибудь заболел, поев его? Кто сказал тебе о колдовстве? Или говоришь ты это, снедаемый завистью?

Уг-Глок удалился в смущении, и женщины смеялись над ним, когда он уходил. Но вечером в совете, после долгих споров, решено было послать по его следам двух охотников, чтобы узнать, как убивает он медведей. И когда он отправился на охоту, два молодых, сильных охотника, Бим и Баун, тайком пошли за ним.

Через пять дней они вернулись. Глаза их выкатились из орбит, языки дрожали от нетерпения рассказать о том, что они видели. Поспешно был созван совет в иглу Клош-Квана, и Бим начал рассказывать:

— Братья! Как нам было приказано, мы отправились по следам Киша, и шли так искусно, что он ничего не заметил. И на полпути первого дня он поднял огромного медведя.

— Необычайно большого медведя! — перебил Баун, и стал рассказывать сам. — Но медведь не хотел вступать в борьбу; он повернулся и медленно пошел по льду. Мы видели это с берега. Медведь шел прямо на нас, а бесстрашный Киш не отставал от него. Он громко кричал, размахивал руками, шумел. Медведь стал сердиться, поднялся на задние ноги, зарычал. Но Киш шел прямо на медведя.

— Да, — снова подхватил Бим, — шел прямо на медведя, а медведь на него. Киш обратился в бегство, но убегая, бросил маленький круглый шарик. Медведь остановился, понюхал его и про-

глотил. А Киш бежал дальше, продолжая бросать маленькие шарики, а медведь глотал их.

Послышались восклицания и крики сомнения, а Уг-Глок выразил полнейшее недоверие.

— Мы видели это своими собственными глазами, — сказал Бим.

И Баун подтвердил:

— Да, видели своими собственными глазами. И продолжалось это до тех пор, пока медведь не встал на задние лапы и не зарычал от боли. Затем он стал метаться, вскидывая передние лапы. А Киш шел на безопасном расстоянии от него. Но медведь не обращал на него никакого внимания: великая боль раздирала ему внутренности, так как шарики растаяли в его желудке.

— В его желудке! — перебил Бим. — Он драл себя лапами, подпрыгивал, точно игривый щенок, выл и рычал, и было видно, что это от великой боли.

— Никогда я не видал подобного зрелища, — продолжал Баун. — И какой это был огромный медведь!

— Колдовство! — воскликнул Уг-Глок.

— Не знаю, — ответил Баун. — Я говорю о том, что видел. Медведь скоро ослабел, задохнулся, ибо был весьма грузен, и прыгал с большой яростью; он тихо шел по берегу, поматывая головой, садился, выл и стонал. И Киш шел за ним по пятам, а мы за Кишем весь этот день и три следующих дня. Медведь все слабел и ревел от боли.

— Это колдовство! — воскликнул Уг-Глок. — Это чары!

— Может быть!

И Бим перебил Бауна и стал рассказывать за него:

— Медведь шел то так, то этак, путался, шатался, сбивался и, наконец, очутился на прежнем месте. Он уже был так слаб, что едва полз. Тогда Киш подошел к нему и заколол его копьем.

— А затем? — спросил Клош-Кван.

— Затем мы оставили Киша свежевать медведя, а сами побежали сюда, чтобы рассказать вам о том, как Киш убивал медведя.

А в полдень того же дня женщины разобрали мясо медведя, а мужчины собрались на совет. Когда Киш пришел в деревню, к нему был послан охотник звать его в совет. Но Киш ответил, что голоден и сильно устал; к тому же его и г л у велик и может вместить весь совет.

И любопытство было так сильно, что к нему в иглу собрался весь совет, с Клош-Кваном во главе его. Киш ел, но принял всех с почетом и посадил каждого сообразно его чину. Айкига была очень горда, но смущена; Киш же был спокоен. Клош-Кван передал Кишу рассказы Бима и Бауна и сказал строго:

— Поведай нам твою тайну, о Киш! Злые ли духи помогают тебе на охоте?

Киш посмотрел на него и усмехнулся.

— Нет, о Клош-Кван! Не подобает мальчикам знаться с ведьмами и колдунами, и я ничего не знаю о них. Я расскажу тебе, как я убиваю медведей. Это не колдовство, это простая хитрость.

— И каждый может сделать ее?

— Да, каждый.

Воцарилось долгое молчание. Охотники переглянулись, а Киш продолжал есть.

— И... и... ты расскажешь нам об этом, о Киш?

— Да, расскажу, — ответил Киш, и, высосав последнюю кость, встал со своего места. — Это очень просто. Смотрите.

Он взял тонкую полоску китового уса и показал им. Концы этой полоски были остры, как игла. Тщательно скатав ее в колечко, так что она исчезла в его пальцах, он вдруг ее отпустил: пластинка выпрямилась. Затем он снова свернул ее и взял кусочек китового жира.

— Вот, — сказал Киш, — надо взять небольшой кусочек жира, прокопать в нем ямку. Затем в эту ямку положить пластинку китового уса и положить сверху другой кусочек жира. Затем надо этот кусочек жира вынести наружу, — он замерзнет и становится маленьким кругленьким шариком. Медведь проглатывает шарик, жир растаивает, пластинка выпрямляется и начинает острыми концами колоть его желудок. Медведь изнемогает от боли, и вы убиваете его копьем. Это очень просто.

— Ох, — сказал Клош-Кван.

— Ах, — сказал Уг-Глок.

У каждого вырвалось какое-нибудь свое восклицание. Все поняли это.

Вот сказание о Кише, жившем в незапамятное время на берегу полярного моря. И так как он упражнял свой ум и не прибегал к колдовству, он стал первым человеком в своем селении, и всю жизнь была удачна охота его, и не плакали о мясе вдовы и слабые.

Д. Лондон.

ПОСТРОЙКА ПИРОГИ.

(„Песнь о Гайавате“ [1]).

„Дай коры мне, о, Береза!
желтой дай коры, Береза,
ты, что высишься в долине
стройным станом над рекою!
Я свяжу себе пирогу,
челн себе построю легкий,
словно желтый лист осенний,
словно желтая кувшинка!“

„Скинь свой белый плащ, Береза!
Скинь свой плащ из белой кожи:
скоро лето к нам вернется,
жарко светит солнце в небе,
белый плащ тебе не нужен!“

Так над быстрой Таквамино
в глубине лесов дремучих
восклицал мой Гайавата.
До корней затрепетала
каждым листиком береза,
говоря с покорным вздохом:
„Скинь мой плащ, о, Гайавата!“

И ножом кору березы
опоясал Гайавата
ниже веток, выше корня,
так что брызнул сок наружу;
по стволу, с вершины к корню,
он потом кору разрезал,
деревянным клином поднял,
осторожно снял с березы.

„Дай, о, Кедр, ветвей зеленых,
дай мне гибких, крепких сучьев,
помоги пирогу сделать
и надежней, и прочнее!“

По вершине кедра шумно
ропот ужаса пронесся,
стон и крик сопротивленья;
но, склоняясь, прошептал он:
„На, руби, о, Гайавата!“

И, срубивши сучья кедра,
он связал из сучьев раму,
как два лука, он согнул их,
как два лука, он связал их.

„Дай корней своих, о, Тэмряк [2])
дай корней мне волокнистых:
я свяжу свою пирогу,
так свяжу ее корнями,
чтобы вода не проникала,
не сочилася в пирогу!“

В свежем воздухе до корня
задрожал, затрясся Тэмряк,
но склоняясь к Гайавате,
он одним печальным вздохом,
долгим вздохом отозвался:
„Все возьми, о, Гайавата!“

Из земли он вырвал корни,
вырвал, вытянул волокна.
Плотно сшил кору березы,
плотно к ней приладил раму.

---

[1]) „Песнь о Гайавате“ — поэма, написанная американским писателем Лонгфелло в 1855 г. на основании сказок и легенд северо-американских индейцев о чудесном человеке—Гайавате, который будто бы расчистил их реки и леса, научил их рыбной ловле, охоте и т. п. Гайавата—значит учитель.

[2]) Лиственница.

„Дай мне, Ель, смолы тягучей:
засмолю я швы в пироге,
чтобы вода не проникала,
не сочилася в пирогу!“

Как шуршит песок прибрежный,
зашуршали ветви ели,
и, в своем уборе черном,
отвечала ель со стоном,
отвечала со слезами:
„Собери, о, Гайавата!“

И собрал он слезы ели,
взял смолы ее тягучей,
все в пироге швы замазал,
защитил от волн пирогу.

„Дай мне, Еж, колючих игол,
все, о, Еж, отдай мне иглы:
я украшу ожерельем,
уберу двумя звездами
грудь красавицы пироги!“

Из дупла сердитый ежик
глянул сонными глазами
и, как блещущие стрелы,
иглы выбросив на землю,
сквозь усы сказал угрюмо:
„Подбери их, Гайавата!“

По земле собрал он иглы;
словно блещущие стрелы;
соком ягод и кореньев,
соком желтым, красным,
синим
их окрасил—и пирогу
окружил блестящий пояс—
ожерелье дорогое,
на груди ее высокой
две звезды сверкали ярко.

Так построил он пирогу.
Над рекою, средь долины,
в глубине лесов дремучих,
и вся жизнь лесов была в ней.
все их тайны, все их чары:
гибкость лиственницы темной,
крепость мощных сучьев кедра
и березы стройной легкость;
а в волнах она качалась,
словно желтый лист осенний,
словно желтая кувшинка.

В веслах мудрый Гайавата
не нуждался—вместо весел
для него служили мысли,
а желанья направляли
по волнам его пирогу:
по волнам она скользила
быстро, тихо, вправо, влево,
как хотелось Гайавате.

Лонгфелло.

БОРЬБА ЗА ОГОНЬ.

Три дня уже Нао и его юные воины шли по следам пожирателей людей. У них все еще свежи были впечатления о том, как уламры [1]) в смятении бежали среди ночной темноты. Страдание и усталость довели их до безумия; все казалось им ничтожным пред величайшим бедствием—смертью огня. С того самого времени, как существовала орда, они держали его в трех клетках; четыре женщины и два воина день и ночь питали его.

[1]) Название племени.

Даже во времена величайших невзгод он получал пищу, которая поддерживала его жизнь; защищенный от дождя, от бурь, от наводнения, он проходил реки и болота, не переставая синеть по утрам и багроветь по вечерам. Его мощный лик отгонял черного и желтаго льва, серого и пещерного медведя, мамонта тигра и леопарда; его кроваво-красные зубы защищали человека от всех невзгод мира. Он был источником радости. Он придавал вкусный запах мясу, закалял острие копья, разбивал твердый камень, разливал по члснам сладостную мощь, придавал бодрость орде в шумных лесах, в беспредельных саваннах, в глубине пещер. Он был отцом, стражем, спасителем, но становился более грозным и более свирепым, чем мамонты, когда вырывался из клетки и пожирал деревья.

И он умер! Враг разрушил две клетки; в третьей, во время бегства, на глазах у всех, он стал изнемогать, бледнеть, таять и так ослабел, что не мог кусать болотных трав; он бился, как больной зверек. Наконец, он превратился в маленькое, красноватое насекомое, которое могло быть сметено малейшим дыханием ветра... и испустил дух... И уламры, обездоленные, бежали осенней ночью. Звезд не было. Тяжелое небо нависло над тяжелыми водами; растения протягивали свои холодные члены; слышалось бульканье гадов в воде; мужчины, женщины, дети исчезали незаметно. С трудом разбираясь в пути, уламры шли за голосом проводников, по наиболее высокой и твердой почве, перебираясь то вброд, то по островкам. Тогда Нао взял на себя обязанность добыть огонь своему племени. И вот он был на верном пути. До подножия холмов они шли вдоль озера, потом на равнине, где небольшие леса чередовались с лугами. Уламрам было легко не терять их из виду: те не принимали никаких предосторожностей, зажигали большие костры, чтобы жарить добычу и укрываться от холода в туманные ночи.

Но Нао прибегал ко всякого рода хитростям, стараясь обмануть тех, кто вздумал бы итти вслед за уламрами: шел то по твердому грунту, то по мягкой траве, на которой след не оставался, то по ложу ручьев; вброд или вплавь переправлялся по излучинам озер, путая следы, и, несмотря на все это, уламры нагоняли пожирателей людей; в конце третьего дня они были так близко, что Нао думал в одну ночь настигнуть их.

— Пусть Нам и Гав, — сказал он своим воинам, — запасутся мужеством и приготовят оружие... Сегодня вечером они увидят огонь.

Юные воины то замирали от страха, думая о грозном враге, то возгорались радостью при мысли снова увидеть трепет огня.

— Давайте отдохнем сначала. Мы подкрадемся к пожирателям людей, когда они будут спать, и попробуем обмануть бдительность дозорных.

Нам и Гав почувствовали приближение опасности более грозной, чем все пережитые раньше; легенда рассказывала ужасы о пожирателях людей.

Ни одно из известных уламрам племен не обладало такой силой, отвагой, жестокостью. Уламрам случалось истреблять маленькие отряды пожирателей людей, но чаще сами уламры погибали под ударами их острых топоров и дубовых палиц.

Пожиратели людей вели свой род от серого медведя, руки их были длиннее, чем у остальных людей... Они пожирали трупы побежденных, и это вселяло ужас перед ними.

Нам и Гав задрожали, услыша слова Нао, но наклонили головы в знак покорности, потом заснули и спали до полуночи.

Поднялись они раньше, чем луна посеребрила небосклон.

Нао уже заранее осмотрел дорогу, и они двинулись в полной темноте. Когда взошла луна, они увидали, что потеряли следы, потом снова нашли их.

Они пересекли полосу кустарников, потом болото и переплыли речку.

Наконец, они поднялись на холм и, притаившись в высокой траве, с неописуемым волнением увидали огонь.

Нам и Гав дрожали, Нао замер, порывисто дыша, и ноги у него подкосились. После стольких ночей, проведенных в темноте, холоде, под дождем, после стольких страданий от голода, жажды, борьбы с медведем, тигрицей, львом-великаном, они, наконец, увидали ее, путеводную звезду людей.

На лугу, на котором виднелись фисташковые деревья и смоковницы, недалеко от большой лужи, горел полукругом костер; языки пламени медленно лизали поленья.

Искры, как красные стрекозы и светляки, отливая топазами, рубинами, карбункулами, трепетали от ветра. Пламя с треском взлетало вверх пурпуровыми крыльями, дым вился спиралью и таял в лунном свете; языки пламени, бесформенные, как облака, извивались, как змеи, колыхались, как волны, и замирали.

Люди спали, укрывшись шкурами волков, оленей, муфлонов. Топоры, палицы, копья были разбросаны по траве, два воина караулили. Один из них в козлиной шкуре сидел на

куче хвороста и держал руку на рогатине. Медный отблеск от костра падал на его лицо, заросшее до бровей шерстью, как у лисицы.

Другой дозорный, насторожившись, ходил вокруг костра. Время от времени он останавливался, прислушивался, беспокойно втягивал носом сырой воздух.

Он был такого же роста, как Нао, с огромной головой, на которой торчали острые, как у волка, уши; его голова и подбородок были покрыты пучками волос, между которыми виднелась желтая, как шафран, кожа; глаза его фосфорически сверкали в темноте и загорались кровавым блеском, когда он подходил к огню; у него была выпуклая грудь, втянутый живот, треугольные бедра, берцовые кости выдавались вперед, как острие топора, ступни маленькие, но с длинными пальцами. Все его грузное, крепко сколоченное тело напоминало буйвола и говорило о неимоверной силе, но было хуже приспособлено к бегу, чем тело уламров.

Дозорный остановился, вытянул голову по направлению к холму. Что-то обеспокоило его, какой-то неопределенный запах, не похожий ни на запах зверей, ни на запах людей его племени второй дозорный, у которого обоняние было слабое, продолжал дремать.

— Мы подошли слишком близко к пожирателям людей. Ветер доносит до них шорох наших шагов!—тихо сказал Гав.

Нао покачал головой, он больше боялся обоняния врага, чем его зрения или слуха.

— Нужно так итти, чтобы ветер дул от них к нам, —сказал Нам.

— Ветер дует в спину пожирателей людей,—ответил Нао,— и если мы пойдем так, что ветер будет дуть к нам, то мы будем впереди них.

Ему не надо было об'яснять своей мысли: Нам и Гав знали не хуже хищников, что надо итти сзади добычи, а не впереди их, если не приходится делать засады.

Между тем, дозорный что-то сказал своему товарищу, тот отрицательно покачал головой. Он собрался было тоже сесть, но вдруг повернулся и пошел к холму.

- Надо поддаться назад,—сказал Нао.

Он поискал глазами, куда бы спрятаться, чтобы их запах не дошел до дозорного. На вершине холма рос большой куст. Уламры притаились за ним; ветер был слабый; разбиваясь о куст, он

шел дальше таким слабым дуновением, что человеческое обоняние не могло в нем распознать никакого запаха. Дозорный остановился, несколько раз глубоко втянул в себя воздух и вернулся к стоянке.

Уламры долго сидели неподвижно. Нао, смотря на потемневший отблеск костра, думал, что предпринять. Но не мог ничего придумать. Можно обмануть самое острое зрение самым незначительным прикрытием, обмануть чуткий слух даже антилопы или дикого осла, подвигаясь чуть слышно по степи, но запах остается на следах и распространяется во все стороны, и только расстояние или встречный ветер могут рассеять его.

Лай шакала заставил кочевника поднять голову. Он молча прислушался, потом сказал с беззвучным смехом:

— Мы в стране шакалов. Пусть Нам и Гав постараются убить одного шакала.

Спутники с удивлением взглянули на него. Тогда он прибавил:

— Нао останется сторожить в кусте... Шакал хитер, как волк, и человеку не подкрасться к нему. Но шакалы всегда голодны. Пусть Нам и Гав бросят кусок мяса и притаятся поблизости. Шакал подойдет, потом снова уйдет, потом опять вернется и уйдет, начнет кружить вокруг нас и вокруг мяса. Если ви будете сидеть неподвижно, и ваши головы и руки будут как каменные, шакал, наконец, бросится на мясо. Он только мелькнет перед вами,—схватит и быстро убежит, ваше копье должно быть проворнее его.

Нам и Гав пошли искать шакалов. Их нетрудно было выследить; их выдает крик, они знают, что ни одно животное не охотится на них. Уламры увидали шакалов около фисташковых деревьев. Их было четверо, они глодали скелет, на котором не оставалось ни одной жилки. Они не бросились бежать, завидя уламров, а уставились на них своими зоркими глазами, тихо заворчали, готовые в миг убраться, как только пришедшие подойдут слишком близко.

Нам и Гав сделали все, что им говорил Нао: бросили на землю кусок оленьего мяса и, отойдя, замерли, неподвижные, как стволы фисташковых деревьев. Шакалы мелкими шагами стали кружить по траве. Страх их ослабел, когда они услышали запах мяса.

Хотя им часто случалось видеть животное, ходящее вертикально, но никто из них не испытывал на себе его вероломства;

считая, однако, его сильнее себя, шакалы следовали за ним лишь на некотором расстоянии, и так как они были умными животными и знали, что опасность может грозить и при свете дня, и в темноте ночи, то стали действовать осторожно. Они долго рыскали вокруг уламров, делая большие круги, залезали под фисташковые деревья, снова вылезали из-под них и несколько раз обошли вокруг неподвижных тел людей. Серп луны успел уже покраснеть на востоке прежде, чем улеглось недоверие шакалов.

Шакалы становились уже смелее, подходили на двадцать локтей к мясу и останавливались надолго, глухо ворча. Наконец, алчность взяла верх, они вдруг отважились и бросились на приманку все разом, чтобы не дать кому-нибудь опередить других. Это произошло так стремительно, как предупреждал Нао. Но копья полетели еще быстрее и пронзили двух шакалов; остальные в это время успели утащить добычу, потом топорами уламры добили раненых животных.

Когда Нам и Гав принесли трупы, Нао сказал:

— Теперь мы обманем пожирателей людей. Запах шакалов гораздо сильнее нашего.

Огонь оживился от подброшенных веток и сучьев. Над равниной поднималось его дымящееся, всепожирающее пламя; яснее стало видно спящих на земле, оружие, провизию; два новых дозорных сменили прежних, оба они сидели, опустив головы и не подозревая опасности.

— Этих легче застигнуть врасплох,—сказал Нао, внимательно посмотрев на дозорных.—Нам и Гав охотились на шакалов, теперь пойду охотиться я.

Взяв с собой шкуру шакала, он спустился с холма и исчез в кустарниках. Сначала, чтобы его не заметили, он отошел в сторону от пожирателей людей. Выйдя из кустарников, он пополз по высокой траве, обогнул лужу, окаймленную тростниками и камышами, повернул к кзамам и очутился, наконец, под кустом, в четырехстах локтях от костра.

Дозорные не шелохнулись. Если кто-либо из них и услышал запах шакала, то это не могло его встревожить. Нао высмотрел все подробности стоянки. Сначала он пересчитал воинов и внимательно осмотрел их. Почти у всех была внушительная мускулатура: сильные груди, длинные руки и короткие ноги. Уламр подумал, что ни одному из них не перегнать его при погоне. Потом он осмотрел местоположение. Направо совершенно открытая

полоса земли отделяла его от небольшого холмика, за ними несколько кустарников и дальше налево тянулась полоса высокой травы. Эта полоса мысом продвигалась к костру на пять или шесть локтей от него...

Нао колебался недолго. Дозорные сидели к нему почти спиной, он пополз к холму. Он не мог скоро двигаться. При каждом движении дозорных он останавливался, распластывался на земле, как змея. Свет луны и отблеск костра беспокоили его; ему казалось, что какие-то тонкие руки тянутся к нему. Наконец, скользнув в кусты, он почувствовал себя в большей безопасности; пробравшись через полосу высокой травы, он очутился у огня. Он был почти в центре спящих воинов; большинство из них было на таком расстоянии, какое может пролететь копье.

При малейшей тревоге дозорных, при первом неловком движении он был бы схвачен. Но счастье его было в том, что ветер дул на него и уносил его запах, запах шкуры шакала. Да к тому же дозорные, казалось, дремали, лишь время от времени поднимая головы...

Нао вдруг появился в полосе света. Одним прыжком, прыжком леопарда, он очутился у костра, протянул руку и схватил головню. Он уже добрался до травы, когда раздался рев; один из дозорных бежал к нему, другой метал копье. Почти в ту же минуту поднялись десять человеческих теней.

Раньше, чем кто-либо из пожирателей людей бросился бежать, Нао перескочил полосу, где ему могли отрезать отступление. Потрясая воздух боевым кличем уламров, он несся по прямой линии к холму, где его ждали Нам и Гав.

Кзамы врассыпную, ворча, как кабаны, бежали по пятам. Несмотря на короткие ноги, они бежали скоро, но все-таки не могли догнать уламра: последний, потрясая своим факелом, летел как олень... Пять локтей отделяли его от них, когда он добежал до холма. Нам и Гав, стоя, ждали его.

— Бегите вперед!—крикнул он им.

Их стройные силуэты понеслись почти с такой же скоростью, как несся их вождь. Нао порадовался, что выбрал в спутники их, а не более старых, хотя и более сильных воинов; в десять скачков юноши опередили кзамов на два локтя. Нао без усилия поспевал за ними, останавливаясь время от времени, чтобы осмотреть свой факел. Его волновал исход погони и страх потерять свою огненную добычу, купленную такими страданиями. Пламя потухло, остался лишь горящий уголь, сырая часть ветки едва

тлела, но уголь горел еще так сильно, что Нао не терял надежды при первой остановке раздуть снова огонь...

Когда луна прошла почти треть своего пути, уламры добежали до болота. Это было для них кстати: перед ними была дорога, по которой они пришли; это была узкая, извилистая, но не топкая, проходившая по порфиру тропа; она привела их к кзамам. Они снова пошли по ней без колебания и сделали привал.

Два человека могли с трудом итти в ряд; но нельзя было развернуться для борьбы.

Кзамам пришлось бы или итти на большой риск, или обойти болота, но уламры всегда успевают обогнать их. Нао своим двойным инстинктом—человека и зверя—взвесил все и решил, что у него есть время раздуть огонь. Красный уголь стал заметно меньше, он потускнел и едва тлел.

Кочевники стали искать сухой травы и веток. Кругом было много засохшего тростника, пожелтевшей травы, сухих ивовых веток, но все это отсырело. Они вытерли несколько тоненьких веточек, стебельков, листьев.

Затухавшее пламя едва оживало, когда вождь стал на него дуть. На пучках травы на минуту вспыхивал слабый огонек; разгорался, потом останавливался, дрожа, уменьшался и замирал, не совладев с сыростью. Нам вспомнил о щетине шакала и бросил несколько щепоток, щетинки зарделись, радость и страх душили уламров.

Нао увидел сверкающий маленький огонек, трепещущий и горячий.

— Вот,—сказал гордо он,—Нао завоевал Огонь.

Нам и Гав издали громкий крик; глаза их расширились от восхищения, они бросились к ногам вождя, бормоча:

— Нао так же хитер, как целое племя людей!.. Он будет великим вождем уламров, и никакой враг не устоит перед ним!

Они сели у слабого огонька, и словно солнце ночи стало защищать их от жестокости темноты, у входа в родные пещеры, под холодным блеском звезд, пред блуждающими огоньками великого болота. Мысль о том, что долго придется им возвращаться домой не беспокоила больше их: когда они покинут земли великой реки, кзамы не будут преследовать их, и пойдут они по землям, где бродят только звери.

Долго мечтали они; будущее принадлежит им и кажется им заманчивым.

Жан Рони.

ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ.

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам:
Их села и нивы, за буйный набег,
обрек он мечам и пожарам.
С дружиной своей, в царе-градской броне,
князь по полю едет на верном коне.
Из темного леса, навстречу ему,
идет вдохновенный кудесник.
Покорный Перуну старик одному,
заветов грядущего вестник,
в мольбах и гаданьях проведший весь век.
И к мудрому старцу под'ехал Олег.
„Скажи, мне, кудесник, любимец богов,
что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль на радость соседей-врагов,
могильной засыплюсь землею?
Открой мне всю правду, не бойся меня:
в награду любого возьмешь ты коня“.
„Волхвы не боятся могучих владык,
а княжеский дар им не нужен;
правдив и свободен их вещий язык
и с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
но вижу твой жребий на светлом челе.
Запомни же ныне ты слово мое:
воителю слава — отрада;
победой прославлено имя твое;
твой щит на вратах Царе-града;
и волны, и суша покорны тебе;
завидует недруг столь дивной судьбе.
И синего моря обманчивый вал
в часы роковой непогоды,
и пращ, и стрела, и лукавый кинжал
щадят победителя годы...
Под грозной броней ты не ведаешь ран;
незримый хранитель могучему дан.
Твой конь не боится опасных трудов;
он, чуя господскую волю,
то смирный стоит под стрелами врагов,
то мчится по бранному полю,
и холод, и сеча ему ничего:
но примешь ты смерть от коня своего“.
Олег усмехнулся; однако чело
и взор омрачилися думой.
В молчаньи, рукой опершись на седло,
с коня он слезает угрюмый,

и верного друга прощальной рукой
и гладит, и треплет по шее крутой.
„Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
расстаться настало нам время;
теперь отдыхай: уж не ступит нога
в твое позлащенное стремя.
Прощай, утешайся, да помни меня.
Вы, отроки-други, возьмите коня!
Покройте попоной, мохнатым ковром;
в мой луг под уздцы отведите;
купайте, кормите отборным зерном,
водой ключевою поите".
И отроки тотчас с конем отошли,
а князю другого коня подвели.
Пирует с дружиной вещий Олег
при звоне веселом стакана.
И кудри их белы, как утренний снег
над славной главою кургана...
Они поминают минувшие дни
и битвы, где вместе рубились они.
„А где мой товарищ", промолвил Олег:
„Скажите, где конь мой ретивый?
Здоров ли? Все также ль легок его бег?
Все тот же ль он бурный, игривый?"
И внемлет ответу: на холме крутом
давно уж почил непробудным он сном.
Могучий Олег головою поник
и думает: „Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня".
И хочет увидеть он кости коня.
Вот едет могучий Олег со двора,
с ним Игорь и старые гости,
и видят — на холме, у брега Днепра,
лежат благородные кости;
их моют дожди, засыпает их пыль,
и ветер волнует над ними ковыль.
Князь тихо на череп коня наступил
и молвил: „Спи, друг одинокий!
Твой старый хозяин тебя пережил:
на тризне, уже недалекой,
не ты под секирой ковыль обагришь
и жаркою кровью мой прах напоишь!
Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!"

Из мертвой главы гробовая змея,
шипя, между тем, выползала;
как черная лента вкруг ног обвилась,
и вскрикнул внезапно ужаленный князь.
Ковши круговые, запенясь, шипят
на тризне плачевной Олега:
князь Игорь и Ольга на холме сидят;
дружина пирует у брега;
бойцы поминают минувшие дни
и битвы, где вместе рубились они.

А. С. Пушкин.

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ.

Веснянка

Весна красна!
на чем пришла?
на чем приехала?

На сошечке,
на бороночке!

Весна красна!
что ты нам принесла?

Красное летечко!
Весна, весна красная!
приди, весна, с радостью,
с радостью, радостью,
с великою милостью:
со льном высоким,
с корнем глубоким,
с хлебом обильным!

Жнивные песни.

I.

(Украинская песня в конце жатвенного дня).

Ой, добрая ночь, широкое поле,
жито ядреное!
Добрая ночь, на здоровье!
Жницы молодые, серпы золотые!
Приходите завтра раненько,
как солнце взойдет, роса опадет;
да приносите по караваю хлеба,
по белому сыру...
Уже солнце взошло, роса опала.
а мои жницы не бывали, —
утомились они, или уморились,
или обо мне, ниве, забыли?
Мы не уморились, не утомились,
и о тебе, нива, не позабыли.

II.

(Белорусская народная песня).

Жала, жала до вечера,
болит моя поясница.
Я жала — не лежала,
за день копны не нажала,
я думала — три копны,
оглянулась — три снопа.

ПОСЛОВИЦЫ.

а) Мифические.

Солнце днем работает, а ночью отдых берет.
Серый волк на небе звезды ловит.
Сказал бы словечко, да волк недалечко.
Взял боженьку за ноженьку, да и об пол.

б) Семейные.

В девках сижено — горе мыкано, замуж выдано — вдвое прибыло.
Замуж идет, песни поет, а вышла, — слезы льет.
Не в полон отдают, а замуж берут.

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ [1])

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый шум, весенний Шум!

Играючи расходится
вдруг ветер верховой:
качнет кусты ольховые,
поднимет пыль цветочную;
как облако: все зелено,
и воздух и вода!

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний Шум!

Как молоком облитые,
стоят сады вишневые,
тихохонько шумят;
пригреты теплым солнышком,
шумят повеселелые
сосновые леса;
а рядом, новой зеленью
лепечут песню новую
и липа бледнолистая
и белая березонька
с зеленою косой!
Шумит тростинка малая,
шумит высокий клен...
Шумят они по-новому,
по-новому, весеннему...
Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний Шум!

Н. Некрасов.

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ.

Не начать ли нашу песнь, о, братья,
со сказаний о старинных бранях, —
песнь о храброй Игоревой рати
и о нем, о сыне Святославле,
и воспеть их, как поется ныне,
не гоняясь мыслью за Бояном!

БІБЛІОТЕКА НАУК. ТОВ. ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ

[1]) Так в народной поэзии называется пробуждение природы

Песнь слагая, он, бывало, Вещий,
быстрой векшей по лесу носился,
серым волком в чистом поле рыскал,
что орел ширял под облаками!
Как вспомнит брани стародавни,
да на стаю лебедей и пустит
десять быстрых соколов вдогонку;
и какую первую настигнет,
для него и песню пой та лебедь, —
песню пой о старом Ярославле-ль
о Мстиславле-ль, что в бою зарезал,
поборов, касожского Редедю,
аль о славном о Романе Красном...
Но не десять соколов то было:
десять он перстов пускал на струны,
и князьям, под вещими перстами,
рокотали славу сами струны!..

Поведем же, братия, сказанье
от времен Владимировых древних,
доведем до Игоревой брани
как он думу крепкую задумал,
навострил отвагой храброй сердце,
раскалился славным ратным духом
и на землю русскую дружины
в степь повел на ханов половецких.

Так в те брани, так в те рати было,
но такой, как Игорева битва,
на Руси не видано от века!

От зари до вечера день целый,
с вечера до света реют стрелы,
гремлют остры сабли о шеломы,
с треском копья ломятся булатны,
середи неведомого поля,
в самом сердце Половецкой степи!
Под копытом черное все поле
было сплошь засеяно костями,
было кровью алою полито,
и взошел посев по Руси горем!..

Что шумит-звенит перед зарею?
Скачет Игорь полк поворотити...
Жалко брата... Третий день уж бьются!
Третий день к полудню уж подходит:
Тут и стяги Игоревы пали!
Стяги пали, тут и оба брата
на Каяле быстрой разлучились...
Уж у храбрых русичей не стало
тут вина кровавого для пира,
попоили сватов и костями
полегли за отческую землю!
В поле травы с жалости поникли,
дерева с печали преклонились...

Невеселый час настал, о, братья!
Уж пустыня скрыла поле боя,
где легла Дажьбожья внука сила —
но над ней стоит ее обида...
Приняла Обида образ девы,
и ступила на землю Трояню,
распустила крылья лебедины
и, крылами плещучи у Дона,
в синем море плеща, громким гласом
о годах счастливых поминала:

„От усобиц княжих — гибель Рус
„Братья спорят: то мое и это!
„зол раздор из малых слов заводят,
„на себя куют крамолу сами,
„а на Русь с победами приходят
„отовсюду вороги лихие!

„Залетел далече ясный сокол,
„загоняя птиц ко синю морю, —
„а полка уж Игорева нету!
„На всю Русь поднялся вой поминок,
„поскочила скорбь от веси к веси
„и, мужей зовя на тризну, мечет
„им смолой пылающие роги...
„Жены плачут, слезно причитают:
„Уж ни мыслью милых нам не смыслить!
„Уж ни думой лад своих не сдумать!

„Ни очами на них не глянуть,
„златом, серебром нам уже не звякнуть!

„Стонет Киев, тужит град Чернигов.
„Широко печаль течет по Руси;
„а князья куют себе крамолу,
„а враги с победой в селах рыщут,
„собирают дань по белке с дыму...
„А все храбрый Всеволод да Игорь!
„То они зло лихо разбудили;
„усыпил было его могучий
„Святослав, князь киевский великий...
„Был грозой для ханов половецких!
„Наступил на землю их полками,
„притоптал их холмы и овраги,
„возмутил их реки и озера,
„иссушил потоки и болота!
„А того поганого Кобяка
„из полков железных половецких,
„словно вихрь, исторг из лукоморья —
„и упал Кобяк во стольный Киев,
„в золотую гридню к Святославу...
„Немцы, греки и венецияне,
„и морава хвалит Святослава,
„и корят все Игоря, смеются,
„что на дне Каялы Половецкой
„погрузил он русскую рать-силу,
„реку русским золотом засыпал,
„да на ней же сам с седла златого
„на седло кощея пересажен.

В городах затворены ворота.
Примолкло на Руси веселье.

ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ.

Державный Карл, наш славный император,
семь долгих лет в Испании сражался:
и до моря вся горная страна
в его руках; сдалися Карлу замки,
разбиты башни, грады покорились,
и стены их рассыпались во прах.

Лишь не взял Карл Великий Сарагоссы,
что на горе стояла: царь Марсилий
владеет ею; в бога он не верит, —
он Аполлону служит, Мухамеду,
но близок час погибели его.

Марсилий, испуганный успехами франков, отправляет к Карлу послов во главе с Бланкадрином, чтобы обмануть его ложными обещаниями и заставить удалиться во Францию.

Могучий Карл и радостен, и светел:
он взял Кордову, стены разгромил,
на землю он поверг твердыню башен...
И знатная добыча людям Карла
досталась там, — набрали без конца
и серебра, и золота литого,
роскошных сбруй доспехов драгоценных...
Язычников в Кордове не осталось:
побитых тьма, — живые крещены.
Великий Карл сидит в саду роскошном;
вокруг него Роланд и Оливьер,
и вождь Самсон, и Ансеис надменный
Жоффей д'Анжу, знаменоносец Карла,
Жерен, Жерье Ивон и с ним Иворий,
Одон-силач, гасконец Энжелье,
за ним старик Жерар из Русильона
и славный вождь, могучий Беранжье.
Но кроме них там многие другие:
баронов Карла — всех пятнадцать тысяч.
Сидят на белых шелковых коврах,
играют в кости; те же, кто постарше
и кто умней, те в шахматы играют.
Вдали проворных юношей толпы
увлечены потехой богатырской...
Под сенью ели, где цветет шиповник,
сидит на троне золота литого
прекрасной нашей Франции король.
Волной седые кудри ниспадают,
а борода его белее снега.
Прекрасен Карл, горда его осанка.
Узнали сразу франков властелина

послы испанцев, спешились они,
любовно все приветствовали Карла.

Пошел вперед и молвил Бланкадрин:
„Храни тебя, король, твой бог всесильный,
тот дивный бог, которому ты служишь!
Велел тебе сказать Марсилий храбрый,
что расспросил о вашей вере он,
что ваш закон один ведет к спасенью!
С тобой разделит царь свои богатства:
пошлет собак, верблюдов, львов, медведей
и тысячу слинявших соколов,
четыре сотни мулов, нагруженных
и золотом, и серебром арабским.
Наполнишь ты богатыми дарами
возов огромных больше полусотни.
Так много царь пошлет монет чеканных,
что сразу войску плату ты отдашь...
Великий Карл, ты долго здесь сражался,
пора тебе домой вернуться в Ахен!
Марсилий наш пойдет за вами следом,
чтоб там принять святой закон Христа.
Вот все, что он велел тебе поведать".
И поднял руки к небу Карл Великий,
поник челом и в думу погрузился...
...Могучий Карл сидит под сенью ели,
Своих баронов он к себе зовет:
пришел Ожье, Турпин архиепископ,
старик Ричард, его племянник Генрих,
и храбрый вождь гасконский Аселин,
пришел Жерен, Жерье, Тибальд из Реймса
и брат его двоюродный Милон,
и граф Роланд с могучим Оливьером.
До тысячи сошлось баронов Карла, —
меж ними был изменник Ганелон.
И сели все. Тогда совет был принят,
принесший франкам столько тяжких бед.

Император решает вступить в переговоры с Марсилием.

„Французские бароны, — молвил Карл: —
вы средь моих вассалов изберите,

кто наш ответ доставит в Сарагоссу".
Роланд в ответ: „Пусть едет Ганелон
(он вотчим мой) — пригоднее барона
нельзя найти". И молвили французы:
„Он лучше всех исполнит порученье!".

„Возьми, барон, мой посох и перчатку, —
сказал король могучий Ганелону, —
ты слышал сам: тебя избрали франки".
И отвечал на это Ганелон:
„Всему виной один лишь твой племянник.
пока я жив, я буду ненавидеть
Роланда, пэров, любящих Роланда,
и Оливьер, его сердечный друг,
отныне враг мне! Всех пред ликом Карла
на смертный бой не медля вызываю!"
„Как злобен ты! — воскликнул император, —
не граф Роланд, а я тебе велю
везти тотчас Марсилию посланье".
„Что ж? Я готов! — ответил Ганелон... —
Я еду в путь; домой не возвращался,
кто послан был к Марсилию... Король,
не забывай, что я твой зять, что сына
оставил я в краю родном... красавец
мой Балдуин, — и если сохранит
его господь, то витязем могучим,
отважным будет он... Мои владенья
отдай ему; лишь ты его защитник...
Увы! я больше сына не увижу!"
„Уж слишком ты разнежился, барон! —
воскликнул Карл. — Велю тебе поехать,
и дольше здесь не должен медлить ты!"

Чтобы отомстить Роланду, Ганелон предает его. По дороге в Сарагоссу он уславливается с Бланкадрином о том, как погубить своего ненавистного пасынка. Марсилий окончательно склоняет Ганелона к тому, чтобы предать Роланда. Ганелону удается, возвратясь в ставку Карла, обмануть императора. Он уверяет его в том, что Марсилий якобы признает себя побежденным. И по совету Ганелона Карл удаляется с главными силами во Францию, мучимый, однако, тревожными предчувствиями. Для прикрытия отступления он оставляет в ариергарде, среди мрачных ронсевальских ущелий, Роланда, пэров и двадцать тысяч отборных воинов. К ним подкрадываются несметные полчища сарацинов.

Битва франков с сарацинами.

Через горные испанские теснины
промчался граф Роланд на Вейлантифе,
на скакуне своем. Прекрасен граф,
ему к лицу доспехи боевые;
в руках он держит острое копье,
играет им, и к небу голубому
под'емлет он стальное острие;
к копью значок привешен белоснежный,
и от него до самых рук спадают
златые ленты; горд Роланд могучий,
и счастием блистает лик его.
Гарцует рядом друг его прекрасный...
Великий гул услышали французы.
«Товарищ мой, — воскликнул Оливьер, —
сдается мне, что ныне с сарацином
жестокий бой французам предстоит».
Роланд в ответ: „Ну, что же, слава богу,
за короля должны мы храбро биться:
обязан каждый витязь за сеньора,
терпеть лишенья, раны, холод зной,
щадить не должен кровь свою и тело!
Товарищи, с плеча рубите мавров,
чтоб песнь о нас позорную сложить
не мог никто. Всевышний не за мавров,
ведь наше дело правое, святое, —
худой пример я не подам, друзья!“
На холм крутой взобрался Оливьер,
увидел он испанские долины
и все войска неверных сарацин:
сверкают брони, копья со значками,
блестят щиты и шлемы золотые,
одних полков не мог он сосчитать.
Сошел с горы в смущеньи и печали
и все подробно франкам рассказал.

„Испанских мавров видел я так много,
как ни один из смертных не видал!
Перед нами их не менее ста тысяч:
у всех щиты, прямые копья, брони,

надели все стальные шишаки.
Да, будет бой, какого не бывало!
Храни вас бог, товарищи французы!
Не уступайте поля битвы маврам,
не дайте им победы одержать!"
„Будь проклят тот, кто дрогнет!—молвят франки.—
С тобою все мы ляжем здесь костьми!"

И молвил граф: „Испанцев много тысяч,
немного нас! Роланд, товарищ милый,
трубите в рог,—услышит император,
вернется он—и с ним все войско наше".
Роланд в ответ: „Безумцем буду я,
покроюсь я во Франции позором!..
Не в рог трубить,—мечом стальным я должен
врагов разить и кровью багряной
покроется мой добрый Дюрандаль [1])
до золота тяжелой рукоятки!
Пришли себе на горе сарацины:
ручаюсь вам, погибнуть все должны!"

„Трубите в рог, Роланд, товарищ милый,—
услышит Карл, на помощь к нам немедля,
примчится он со всей своей дружиной".
Роланд в ответ: „Избави бог, чтоб я
всех родичей своих покрыл позором
и Францию родную осрамил!
Мой добрый меч работать славно будет,
в багряный цвет окрасится булат,
испанским маврам плохо здесь придется:
погибнут все, я в том клянусь, друзья!"

„Роланд, товарищ, в звонкий рог трубите,—
услышит Карл, проходит он ущелья,—
ручаюсь вам, вернется войско франков".
Роланд в ответ: „Избави бог, чтоб люди
могли сказать, что в рог я затрубил

[1]) Излюбленное оружие витязей старо-французских эпопей — меч. Меч является как бы живым существом. Ему дается особое название: Мурглейс—меч Ганелона, Дюрандаль—Роланда и т. д.

из-за поганых, — родичей и близких
не опозорю я таким упреком!
Когда ж настанет час великой битвы, —
всего ударов тысячу семьсот
я нанесу неверным, свежей кровью
окрасится мой добрый Дюрандаль!
Надежны франки, вместе на испанцев
ударим мы — и все они погибнут!"

„Ты наш оплот, ты славный наш защитник!" —
кричат Роланду франкские полки.
Он бросил взгляд суровый на неверных,
с любовью нежной смотрит на французов
и ласковое слово им сказал:
„Товарищи, коней своих сдержите,
идут себе на гибель сарацины,
захватим мы великую добычу,
какой никто из франкских королей
не добывал доныне". Так он молвил.
На бой дружины начали сходиться.

„Не стоит спорить, — молвил Оливьер. —
В свой рог, Роланд, трубить вы не хотели.
Далеко Карл, не знает он, конечно,
что здесь сегодня бой нам предстоит!
Нельзя винить его и прочих франков...
Вперед, за мной, вперед, мои бароны,
я богом, вас, синьоры, заклинаю
не отступать. Рубитесь вы с плеча,
лишь об ударах ныне помышляйте,
не забывайте клич призывный Карла!"
И грозный клич пронесся по ущельям;
кто раз слыхал „Монжой" [1]) и „Сен-Денис",
тот знал, что значит доблесть и отвага!
Помчались гордо франки на неверных,
осталось им одно — рубить врагов,
но сарацины также не робеют.
И вот сошлись на бой дружины!

---

[1]) Монжой — боевой клич французских дружин.

Все шире, шире бой распространялся,
Роланд себя нимало не жалеет, —
копьем разит испанских сарацин.
Пятнадцать он нанес ударов маврам,
и вот — копье на щепки разлетелось!
Тогда Роланд извлек свой Дюрандаль
пустил коня, Шернублия [1]) ударил
и шлем рассек, каменьями покрытый,
стальной шишак рассек и волоса,
глаза рассек, лицо, и грудь, и броню,
спиной хребет, седло рассек златое, —
в спине коня завяз булатный меч, —
и конь и мавр на поле битвы пали.
„Презренный мавр! — сказал племянник Карла, —
в недобрый час сюда явился ты!
Твой Магомет помочь тебе бессилен, —
нет, не таким как ты, нас победить!"

Помчался вскачь Роланд по полю битвы,
в его руке булатный Дюрандаль.
О, если б вы тогда его видали!
Как он рубил неверных сарацин!
Багряным стал булатный меч Роланда,
покрыты кровью руки, плечи, броня
и добрый конь до самых бедр крутых.
Граф Оливьер и все двенадцать пэров
не отстают. Французы колят, рубят...
Покрыли сплошь великой битвы поле
в предсмертных корчах груды сарацин.
Тогда Турпин воскликнул в восхищеньи:
„Эх, хорошо бароны бьются наши!"
Гремит „Монжой", победный Карла клич.

Вот Оливьер по полю битвы мчится,
в его руке осколок от копья;
помчался граф на мавра Мальзарона
и щит разбил, украшенный цветами;
глаза и мозг испанца от удара
к его ногам упали на траву.

---

[1]) Шернублий – один из главных и наиболее сильных вождей мавров.

Граф Оливьер убил семьсот неверных,
„Что вижу я? воскликнул граф Роланд. —
Друг Оливьер, ты ныне безоружен.
Не так сегодня бьются с нами мавры,
чтоб их могли дубиной мы прогнать!
Нам сталь нужна и твердое железо!
Куда девал ты свой булатный меч,
свой Альтеклер? На нем златые дужки,
из хрусталя вершина рукоятки".
„Мне недосуг извлечь его! - ответил
граф Оливьер, — врагов разить я должен!"

Граф Оливьер извлек свой меч булатный
об нем Роланд не даром вопрошал, —
граф Оливьер свой меч ему являет:
Юстина он язычника ударил,
рассек чело и латы расписные,
рассек коня. Упал на землю всадник
и добрый конь. — „Товарищ Оливьер,
такой удар оценит император,
отныне будь ты мне названный брат!" —
Так граф Роланд воскликнул к Оливьеру.
И клич „Монжой!" опять гремит победно.

Все жарче бой. Жестокие удары
валят на землю франков, сарацин...
Одни разят, другие отражают.
Напор врагов, — и сколько острых копий
разбито там и кровью обагрилось!
Разорваны знамена и значки.
О, сколько франков юных там погибло:
им не видать ни жен, ни матерей,
ни короля, что ждет среди ущелий!

Разят сплеча французские полки.
Побиты сотни, тысячи неверных, —
из всех ста тысяч двое уцелели.
„Дерутся храбро ныне франки наши! —
сказал Турпин. — В деяньях славных франков
написано, что добрый наш король
имеет много доблестных вассалов".

По полю битвы франкские бароны
идут искать товарищей своих,
по родичам своим они рыдают...
Идет на них с дружиною несметной
неверных царь—Марсилий сарагосский!

Увидев рать несметную неверных,
покрывших сплошь и горы, и долины,
к себе на помощь франки призывают
Роланда, пэров, графа Оливьера.
Архиепископ слово им сказал:
„Друзья мои, вы мавров не страшитесь,
я богом вас, сеньоры, заклинаю
не отступать, не дрогнуть, чтоб певцы
о нас позорной песни не сложили!
Здесь лучше нам погибнуть всем со славой.
Надежды нет,—мы ляжем здесь костьми!
Зато, друзья, товарищи, пред вами
в цветущий рай теперь раскрыта дверь!
Вы завтра воссядете средь хора
святых страдальцев". Так он молвил франкам,
и снова все отвагою пылают,
и вновь гремит победный клич: „Монжой!"

И вот опять на бой помчались франки,
посыпались жестокие удары.
Но много пало славных христиан!..
Как яростно работали мечами
среди врагов Роланд и Оливьер,
копьем разил Турпин архиепископ:
всего четыре тысячи неверных,
убитых ими в сече, насчитали.
Так книги нам и песни говорят!
Четыре первых приступа отбили
успешно франки, пятый был ужасен:
погибли все французские бароны...

Перев. Ф. Г. *де-ла Барта.*

ТУРНИР.

(*Отрывок из романа „Айвенго"*).

Турнир назначен был в Эшби, в графстве Лейстерском. Туда должны были явиться знаменитейшие рыцари; предполагали, что принц Иоанн почтит своим присутствием турнир Это обстоятельство привлекало всеобщее внимание, а потому огромные толпы людей всех званий спешили в назначенное утро к месту сражений рыцарей.

Обнесенное место имело форму продолговатого четыреугольника, углы которого были значительно округлены для большего удобства зрителей. Входы для бойцов находились на северном и южном концах арены и затворялись крепкими деревянными воротами, достаточно широкими для в'езда двух всадников рядом. У ворот этих стояло по два герольда с шестью трубами, с таким же числом прислужников и сильным отрядом воинов, для соблюдения порядка и для проверки рыцарского достоинства тех, кто желал принять участие в турнире.

По ту сторону южного входа, на платформе, образованной естественным возвышением, разбиты были пять великолепных шатров.

Пред каждым шатром висел щит занимавшего его рыцаря, а возле шатра стоял его оруженосец, облеченный в причудливую одежду дикаря или фавна, или в другой какой-нибудь странный наряд, сообразно вкусу его господина или той роли, которую он хотел играть во время турнира. Шатер, стоявший в центре, на почетном месте, был предназначен Бриану де-Гильберу, слава которого во всех рыцарских увеселениях, равно и связи с рыцарями-распорядителями турнира заставили принять его предводителем в числе вызывающих.

По одну сторону его шатра разбиты были шатры Реджинальда Фрон-де-Бефа и Филиппа де-Мальвуазена; по другую — шатер Гюга де-Гранмениля, благородного барона из соседней местности, предок которого был лордом-сенешалом Англии во времена Завоевателя и сына его, Вильгельма Рыжего. Ральф де-Випон, рыцарь ордена Иоанна Иерусалимского, владевший старинными поместьями в местечке Гитер, близ Эшби-де-ла-Зуш, занимал пятый шатер. От входа на арену вела отлогая дорога, в десять ярдов шириною, к платформе, на которой были разбиты палатки. Она так же, как и площадка перед шатрами, была обнесена с обеих сторон крепким частоколом и охранялась воинами.

Северный край арены заканчивался таким же входом, шириною в тридцать футов. За ним виднелось обширное огороженное пространство для рыцарей, желающих сразиться с вызывающими; позади расположены были шатры с прохладительными напитками для рыцарей, оружейниками, кузнецами и служителями, готовыми подать помощь в случае нужды.

По ту сторону арены устроены были временные галлереи, устланные коврами и шитыми материалами, с сидениями для дам и дворянства, которые ожидались на турнир.

Узкое пространство между этими галлереями и цирком назначалось для помещения свободных поселян, тех зрителей, которые стояли выше простонародия. Эту часть галлереи можно сравнить с партером наших театров. Чернь помещалась на широких дерновых скамьях, нарочно для того приготовленных; при естественном возвышении земли они давали возможность смотреть поверх галлерей и хорошо видеть цирк.

Несмотря на это удобство, несколько сотен народа взобралось на ветви деревьев вокруг луга; даже колокольня соседней сельской церкви была покрыта зрителями.

Для полноты картины остается прибавить, что в средней части галлереи—с восточной стороны арены,—следовательно, как раз против того места, где должно было произойти столкновение сражающихся,—возвышалось над всеми другими местами сооружение вроде трона с балдахином, богато разукрашенными королевскими гербами. Оруженосцы, пажи и телохранители в богатых одеяниях окружали это почетное место, предназначенное для принца Иоанна и его свиты. Против королевской галлереи находилась другая, такая же возвышенная, арена, с западной стороны, украшенная хотя и не так великолепно, как галлерея принца, но зато более блестяще. Толпа пажей и девиц, самых красивых, каких только можно было выбрать, в блестящих фантастических одеждах зеленого и розового цвета, окружала трон, украшенный теми же цветами. Среди вымпелов и флагов с изображением сердец раненых, сердец пылающих, сердец, истекающих кровью, луков и колчанов и всевозможных банальных эмблем торжества Купидона, надпись на щите извещала зрителей, что это почетное место назначалось для La Reine de la Beauté et des Amours [1]). Но той, кому было суждено представлять царицу красоты и любви, никто еще не мог отгадать.

---

[1]) Царица красоты и любви.

Между тем зрители торопились занять места, сообразно своему званию, при чем не обошлось без ссор по поводу мест. Ссоры людей низшего сословия были улажены без церемоний военною стражею: древка алебард и рукоятки мечей были тут лучшими доводами для наиболее строптивых. Но споры людей более значительных разрешались герольдами или обоими маршалами турнира, Вильямом де-Уйвилем и Стефаном Мартивалем; вооруженные с головы до ног, они раз'езжали взад и вперед по арене и поддерживали порядок среди зрителей.

Постепенно галлереи наполнялись рыцарями и баронами в мирной праздничной одежде; их длинные и разноцветные мантии составляли резкий контраст с более блестящими и щеголеватыми нарядами дам, которые в гораздо большем числе, чем мужчины, спешили на торжество, пожалуй, слишком кровавое и жестокое для их пола. Нижние и внутренние места тотчас же наполнялись поселянами, мещанами, а также и тем дворянством, которому скромность, бедность или сомнительность рода не дозволяли домогаться лучшего места. Между ними-то и происходили чаще всего ссоры.

Общее внимание было привлечено внезапным появлением принца Иоанна, в'езжавшего на арену в сопровождении многочисленной, блестящей свиты, частью из светских, частью из духовных лиц, одежда которых была так же нарядна, а лица так же веселы, как и их товарищей. Среди последних находился приор из Жорво в самом щегольском наряде, в каком духовная особа могла только показаться. Мех и золото преобладали в его одежде, носки его башмаков, перещеголяв нелепую моду того времени, загибались так высоко, что были прикреплены не к коленам, а к самому поясу, и положительно препятствовали ему ставить ногу в стремя. Это неудобство, однакоже, было не важно для щеголеватого аббата; наоборот, он был рад удобному случаю проявить во всем блеске свое верховое искусство в присутствии такой массы людей, в особенности женского пола; употребление же стремян предоставлял он более трусливым наездникам. Остальная часть свиты Иоанна состояла из любимых предводителей его наемных войск, нескольких хищных баронов, развратных придворных и нескольких рыцарей-храмовников и рыцарей св. Иоанна.

Здесь не лишним будет заметить, что рыцари упомянутых двух орденов считались враждебными королю Ричарду, так как приняли сторону Филиппа, короля французского, во время беско-

нечных распрей, происходивших между этим монархом и Львиным Сердцем, королем Англии. Следствием этого несогласия было то, что неоднократные победы Ричарда остались бесплодными, его романтическое предприятие овладеть Иерусалимом не удалось, и результатом всей приобретенной им славы оказалось лишь заключение ненадежного перемирия с султаном Саладином. Следуя той же политике, которую преследовали их братья во Святой Земле, храмовники и госпиталиты в Англии и Нормандии присоединились к партии принца Иоанна и не имели причин желать — ни возвращения Ричарда в Англию, ни восшествия на престол законного его наследника Артура. По совершенно иным причинам принц Иоанн презирал и ненавидел немногих оставшихся в Англии родовитых саксов; он не упускал ни малейшего повода к унижению и оскорблению их, потому что знал, какую они питают вражду к нему и к его замыслам; чувство это разделяла с ним большая часть английских подданных, страшившихся еще большего ограничения своих прав и свобод со стороны монарха с такими деспотическими наклонностями, как принц Иоанн.

Сопровождаемый этой щегольской свитой, в роскошной одежде алого цвета, вышитой золотом, с соколом на руке, с головою, покрытою богатой меховой шапкой, украшенной рядами драгоценных каменьев, из-под которой ниспадали на плечи длинные волнистые волосы, принц Иоанн на сером горячем коне скакал по арене, во главе своей веселой компании, весело разговаривал с приближенными и оглядывал, со смелостью венценосного знатока, красавиц, украшавших высокие галлереи.

Даже те, кто во внешности принца видел одну наглую распущенность, соединенную с крайним высокомерием и полным равнодушием к чувствам посторонних людей, не мог отказать его чертам в приятности, свойственной лицам, счастливо одаренным от природы, отличающимся врожденным светским лоском. Черты лица его были так открыты и благородны, что природные качества его души совершенно стушевывались под ним. Подобное выражение лица зачастую принимается за мужественную прямоту, тогда как на самом деле оно—не что иное, как полное равнодушие надменного человека, застывшего в горделивом сознании знатности своего рода, своего богатства и других привилегий, нимало не зависящих от личных его достоинств. Для тех, кто не вникал так глубоко,—а их число относилось как сто к одному,—великолепие мехового палантина принца Иоанна, богатство его

одежды, подбитой самыми дорогими соболями, его сафьяновые башмаки и золотые шпоры, в связи с ловкостью, с которою он управлял своим конем, были достаточными поводами для оглушительных рукоплесканий.

Принц Иоанн, заняв свой трон, окруженный свитою, дал знак герольдам огласить правила турнира, которые вкратце были таковы:

Во-первых, пять вызывающих рыцарей должны биться со всеми противниками.

Во-вторых, каждый рыцарь, желающий сражаться, может по желанию избрать себе противника из числа вызывающих, прикосновением к щиту его. Если он коснется древком копья, то состязание должно совершаться оружием вежливости, т. е. копьями, на конце которых прикреплена круглая плоская дощечка, так что, кроме падения коня и всадника, более серьезной опасности им не грозит. Если удар наносится в щит острием копья, то сражение должно происходить a outrance, т. е. острым оружием, как в настоящей битве.

В-третьих, если присутствующие рыцари исполнят свои обязанности, т. е. если каждый из них переломит пять копий, то принц имеет право провозгласить победителя в первый же день турнира, и этот победитель получает приз — прекрасного коня необыкновенной красоты и силы, и вдобавок к этой награде рыцарь-победитель приобретает право назначить королеву красоты и любви, которая в следующий день будет раздавать награды победителям.

В-четвертых, об'являлось, что на второй день состоится общий турнир, в котором могут принять участие все присутствующие рыцари, желающие получить награду; разделившись на две равные группы, они могут сражаться до тех пор, пока принц Иоанн не подаст знака прекратить битву. Тогда избранная королева красоты и любви увенчает рыцаря, которого принц провозгласит победителем в этот второй день, и возложит на него венец из золотых пластинок, наподобие лаврового венка. На второй день рыцарские увеселения заканчиваются, но затем состоятся стрельба из лука, бой быков и другие народные увеселения.

Этим путем принц Иоанн старался положить основание своей популярности, которой он, однако, постоянно вредил своими необдуманными выходками, оскорбляя чувства и обычаи народа.

Арена представляла собою великолепное зрелище. Верхние галлереи были наполнены зрителями, наиболее знатными, бога-

тыми и прекрасными из северных и средних провинций Англии. Разнообразие одежд благородных зрителей представляло приятную и великолепную картину, тогда как средние и нижние ряды, наполненные богатыми горожанами и свободными поселянами веселой Англии, в костюмах попроще, составляли темную кайму вокруг этого блестящего круга, увеличивая и выделяя его блеск и великолепие.

Герольды закончили свое чтение обычным возгласом: „Щедрость, щедрость, храбрые рыцари!“ И дождь золотых и серебряных монет посыпался на них с галлерей, так как высшим долгом рыцарства считалась щедрость к тем, которых тот век признавал и распорядителями, и источниками подвигов чести. На щедрость зрителей герольды отвечали обычными возгласами: „Любовь дамам, смерть противникам, честь великодушным, слава храбрецам!“ К этому простые зрители также присоединяли свои восклицания, и многочисленные трубачи оглашали воздух звуками военных инструментов. Как только эти звуки смолкли, герольды удалились в стройном и блестящем порядке, и на арене не осталось никого, кроме маршалов турнира, которые, будучи вооружены с головы до ног, сидели на своих конях, в противоположных концах арены, неподвижно, как статуи. В ту же минуту, как ни было просторно огороженное пространство у северного входа, оно мгновенно наполнилось толпой рыцарей, желавших испытать свою силу в борьбе с вызывающими. С галлереи они представляли вид моря волнующихся перьев, перемешанных с блестящими шлемами и высокими копьями, на конце которых у многих были прикреплены небольшие, величиною в ладонь, значки, колебавшиеся от ветра; вместе с беспрерывными движениями перьев, это сильно оживляло зрелище.

Наконец, барьер был поднят, и пять рыцарей, избранные по жребию, медленно выехали на арену: один из них ехал впереди, другие следовали за ним, по два в ряд. Все были в великолепном вооружении. Мой саксонский источник (манускрипт Уардора) подробно описывает их девизы, цвета и шитье конской сбруи. Излишне входить здесь в эти подробности. Приведем слова поэта, который, к сожалению, написал слишком мало:

„Давно уже исчезли гербы со стен рыцарских замков. Самые замки превратились в развалины и зеленеющие холмы. Едва можно различить, где они когда-то стояли, целые поколения исчезли с тех пор, и они забыты в той стране, где некогда блистали во славе феодальных властителей и баронов. Так для чего современному

читателю знать их имена и преходящие символы их воинского сана?"

Однако же, рыцари, нимало не помышляя о забвении, грозившем покрыть имена их и подвиги, в'езжали на арену, сдерживая горячих коней и заставляя их идти шагом, в то же время стараясь показать их выездку и свою собственную ловкость. Как только шествие показалось на арене, из-за шатров вызывающих рыцарей, где были скрыты трубачи, раздались звуки дикой варварской музыки. Этот восточный обычай был занесен из Святой Земли; смешанный звук литавр и колоколов, казалось, приветствовал и вызывал на бой рыцарей, приближавшихся к площадке, где были раскинуты шатры. Здесь, отделившись друг от друга, каждый тихо касался древком копья щита противника, с которым хотел сразиться.

Большая часть зрителей досадовали на рыцарей за их намерение биться оружием вежливости.

Из'явив свое миролюбивое намерение, принявшие вызов рыцари от'ехали к краю арены, где выстроились в линию; между тем вызывающие, выступив из шатров своих, вскочили на коней и, предводительствуемые Брианом де-Буа-Гильбером, спустились с площадки, и каждый поспешил вступить в бой с рыцарем, ударившим его по щиту.

При звуке труб и литавров во весь опор устремились они друг на друга, и таково было превосходство силы и необыкновенное счастье вызывающих, что противники Буа-Гильбера, Мальвуазена и Фрон-де-Бефа, сброшенные с коней, покатились по земле, соперник же Гранмениля, вместо того, чтоб направить острие копья в шлем или щит своего неприятеля, так уклонился от прямого пути, что раздробил свое оружие о латы противника,—а это считалось куда постыднее, чем быть сброшенным с коня, потому это последнее могло произойти от случая, тогда как первое показывало неловкость и неумение управлять конем и оружием.

Только пятый рыцарь поддержал честь своей партии: раздробив копья, он и его противник, рыцарь св. Иоанна, разошлись, так и не разрешив сражения.

Крики толпы, восклицания герольдов и звуки труб возвестили торжество победителей и поражение побежденных. Первые возвратились в свои шатры, а последние удалились, со стыдом и досадою, для переговоров о выручке коней и оружия, которые, по законам турнира, должны были перейти в собственность к побе-

дителям. Один только пятый рыцарь оставался некоторое время на арене, приветствуемый рукоплесканиями зрителей, конечно, к немалой досаде побежденных его товарищей.

Второй и третий отряд рыцарей появился на арене один за другим, и хотя успех их был неодинаков, все-таки перевес был решительно на стороне вызывающих, из которых ни один не был выброшен из седла и никто не промахнулся, что при каждой ошибке несколько раз случалось с их противниками. Такой неизменный успех, казалось, значительно охладил пыл в их соперниках. В четвертом отряде уже явилось всего три рыцаря, которые, избегая щитов Буа-Гильбера и Фрон-де-Бефа, дерзнули коснуться щитов трех остальных рыцарей. Но осторожный выбор не изменил счастья битвы; вызывающие попрежнему остались победителями; один из их противников был сброшен, другим обоим не повезло в нанесении удара в шлем или щит противника копьем, направленным прямо, так, что оружие должно переломиться, если неприятель усидит на коне. После четвертой сшибки арена долго оставалась пустою; казалось, никто не решался возобновить состязания. Зрители роптали, потому что из числа вызывающих рыцарей — Мальвуазена и Фрон-де-Бефа не любили за их нрав, остальных же, кроме Гранмениля, ненавидели, как иностранцев.

Никто не испытывал общего чувства негодования так сильно, как Седрик-Сакс, видевший в каждой победе, одерживаемой вызывающими нормандцами, торжество неприятеля над славою Англии. Он не был обучен искусству рыцарских состязаний, хотя, владея оружием своих саксонских предков, во многих случаях являл себя смелым и решительным воином. Он боязливо поглядывал на Ательстана, получившего современное рыцарское воспитание, как бы желая, чтоб он личною своею храбростью вырвал победу из рук храмовника и его товарищей. Но Ательстан, при всем мужестве и крепости своего тела, был слишком тяжел на под'ем и так мало честолюбив, что не решался на попытку, которую Седрик, видимо, ожидал от него.

— Счастье против Англии, милорд, — многозначительно произнес Седрик, — не потрудитесь ли вы взяться за копье?

— Я буду сражаться завтра, — отвечал Ательстан, — в mêlée нынче не стоит вооружаться.

Две вещи не понравились Седрику в этом ответе: в нем — заключалось нормандское слово mêlée (общая схватка) и обнаруживалось некоторое равнодушие к славе отечества. Но эти слова были произнесены Ательстаном, к которому Седрик питал столь

глубокое уважение, что не считал возможным строго критиковать даже его слабости. Да он и не имел времени что-нибудь ответить, так как Вамба ввернул свое замечание.

— Конечно, лучше, хотя вряд ли легче одержать верх над ста, чем над двумя противниками.

Это замечание Ательстан принял за похвалу; но Седрик, который лучше понял смысл шутки дурака, грозно взглянул на Вамбу; к счастью Вамбы, время и место не позволили его господину применить более убедительные доказательства своего гнева.

Пауза среди турнира никем не нарушалась: изредка лишь раздавались возгласы герольдов: „Любовь дамам. Гибель копьям. Выступайте, храбрые рыцари! Очи прекрасных смотрят на ваши подвиги!“

В музыке вызывающих рыцарей слышались громкие звуки торжества и вызова на бой; народ сожалел о празднике, проведенном в бездействии; старые же рыцари и дворяне выражали вполголоса сожаление об упадке воинственного духа, рассказывали о торжественных турнирах в дни своей юности и соглашались с тем, что в стране нет уж более таких красавиц, которые оживляли турниры прежних лет. Принц Иоанн начал поговаривать со свитою о приготовлениях к пиру и о присуждении награды Бриану де-Буа-Гильберу, который, не меняя копья, сбросил с седла двух рыцарей и обезоружил третьего. Наконец, когда сарацинская музыка только-что окончила один из тех долгих и резких аккордов, которыми она нарушала тишину цирка, в ответ ей с северной стороны раздался звук единичной трубы, вызывавшей на бой.

Все взоры устремились в ту сторону, чтоб увидеть неожиданного противника вызывающих, выехавшего на арену, как только подняли барьер. Новый боец, насколько можно было судить о нем по фигуре в полном вооружении, был немного выше среднего роста и не особенно крепкого сложения. Его латы были стальные с богатой золотою насечкою, а девиз его на щите — молодой дуб, вырванный с корнем, с испанским словом: Desdichado, т. е. лишенный наследства. Он сидел на лихом вороном коне и, проезжая по арене, грациозно приветствовал дам наклонением копья.

Искусство, с которым он гарцовал на коне, и следы юношеской грации, обнаруживавшейся в его манерах, тотчас же приобрели ему благосклонность зрителей, которую многие из низшего класса выражали возгласами: — „Коснись щита Ральфа Випона, коснись щита госпиталита, он слабее прочих держится на коне: победа над ним обойдется дешевле!“

Рыцарь, двигаясь вперед среди этих доброжелательных указаний, в'ехал на платформу по скату, ведущему к ней с арены, и, к удивлению всех, под'ехав к среднему шатру, сильно ударил острием копья в щит Бриана де-Буа-Гильбера.

Все изумились этой самонадеянности, но всех более изумился сам грозный рыцарь, которого вызывали таким образом на смертный поединок; не ожидая столь дерзкого вызова, он беззаботно стоял при входе в шатер.

— Покаялся ли ты в грехах, брат мой? — спросил храмовник, — и отслужил ли обедню сегодня утром, решив подвергнуть жизнь свою такой опасности?

— Я лучше тебя подготовлен к смерти, — отвечал Рыцарь Лишенный Наследства: под этим именем неизвестный включил себя в списки турнира.

— Занимай же свое место на арене, — сказал Буа-Гильбер,— и взгляни последний раз на солнце: сегодня ночью ты будешь спать в раю!

— Благодарю за вежливость, — отвечал Рыцарь Лишенный Наследства, — со своей стороны советую тебе сменить коня и оружие: клянусь честью, и то и другое тебе пригодится.

Ответив с такой самоуверенностью, он начал осаживать коня, заставив его идти задом по арене, пока не достиг таким образом противоположного конца, где и стал неподвижно, в ожидании своего противника.

Этот образец верховой езды снова вызвал рукоплескания зрителей.

Бриан де-Буа-Гильбер, как ни был взбешен советом противника принять меры предосторожности, все-таки не пренебрег им.

Дело близко касалось его чести; нельзя было непринятием надлежащих предосторожностей дозволить сопернику одержать победу; поэтому он выбрал верного, свежего коня необыкновенной силы и крепости, взял новое крепкое копье, опасаясь, не попортилось ли древко прежнего в предыдущих сшибках; наконец, сбросил с плеч поврежденный щит и взял новый у оруженосцев. На первом щите его находился общий девиз его ордена, представлявший двух рыцарей на одном коне — выразительная эмблема первоначального смирения и нищеты храмовников, — эмблема двух качеств, которые впоследствии заменены были высокомерием и стремлением к роскоши, вызвавшими гибель ордена. На новом щите Буа-Гильбера изображен был ворон с черепом в когтях и надписью Gare le Corbeau.

Нетерпение зрителей достигло высшей степени, когда два рыцаря стали друг против друга на противоположных концах арены. Немногие допускали возможность исхода боя в пользу Рыцаря Лишенного Наследства; но его смелость и ловкость почти во всех пробуждали желание ему успеха.

Как только трубы подали сигнал, рыцари с быстротой молнии понеслись со своих мест и посреди арены сшиблись друг с другом; удар подобен был грому. Копья расщепились до самых рукоятей, и, в первую минуту казалось, что оба рыцаря упали, так как кони их от могучего удара присели на задние ноги. Но искусство рыцарей, при помощи узды и шпор, удержало коней от падения, и, бросив друг на друга взор, который, казалось, метал пламя из отверстий забрал, они произвели demi-volte и, от'ехав к концам арены, взяли новые копья от своих оруженосцев.

Громкий возглас зрителей, развевавшиеся шарфы и платки и всеобщие крики показывали, какое участие принимали зрители в этой сшибке, самой ровной и искусной в течение всего дня. Но едва рыцари стали на свои места, как гром рукоплесканий сменился глубокою и мертвою тишиною; казалось, что зрители боялись вздохнуть.

По истечении нескольких минут передышки для сражающихся и их коней, принц Иоанн движением жезла дал знак трубить к нападению. Рыцари вторично бросились друг на друга и сшиблись посреди арены с одинаковой быстротой, с одинаковым искусством, с одинаковой силой, но не с одинаковым счастьем.

В эту вторую сшибку храмовник направил копье в средину щита своего противника и попал в нее так верно и с такою силою, что копье разлетелось вдребезги, а Рыцарь Лишенный Наследства дрогнул в седле. С своей же стороны он в начале заезда направил было острие копья в щит Буа-Гиньбера; но, переменив цель почти перед самым ударом, устремил острие в шлем — цель, в которую трудно попасть; в случае же удачи, удар становился решительным. Даже и в этом опасном положении храмовник не уронил бы своей славы, и если б не лопнула подпруга у седла, он, наверное, не был бы сброшен с коня. Но в данном случае седло, конь и всадник покатились на землю в облаке пыли.

Высвободиться из стремян и из-под упавшего коня было для храмовника делом одного мгновения, и, кипя от бешенства, под впечатлением нанесенного ему позора и восклицаний, которыми, зрители приветствовали его поражение, он обнажил меч и устремился на победителя. Лишенный Наследства соскочил с коня и

также обнажил меч. Однако, маршалы турнира, пришпорив коней, раз'единили их и напомнили им, что, по правилам турнира, продолжать бой нельзя.

— Надеюсь, — сказал храмовник, злобно взглянув на своего противника, — мы еще встретимся там, где никто нам не помешает.

— Если мы не встретимся, — отвечал Лишенный Наследства, — не я буду тому причиною. Пеший или конный, на копьях, секирах или мечах, я всегда готов сразиться с тобой.

Они обменялись бы еще и другими, более гневными словами, если бы маршалы, скрестив свои копья, не заставили их разойтись. Лишенный Наследства вернулся на прежнее место, а Буа-Гильбер скрылся в своем шатре, где и провел остаток дня в припадке отчаяния.

Не сходя с коня, победитель попросил кубок вина и, спустив нижнее забрало, об'явил, что он пьет „за здоровье всех истых англичан и за погибель чужеземних тиранов". Потом приказал своему трубачу потрубить вызов другим вызывающим и поручил герольду об'явить им, что он не намерен делать выбора, но готов сражаться с ними в том порядке, в каком они сами пожелают выезжать против него.

Гигант Фрон-де-Беф, закованный в черные латы, появился первым. На белом щите его изображена была голова черного быка, наполовину стертая в многочисленных схватках, с надменною надписью: Cave, adsum. Рыцарь Лишенный Наследства одержал над ним легкую, но решительную победу: оба рыцаря честно раздробили свои копья, но Фрон-де-Беф, потерявший стремя в битве, об'явлен был побежденным. В третьем поединке, с сэром Филиппом Мальвуазеном, неизвестный рыцарь был так же счастлив; он так сильно поразил его в шлем, что лопнули ремни, и Мальвуазен, спасенный от падения лишь тем, что потерял шлем, был признан побежденным, подобно своим товарищам. В четвертой битве, с де-Гранменилем, Рыцарь Лишенный Наследства проявил столько же великодушия, сколько перед тем проявлял смелости и искусства.

Конь Грамениля, молодой и горячий, закинулся на всем скаку и так отклонился в сторону, что всадник промахнулся; тогда неизвестный, не желая воспользоваться случайной выгодой, поднял копье кверху и, минуя своего противника, вернулся на прежнее место в конце арены, предложив ему через герольда, не желает ли он снова сразиться. Но Гранмениль отказался, признав себя

побежденным как великодушием, так и искусством своего противника.

Ральф де-Вицон способствовал довершению ряда побед незнакомца, который повергнул его на землю с такою силою, что у того хлынула кровь из носа и изо рта, и он без чувств был унесен с арены.

Тысячи восклицаний приветствовали единодушное решение принца и маршалов, об'явивших, что приз этого дня принадлежит Рыцарю Лишенному Наследства.

Вальтер-Скотт.

КУБОК.

„Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой
„в ту бездну прыгнет с вышины?
„Бросаю мой кубок туда золотой:
„кто сыщет во тьме глубины
„мой кубок и с ним возвратится безвредно,
„тому он и будет наградой победной".
Так царь возгласил и с высокой скалы,
висевшей над бездной морской,
в пучину бездонной, зияющей мглы
он бросил свой кубок златой.
„Кто, смелый, на подвиг опасный решится?
„Кто сыщет мой кубок и с ним возвратится?"
Но рыцарь и латник недвижно стоят;
молчанье — на вызов ответ:
в молчаньи на грозное море глядят;
за кубком отважного нет.
И в третий раз царь возгласил громогласно:
„Отыщется ль смелый на подвиг опасный?"
И все безответны... вдруг паж молодой
смиренно и дерзко вперед:
он снял епанчу, и снял пояс он свой;
их молча на землю кладет.
И дамы и рыцари мыслят, безгласны:
Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный?
И он подступает к наклону скалы,
и взор устремил в глубину...
Из чрева пучины бежали валы,
шумя и гремя, в вышину;
и волны спирались, и пена кипела:

как будто гроза, наступая, ревела.
И воет, и свищет, и бьет, и шипит,
как влага, мешаясь с огнем,
волна за волною; и к небу летит
дымящимся пена столбом;
пучина бунтует, пучина клокочет...
Не море ль из моря извергнуться хочет?
И вдруг, успокоясь, волненье легло;
и грозно из пены седой
разинулось черною щелью жерло;
и воды обратно толпой
помчались во глубь истощенного чрева,
и глубь застонала от грома и рева.
И он, упредя раз'яренный прилив,
спасителя-бога призвал,
и дрогнули зрители, все завопив —
уж юноша в бездне пропал.
И бездна таинственно зев свой закрыла:
его не спасет никакая уж сила.
Над бездной утихло... в ней глухо шумит...
И каждый, очей отвести
не смея от бездны, печально твердит:
„Красавец отважный, прости!“
Все тише и тише на дне ее воет...
И сердце у всех ожиданием ноет.
„Хоть брось ты туда твой венец золотой,
сказав: „кто венец возвратит,
тот с ним и престол мой разделит со мной“ —
меня твой престол не прельстит.
Того, что скрывает та бездна немая,
ничья здесь душа не расскажет живая.
Не мало судов, закруженных волной,
глотала ее глубина.
Все мелкой назад вылетали щепой
с ее неприступного дна...“
Но слышится снова в пучине глубокой
как-будто роптанье грозы недалекой.
И воет, и свищет, и бьет, и шипит,
как влага, мешаясь с огнем,
волна за волною; и к небу летит
дымящимся пена столбом...

И брызнул поток с оглушительным ревом,
извергнутый бездны зияющим зевом.
Вдруг... что-то сквозь пену седой глубины
мелькнуло живой белизной...
Мелькнула рука и плечо из волны...
И борется, спорит с волной...
И видит — весь берег потрясся от клича —
он левою правит, а в правой добыча.
И долго дышал он, и тяжко дышал,
и божий приветствовал свет...
И каждый с весельем: „он жив!“ повторял:
„Чудеснее подвига нет!
Из темного гроба, из пропасти влажной,
спас душу живую красавец отважный“.
Он на берег вышел, он встречен толпой;
к царевым ногам он упал;
и кубок у ног положил золотой;
и дочери царь приказал
дать юноше кубок с струей винограда.
И в сладость была для него та награда.
„Да здравствует царь! Кто живет на земле,
тот жизнью земной веселись!
Но страшно в подземной таинственной мгле...
И смертный пред богом смирись:
и мыслью своей не желай дерзновенно
знать тайны, им мудро от нас сокровенной.
„Стрелою стремглав полетел я туда...
И вдруг навстречу поток;
из трещины камня лилася вода,
и вихорь ужасный повлек
меня в глубину с непонятною силой...
И страшно меня там кружило и било.
„Но богу молитву тогда я принес,
и он мне спасителем был:
торчащий из мглы я увидел утес
и крепко его обхватил;
висел там и кубок, на ветви коралла:
в бездонное влага его не умчала.
„И смутно все было внизу подо мной
в пурпуровом сумраке там;
все спало для слуха в той бездне глухой;

но виделось страшно очам,
как двигались в ней безобразные груды,
морской глубины несказанные чуды.
„Я видел, как в черной пучине кипят,
в громадный свиваяся клуб,
и млат водяной, и уродливый скат,
и ужас морей однозуб;
и смертью грозил мне, зубами сверкая,
Мокой ненасытный, гиена морская.
„И был я один с неизбежной судьбой,
от взора людей далеко,
один меж чудовищ, с любящей душой
во чреве земли, глубоко
под звуком живым человечьего слова,
меж страшных жильцов подземелья немого.
„И я содрогался... вдруг слышу: ползет
стоногое грозно из мглы,
и хочет схватить, и разинулся рот...
Я в ужасе прочь от скалы!..
То было спасеньем: я схвачен приливом
и выброшен вверх водомета порывом“.
Чудесен рассказ показался царю.
„Мой кубок возьми золотой;
„но с ним я и перстень тебе подарю,
„в котором алмаз дорогой,
„когда ты на подвиг отважишься снова
„и тайны все дна перескажешь морского“.
То слыша, царевна с волненьем в груди,
краснея, царю говорит:
„Довольно, родитель, его пощади!
Подобное кто совершит?
И если уж должно быть опыту снова,
то рыцаря вышли, не пажа младого“.
Но царь, не внимая, свой кубок златой
в пучину швырнул с высоты.
„И будешь здесь рыцарь любимейший мой,
„когда с ним воротишься ты;
„и дочь мо ныне твоя предо мною
„заступница, будет твоею женою“.
В нем жизнью небесной душа зажжена,
отважность сверкнула в очах;

он видит: краснеет, бледнеет она,
он видит в ней жалость и страх...
Тогда, неописанной радостью полный,
на жизнь и погибель он кинулся в волны...
Утихнула бездна и снова шумит...
И пеною снова полна...
И с трепетом в бездну царевна глядит...
И бьет за волною волна...
Приходит, уходит волна быстротечно:
а юноши нет и не будет уж вечно.

Ф. Шиллер (перев. *В. Жуковского*).

БОРЬБА С БАРСОМ.

(Отрывок из поэмы „Мцыри“).

Напрасно, в бешенстве, порой
я рвал отчаянной рукой
терновник, спутанный плющом:
все лес был, вечный лес кругом,
страшней и гуще каждый час;
и миллионом черных глаз
смотрела ночи темнота
сквозь ветви каждого куста...
Моя кружилась голова.
Я стал влезать на дерева,—
но даже на краю небес
все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал
и в исступлении рыдал
и грыз сырую грудь земли,
и слезы, слезы потекли
в нее горючею росой...
Но, верь мне, помощи людской,
я не желал... Я был чужой
для них навек, как зверь степной,
и если б хоть минутный крик
мне изменил,—клянусь, старик,
я б вырвал слабый мой язык.
Ты помнишь, в детские года
слезы не знал я никогда,
но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? Лишь темный лес
да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
покрыта мохом и песком,
непроницаемой стеной
окружена, передо мной
была поляна. Вдруг по ней
мелькнула тень, и двух огней
промчались искры... и потом
какой-то зверь одним прыжком
из чащи выскочил и лег,
играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость—
могучий барс. Сырую кость
он грыз и весело визжал;
то взор кровавый устремлял,
мотая ласково хвостом,
на полный месяц и на нем
шерсть отливалась серебром.

Я ждал, схватив рогатый сук,
минуту битвы; сердце вдруг
зажглося жаждою борьбы
и крови... Да! рука судьбы
меня вела иным путем...
Но нынче я уверен в том,
что быть бы мог в краю отцов
не из последних удальцов.

Я ждал. И вот в тени ночной
врага почуял он, и вой
протяжный, жалобный, как стон,
раздался вдруг... и начал он
сердито лапой рыть песок,
встал на дыбы, потом прилег,
и первый бешеный скачок
мне страшной смертию грозил...
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор:
надежный сук мой, как топор,
широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,
и опрокинулся. Но вновь,
хотя лила из раны кровь
густой, широкою волной,
бой закипел, смертельный бой!

Ко мне он кинулся на грудь;
но в горло я успел воткнуть
и там два раза повернуть
мое оружье... Он завыл,
рванулся из последних сил,
и мы, сплетясь как пара змей,
обнявшись крепче двух друзей,
упали разом, и во мгле
бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг:
как барс пустынный, зол и дик,
я пламенел, визжал, как он:
как-будто сам я был рожден
в семействе барсов и волков
под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
забыл я, — и в груди моей
родился тот ужасный крик,
как-будто с детства мой язык
к иному звуку не привык...

Но враг мой стал изнемогать,
метаться, медленней дышать,
сдавил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз
блеснули грозно и потом
закрылись тихо вечным сном;
но с торжествующим врагом
он встретил смерть лицом к лицу,
как в битве следует бойцу!..

М. Лермонтов.

ЖИЗНЬ ГОРЦЕВ.

(*Отрывок из поэмы „Кавказский пленник“*).

Меж горцев пленник наблюдал
их веру, нравы, воспитанье,
любил их жизни простоту,
гостеприимство, жажду брани,
движений вольных быстроту,
и легкость ног, и силу длани;
смотрел по целым он часам,
как иногда черкес проворний.
широкой степью, по горам,
в косматой шапке, в бурке черной,
к луке склонясь, на стремена
ногою стройной опираясь,

летал по воле скакуна,
к войне заране приучаясь.
Он любовался красотой
одежды бранной и простой.
Черкес оружием обвешен;
он им гордится, им утешен:
на нем броня, пищаль, колчан,
кубанский лук, кинжал, аркан,
и шашка, вечная подруга
его трудов, его досуга.
Ничто его не тяготит,
ничто не брякнет: пеший,
конный —
все тот же он; все тот же вид
непобедимый, непреклонный
гроза беспечных казаков.
Его богатство — конь ретивый,
питомец горских табунов,
товарищ верный, терпеливый
В пещере иль траве глухой
коварный хищник с ним
таится,
и вдруг, внезапною стрелой,
завидя путника, стремится;
в одно мгновенье верный бой
решит удар его могучий,
и странника в ущелья гор
уже влечет аркан летучий.
Стремится конь во весь опор,
исполнен огненной отваги;
все путь ему: болото, бор,
кусты, утесы и овраги;
кровавый след за ним бежит,
в пустыне топот раздается;
седой поток пред ним
шумит —
он в глубь кипящую несется;
и путник, брошенный ко дну,
глотает мутную волну,
изнемогая, смерти просит
и зрит ее перед собой...
Но мощный конь его—стрелой
на берег пенистый выносит.

Иль, ухватив рогатый пень,
в реку низверженный грозою,
когда на холмах пеленою
лежит безлунной ночи тень,
черкес на корни вековые,
на ветви вешает кругом
свои доспехи боевые,
щит, бурку, панцырь и шелом,
колчан и лук — и в быстры
волны
за ним бросается потом
неутомимый и безмолвный.
Глухая ночь. Река ревет:
могучий ток его несет
вдоль берегов уединенных,
где на курганах возвышенных,
склонясь на копья, казаки
глядят на темный бег реки —
и мимо них, во мгле чернея,
плывет оружие злодея...
О чем ты думаешь, казак?
Воспоминаешь прежни битвы,
на смертном поле свой бивак,
полков хвалебные молитвы
и родину?.. Коварный сон!
Простите, вольные станицы,
и дом отцов, и тихий Дон,
война и красные девицы!
К брегам причалил тайный
враг,
стрела выходит из колчана —
взвилась — и падает казак
с окровавленного кургана.

Когда же с мирною семьей
черкес в отеческом жилище
сидит ненастною порой,
и тлеют угли в пепелище;
и спрянув с верного коня,

в горах пустынных запоздалый,
к нему войдет пришлец усталый
и робко сядет у огня,—
тогда хозяин благосклонный
с приветом, ласково, встает,
и гостю в чаше благовонной
чихирь отрадный подает.
Под влажной буркой, в сакле дымной,
вкушает путник мирный сон,
и утром оставляет он
ночлега кров гостеприимный.
Бывало, в светлый Баиран
сберутся юноши толпою;
игра сменяется игрою:
то, полный разобрав колчан,
они крылатыми стрелами
пронзают в облаках орлов;
то с высоты крутых холмов
нетерпеливыми рядами,
при данном знаке, вдруг падут,
как лани землю поражают,
равнину пылью покрывают
и с дружным топотом бегут.
Но скучен мир однообразный
сердцам рожденным для войны,
и часто игры воли праздной
игрой жестокой смущены.
Нередко шашки грозно блещут
в безумной резвости пиров,
и в прах летят главы рабов,
и в радости младенцы плещут.

А. Пушкин.

КАСЬЯН С КРАСИВОЙ-МЕЧИ.

(Отрывок).

Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд.

— Что надо?— спросил он меня.

Я об'яснил ему, в чем было дело; он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз.

— Так нельзя ли нам новую ось достать?— сказал я наконец:— я бы с удовольствием заплатил.— А вы кто такие? охотники, что ли?— спросил он, окинув меня взором с ног до головы.— Охотники.— Пташек небесных стреляете, небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?

Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого — он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен.

Он отказался достать ось.

— Ступайте с богом! Я устал! в город ездил, — сказал он мне и потащил себе армяк на голову. — Да сделай же одолжение, — продолжал я, — я... я заплачу. — Не надо мне твоей платы. — Да, пожалуйста, старик...

Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки.

— Я бы тебя свел, пожалуй, на ссечки [1]). Тут у нас купцы рощу купили, — бог им судья, сводят рощу-то, и контору выстроили, бог им судья. Там бы ты у них ось и заказал и готовую купил.

Приехав на „ссечки", автор отправился пострелять дичи.

Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошел ко мне.

— А что, пташек стрелять идешь? — заговорил он, — а? — Да. если найду. — Я пойду с тобой... Можно? — Можно, можно.

И мы пошли. Вырубленного места было всего с версту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая голова (впрочем, его волосы могли заменить любую шапку) так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу, беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым, странным взглядом. В низких кустах, „в мелочах", и на ссечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними; поршок [2]) полетел, чиликая, у него из-под ног, — он зачиликал ему вслед; жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая — Касьян подхватил его песенку. Со мной он все не заговаривал.

Долго не находил я никакой дичи; наконец, из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел коростель. Я ударил; он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее, он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови,

[1]) Срубленное место в лесу.
[2]) Молодой перепел.

покачал головой, пугливо взглянул на меня... Я слышал после, как он шептал: „Грех!.. Ах, вот это грех!“...

— Барин, а барин! — промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом.

Я с удивлением приподнялся; до сих пор он едва отвечал на мои вопросы; а то вдруг сам заговорил.

— Что тебе? — спросил я. — Ну, для чего ты пташку убил? — начал он, глядя мне прямо в лицо. — Как для чего?.. Коростель это дичь: его есть можно. — Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей убил. — Да ведь ты сам, небось, гусей или куриц, например, ешь? — Та птица богом определенная для человека, а коростель — птица вольная, лесная. И не он один: много ее, всякой лесной твари, и полевой, и лесной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой — и грех ее убивать и пускай она живет на земле до своего предела... А человеку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлеб — божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов.

Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностью, изредка закрывая глаза.

— Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать? — спросил я.

— У рыбы кровь холодная, — возразил он с уверенностью: — рыба тварь немая. Она не боится, не веселится: рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и кровь не живая... Кровь, — продолжал он, помолчав, — святое дело кровь! Кровь солнышка божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх... Ох, великий!

Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят.

Этот язык, обдуманно-торжественный и странный... Я не слыхал ничего подобного.

— Скажи, пожалуйста, Касьян, — начал я, не спуская глаз с его слегка раскрасневшегося лица: — чем ты промышляешь?

Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение.

— Живу, как господь велит, — промолвил он, наконец, — а чтобы, то-есть, промышлять — нет, ничем не промышляю. Нера-

зумен я больно, с мальства; работаю пока мочно, — работник-то я плохой... где мне! Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьев ловлю. — Соловьев ловишь?.. А как же ты говорил что всякую лесную и полевую и прочую там тварь не надо трогать? — Убивать ее не надо, точно; смерть и так свое возьмет. Вот хоть бы Мартын-плотник: жил Мартын-плотник, и не долго жил и помер; жена его теперь убивается о муже, о детках малых... Против смерти ни человеку, ни твари не слукавить. Смерть и не бежит, да и от нее не убежишь; да помогать ей не должно... А я соловушек не убиваю, — сохрани господи! Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье. — Ты в Курск их ловить ходишь? — Хожу я и в Курск и подале хожу, как случится. В болотах ночую да в залесьях, в поле ночую один, во глуши: тут кулички рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут... По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты... Иной соловушко так жалостно поет, сладко... жалостно даже. — И продаешь ты их? — Отдаю добрым людям. — Что, ты семейный человек? — Нету-ти, бессемейный. — Что так?.. Перемерли, что ли? — Нет, а так: задачи в жизни не вышло. Да это все под богом, все мы под богом ходим; а справедлив должен быть человек, вот что! Богу угоден, то-есть. — И родни у тебя нет? — Есть... да... так...

Старик замялся.

— Скажи, пожалуйста, — начал я: — мне послышалось, мой кучер у тебя спрашивал, что, дескать, отчего ты не вылечил Мартына? Разве ты умеешь лечить?—Кучер твой справедливый человек,—задумчиво отвечал мне Касьян: — а тоже не без греха. Лекаркой меня называют... Какая я лекарка!.. и кто может лечить? Это все от бога. А есть... есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые травки — божие. Ну, а другие не так: и помогают-то они, а грех; и говорить о них грех. Еще с молитвой разве... Ну, конечно, есть и слова такие... А кто верует — спасется, — прибавил он, понизив голос. — Ты ничего Мартыну не давал? — спросил я. — Поздно узнал, — отвечал старик. — Да что? Кому как на роду написано. Не жилец был плотник Мартын, не жилец на земле: уж это так.

— Нет, уже какому человеку не жить на земле, того и солнышко не греет, как другого, и хлебушек тому не впрок, —

словно что его отзывает... Да, упокой господь его душу! — Давно вас переселили к нам? — спросил я после небольшого молчания.

Касьян встрепенулся.

— Нет, недавно: года четыре. При старом барине мы все жили на своих прежних местах, а вот опека переселила. Старый барин у нас был кроткая душа, смиренник. Ну, опека, конечно, справедливо рассудила; видно уж так пришлось. — А вы где прежде жили? — Мы с Красивой-Мечи. — Далеко это отсюда? — Верст сто. — Что ж, там лучше было? — Лучше... лучше. Там места привольные, речные, гнездо наше; а здесь теснота, сухмень... Здесь мы осиротели. Там у нас, на красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь — и, господи, боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко видно... смотришь, смотришь, ах ты, право! Ну, здесь, точно, земля лучше: суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне; да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится. — А что, старик, скажи правду, тебе, чай, хочется на родине-то побывать? Да, посмотрел бы. А впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, непосед. Да и что! Много, что ли, дома-то высидишь? А вот, как пойдешь, как пойдешь, — подхватил он, возвысив голос, — и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут, смотришь, — трава какая растет; ну, заметишь — сорвешь. Вот тут бежит, например, ключевая, родник: святая вода; ну, напьешься — заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот божия благодать! И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошел... Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромен ходил, и в Синбирск-славный град, и в самую Москву-золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых хрестьян, и в городах побывал честных... Ну, вот, пошел бы я туда... и вот... и уж и... И не один я, грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут... да!.. А то, что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, — вот оно что...

Уже под'езжая ко двору, Касьян вдруг обернулся ко мне.

— Барин, а барин — заговорил он, — ведь я виноват перед тобой; ведь это я тебе дичь-то всю отвел. — Как так? — Да уж это я знаю. А вот и ученый пес у тебя и хороший, а ничего не смог. Подумаешь, люди что, люди, а? Вот и зверь, а что из него сделали?

И. Тургенев.

ЭКРАН ВЕКОВ.

Моим глазам
веков экран
виденьем —
маревом плеснул.
Вон Электрополь
от Днепра
несет энергию
в Стамбул!
И море Черное
в огне
кипит под киль
окованной громады,
величественней,
чем армады
пловцов давно забытых
дней!
Не артиллерийскими громами
так гладко
выстелен ей путь.
Везет богатств
груженых горы
в ворота синие
Босфора
земли иной стальная грудь!
Страна хлебов —
в страну кальяна,
чтоб дни сечевиков
забыть.
Чтоб свет
на братский лад
склонить
большими,
теплыми руками!
И вот как-будто
сквозь туман
растет — ядро,
ядро — Европы —
я слышу шум,
я слышу ропот,
народов пенный океан
работает
под мерный рокот.
И ночь
антеннами гудит.
Промежпланетные ракеты!
О, светлый час!
Настань!!
Прийди!!!
Скорей, без остановки —
где ты?!!

В. Полищук.

(Авториз. перевод
с укр. *Еф. Мархасева).*

БАШНЯ.

На жутких обрывах земли, над бездною страшных морей выросла башня, железная башня рабочих усилий.

Долго работники рыли, болотные пни корчевали и скалы взрывали прибрежные.

Неудач, неудач, сколько было несчастий!

Руки и ноги ломались в отчаянных муках, люди падали в ямы, земля их нещадно жрала.

Сначала считали убитых, спевали им песни надгробные. Потом помирали без песен прощальных, без слов. Там, под башней, погибла толпа безымянных, но славных работников башни.

И все ж победили... и внедрили в глуби земли тяжеленные, плотные кубы бетонов-опор.

Бетон, это — замысел нашей рабочей постройки, работою, подвигом, смертью вскормленный.

В бетоны впились, в них вросли, охватили огнем их железные лапы-устои.

Лапы взвились, крепко сцепились железным об'ятьем, кряжем поднялись кверху и, как спина неземного титана, бьются в неслышном труде-напряженьи и держат чудовище-башню.

Тяжела, не легка эта башня земле. Лапы давят, прессуют земные пласты. И порою как-будто вздыхает сжатая башней земля; стоны несутся с низов, подземелья, сырых, необ'ятных подземных рабочих могил.

А железное эхо подземных рыданий колеблет устои и все об умерших, все о погибших за башню работниках низкой железной октавой поет.

На лапы уперлись колонны, железные балки, угольники, рельсы.

Рельсы и балки вздымаются кверху, жмутся друг к другу, бьют и ловят друг друга, на мгновенье как-будто застыли крестна-крест в борьбе и опять побежали все выше, вольнее, мощнее, друг друга тесня, отрицая и снова прессуя стальными крепленьями.

Высоко, высоко разбежались, до жути высоко, угольники, балки и рельсы; их пронзил миллион раскаленных заклепок, — и все, что тут было ударом отдельным, запертым чувством, восстало в гармонии мощной порыва единого... сильных, решительных, смелых строителей башни.

Что за радость подняться на верх этой кованой башни! Сплетенья гудят и поют, металлическим трепетом бьются, дрожат лабиринты железа. В этом трепете все — и земное, закрытое в недра, земное и песня к верхам, чуть видным, задернутым мглою, верхам.

Вздохнуть, заслепиться тогда и без глаз посмотреть и почувствовать музыку башни рабочей: ходят тяжелыми ходами гаммы железные, хоры железного ропота рвутся и душу зовут к неизведанным, большим чем башня, постройкам.

Их там тысячи. Их миллион. Миллиарды... рабочих ударов гремят в этих отзвуках башни железной.

Железо—железо!.. Гудят лабиринты.

В светлом воздухе башня вся кажется черной, железо не знает улыбки: горя в нем больше, чем радости, мысли в нем больше, чем смеха.

Железо, покрытое ржавчиной времени, это—мысль вся серьезная, хмурая дума эпох и столетий.

Железную башню венчает прокованный, светлый, стальной, весь стремление к дальним высотам, шлифованный шпиль.

Он синее небо, которому прежние люди молились, давно разорвал, разбросал облака, он луну по ночам провожает, как странника старых, былых повестей и сказаний, он тушит ее своим светом, спорит уж с солнцем...

Шпиль высоко летит, башня за ним, тысяча балок и сеть лабиринтов покажутся вдруг вдохновенно легки, и реет стальная вершина над миром победой, трудом, достиженьем.

Сталь,—это воля труда, вознесенного снизу к чуть видным верхам.

Дымкой и мглою бывает подернут наш шпиль: это черные дни неудач, катастрофы движенья, это ужас рабочей неволи, отчаянье страх и безверье...

Зарыдают сильнее тогда, навзрыд зарыдают октавы тяжелых устоев, задрожит, заколеблется башня, грозит разрушеньем, вся пронзенная воплями здавшихся жизни тяжелой, усталых... обманутых... строителей башни.

Те, что поднялися кверху, на шпиль, вдруг прожгутся ужасным сомненьем: башни, быть-может, и нет, это только мираж, это греза металла, гранита, бетона, это—сны. Вот они оборвутся... под нами все та же бездонная пропасть — могила...

И, лишенные веры, лишенные воли, падают вниз.

Прямо на скалы... На камни.

Но камни, жестокие камни...

Учат!

Или смерть, или только туда, только кверху, -крепить и ковать, и клепать, подыматься и снова все строить, и строить железную башню.

— Пробный удар ручника...

Низкая песня мотора...

Говор железной машины...

И опять побежали от тысячи к тысяче токи.

И опять миллионы работников тянутся к башне. Снова от края до края земного несутся стальные каскады работы, и башня, как рупор-гигант, собирает их в трепетной песне бетона, земли и металла.

Не разбить, не разрушить, никому не отнять этой кованой башни, где слиты в единую душу работники мира, где слышится бой и отбой их движенья, где слезы и кровь уж давно претворились в железо.

О, иди же, гори, поднимайся еще и несись еще выше, вольнее, смелее!

Пусть будут еще катастрофы...

Впереди еще много могил, еще много падений.

Пусть же!

Все могилы под башней еще раз тяжелым бетоном зальются, подземные склепы сплетутся железом, и на городе смерти подземном ты бесстрашно несись.

И иди,
и гори,
пробивай своим шпилем высоты,
ты, на дерзостный башенный мир!

А. Гастев.

ТУННЕЛЬ.

Сине спокойное озеро в голубой раме гор, окрыленных вечным снегом; темное кружево садов пышными складками опускается в воде, с берега смотрят в воду белые дома, кажется, что они построены из сахара и все вокруг похоже на тихий сон ребенка.

Утро. С гор ласково течет запах цветов, только-что взошло солнце, и на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое ущелье гор, дорога мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат, и почему-то хочется ее погладить рукою. Около груды щебня сидит черный, как жук, рабочий, на груди у него медаль, лицо серьезное, смелое и ласковое. Положив бронзовые кисти рук на колена свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего, стоящего под каштаном, говоря ему:

— Это — за Симплон, синьор, это — медаль за работу в Симплонском туннеле.

И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла.

— Э, всякая работа трудна до времени, пока ее не полюбишь; а потом она возбуждает и становится легче. Все-таки — да, было трудно.

Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукою, черные глаза заблестели.

— Было даже страшно иногда. Ведь и земля должна что-нибудь чувствовать—не так ли? Когда мы вошли в нее глубоко, прорезав в горе эту рану, — земля, там, внутри, встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжелой, и болели кости... Это испытано многими. Потом она сбрасывала на людей камни и обливала их горячей водой, да... это было очень страшно. Потому что порою, при огне, вода становится красной, и отец мой говорил мне: ранили мы землю, и потопит, сожжет она нас своею кровью, ты увидишь. Конечно, это—фантазия, но, когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди сырой, душной тьмы, плачевного хлопота воды и скрежета железа о камень, — немного забываешь о фантазиях. И там все было фантастично, дорогой синьор: мы, люди, такие маленькие, и она, эта гора, до небес, — гора, которой мы сверлили чрево... Это надо видеть, чтобы понять. Надо видеть черный зев, прорезанный нами, маленьких людей, входящих в него утром, на восходе солнца, а солнце смотрит печально вслед уходящим в недра земли... надо видеть наши машины и угрюмое лицо горы... и слышать темный гул глубоко в ней, и эти взрывы, точно хохот безумного.

Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жетон, тихонько вздохнул.

— Человек умеет работать, — продолжал он с явной гордостью. — О, синьор, маленький человек, когда он хочет работать, — непобедимая сила. И, поверьте, в конце - концов этот маленький человек сделает все, чего хочет. Мой отец сначала не верил в это:

„Прорезать гору насквозь из страны в страну,—говорил он— — это против бога, разделившего землю стенами гор; вы увидите, что Мадонна будет не с нами". Он ошибся, старик. Мадонна была со всеми, кто любит ее.

Позднее отец тоже стал думать почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы; но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим:

— Дети бога, — это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек, — дети бога, так нельзя

бороться с землей, она отомстит за свои раны и останется непобежденной. Вот вы увидите: просверлим мы гору до сердца, и, когда коснемся его, оно сожжет нас, оно бросит в нас огонь, потому что сердце земли — огненное, это знают все. Возделывать землю—это так, помогать ее родам, — это нам заповедано, а мы вот искажаем ее лицо, ее формы. Смотрите: чем дальше врываемся мы в гору, тем горячей воздух и труднее дышать.

Человек тихонько засмеялся, покручивая усы пальцами обоих рук.

Не один он думал так, и верно это было: чем дальше, тем горячее становилось в туннеле, тем больше хворало и падало в землю людей. И все сильнее текли горячие ключи, осыпалась порода, а двое наших, из Лугано, сошли с ума. И ночами в казарме у нас многие бредили, стонали и вскакивали с постелей в некоем ужасе...

— Разве я не прав, — говорил отец, со страхом в глазах и кашляя все чаще, чаще, глуше...—да. Разве я не прав?—говорил отец.—Это непобедимо, земля.

И, наконец, лег, чтобы уже не встать никогда. Он был крепок, мой старик, он больше трех недель спорил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену.

— Моя работа кончена, Паоло, — сказал он мне однажды ночью.—Береги себя и возвращайся домой, да сопутствует тебе Мадонна!

Потом долго молчал, закрыв глаза, задыхаясь.

Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силой, что затрещали сухожилья.

Взял за руку меня, привлек к себе и говорит:

— Святая правда, синьор.

Человек светло улыбнулся.

— Знаешь, Паоло, сын мой,— сказал он,—я все-таки думаю, что это совершится: мы и те, что идут с другой стороны, найдем друг друга в горе, мы встретимся. Ты веришь в это?

— Я верю.

— Хорошо, сын мой. Так и надо: все надо делать с верой в благостный исход. Я прошу тебя, сын, если это случится, если сойдутся люди, — приди ко мне на могилу и скажи: „Отец, сделано“. Чтобы я знал.

— Это было хорошо, дорогой синьор, и я обещал ему. Он умер через пять дней после этих слов, а за два дня до смерти просил меня и других, чтоб его зарыли там, на месте, где он

работал в туннеле... очень просил, но это уж был бред, я думаю...

— Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через тринадцать недель после смерти отца,—это был безумный день, синьор. О, когда мы услышали там, под землею, во тьме, шум другой работы, шум идущих навстречу нам под землею,— вы поймите, синьор, под огромною тяжестью земли, которая могла бы, если б могла, раздавить нас, маленьких, всех сразу.

— Много дней слышали мы эти звуки, такие гулкие; с каждым днем они становились все понятнее, яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей... Мы работали, как злые духи, как бесплотные, не ощущая усталости, не требуя указаний... Это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово. И все мы стали так милы и добры, какими бывают дети. Ах, если бы вы знали, как сильно, как нестерпимо-страстно желание встретить человека во тьме, под землей, куда ты, точно крот, врывался долгие месяцы.

Он весь вспыхнул, подошел вплоть к слушателю, и, заглядывая в глаза ему своими глубокими человечьими глазами, тихо и радостно продолжал:

— А когда, наконец, рушился пласт природы, в отверстие засверкал красный огонь факела, и чье-то черное, облитое слезами и потом лицо, и еще факелы, и лица, и загремели крики победы, крики радости... О, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую,—нет, я не даром жил. Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам, да. И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие ложились на землю грудью, целовали ее, плакали,— и это было так хорошо, как хороша сказка. Да, целовали побежденную гору, целовали землю—в тот день особенно близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину.

— Конечно, я пошел к отцу, о, да. Конечно... Хоя я знаю, что мертвые не могут ничего слышать, но я пошел; надо уважать желания тех, кто трудился для нас и не менее нас страдал,—не так ли?

— Да, да, я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал, как желал этого:

— Отец, сделано! — сказал я. — Люди победили. Сделано, отец!

М. Горький.

ПОСТРОЙКА МОЛА.

... В Феодосии в то время начинали строить мол, и, в чаянии заработать немного денег на дорогу, я отправился на место сооружения.

Желая сначала посмотреть на работу, как на картину, я взошел на гору и сел там, глядя вниз на бескрайное, могучее море и крошечных людей, строивших ему оковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда людей:— весь каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду ямы и кучи камня и дерева, тачки, бревна, полосы железа, копры для битья свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего этого по всем направлениям сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги, они месили в громадных творилах цемент и, делая из него почти саженные кубические камни, опускали их в море, строя в нем оплот против титанической силы его неугомонных волн. Они казались маленькими, как черви, на фоне темнокоричневой горы, изуродованной их руками, и, как черви, суетливо копошились среди груд щебня и кусков дерева, в обломках каменной пыли и в тридцатиградусном зное южного дня. Хаос вокруг них и раскаленное небо над ними придавали их суете такой вид, как-будто бы они вкапывались в гору, стремясь уйти в недра ее от солнечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения.

В душном воздухе стоял сильный стонущий ропот и гул, раздавались удары кирок о камень, заунывно пели колеса тачек, глухо падала чугунная баба на дерево сваи, плакала „Дубинушка", стучали топоры, обтесывая бревна, и на все голоса кричали темные и серые хлопотливые фигурки людей...

В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с большим осколком горы, стараясь сдвинуть его с места, в другом подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали:

— Б-е-е-ри-и! — И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломанной линии досок, набросанных тут и там, медленно двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла другая—с порожними тачками, шла медленно, растягивая одну минутку отдыха на две... У одного копра стояла густая, пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно жалобным голосом выпевал:

И-эх-ма, бра-атцы, дюже жарко!
И-эх! Никому-то нас не жалко!
О-ой, да ду-убинушка,
у-ухнем!

Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взлетая вверх, по дудке копра, падал оттуда; раздавался тупой охающий звук, и весь копер вздрагивал.

На всех точках площади между горой и морем сновали маленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью и терпким запахом человека. Среди них расхаживали распорядители в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как чьи-то холодные глаза. Над ними безоблачное, жестоко жаркое небо, облака пыли и волны звуков — симфония труда. Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движения и шума.

Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском—большое, сильное, доброе и его могучее дыхание веяло на берег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить свободу его воли, которые теперь так кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Оно как бы жалело их: века его существования научили его понимать, что не те злоумышляют против него, которые строят; оно давно уже знает, что это только рабы, их роль — бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой борьбе готова и месть стихии им. Они все только строят, вечно трудятся, их пот и кровь — цемент всех сооружений на земле; но они ничего не получают за это, отдавая все свои силы вечному стремлению сооружать — стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало дает им хлеба. Они—тоже стихия, и вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору—то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные и холодные скалы берегов, в вечном стремлении моря расширить свои пределы, и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственны ему, тогда они совсем как море, также мощны и также склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса, смешного человека, который думал наказать море тремя стами ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты.

Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, их всегда плохо кормили и они вечно исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная их, изредка возмущаясь против своих владык...

И улыбаясь спокойной улыбкой титана, сознавшего свою мощь, море овевало своим живительным дыханием титана, еще духовно слепого, порабощенного и жалко ковыряющего землю, вместо того, чтобы стремиться к родству с небом. Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, созидающих каменную преграду их вечному движению, взбегают и поют свою звучную, ласковую песню о прошлом, о всем, что в течение веков видели они на берегах земли...

М. Горький.

СПОР.

Как-то раз перед толпою
соплеменных гор,
у Казбека с Шат-горою
был великий спор.
„Берегись!“ сказал Казбеку
седовласый Шат:
„Покорился человеку
ты не даром, брат!
Он настроит дымных келий
по уступам гор,
в глубине твоих ущелий
загремит топор!
И железная лопата
в каменную грудь,
добывая медь и злато,
врежет страшный путь.
Уж проходят караваны
через те скалы,
где носились лишь туманы
да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труден
первый был скачок —
берегися! многолюден
и могуч Восток!“
— Не боюся я Востока! —
отвечал Казбек, —
род людской там спит глубоко
уж девятый век.
Посмотри: в тени чинары
пену сладких вин
на узорные шальвары
сонный льет грузин;
и, склонясь в дыму кальяна
на цветной диван,
у жемчужного фонтана
дремлет Тегеран;
вот у ног Ерусалима,
богом сожжена,
безглагольна, недвижима
мертвая страна;
дальше, вечно чуждый тени
моет желтый Нил
раскаленные ступени
царственных могил;
бедуин забыл наезды
для цветных шатров
и поет, считая звезды,
про дела отцов.
Все, что здесь доступно оку,
спит, покой ценя.
Нет! не дряхлому Востоку
покорить меня! —

„Не хвались еще заране!“
молвил старый Шат:
„Вот на севере, в тумане,
что-то видно, брат!“
Тайно был Казбек огромный
вестью той смущен;
и смутясь, на север темный,
взоры кинул он;
и туда в недоуменье
смотрит, полный дум:
видит странное движенье,
слышит звон и шум.
От Урала до Дуная,
до большой реки,
колыхаясь и сверкая,
движутся полки;
веют белые султаны,
как степной ковыль;
мчатся пестрые уланы,
подымая пыль;
боевые батальоны
тесно в ряд идут,
впереди несут знамена,
в барабаны бьют;
батареи медным строем
скачут и гремят,
и, дымясь, как перед боем,
фитили горят.
И, испытанный трудами
бури боевой,
их везет, грозя очами,
генерал седой.
Идут все полки могучи,
шумны как поток,
страшно-медленны, как тучи,
прямо на Восток.
И томим зловещей думой,
полный черных снов,
стал считать Казбек угрюмый,
и не счел врагов.
Грустным взором он окинул
племя гор своих,
шапку на брови надвинул —
и на век затих.

М. Лермонтов.

НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ.

Наша подводная лодка „Мурена“—это маленькая, чуть заметная струнка в грохочущем концерте войны. Сейчас она стоит в гавани, отдыхает. Пожалуй, я по-своему люблю ее. Разве во время походов мы не спасались на ней при самых рискованных положениях? Но при первой же возможности я стараюсь уйти от нее; для измученного сердца нужна ласка. А это я могу найти только здесь, на пустынном берегу моря.

Теплый ветерок забирается за просторный ворот моего матросского костюма и щекочет тело. Я лежу на отшлифованной гальке и улыбаюсь: улыбаюсь редким облакам, солнцу, морю. У ног воркуют волны. О чем? А разве я знаю? Может, о том, как спорили с буйными ветрами, как жарко под экватором, как вольно им живется на просторе. Над городом, что разбрелся по широкому плоскогорью с редкой зеленью, мутно от чада и пыли. А здесь светло и радостно. И в моей душе—ясное утро тропических морей.

* * *

„Мурена"—наша готова в поход: аккумуляторы заряжены, все части механизма проверены, все приборы находятся в полной исправности. Ждем назначения. Продолжаем жить на базе.

После обеда спускается к нам в жилую палубу старший офицер Голубев. Вид у него зловещий. Матросы сразу насторожились.

— Вот что, боцман: сегодня к двенадцати часам ночи вся команда должна быть на „Мурене".

— Есть, ваше благородие!

— Поход предстоит серьезный.

— Есть!

Голубев уходит.

Среди команды говор:

Опять начнутся мытарства.

— Да, опять...

— Куда на этот раз пойдем?

— Разве нам скажут об этом?

— Эх, жизнь наша несуразная!,.

* * *

Несется „Мурена", глотает ночное пространство. Настойчиво стучат дизель-моторы.

На рассвете засвежело. Подул норд-вест, порывистый, как молодой жеребенок. Облака на востоке накалились докрасна, словно железо в горне. Море расцвело пионами. Глянуло солнце, поздравило всех с крепким утром. Волны засветились сверкающими улыбками. Но в следующую минуту все померкло. Небо и море нахмурились.

Стихийные силы подготовлялись к какому-то торжеству. А после обеда началось безумное веселье.

Я стою на верхней палубе. Руки мои крепко держатся за железный трап рубки. Не оторвешь! Море грохочет, ревет, миллионами открывшихся ртов. Темные беззубые пасти хватают лодку, давятся сталью и выплевывают обратно. А, не нравится! Вздуваются кипящие холмы, обрушиваются на борта. Не страшно! Наша „Мурена" устойчива, как „ванька-встанька". Она качается на киль, словно коромысло на весах. Высоко взметнет свой острый нос—сейчас, кажется, сделает прыжок в бушующий воздух. Еще момент—зарывается уже в массу клокочущей пены. А бездомный

бродяга-ветер, вечный друг мой, свистит в уши... Обдаст волна и смеется: „искупайся! ха-ха!“... Я мокрый до последней нитки, но уходить вниз не хочется. Грудь в огне горит. Смотрю, как слоняются разбухшие тучи. В них вспыхивают золотые трещины. Перекатными громами хохочет небо.

На рубке стоит сам командир с биноклем в руках. Губы у него плотно сжаты. Острие бородки затупилось. Серые глаза впиваются в помутневший горизонт.

Накатывает большая зеленоглазая волна, рычит и мчится за корму. А ветер вздурел не в меру: распирает мне ноздри, выворачивает глаза, солеными поцелуями мочалит губы.

Пенится вся ширь морская...

Внутри лодки бьются пятьсот лошадиных сил. Я мысленно выпускаю это стадо коней на поверхность моря. Они бешено мчатся в туманную даль. „Мурена“, уносясь за ними, танцует, прыгает, скачет, размахивается на ухабах, как сани по сугробной дороге. Эх, держись крепче! Только алмазная пыль крутится в воздухе...

Я спустился вниз к дробному стуку дизелей, к чадному запаху перегорелого соляра.

Прохожу через кают-компанию. Штурманский офицер на своем маленьком столике разбирается в морских картах. Перед ним разные приборы: барометр, указатель скорости, указатель расстояния, глубомер, компас Сперии, переговорные трубки. Старший офицер Голубев лежит на койке в своей крошечной каютке. Ноги его задраны, упираются в переборку. Он насвистывает песни, как соловей. В носовом отделении—большинство команды. Здесь душно. Некоторые страдают морской болезнью, валяются на рундуках.

Некоторые из команды ворчат:

— Куда это торопится наш командир?

— Да, пора бы на дно ложиться, на покой...

К вечеру переменили курс. Началась бортовая качка. Я едва удерживаюсь на рундуках. Мы, точно дети, в стальной зыбке. Вместо няни, яростная буря. Она колотит пинками в железные борта и рычит. А то заорет, завоет песни... И все сильнее свирепеет, злится, что не может убаюкать нас.

Зыбка наша порывисто размахивается, дергается. У нас сотрясаются внутренности. Ни минуты покоя.

Дальше идти нельзя — „Мурена“ начинает захлебываться.

Скомандовали к погружению.

* * *

Лодка лежит на глубине в сто пятьдесят футов. Никакой качки. Буря доносится до нас лишь очень отдаленным гулом. А здесь тихо. Только жужжат, как жуки, вентиляторы, уравнивая воздух.

Морской болезни как не бывало. Все стали бодры.

Заводят граммофон... В лодке становится веселее...

На поверхность моря всплыли рано утром. Горизонт чист. Продолжаем свой путь.

От вчерашней бури осталась только мертвая зыбь. Равномерно покачивается „Мурена". Над нами свежей синью сияет безводный океан. А внизу—зыбучая степь, без конца и края; качаются полированные холмы, сверкают, точно усыпанные осколками разбитого зеркала.

Стучат дизеля, упорно движут лодку к таинственному горизонту.

Что ожидает нас там, за этой синей гранью?

* * *

В обед, только-что приступили к последнему блюду, к любимому компоту, как раздается звонок. Он так громко и резко трещит, что всегда взбудораживает нервы. Бросаем свои миски. Спешно готовимся к погружению.

Проносится мысль в голове, что на этот раз предстоит встреча с неприятелем.

— Принять в уравнительную!—командует командир.

— Есть, принять в уравнительную!

— Электро-моторы вперед! Девятьсот ампер навал.

Идем на глубине перископа. После боевой тревоги разговаривать не полагается. Тихо. Слышно, как тоненько и заунывно поют свою песню электро-моторы. Безответно бьется мысль: что делается наверху? Серьезно или так себе? Только командир знает об этом, только он один соединен через перископ с внешним миром. А все остальные, сорок с лишним человек, уже не люди. Это—живые приборы вдобавок к бесчисленным приборам, какие имеются на лодке. Чувствуется напряженность не только в нас, но и во всех частях механизма. Через четверть часа всплываем.

— Командоры к пушкам!

Открываем люки. Вместе с другими и я выскакиваю на верхнюю палубу. Перед нами—немецкий пароход. По нашему сигналу

он останавливается, грузно раскачиваемый ленивой зыбью. Подходим ближе. На палубе виден рогатый скот. Старший офицер Голубев кричит в рупор что-то по-немецки. На пароходе поднимается суматоха. Через несколько минут весь экипаж его усаживается в шлюпки и отплывает в сторону. А шлюпка с капитаном и его помощником направляется к нам.

Командиры расстреливают пароход, но он тонет медленно. В кормовой части возникает пожар. Быки поднимают отчаянный рев. Несколько из них выскакивают за борт, быстро отплывают от судна.

Мы забираем с собой капитана и его помощника. Остальных оставляем на произвол судьбы в море, на шлюпках. Одни направляются в сторону чуть заметного берега. Им придется до него плыть очень долго.

„Мурена“ трогается дальше.

За нами увязываются быки, спрыгнувшие с парохода, плывут в кильватер нам. Их пять штук. Один из них, самый большой, черный, белоголовый, впереди всех. У него вырваны рога, а, может-быть, отшиблены снарядом. Он поднимает окровавленную морду и мычит в смертельной тоске.

Пароход весь охвачен огнем. Бушует пламя, извивается, выбрасывает облако черного дыма. Страшный рев быков, рев целого стада, потрясает воздух, далеко разносится по морю. В нем—мольба о помощи, в нем—проклятие нам. Корма быстро начинает осаживаться.

Еще минута — и пароход скрылся весь. Раздался взрыв паровых котлов, поднявший громадный столб воды — последний вздох судна.

Парохода не стало.

По прежнему зыбится море.

„Мурена“ увеличивает ход. Быки начинают отставать. Только один, белоголовый, самый сильный, все еще держится недалеко от нас. Ах, как он мычит! Его трубный рев начинается низкой октавой и кончается высокой, немного завывающей нотой. Он плачет, зовет, угрожает. Этот предсмертный крик погибающего животного сжимает сердце.

* * *

На следующий день погода ухудшилась. Показались скалистые берега. В них скрывались заливы. Подошли ближе. Море здесь ярилось и гремело. Громадные волны без-устали бухали по каменным твердыням, вскипали пеной, поднимали брызги, похо-

жие на стеклянную шрапнель. Утесы с рубцами от многолетних битв мрачно смотрели в загадочную даль, откуда двигались на них новые бесчисленные полчища в белых шлемах.

Вдали показался дымок.

„Мурена“ пошла наперерез курса неизвестного судна. Дым приближался, увеличивался. А когда показались мачты и зачертили синь неба, мы погрузились.

Через некоторое время командир сообщил нам из рубки:

— Немецкое судно. Типа не могу определить.

Приготовились к выстрелу.

Потом раздалась команда:

— Носовые аппараты—товсь!

Я стою у правого минного аппарата. Одной рукой держусь за ручку боевого клапана, а нога поставлена на рычаг стопора.

В такой же позе стоит другой минный машинист у левого минного аппарата. Ждем следующей команды, самой страшной, самой роковой, а в глубине души, как далекая зарница, вспыхивает догадка,—значит какой-нибудь военный корабль.

Около нас, у рупора переговорной трубы, в качестве передатчика и наблюдателя, стоит минный офицер. Рот у него прикрыт, тонкая шея неестественно вытянута, и на ней торчит большой кадык.

Напряжение растет. Все застыли на месте. Широко открытые глаза не мигают. С каждой минутой мы приближаемся к какой-то загадочной черте. Что ждет нас там? Эта неизвестность, эта таинственность, как чугунным прессом, расплющивает душу.

— Правый аппарат...

Короткая пауза, но самая мучительная, жуткая. Грудь напружинилась, без дыхания. Мы как-будто передвигаемся по одному только волоску через темную бездну. Сердцу становится щекотно...

— ...Пли!

Последнее слово прозвучало, как приговор судьбы, взорвало уши, молнией пронзило сознание. Дрогнула грудь. Я рванул за ручку боевого клапана и в то же время нажал ногой на рычаг стопора. Точно жирная туша, шмыгнула из аппарата отпалированная мина, потрясла весь корпус лодки. Вырвалась, как пробка из гигантской бутылки, злорадно взвизгнула и с гулом, с быстротой курьерского поезда, понеслась к своей цели.

От сильного толчка некоторые матросы упали, но тут же поднялись. У каждого теперь широко расставлены ноги. Сейчас рявкнет взрыв, нашу лодку отбросит в сторону. Ждем...

— Левый аппарат—пли!

И опять жуткие секунды ожидания.

Промахнулись оба раза.

Как после узнали, это был немецкий пароход, вооруженный пушками. Поэтому командир наш решил потопить его без предупреждения. Но в самый критический момент случилось небольшое несчастье: командир разбил свое пенснэ. Только и всего. Пустяк. Но в нашем подводном плавании все серьезно. Оказалось, что командир без пенснэ, как новорожденный щенок,—ни черта не видит. Так и ушел пароход без вреда. Но мы, благодаря этому, попали в новое критическое положение.

Всплыли на поверхность моря. Не успели открыть рубочный люк, как откуда ни возьмись неприятельский миноносец. А это для подводной лодки худший враг. Он мчится на нас полным ходом.

— К погружению! — грянул командир не своим голосом и сразу выпалил все команды.

Всем ясно стало, что опасность придвинулась вплотную. Поняли это и наши пленники, что сидели в носовом отделении,—оба побелели и выкатили глаза.

Заработали помпы, зашумели цистерны. А около лодки уже начали разрываться снаряды. Медленно погружаемся. Ах, скорее бы на дно! Хоть в преисподнюю, только бы не быть разрезанным неприятельским килем. Вдруг над носовою частью, над самою головою, что-то ухнуло, треснуло. Зазвенели осколки стекла, электрическое освещение погасло. Казалось, что взорвался мой мозг, вылетел из черепной коробки. Может, это и есть смерть. Нет, я жив, я слышу, как в непроглядном мраке кто-то упоминает имя бога, а кто-то скверно ругается.

Не успели опомниться, как почувствовали, что к нам приближается страшный гул, подобный бушующему пламени, что на нас накатывается что-то огромное, словно обрушивается многоэтажное здание. Трах! „Мурена“ чуть не перевернулась. Наверху что-то ломалось, трещало, рвалось. Весь корпус лодки скрипел, содрогался. Внутри со звоном летела посуда и всякая мелочь. Взвыли чьи-то голоса, судорожно заколотились в стенах стальной сигары.

Лодка опускается в бездну, проваливается камнем. Это я чувствую отчетливо. Холодная мысль, как ножом, полосует мозг, что здесь наша вечная могила. Прощай, жизнь! Вселенная ослепла для нас навсегда!

Вдруг „Мурена“ ударилась о грунт морского дна. Крики затихли, словно весь экипаж умер в одно мгновение. Вероятно, все, как и я, начали прислушиваться, нет ли где течи. Было тихо, тихо до леденящего ужаса, придушившего даже дыхание людей. Неожиданно в молчаливый мрак ворвался властный окрик:

— Спокойствие! Полное спокойствие!..

Это был голос командира, страшный голос. Он обнадеживал и пугал. Он, словно железной лапой, схватил наши души и держал их в своей власти.

Паники уже нет. Из боевой рубки раздаются правильные распоряжения. Их точно исполняют те, к кому они относятся, исполняют в непроглядной темноте, ощупью, по привычке.

Через несколько минут лодка вдруг осветилась.

Надеждой загорелись глаза.

Глубомер показывает сто тридцать два фута. Течи нигде нет. С души сваливается камень.

Командир осматривает лодку. На лице его—никакой тревоги. Это успокаивает нас. Пробуем перископы. Они не поднимаются и не поворачиваются. Видимо, оба согнуты. Теперь придется нам уходить отсюда вслепую, как бы с завязанными глазами. До ночи подниматься на поверхность моря нечего и думать.

Отдается распоряжение освободить часть балласта, чтобы придать лодке самую малую плавучесть. Одновременно пускаем электро-моторы. „Мурена“ ни с места. Еще убавили балласт. Глубомер продолжает оставаться на той же цифре.

Командир проходит в нос. Каждая пара глаз вопросительно смотрит на него. Но он ничего не говорит, только прикусывает нижнюю губу да закручивает русую бородку, придавая ей вид восклицательного знака. А это плохой признак: значит, случилось что-то серьезное.

Страшная загадка царапнула мозг: лодка попала на илистое место, и ее засосало. Я начинаю понимать всю трагедию нашего положения. Если освободиться от балласта совсем, то, может-быть, мы и всплывем. Но вдруг окажется, что миноносец будет где-нибудь поблизости или даже рядом с нами? Нам грозит неминуемая гибель. Оставаться так до ночи,—лодка еще крепче прилипнет к морскому дну.

На лицах команды разлита тревога, тупая покорность перед судьбою. В душу просачивается жуть, замораживает волю...

Командир смотрит на свои карманные часы и уверенно говорит:

— Пустяки. Посидим еще немного здесь и тронемся в путь. Прямо в свой порт. А пока что, каждый по-своему может веселиться, как сказал однажды чорт, садясь голым телом в крапиву...

Он улыбается, улыбаются, точно по команде, и все другие. Мы верим в счастливую звезду командира, верим в то, что он знает „Мурену“. На душе редеет мрак безнадежности.

Командир разговаривает по-немецки с капитаном. Мы слушаем и не понимаем. Тут же и другие офицеры стоят. Капитан старается улыбаться, но по лицу его расползаются гримасы.

— Оказывается, не хочет, чтобы мы погибли от немецкого миноносца,—переводит командир. — Желает нашей лодке спастись. Вот вам и патриот!

* * *

Командир—в рубке. Отдает распоряжение к всплытию.

Эх, удастся ли нам еще раз увидеть белый свет!

С шумом освобождаются от воды цистерны.

Электро-моторы работают полным ходом. Офицеры, вся команда и даже пленный капитан стараются раскачать лодку, с остервенением бросаются от одного борта к другому.

— На левый... На правый...—командует старший офицер.

Но лодка ни с места, точно кто держит ее зубами.

Снова отчаяние леденит кровь.

Решено прибегнуть к последнему средству: выпустить мину. Если и это не поможет, „Мурена“ станет для нас вечным гробом.

— Электро-моторы—полный назад!—командует командир.

Мина шарахнулась вперед.

„Мурена“ дернулась, как живая, и стремительно, словно сама обрадовалась, что удалось оторваться от морского дна, понеслась вверх.

Миноносец в это время находился очень далеко. Он нас даже и не заметил. Мы успели опять погрузиться и пошли на глубине тридцати-сорока футов. Двигались без перископов. Только ночью поднялись на поверхность моря.

Телеграфист Зобов по радио бросил в пространство весть о „Мурене“... *А. Новиков-Прибой.*

Я ПОДСЛУШАЛ ЭТИ ПЕСНИ.

Я подслушал эти песни близких, радостных веков
в гулком вихре огнеликих, необ'ятных городов.
Я подслушал эти песни золотых, грядущих дней

в шуме фабрик, в криках стали, в злобном шелесте ремней
Я смотрел, как мой товарищ золотую сталь ковал,
и в тот миг Зари Грядущей лик чудесный разгадал;
я узнал, что мудрость мира—вся вот в этом молотке,
в этой твердой и упорной и уверенной руке.
Чем сильнее звонкий молот будет бить, дробить, ковать.
тем светлее будет радость в мире сумрачном сиять.
Чем проворней будут двигаться приводы, шестерни.
тем пленительней и ярче загорятся наши дни...
Эти песни мне пропели миллионы голосов,
миллионы синеблузых, сильных, смелых кузнецов.
Эти песни—зов могучий к солнцу, жизни и борьбе,
это—вызов непреклонный злобной, тягостной судьбе!

В. Кириллов.

* * *

На ниве, брошенной среди камней и терний,
не прерывая борозды,
друзья, работайте от утренней звезды
и до вечерней!
Ваш мирный подвиг свят и нет его безмерней.
Под грохот пушечный, в бою, в огне, в аду,
я думаю о вас, чей путь простерся в вечность.
Привет мой пахарям, борцам за человечность!
Привет мой мирному культурному труду!

Д. Бедний.

ВОЛНЫ.

На ажурной вышке вместе с Глебом стояли: Жидкий и Бадьин, члены завкома и инженер Клейст. Но Глеб был один, потому что все эти бесчисленные толпы зыбились, бурлили, цвели подсолнечными полями—там, всюду, насколько охватывал глаз. Они были там, а он—здесь.

Тут, у самого основания вышки, длинной полосой—и вправо и влево—кострами горят красные знамена. И сама вышка пылает алыми полотнами в железных переплетах: знамя ячейки льется с барьера, сейчас же от Глеба, вниз и густо каплет кистями на другие знамена, в толпу, а с другой стороны, где стоят Бадьин и Жидкий,—другое знамя — профсоюза строительных рабочих. И под парапетом жирным потоком льется пунцовое полотнище, и огромные белые буквы горят весенними цветами:

Мы победили на фронте гражданской войны
Мы победим и на хозяйственном фронте.

Головы и плечи кишат, волнуются, вспыхивают красными повязками, смуглыми и сизыми лицами, картузами и кепками, и всюду—и там и там — красными крыльями взмахивают плакаты. За ними не видно толп, а над ними, дальше,— опять толпы в движении и зыби. Над самым обрывом, на скале,—опять такие же толпы, и опять—знамена и плакаты. Они колышутся в водоворотах, по ребру и скатам горы—выше, выше, а там—опять знамена и плакаты маковым севом. И видно, как снизу, из ущелья, все еще текут бесконечные толпы. Там, далеко, музыка играет марш, а тут—нутряной животный гул, и дизеля грохочут и лязгают металлом. Гула и воя толп нельзя отделить от грохота машин. Брынза—прав: машины и люди, это—одно. Массы не могут молчать. Массы живут особой жизнью от единиц: они—в постоянном напряженном движении и всегда готовы к взрыву.

День был прозрачный, по-осеннему свежий и янтарный, по-осеннему приближающий дали, по-осеннему ядреный и маревный. Глеб смотрел на горы и в небо: там фырчал и пел мотором невидимый аэроплан, и шелковые нити паутин плавали в сини и дымились жемчужной пылью.

Глеб до боли в суставах сжимал железные полосы перил и не мог удержать изнурительной дрожи в ногах. Сердце надувалось кровью и заполняло всю грудь до удушья. Откуда прет такая тьма народу? Здесь и без того уже навалило тысяч двадцать, а колонны все идут без конца. Вон они где — не меньше чем за версту, на горе,—растекаются по бурому взгорью, по камням и кустарникам, вливаются в общую массу и ползут все выше и выше. Так можно засыпать человеческим массивом всю гору до самой вершины...

Вон, недалеко, вправо, за вышкой, стоит вольно полк красноармейцев. Так же когда-то стоял и он. Давно ли это было? А теперь вот он здесь: опять рабочий завода, да в придачу—в головке партийной братвы. Завод! Сколько положено сил, сколько было борьбы! Вот он, завод—богатырь и красавец. Был он недавно мертвец—чертова свалка, развалина, крысиное гнездо. А теперь—грохочут дизеля, звенят провода, насыщенные электричеством, курлыкают ролами бремсберги и звенят вагонетками. И завтра заревет и закружится на своих осях первая великанная цистерна вращающейся печи, а вон из этой страшенной трубы заклубятся седые облака пыли и пара.

Разве все это не стоит того, чтобы все эти несметные толпы народа пришли сюда и порадовались общей победе? Он... Что он, Глеб, среди этого людного моря? Не море, а живая гора—камни, воскресшие людом... Ух, какая силища!.. Это—те, кто с лопатами, кирками и молотами прорезали горы для бремсберга. Это было весной, в такой же вот прозрачный солнечный день. Тогда была пролита первая кровь. Теперь город—в дровах, а здесь все готово к пуску завода. Сколько крови в этой великой рабочей армии! Ее, этой крови, хватит надолго. Работает транспорт. Будет работать Судосталь. Зашумят паровые мельницы. А разве мало здесь горных потоков, чтобы поставить турбины?

Были когда-то смертельные ночи и дни в боях, и было: дрожал за жизнь свою и думал о Даше. Как все это—давно, как далеко и ничтожно! Даша... Ее нет: она утонула в толпах, и ее не найдешь. Не все ли равно? Была Даша, и—нет ее. Все это—далеко и ненужно. И его—нет, а есть только непереносный восторг, и сердце, которое лопнет от крови. Рабочий класс, Республика, великое строительство жизни... К чертовой матери, мы ж умеем страдать, но умеем же чуять силу и радоваться!

В глубинах толп—грохот машин и далекий вой ветра в горах: это—топотала толпа, и песни—и тут и там—вперeплет, вперeклик, без напева, без слов.

— Чумалов!..

Инженер Клейст стоял около Глеба, бледный, строгий, в старческой седине, с сухими глазами, глубоко запавшими под надбровницы.

— Чумалов, я никогда не испытывал ничего подобного в жизни. Нужно очень много сил, чтобы перенести это...

Глеб взял его под руку и не знал, кто дрожит: он или инженер Клейст.

— Герман Германович, нас нельзя победить... Глядите... Этого не забудешь никогда... Сейчас будем чествовать вас, как героя труда...

Инженер Клейст отвернулся и пошел от него в другой конец площадки, подрыгивая шляпой.

Толпы упруго волновались, текли внутри извилистыми струями, сбивались в плотные кучи. Колыхались и вздрагивали знамена и плакаты. Взрывы хохота потрясали воздух животным ревом, и под ногами Глеба дрожала досчатая настилка. Разрывалась гуща голов пыльными яминами, в пьяном веселье прыгали картузы и красные повязки. Пляс под всплески ладошек и визг-

ливый речитатив. Видно, как осыпается камень и щебень в пластах скалы...

...Жидкий стоял перед Глебом и раздувал ноздри от скрытого смеха...

— Ты что? оглох, что ли?..

И потащил его к парапету.

Долго утрясались толпы, долго таяли утихающей зыбью рокот и гул голосов, замолкали песни и оркестры, и все эти несметные массы потекли с дальних склонов головами и знаменами, в водоворотах и вихрях.

Говорил Бадьин—говорил долго, всеми легкими, всем телом.

Разве можно выразить, что говорил Бадьин? Говорил все, что нужно для праздника. Тут было, что надо; и Советская власть, и новая экономическая политика, и хозяйственное строительство, и товарищ Ленин, и Российская Коммунистическая Партия, и рабочий класс... А вот подошел к самому главному, запомнилось так:

— ...И вот одна из наших побед на хозяйственном фронте—победа огромная, нечеловеческая,—это пуск нашего завода, этого гиганта Республики. Вы знаете, товарищи, с чего началась наша борьба. Весною организованными силами мы впервые ударили кирками и молотами по этим горным пластам. И первый удар наш дал нам бремсберг и топливо. Рабочие профстроя не выпускали из рук молотов и удар за ударом ковали жизнь в машины, во всю сложную систему колоссального сооружения. Завод—на ходу. Завод готов к работе на полный размах. С этого дня, четвертой годовщины Октября, мы торжествуем новую победу на фронте пролетарской революции. В борьбе рабочий класс выдвигает своих организаторов и героев. Разве наши рабочие массы могут забыть имя борца, красного солдата, беззаветно отдавшего свою жизнь великому делу революции, разве они могут забыть имя товарища Чумалова?.. И здесь, на фронте труда, он—такой же самоотверженный герой, как был на полях сражений...

Дальше ничего не было слышно. Будто гора сдвинулась с места и со страшным грохотом обрушилась на Глеба, на вышку, на заводские корпуса. Рев, вой, гул, землетрясение... Вышка дрожала и колыхалась, как проволочная. Пройдет мгновение—и она грохнется, как игрушка, взлетит на воздух и будет прыгать над морем голов, над знаменами, в волнах человеческого содома. Внизу и где-то еще и еще гремели медью оркестры.

Глеб, бледный, ошеломленный, лепетал странные слова, непонятные самому, задыхался, махал руками и неудержимо смеялся не нутром, а одною судорогой в лице.

— Говори... твое слово... Режь!..

Зачем говорить, когда все ясно без слов? Ему ничего не надо. Что его жизнь, когда она—пылинка в этом океане человеческих жизней? Зачем говорить, когда язык и голос его не нужны здесь, глупы и ничтожны? Нет у него слов и нет жизни, отдельных от этих грохочущих масс...

Тряслась челюсть, и зубы выбивали дробь. Ослепли глаза, и толпы запылали огненной вьюгой.

— Ну, говори же!.. Дрызгай с места в карьер!..

И не помнил, что говорил, и будто не говорил, а бормотал бессвязную, жалкую чепуху. Но его голос слышали даже дальние толпы на взгорье.

—...И не барахолить словами, товарищи... не трепать языком... крепко поставить на плечи башку, а руками держать дело за ребро... Вот как надо ставить вопрос. Это—не заслуга, когда мы бьемся над созданием нашего пролетарского хозяйства... Ми—все... единым духом... Если я—герой так все же герои... А если мы не натянем кишки до геройства, так всех же нас к чертовой матери—по шеям с колокольни. Но скажу одно, товарищи: мы сделаем все, создадим все и дадим мы, будь оно проклято, кому надо, сорок очков вперед... А вот если бы нам побольше таких технруков, как наш инженер Клейст, да еще кой-чего немножко, так мы бы в два счета покрыли на ять всю Европу... Это будет, товарищи .. это должно быть!.. мы ставили ставку на кровь и своею кровью зажгли весь мир... Теперь, закаленные в огне, мы ставим ставку на труд... Наши мозги и руки дрожат... не от натуги, а требуют новой работы... Мы строим социализм, товарищи, и свою, пролетарскую, культуру... К победе, товарищи!...

Опять гора осела грохотом и взорвалась ревом и медью оркестров

Глеб помнил, будто сквозь сон, как схватил красный флаг и взмахнул им над толпою три раза. И сразу же охнули горы, и воздух вихрем заклубился в металлическом вое. Ревели гудки—один, два, три...—вместе, разноголосо, рвали барабанные перепонки, и будто не гудки это ревели, а горы, скалы, толпы, корпуса и трубы. И вместе с гудками ревели и грохотали несметные толпы. Плясали они здесь под вышкой, там на скалах, на склонах горы, огненными крыльями полыхали знамена, и оркестры звенели колоколами.

Ф. Гладков.

ДНЕПРОСТРОЙ

(Отрывок)

Цветет Червона Украина.
Где звонко в берег бьет вода,
где Днепр гремит, кипят глубины,
Уже поставлены турбины
упорством мощного труда.

Пороги, степи, срывы, ямы...
И вот над шумами реки
спокойны мощные динамо
и неуклонно и упрямо
легко скользят маховики.

Колес и поршней бег летящий...
Кто дал разгон? Титан—герой?
Ток ярой силы, мглу разящий
и Украину в даль стремящий,
в коммуну света—Днепрострой.

В. Сосюра.

СЕЯТЕЛИ СОЛНЦА.

Мы сеем солнце... Мы сеем солнце...
Мы сеем солнце! Мы звездный град...
Мы сеем солнце... Огни-червонцы,
огни-червонцы горят, звенят...
Мы сеем солнце... Костры стожары
мы зажигаем во тьме, в ночи...
Мы сеем пламя, несем пожары,
и там, где бездны, мы льем лучи...
Мы сеем солнце... Святое дело...
И, чтоб нам радость была светла,
мы сеем огненные стрелы
и их впиваем в твердыни зла...
Мы сеем солнце... Мы, как зарницы...
Мы золотой, мы светлый дождь...
Весь мир оденем мы в багряницу,
весь мир... О, солнце! ты наш вождь...

П. Арский.

КРАСНЫЙ ЗАПЕВ.

Землю взрываем, взрываем,
будто степные кроты,
змеи—из нор выползаем.
Всюду—везде засеваем
красные вихри-цветы.

Бурями сейтесь же, бурями,
красные маков огни!
Там, за оградами хмурыми,
гибнут тенями понурыми
ясные светлые дни.

Громкими грянем мы звонами
эхо весь мир обойдет—
кинем словами червонными:
мира владыки с коронами—
страшен ваш тягостный гнет.

В. Чумак.

ДЕРЕВНЯ.

Об урожае и покосе,
о расцветающих лугах,
бубенчиками прошлых весен,
звенит смолистая дуга
о свадьбах с песней и вином,
где тучей дымной и густою
с „Известиями“ и „Беднотою“
махорка тлеет под окном.

Недвижны бороды кругом
и дыма голубые кольца...
Не разбудил их исполком
звенящей речью комсомольца.

Под шелест хриплых голосов
звучит в читальне деревенской,
навеивая сладкий сон,
„Бухарин и Преображенский“.

До дней,
когда пыхтящий трактор
начнет на пашне разговор,
и по проселочному тракту
гремя замечется мотор.

Пасется ль солнце на лугах,
жует ли травы на покосе...
Звенит смолистая дуга
бубенчиками прошлых весен.

А. Жаров.

СМЕРТЬ НИКОЛИНА КАМНЯ.

В Кряжиме за околицей — лес, — березы вперемежку с соснами, — и в лесу, возле бережку на студеном ключе — Николин камень. Серый он, этакий могутной, будто сила какая лежит среди леса на мягкой обомшелой земле, крытой хвоями и прошлогодними листьями. Все кругом темно—и угрюмый лес, и сумрак между деревьями, а он светлый,—издали его видно.

Большой камень. С боков он обточен,—века обточили его,—а сверху на нем выемка, будто след человеческой ступни.

И ходит сказ про этот камень:

Давно это было, когда Никола еще по русской земле странствовал, смотрел, как наши мужики живут-горюют, — проходил он и через кряжимский лес, остановился у камня отдохнуть; вот на эту старую сосну он вешал свою сумочку с ржаным хлебом, пил воду из студеного ключа и, поднявшись на камень, беседовал с богом.

С той поры камень хранит Николин след; все теперь знают: вот здесь стояли святые Николины ноги.

И сосна еще жива, на которой он свою сумочку вешал, — только совсем старая стала, одной ве́рхушкой зеленеет, а у корней—большое сквозное дупло,—такое большое, через него человек может пролезть.

А где Никола побывал, то место свято. Хранит и почитает народ эти места.

Хранят и почитают кряжимские мужики и камень Николин, и сосну Николину, и лес кругом них,—заповедный Николин лес; все берегут пуще глаза: гордятся серяки, что Никола возле их села останавливался и здесь с богом беседовал.

И гадают: не окряжимских ли мужиках он говорил ему?

Надо полагать, что о них. И доброе что-нибудь говорил: ведь Никола, ежели рассердится, сам накажет, а никогда богу не пожалуется на слабого человека.

Он этакий: сердитый да милостивый.

Раз говорил,—хорошо говорил. Значит, кряжимские мужики на особом счету у бога: сам Никола за них ходатель.

И во всем Кряжиме, почитай, первый двор — Бирюковский двор. Не двор, а вроде как курмыш целый. Вдоль порядка четыре избы стоят,—и не какие-нибудь,—пятистенные. Да еще на огородах, вон там, в углу, где купами стоят яблони и груши,

темнеет крыша просторной кельи,—там холостой Петруха живет, второй сын Василия Бирюкова.

И всем двором, всей обширной семьей управляет сам дед Василий. Работяга старик!

Еще не белел восток—только-только третьи петухи протрубили,—а Василий уже по двору бродит. Побывал у лошадей, посмотрел овец, коров,—весь двор обошел. В другой день он крикнул бы зычно:

— Эй, вставайте!

Разбудил бы разом всех, во всех четырех избах. Старик любил, чтобы все вставали на работу до солнышка. Известно, ведь: „рано вставать—много хлеба жевать". И послушно зашевелились бы люди во всех избах.

А нынче нет. Нынче праздник: Никола вешний.

Поговорил Василий дружелюбно с лошадьми и через сарай вышел задними воротами на огород.

Восток зарозовел весь. Небо стало бирюзовое, глубокое, просторное, а звезды на нем побледнели, будто веснушки на молодом лице. В ветвях ближней березы призывно пел зяблик. Василий остановился и выпрямился. Навстречу ему, из-за огородов, с речки, тянуло сыростью. Кругом пахло проснувшейся землей... Густая роса белела на траве.

„Хорош день будет, — подумал Василий, — упросил Никола Илью для своего праздничка".

Он привычно представил, как святой Николай, опираясь на клюку, прошел по раю к пророку Илье, который испокон веков делает погоду, и попросил его попридержать нынче и тучи, и ветер, и туманы, чтобы народу православному хорошо было править Николины именины.

Дед стоял долго, любовно посматривал, как разгорался восток. Был он высокий, в старом черном чапане, спускавшемся ниже колен, в лаптях. А голова непокрыта. Седые кудлатые космы закрывали уши и шею; борода спускалась лопатой до пояса, и весь он был косматый, гривастый, белый, а в белых космах чернели глаза—словно два угля, воткнутые в снежный ком.

Возле кельи, за деревьями, кто-то шевелился.

— Это ты, Петруха?—крикнул Василий.

— Я,—ответил голос.

— Собирайся, сейчас зазвонют.

— Не, рано еще. Да я-то собратой. Мне што? Сейчас приду. Ты бы там будил.

Где-то далеко, на краю села, заиграл пастуший рожок и раздалось хлопанье кнута, похожее на выстрелы. Старик пошел во двор. А во дворе уже ходили бабы с подойниками, здоровые, как глыбы,—бирюковские бабы.

— Ишь, и будить не нужно, — усмехнулся дед, — сами дело знают.

И правда, весь двор уже затормошился. Заскрипели двери, послышались сонные голоса, в хлеву нетерпеливо чихали овцы. Дед молча прошел в крайнюю избу,—в самую большую, в которой жил сам со старшим сыном. Вошел и застучал кулаком по полатям,—благо такой большой вырос.

— Илька, вставай!

На полатях кто-то засопел.

— Илька! — сильнее крикнул дед и опять стукнул кулаком в доски полатей.

— Чево?—недовольно спросил с полатей детский голос.

— Вставай, собирайся, живо,—Никола ждет.

Илька засопел, повозился, — слышно было, как он почесывался, и стал спускаться с полатей. Сперва показались его голые ноги, потом сам он в широких посконных портках и посконной рубахе—со всколоченными волосами, белыми, как мытый лен.

— Собирайся скорее,—Никола ждет. Проспал ты.

Дед осмотрел Ильку будто недовольный, но Илька знал, что дед-то любит его; как куда итти, так Ильку с собой.

А солнышко уже вышло и заглянуло в избу. Бабы выгоняли скотину со двора, и по улице мимо окон медленно тянулось стадо, поднимая легкую золотистую пыль.

Еще не звонили, а дед Василий, Илька и Петруха уже шли в церковь. На Ильке — новый картуз, красная рубаха и сапоги, густо смазанные дегтем; он совсем мужиком выглядит — этаким степенным, бойким да крепким—даром, что ему только одиннадцать лет. Дядя Петруха тоже в красной рубахе и в сапогах. И дед в сапогах, а на голове шапка, из-под которой падают на плечи космы.

Село—узнать нельзя. На площади, на дворах—везде телеги: народ с'ехался из соседних сел и деревень Николу чествовать. Голодного да теплого, весеннего, милого Николу.

В ограде вокруг церкви, за оградой,—везде нарядный праздничный народ. Сдержанный гул стоит над толпой. Когда раз-

дался благовест, толпа чуть шевелится, но мало кто идет в церковь: не в церкви, а в лесу у камня будут чествовать Николу.

Идут только те, кто из года в год носит по обету святость, да еще старики и старухи, и между ними дед Василий. А Илька с дядей остаются в ограде.

— Дядя Петруха, скоро в лес пойдут? — спрашивает Илька.

— Скоро. Вот затрезвонят—и пойдем. Подожди немного.

Все ждут терпеливо: кто живет с землей, тот умеет ждать терпеливо.

Попы-то, видно, торопятся—служат скоропыхом. Вот зазвонили к „достойной", а там—тиль-тиль-тили-бом!—желанный трезвон закружился и заплясал в воздухе. Толпа снимает шапки, крестится, шевелится, и у всех светлеют лица. Из церкви выносят хоругви, кресты, иконы, а вслед за ними показывается на желтых деревянных носилках большой образ Николы. Вся тысячная толпа опускается на колени.

Солнце играет на золоте хоругвей, на крестах, на стеклах киотов. Все сверкает. И звон — радостный и торжествующий— сверкает в голубом воздухе; и толпа сверкает неисчислимыми разноцветными платками, юбками, рубахами, кофтами... Только старый образ Николы темным пятном высится над толпой.

Толпа под звон закачалась и пошла. Из ограды выходит на площадь, с площади на улицу, туда, к околице, к Николину лесу, к Николину камню. Колокола захлебываются в радостном говоре.

„Отце священноначальниче Николае, моли Христа бога",— поет толпа.

Дед хватает Ильку за руку и взволнованно тащит его куда-то в сторону. Дядя Петруха протискивается за ними. И все трое задами бегут вдоль улицы, задыхающиеся от волнения. Ильке нравится: это тревожит. Когда опять вырвались на улицу, шествие осталось позади. Видно, как приближается толпа, как над ней колышатся хоругви; издали долетает слабое пение.

На пыльной дороге вереницей стоит народ—один за другим. И едва Николин образ приближается, все покорно ложатся на землю, чтобы Никола прошел через них. Вот лег дед; за ним лег дядя Петруха.

— Ложись, Илька,—говорит дед внуку.

Илька послушно ложится в пыль, хотя на нем новая рубаха.

— А если задавят?—со страхом думает он.

Дед странно шевелится, всхлипывает.

А пение ближе, слышнее.

Илька украдкой смотрит по сторонам. Вот пронесли хоругви, потом иконы. Толпа быстро движется по бокам. Как страшно! Страшно лежать в золотой пыли на дороге, между этими темными движущимися стенами и чувствовать себя беспомощным. Пение становится сильнее. Дьякон поет толстым голосом, будто шмель жужжит. Ноги толпы стучат рядом. Илька крепче прижимается к земле и чувствует, как над ним что-то проносят. Потом дядя поднимает его за руку, и все трое, не отряхиваясь (грех отряхиваться), в толпе идут к лесу. Илька видит, что дедовы глаза опять полны слез.

Илька знает, что теперь можно убежать от деда. Он отстает немного, прет в сторону, толкается в мягкие бабьи бока, чтобы прочистить дорогу, шевелит плечами, кому-то наступает на ноги и выбирается к избам. Ага—вот—фьют! Айда...

Через плетни, задами к околице. Как молодой жеребенок — стучит ногами—бежит Илька на край села. А там уже полно парней и девок. Какие платки! Рубахи-то какие!..

Ребятишки тоже здесь! И Санька, и Гришка, и Колька.

— Ребя, айда вперед! К камню! — кричит им на бегу Илька.

— Айда!

Ребята бегут гурьбой по мягкой лесной дороге. А ноги туп-туп-туп.

Вот он камень, вот сосна. Здесь уже много народа; старушки приплелись, больные, чающие исцеления. Дьячок Михайло мечется,—готовит что-то. Возле камня песочком посыпано. В лесу поют птицы. А люди здесь молчат: кричит Михайло на тех, кто заговорит. И правда, хорошо молчать. Вот слышно, как вдали запели. Стали подходить то поодиночке, то толпою мужики и бабы. Идет Никола,—идет торжественно. Прежде он сам, живой, приходил вот сюда на этот камень. А теперь вот идет Никола писаный... Толпа подходит с пением и все запружает вокруг камня. Илька забирается на толстый сучок березы, смотрит издали. Вот в зелени берез мелькнули золотые ризы, золотые иконы, и образ Николы ставят на камень... Служат долго, торжественно, святят воду в ручье, потом пьют ее все благоговейно. Илька спускается с березы, тоже пьет—вкусна студеная вода из Николина ручья.

А лес полон радости.

И пока Никола не ушел с камня, толпа теснится у самой сосны: матери просовывают через дупло младенцев, чтобы они

росли крепкими да не болели; больные пролезают через дупло, чтобы выздороветь.

И всем помогает Никола.

Так, по крайней мере, думает Илька.

Сколько лет прошло? А не надо считать.

Ждали теперь в Кряжиме Николу зимнего, готовились, в избах суета шла. Суетился дед Василий—только не один теперь суетился: подругу под старость достал — клюку; все клюкой постукивает, согнулся он, волосы белым-белы стали. А все бодрится.

— Эй, бабы, вари больше, пеки больше. На Николу и друга зови, и недруга зови,—все друзья будут...

Кричит—приказывает.

— Больно ты размашистый,—смеется бабка.

— А как ты думала? Не покорми о Николин день голодного, сам наголодаешься. Никола свой праздничек любит... Почет любит.

И, помолчав, дед задумчиво говорит, будто вспоминает:

— Нет за мужика поборника супротив Николы...

— От бед наших избавитель,—согласилась бабка,—заступник и податель. Попроси его, все даст.

— Вот Ильку-то бы мне вернул. Как праздник какой, так и того... сердце болит.

Бабка опускает голову: знает, что дед крепко тужит по Ильке.

— Шестой год идет теперь, пожалуй, — тихонько говорит бабушка.

— Шестой.

Дед присел на лавку, задумался, клюкой постукивает.

— Вот ведь какой парнишка вышел. Своебышный да непокорливый.

И вспомнилось, как все это было:

Шесть лет тому назад случилась в доме ссора: покричал на Ильку отец, а Илька огрызнулся. Отец за кнут и раз-раз!—отхлестал сына при всем честном народе, не успел заступиться дед. А малый уж на выросте был—пятнадцать годов. И в ту же ночь пропал Илька. Затревожились все бирюковцы, особенно дед. А потом знать-познать, Илька куда-то на чужую сторону подался. Уходил из села, говорил друзьям-приятелям:

— Не вернусь, пока у отца кнут не сгниет, которым он меня бил.

Узнали Бирюковы, ахнули. Мать в слезы, бабка в слезы, дед ходит, насупился, а отец говорит:

— Дьявол с ним. Пусть издыхает с голоду на чужой стороне.

Сказал он это, а дед на него с кулаками:

— Замолчи, басурман! Родное дите убить хочешь?..

И с той поры—вот уже шестой год—дед все просит Николу:

— Верни, Никола, Ильку. Молодой он, пропадет на чужой стороне.

Но месяц за месяцем, год за годом — идет время, а Ильки нет, как нет.

В Николин канун оделся дед потеплее, пошел в церковь. Идет по улице этакий большой, гривастый, клюкой подпирается, глаза из-под шапки, как угли, чернеют. Сразу видать: сам Бирюков идет. И любит же дед Николины службы!..

Тепло молился в этот день дед, все просил Николу:

— Верни Ильку.

И показалось ему, будто Никола дружески кивнул головою. Дед удивился и обрадовался.

— Неужто услыхал?

И захолонуло этак сердце от радости.

Тихими, темными улицами бодро шел дед в молчаливой толпе домой, слушал скрип шагов, смотрел, как тает толпа, и чему-то радовался. Только избяной порог переступил, а навстречу, из-за стола поднялся молодец — этакий большой, долгорукий, идет и смеется:

— Здравствуй, дедушка!..

Дед так и обомлел, даже клюку уронил на пол.

— Илька! Да неужто это ты?!

А паренек смеется:

— Я, дедушка, я!..

Утром, в Николин день, начался крестный ход.

По расчищенной дороге идет толпа с иконами, хоругвями, под торжественный трезвон в Николину заповедную рощу, к Николину камню, к Николиной сосне. Темной, длинной вереницей тянется. Поле бело кругом, укрыто плотно снегом, снег хлопьями висит на зеленых лапах сосен, на сизых ветках берез. Солнце играет блестками в морозном воздухе и на снегу.

На кряжимском батюшке белая риза, а из-под ризы виднеются воротник и полы меховой шубы: Николин-то мороз ядреный, крепкий.

Вся толпа тепло одета.

Илька идет возле деда, тоже тепло одет — в валенках и в тулупе; только голова, остриженная по-солдатски наголо, мерзнет. Илька закрывает уши шапкой. Дед посмотрел сбоку на Ильку и подумал:

— Новый он какой-то.

И правда, новый Илька. Вчера пришел домой в худых сапожишках, в картузике—это в Николины морозы-то,—а в карманах только кисет с табаком.

— А где же имущество твое?—спросил дед.

— У меня, как у турецкого святого, табак да трубка, — засмеялся Илька.

Дед с жалостью подумал:

— Совсем галахом стал внучек-то!

И теперь вот—валенки чужие, тулуп чужой, шапка чужая. И сам он чужой.

Идет, криво усмехается, посинел от холода, того и гляди убежит.

А в лесу так тихо-тихо. Пение молитв и скрип снега под ногами разносятся далеко. Слышно, как с треском ломаются ветви, задетые плечом... Мальчишки, увязая по колено в снегу, бегут вдоль дорожки...

Вот и сосна, и камень—разметено вокруг них до промерзшей земли.

Поглядел Илька на все, постоял, поежился от холода и задом-задом, сперва за толпу, потом за деревья и тягу домой.

Дед вернулся с молебна умиленный такой, ласковый. Илька уже отогрелся, ходит по избе в новой отцовской рубахе, на разубранный стол посматривает голодными глазами. Помолились все, за стол сели, все так празднично глядят, улыбчиво.

Захотелось деду поговорить с Илькой по-хорошему.

— Видал?—важно спросил он у внука:—Только шесть веток на Николиной-то сосне осталось. Скоро засохнет. Скоро конец мира.

И замолчал. И все замолчали, задумались, загрустили, думая о скором конце мира.

И вдруг Илька скрипуче рассмеялся. Дед удивленно вскинул на него глазами.

— Ты что?..

— Не верю я в эти сказки,—ответил Илька, улыбаясь как-то криво, одной щекой.

Будто гром трахнул: все замерли. Дед прямо на столешник бросил ложку, а в ложке-то щи были.

— Ка-ак?!.

— Не верю я этому. Ка-амень ло-опнет, сосна сгниет... Бабьи сказки это. Миру не будет конца!

И посмотрел на всех дерзко.

Если бы в Кряжиме началось светопреставление, не так бы удивился народ, как удивился Илькиным речам. Светопреставления ждали, верили в него. А здесь сразу как-то вдруг появился еретик. Да в семье-то какой! Би-рю-ковской. Самой именитой, самой крепкой.

Побежал этак слушок по селу:

— Илька Бирюков в безбожники записался. Дома-то на Николу его убить хотели. Отец прямо топором замахнулся, да, спасибо, дед заступился.

А Илька хоть бы что. Ходит по селу петух-петухом. Бабы глядят на него в окошко, украдкой крестятся.

— Вот он идет, неверяка-то. Ах, пострел бы его расшиб.

— Не иначе, как донских коней об'езжал. Кто их об'езжает, тот отца-мать не почитает, в бога не верит.

Мужики кричали сыновьям:

— Ванька, ежели я тебя увижу с Илькой,—уши обобью.

Сыновья сейчас от Ильки в сторону: в Кряжиме почитали родителей пуще богов. Илька только смеется, курит трубку, ругается:

— Недотепы. Пеньку в лесу молитесь...

А парням охота с Илькой погуторить: и боязно, и лестно.

Так все филипповки, все святки Илька проходил в одиночестве. Хотел из села уйти, да куда пойдешь, на зиму глядя?

Стали шопотом говорить, будто раз на вечерушке Илька спел новую песню:

Николай в Кряжиме был,
водку пил, селедку ел,
под сосной в лесу сидел...

А дальше такие слова, что и на ухо не скажешь.

Но вот солнышко опять зажгло весенний огонь. В Николиной роще опять закричали грачи, зазеленел лес, а там и Никола теплый пришел. Опять звонили колокола. Опять стар и млад ложились в золотую пыль под Николин темный образ, опять лес

был полон запаха ладана и звуками молитв. И когда толпа молилась, сгрудившись у Николина камня, Илька бродил по опушке Николиной рощи, один, сам с собой разговаривал, смеялся и кому-то грозил кулаком. Пьяным-пьяно было село в этот день. Весело провожали кряжимцы молодежь в ночнину... Николу чтили, радовались. Все по-старому, по-вековому, по-хорошему было в этот день и в этот вечер.

И вдруг средь ночи с колокольни дон-дон-дон-дон...

Выбежали кряжимцы на улицу, глядят, — а над Николиной рощей зарево, как высокая красная шапка, до самого неба поднялась.

Пуще всех перепугался дед Василий. Почему? И сам не знал. Просто руки ходенем ходят.

Побежали кряжимцы в лес, с ведрами поехали, с бочками, всю ночь до света тушили. Да где, — сушь в сосновом-то лесу была. Тушили—надеялись, что сохранит господь роковую сосну, сохранит и роковой камень. А потушили — ужаснулись: сгорела сосна, а на камне кто-то костер большой сделал, и лопнул камень от жары. Ужаснулось все село. Начали мужики дознавать, кто пожар сделал, и сразу решили:

— Илька Бирюков. Не иначе, как он.

Бросились искать Ильку. До утра искали, не нашли, только на дальней опушке баба Лукерья топор подняла.

— Чей?

Дознались.

— Бирюковский топор.

Увидал дед топор, упал на колени, завыл:

— Прости, народ православный. Мой внук это злодейство сделал. Сгубил ведь мир-то...

Кряжимцы, обезумевшие от ужаса, стали ждать конца света. Сев шел, работать вот как надо было, — „день прозеваешь, год потеряешь“, а никто на работу не выехал. Стар и млад надели новые рубахи, смазали волосы коровьим маслом; улица запестрела новыми сарафанами. В церкви шла исповедь без перерыва, причащались люди, соборовались, чтоб к богу очищенными явиться.

Старики и старухи так и ночевали в ограде на паперти. Все говорили об антихристе и ждали смерти. Бабы и ребята бесперечень вопили: все-таки не очень-то хотелось раньше времени на тот свет отправляться.

Конца света ждали по утрам: в писании сказано, что с восхода, от утреннего солнца, потечет огненная река. И вот со вторых петухов уже все село бывало на ногах. Все сгрудились к церкви, зажигали свечи, заунывно пели молитвы, плакали, открыто каялись в грехах.

— Агапушка, прости меня Христа ради, что я тебя в прошлом году в ухо ударил.

— Бог простит. Меня прости Христа ради, что я тебе восейка нос разбил.

Но всходило солнце, а огневой реки не было.

— Значит, завтра,—решал народ.—Еще на день дал господь отсрочку.

Так прошло три дня, потом четыре, а Кряжим все стоял на месте. Через неделю Фома Куликов поехал сеять пшеницу, а за ним поехали все.

А еще через неделю парни на вечерушке пели во все горло:

Николай в Кряжиме был,
водку пил, селедку ел,
под сосной в лесу сидел...

А. Яковлев.

НА ОБЩЕЙ ЗЕМЛЕ.

Приказала земля мужикам Интернационаловки, Тамбовско-Небесновки тож, готовиться к сенокосу. Загудели, заворущились, высыпали на улицу из домов своих, приспособленных, как у зверя, только для зимней спячки, не для наслаждения уютом и домашним покоем. Мужики в будничных портках и рубахах, но живой говорливой, как и в праздник, толпой шли, собирались у большой артельной кузницы на выезде из Небесновки. Пряный густой аромат распаренной солнцем земли, приносимый ветром с полей, и здоровый звериный запах навоза с дворов, как вино тревожили кровь, радостным, пьянящим ударяли в голову, омолаживали глухие голоса стариков, крепили нутряным, грудным звуком звонкие выкрики молодых, серебром переливали детские слова-колокольчики. Во хмелю нынешней радости было новое. Заовражнинские, которым в прошлые годы было положено только отраженный от хозяев свет радости принимать и супиться от мысли: чего косами начиркаешь, гудели нынче густо, как сильные. Оттого, что длинной ратью выстроились у кузницы машины и для их покоса. Солнце и радость сделали морщины на лице Артамона Пегих лучами, грязно-серые волосы серебри-

стыми. Маленький и сухонький, сегодня он будто распрямил батрацкой работой согнутую спину и повыше, казалось, стал. Как хозяин заботливый кричал:

— Софрон, а Софрон! Слышь ты, Артамоныч, сколь кузнецов-то у нас?

— Деся-ать!

— Хватит ли по машинам-те?

И тревожным перекатом по заовражнинским:

— А и то, хватит ли?

Втянув черную лохматую голову в плечи, Редькин острые скулы свои и ямы худых щек к солнышку поднял. Будто тепла просил. И блики радостные лицо оживили, оттого и голос с меньшей натугой, чем всегда, прохрипел:

— Савоська... это нашинский... Постарается. Его для надзору поставим. А надо, так все мы закузнечим. Было б над чем!..

Сектант Глебов — с него солнышко хмару сегодня не сгоняло—угрюмо отозвался:

— Кузнецы!.. Над машиной-то сноровку надо. Эндаки, как Пегих да Редькин, накузнечат... Каки целы зубья-то и те переломают.

Софрон насмешливо оборвал:

— Ничо, не сокрушайся об нас, не труди печенку. Переломам, новы наварим. Сами не сумем, тебя приспособим. Потрудись, мол, товарищ Глебов, для черноты крестьянской! Э-э-х, табачком побалуюсь. Весело!

И непривычными пальцами начал свертывать папиросу. Живя бок-о-бок с сектантами, мало курили интернационаловские мужики.

Кривошей Савоська от дверей кузницы крикнул:

— А ты, Софрон, махры-то из городу для кузнецов расстарайся. Уважим! А энти, псы-то, гавкают, знамо, со зла. Мы свое справим, вы поспевайте. Вот к слову, сказано лобогрейка. А почему? А потому — лоб греет. За ей поспевай в ногу. Как под музыку, паря!

— Махорка запасена. Айда, музыку только готовь, поспем. Мужицки раскоряки подладливы, только поучи. На войне не под эдаку музыку поспевали! Штой-та, Жиганов Алексей Иваныч нонче смирен. Мир радуется, а он рота не раскрыват.

— Ха-ха-ха-ха!

— Го-го-го!..

— Подавишься! Прятал, прятал машины для себя, а теперь айда-ка к Софрону наймайся.

— Наймем ли чо ли, братцы, Жиганова-то в работники? А?

Жиганов сплюнул, белками синими сверкнул, но ответил спокойно:

— Не было б нас, и машинов-то взять негде было бы. А от работы мы не отлыним. Как, Софрон, нас в коммуны-то примате?

— А, реготали, а теперь учуяли?

Редькин завопил:

— Эдаки коммунщики только за машинами за своими тянутся. Чтоб не выпустить! По шеям их!..

— Знамо без их!.. Пущай сено у нас покупают.

— Не примать!

— А что не примать? Пущай идут в долю. С лошадьми они.

Софрон прекратил:

— Пущай вровнях с нами побатрачат. Примам. Главно дело, лошадны.

— Правильно-о!..

Артамон Пегих справился:

— Сено-то как, на душу делить? А на душу, дак примай, каки охотятся.

— Айда в школу, в коммуны записывать!

— Чо и во сне не мстилось, увидать привелось. Ко-ом-му-ны! Ну, ну!.. Ну, поглядим. Либо волосья клоками, либо сено стогами.

Повалили к школе. В кузнице началась жаркая музыка работы. Редькин около машин остался. Все ему казалось, что отнимут их. Надо сторожить верным глазом. Деревня жила переливами возбужденных человеческих голосов.

За кузницей на лужайке дети звенели:

— Которы машины Жигановски, теперь нашински!

— Как раз! Вашински! А нашински?

— И вашински!

— А Жигановски?

— „Вставай, проклятьем заклюменный, своею собственной рукой“...

— Ах, ты, холера тебя задави! Семой год, а туды же „вставай, проклятый“. Иди в избу, пока не взгрела!

— А ты, тетка, не лайся на его. Старый прижим-то отошел.

Весь день хлопотливый, горячий, ароматом с поля обвеянный, был суматошно радостен. В одно утро выборные от коммун выехали луга делить. Шумной, говорливой толпой провожали их мужики и бабы. Выстроились верховые с деревянными саженями в руках.

— Ну, анжинеры, не подгадьте мерялкой-то своей.

— Чо остерегашь? Сажени-то, знашь, стары, меряны.

Гикнул передний верховой, отозвались остальные: мужики, выборные от коммун и ребятишки-добровольцы. Из-за радости буйной степной с мужиками выпросившиеся. Взбрыкнули ногами сивки, каурки, бурки и понеслись шумным отрядом в степь.

А степь разнотравая ластится. Белым ковылем кланяется. Мигает несчетными белыми, красными, голубыми глазами—цветами. Богатство свое показывает. И жужжит, и звенит в воздухе голос ее: в птичьих трелях, в трескотне кузнечиков, в шуршаньи букашек. Будто не умирала зимой. И все в ней пахнет сладостно. Цветы ароматны, травы ароматны, и русское небо бледноватое, кажется, пахнет солнцем. Ветер дымок донесет, а он в степи горяч, прян и ароматен. Полынь, трава горькая, и та на расцвете острый, до боли сладостный запах дарит. Степь вся гулкая и отзывная. О-го-го-го! А-а-а-а! Гулом далеко-далеко. Слуша-а-ай! Степь голос человеческий передает. Слушай, зверушка, птица, букашка, слушай голос человеческий! А-а-а!.. Грудь сама для крика ширится.

Спешились с коней. Зашагали с деревянными саженями своими.

— Стой, стой!.. Ты как шагаешь? Стой!

— „Шагаешь!“ Каке ноги есь, тоими и шагаю!

— Ге-ге-ге! Нет, браток, надувательско время отошло! Начинай отседова!

А степь отзывается: а-а-а!..

Ребятишки перепелок шарили по кустам. Орали будто подряд на крик взяли. Ванька Софронов всю ученость свою в траве растерял. Прыгал на одной ножке и пел звонко заливисто:

— Этта сама-д-перепелка,
этта сама-д-перепелка,
перепе-е-лка-а!..

— Дедушка Артамон, перепелку не пымал?

Артамон похвалиться захотел: увидал в траве и схватил... вместо перепелки змею. Кинул сразмаху.

— Ах ты, тварюга проклятая! И очень просто, вот така обжалит.

Глебов густо захохотал. И он в степи попростел и повеселел.

— Вот оно, дед Артамон, как чужу-то землю размерять! Заместо птицы—змея в руку!

Ванька за Артамона задорно ответ прокричал:

— Ничо, змеев-то мы назад вам вернем. Пользуйтесь, вы с ими родня.

Глебов звонко, увесисто, выругался, но больше не язвил. Хоть и не смолкал в разговоре. Целый день луга оглашались меткими мужицкими словами. Для того, что знали, видели и понимали, был у них язык ярок и хватоК, переливался образами, как степь цветами.

Косить, обычно, начинали после Петрова дня. В этот год порядок нарушили. Выехали на целую неделю раньше. Старики ругались:

— Обычай рушите! Не зря установ: сыра земля.

— Ничо, мы—горячие, высушим!

Первыми двинулись машины. За ними уемистые рыдваны с бабами, детскими зыбками, бочками, палатками, ведрами, одеждой, котелками и чашками. Когда приехали, закачалась степь от разногласья. Замелькали по степи бабьи головы, повязанные платками с красным по желтому, с белым по красному, разноцветными.

Участок Артамоновской коммуны у леска начинался. Лесок кудрявый, маленький. Издали был в степи, как букет небольшой на столе. А под'ехали, увидели: тенистый и приютный, с родником студеным.

Завозились на стану бабы, заплакали ребятишки. Двинули мужики машины на луг. Демьян Колосов, заовражнинский, на лобогрейке выехал. И вид у него был встревоженно-радостный, такой же, как в детстве, когда мальчишкой в первый раз на поезд попал.

Скоро на стану одна Дарья Софронова кашеварить осталась. Далеко-далеко, куда хватал глаз, все двигались по степи люди. Ванька Софронов пересчитывал:

— Нашинска коммуна—восемь семей. Мужиков с мальчишками — тринадцать, баб — семнадцать. Пантелеевска коммуна — девять семей... Ничо, на луга силу двинули...

— Ва-а-нька! Вань! Чо растопырился, иди!

— А-а!

— Но-но-но! Но-о! Пантелей, поспе-в-аешь?

— Поспем!.. Уля-а, ровне греби!..

У Аксиньи солдатки голос из груди сам вырвался.

— И э-эх да травушка под косы-ыньку лягла.

Прилипли к телу потные рубахи, красным цветом прожгла кровь лицо, устали ноздри втягивать запах ароматной смерти

травы, налились тяжестью натуги спины, а передышку ни одна коммуна не об'являла. Не захотели сдавать, вытягивая свое тягло. Наконец, прокричал своим Артамон, что шабашить пора. Стали замолкать машины и на других участках.

— Мамк-а-а! Пошевелив-ай! Обедать идем!

— Айда-те-е! Три раза кликала!

Пить! Прежде всего пить студеную оживляющую влагу. Холодом нежит пересмякшие губы. У родника долго мылись, плескались, ухали от холодной воды, потом также долго, деловито, старательно, как работали, ели из общего котла Дарьино варево, запивали с густым кряканьем кислым деревенским квасом. После обеда затихла степь. В повалку в коммунах полегли отдыхать люди и спали, не тревожимые бьющими в голову лучами жаркого солнца. Когда надо телу спать, спит, ничего не боится. Но недолго разливался в траве густой переливчатый храп мужиков и подхрапыванье баб. Поднялась коммуна, и снова шум и треск, и гомон работы. В рабочей старой одежде ловко и согласно двигался на общей работе Глебов. В пылу ее забыл, что не один хозяин над полем. Вспомнил только ночью и долго заснуть не мог, хоть и устал от работы. Ворочался и кряхтел.

Из леска доносился зовущий смех девичий, переливы гармошки и удалая частушка парней. Когда спустился на землю ласковый полог ночи, молодежь от станков подальше ушла. Переливами будоражливых голосов своих полог этот колыхала. Но когда обвевал холодком зари и прогонял со станов истому сна и вставали старшие, молодые не запаздывали. Шли на тягло и хмелем криков и песни, молодостью согретую ушедшую ночь славили. Ссоры в коммунах во время работы были редки. Слишком ценил выгоду свою каждый, чтоб отстать, потерять лишнюю копну сена. Один раз Софрон поскандалил. Он на покос только наезжал, и как раз в его приезд в их коммуне лобогрейка сломалась. Поехал верхом к Савоське—кузнецу.

— Айда, парень, в кузницу!

— Ишь ты, ласковый! Поди-ка, в коммуне раздел на душу. Не сработаешь, не прогневайся.

— Дак нашей-то коммуне, как без машины?

— Ну, косами косите!

— Я те покажу „косами"!

Раз'ярился, а потом смекнул: прав Савоська. Как работу пропускать? И вышел приказ от Исполкома: кузнецов с косьбы снять, положив сено на их долю. Каждый день новый случай

учил, направлял порядок, и все уверенней становились Софрон и с ним согласные. День за днем, к концу косьба. Праздников не справляли, хоть иногда и тосковали по ним. Не отказывались: на себя работали.

С. Сейфулина.

СТАРОЕ И НОВОЕ.

I.

Прожил дома Петр с неделю,
Голова — что после хмелю.
Не осмыслишь ни черта:
та деревня иль не та?
Те же сходы, как бывало:
крику много, толку мало.
Тянут, кто во что горазд.
Но кто раньше был горласт,
стал теперь горластей втрое.
Шум—равно в осином рое.
Подло, тонко и умно
кулаки поют одно,
бедняки поют другое.
Все исходят в диком вое.
Кулаков четыре-пять,
а никак их не унять,—
никакого с ними сладу.
День проспорив до упаду,
по домам идет народ.
Новый день и новый сход,
и на сходе так же точно
кулаки вопят истошно:
— „Братцы, бог-то есть аль нет?..
Аль на небе тож... Совет?
Братцы, спятили вы что ли?
Ошалели все от воли:
воля вам права дала
раздевать нас догола?
Раздевайте, леший с вами,
с вами, с вашими правами!
Разоряйте нас до-тла.
до последнего кола.
Вам-то легче, что ли, станет?
А как черный день настанет,
кто спасет вас от сумы?
Кто вам денег даст взаймы?
Мы ли были вам врагами?
Не ссужали вас деньгами,
и зерном и чем могли?
Этим вы пренебрегли?
Все добро забыли наше?
Власть Советская вам краше?
Чем вам так она мила?
Что досель она дала?
Насулила—эвон—горы!
А пока... дерет поборы.
Обобравши „кулаков“,
стала стричь „середняков“,
чтобы после, как известно,
всех обобранных совместно
под один подвесть ранжир,
снявши с них весь „лишний“ жир.
Пусть побольше будет голи!
Что ж, такой вы ждали воли?
Справедливость в этом, что ль.
чтобы все сошли на голь?

II.

Власть советская... Подите,
у соседей поглядите.
Разве Муромский уезд
так, как мы, и пьет, и ест?
Как в раю живут там ныне,
комиссаров нет в помине,
разогнали всех к чертям!

По проторенным путям
покатилась жизнь там снова.
Братцы, старая основа
уж не так была плоха.
Было менее греха.
Были все-таки в дни оны
не декреты, а законы.
Знали все, что уважать
и за что ответ держать.
А теперь мы, словно звери,
запираем на ночь двери,—
дрожь берет нас до костей;
ждем непрошенных гостей,—
вот они уж рядом рыщут,
налетят, весь дом обыщут,
перья все перетрясут,
все, что можно, унесут.
Жив остался? Слава богу!
Кто ж окажет нам подмогу?
Кто вернет нам всем покой?
Как не мы, то кто другой?
Мы, лишь мы одни. Не так ли?"

III.

Мужики стоят. Обмякли.
„Шут их знает, кулаков...
Может, впрямь, нас, дураков,
волей только сбили с толку".
— „Нынче вот купить иголку,
так и той не сыщешь: нет!
Вот те, братец, и Совет?"
— „И опять же, взять к примеру
защищали все мы веру,
мать-Расею и царя,
а теперь воюем зря.
Зря сдаем детей в солдаты".
— „Сами в этом виноваты;
кто велит нам отдавать?"
— „Надо, братцы, бунтовать".
— „Мой-от сын удрал из части.
У невестки-то, у Насти,
время близится рожать...
Как же Митьке не сбежать?
По хозяйству нонь хлопочет,
пусть воюет там, кто хочет.
А Митюха мой хитер...
Одно слово, дизинтер!"
— „Ну, а как, гляди, разыщут.
Ведь, пожалуй, крепко взыщут?
— „Взыщут! Руки коротки.
Мы, чай, тож не дураки,
в головах не ветер свищет,
спрячем Митьку, чорт не сыщет!"
Мужики шумят, орут,
живоглоты верх берут.

IV.

Стал тут Петр пред мужиками,
пред своими земляками:
— „Братцы, легче в землю лечь,
нежли слышать вашу речь.
Братцы, дайте молвить слово.
То, что слышу я, не ново.
С виду—новые слова,
да погудка не нова,
стародавняя погудка
мироедского желудка.
Кто туманит вам мозги?
Ваши кровные враги,
живоглоты, душегубы,
воют тут, оскалив зубы,
вы же смотрите им в рот,
разнесчастный вы народ.
Мало прежней вам науки?
Мало вынесли вы муки
в цепких лапах пауков,
этих самых кулаков?
Кто вам душу испоганил,
кто процентами тиранил,

вашу кровь в былые дни
кто сосал, как не они?
Кровопийцам вашим ярым
как не гнуть к порядкам
старым?
Ведь советская им власть,
дело явное, не всласть,
им она связала рукн
и раскрыла все их штуки,
все их подлые дела.
Нынче сила их мала.
В наглом брюхе вся их сила,
мать их всех не доносила,
чтоб им, гадам, околеть!
Им-то есть о чем жалеть,
лить кровавых слез потоки, –
ну, а вы-то, вы-то, доки:
вместе с бывшим богачом
вы жалеете о чем?
Что богач вас вновь не купит.
что процентов с вас не слупит,
что ему теперь не в мочь
помыкать и день и ночь,
летней, зимнею порою
вами, вашей детворою?

V.

Впрямь ли, мудрым головам,
жаль законов старых вам?
Чьи ж слова: „закон, что
дышло,
куда хочешь, туда вышло?
Чей, не ваш ли это стон?
И не вы ль кляли закон:
Уж такая мол планида—
„где закон, там и обида!“
Жаль вам царского суда?
Кто судил вас? Господа,
как хотели, так судили.
И про суд вы что твердили:
„В суд ногой, в карман рукой?“
Вновь вам нужен суд такой?
Иль налогов с вас не брали?
Брать—не брали, шкуру
драли,
не одну, а десять шкур.
Переписывали кур,
коровенку уводили,
деток малых не щадили,
дохнут пусть без молока,—
тож беда не велика.
У царя расходы—вона:
В день четыре миллиона!
Дармоедов всех не счесть:
Надо всем и пить, и есть,
казнокрады—обиралы,
генералы, адмиралы,
власти всякие, чины—
пропитаться все должны.
Пристава, попы, жандармы,
церкви, тюрьмы и казармы,
стража, армия и флот—
трона царского оплот...
Чем все это содержалось?
Чем, на горе нам, держалось?
Деревенской беднотой!
Под господскою пятой
вы покорно шею гнули!
Лямку черную тянули
и, нуждой себя моря,
все молились... за царя!

VI.

Будь у вас ума поболе,
были б мы давно на воле.
„Верноподданный“ народ,
вы проспали „пятый“ год.
В городах тогда кипело...
Эх, иное было б дело,
если б только вы тогда
поддержали города!
Девять лет вы спали сладко.

Как проснулись—ой как гадко:
свой возлюбленный народ
царь за шиворот берет,
на войне, что карты мечет,
миллион людей калечит,
убивает миллион,
миллион сдает в полон.
Мало? Жертвы царь удвоит,—
ничего ему не стоит.
И удваивал подлец.
Вот какой был злой конец
распроклятой вашей спячки.
Вот откуда все болячки,
что досель у нас болят.
В старых ранах,—старый яд.
Вы же верите злодеям,
живодерам—богатеям,
мол, тому, что всюду—гной,
власть советская виной,
и что верное лекарство—
посадить царя на царство!
Вот он, старый-то напев!
Полезайте в грязный хлев,—
в ту ж загаженную яму,
сгреб бы дьявол вашу маму,
от кого я тут слыхал?
Кто-то горестно вздыхал,
что к иголке нет подходу,—
значит к лешему свободу,
и советы—ни к чему:
Дай иголочку ему,
а потом... лупи по роже!
Вон Кузьма Перфильев тоже
жеребцом каким заржал:
— Митька с фронта убежал.
Спит таперича с женою.
Ну их с внутренней войною,
этих всех большевиков:
Мало ль им своих полков,
заводского, значит, люда?
Мы... поспим с женой покуда!—
Долго ль Митьке спать с женой,
разговор пойдет иной
в скором времени, я чаю,
а пока я речь кончаю.

VII.

Братцы, я вам не указ,
может-быть в последний раз
нынче с вами речь веду я,
возмущаюсь, негодуя
и душой за вас скорбя.
Пожалейте вы себя,
Не вверяйтесь живоглотам,
их лихим о вас заботам,
их змеиной, подлой лжи.
За спиной у них ножи,
власть советская им гибель,
власть господская им прибыль,
а для вас—наоборот.
Заклепайте ж гадам рот.
Стройте сами вашу долю,
укрепляйте вашу волю,
стойте, милые, горой
за советский вольный строй.
В нем одном залог успеха,
мироеды—нам помеха,—
лишь тогда мы все вздохнем,
как им головы свернем.
Чем борьба вся завершится—
Красной армией решится.
Приложите ж все труды,
чтоб спаять ее ряды,
чтобы дать бойцов ей боле:
пусть она на бранном поле
под щетиною стальной
станет грозною стеной
и решит одним ударом
спор о новом и о старом,—
с барской шайкой спор решит,
злую нечисть сокрушит.

Вот. Я все сказал. Простите.
Поступайте, как хотите,
что касается меня,
то... я „Митькам“ не родня.
Не чинить чтоб вам докуки,
завтра утром—палку в руки
и айда от этих мест
на приемный пункт в уезд.
Там в шинель, ружье на плечи,
и—до новой, братцы, встречи
если только вновь она
в добрый час нам суждена!“

Демьян Бедный.

ДЕРЕВЕНСКАЯ КОММУНА.

Чудеса по небу лазали,
да спустились, видно, на землю:
из замшелой, темной, рваненькой
деревеньки, вечно пьяненькой,
вышла трезвая, тесовая,
как зеленый бор, здоровая,
веселая, живая
коммуна трудовая.
Дети чистеньки да мытеньки,
распричесаны волосья.
Аржаные правят митинги
толстозерные колосья.
Зацвела гречиха розово,
вдоль опушки, вдоль березовой
две задорные кобылки
тащат деда на косилке—
в первый раз.
На машине глаз да глаз:
тут нажми, а там подтыкни,
ну-да, нечего, привыкнет.
Хоть и стар,
а ведь крепкий коммунар.
В братской кухне бабы хлеба напекли.
За окошком, мимо неба,
пчелы меду принесли.
Ведра, полные удою,
девки к погребу тащат.
Кузни дятлами трещат.
Машет мельница руками восемью:
все за нами, все за нами
в нашу красную семью!
А над борами поодаль,
обдуваем ветерком,
поп на облаке верхом
проплывает, старый лодырь.
Весь тревогой злобной вз'ершен
с виду пугала смешней,
ищет взорами, как коршун,
деревеньку потемней,
где б свечами да водицей
можно было торговать,
нашу совесть воровать.
Хоть летай по небу птицей,
хоть рыщи по лесу зверем,
не поверим
ни иконе, ни тебе.
К новой огненной судьбе
мы взлетаем. Шире груди!
Раздышитесь вольно люди.
Счастья много.
С топорами, с молотками
все за нами
красною дорогой!

С. Городецкий.

КОММУНА.

— Товарищи, в одиночку наше дело не пойдет. Гляди какие мы: кто без руки, кто без ноги. Руки есть—лошади нет. Лошадь есть—телеги нет. Правда?

— Правда.

— Вот и давайте по другому.

Тут Тереньков произнес неслыханное слово „коммуна“. Покатилось оно по улицам, как сказочный колобок.

— Обиженных в ней никого не будет. Нам не капиталы копить и не людей давить. Ты обопрешься на меня, я—на тебя. Так и пойдем кучкой.

Мирон оказался главной пружиной. Около него дружно заработало несколько человек. Мужикам на собрании об'явили:

— Лизарихин участок мы берем под коммуну. Кто хочет пойти с нами, милости просим.

Филипп Карташов выступил с насмешкой:

— Кто это—мы?

— Вставай, которые с нами.

Поднялись: Мирон, Иван Быстренький, Кондрат Сухоедов, Шалферов, Лизунков, Вришины два брата.

— Вот кто. Гляди, если не видал.

* * *

Денек разыгрался хороший. Небо синее, ведряное. Когда над гумнами поднялось утреннее солнышко, Мирон вывел со двора кобылу, запряженную в телегу. Держа в руках длинные мешающие концы вожжей, тронулся по порядку. С левой оглобли Иван пристегнул своего меринишка, шумно фыркающего мокрыми ноздрями. Хвост ему закрутил, словно собирался на свадьбу. Похлопывая по спине пару отощавших коней, сказал:

— И-эх, вы, буржуйчики!

Оба с Мироном смеялись. По улице тронулся маленький поезд, гремя привязанными сзади плужками. Впереди ехал Шалферов на костлявом мерине, запряженном в рыдван. Позади на телегах сидели бабы, девчонки в белых платках. Мужики шли по бокам шумными говорливыми кучками.

На деревне смеялись: „Гляньте-ка скорее, коммунисты поехали“.

Вслед им кричали:

— Тронулись? На новую землю? Выдумщики!

Овчинников старик смотрел со своей завалинки, как гриб из-под нахлобученной шапки, недоумевающе качал старой опорожненной головой.

— Цыгане, что ли поехали?

Мирон волновался, как маленький. Солнышко светило хорошо, приветливо. Под согревающим теплом росли новые мысли. Виделась впереди обновленная жизнь, построенная общим трудом и любовью. Виделось широкое вольное поле, вырощенное общими руками на общую пользу.

Смотрел Мирон вокруг светлыми заигравшими глазами, думал: „Хорошо!“

* * *

Мирон работал на участке. Вошло в него молодое, распустившее крылья, несло, поднимало. Когда увидел дымок, плавающий над хутором, весело прикрикнул на лошадей, пролагающих общую товарищескую борозду:

— И-эй, потягивай!

Обедали на маленькой террасе, выходящей на озеро, за общим артельным столом. Громко постукивали ложками, шутили.

— Здравствуй, Лизарьевна!

— За наша здоровьичка!

Выйдя из-за стола, Мирон посмотрел на широкие, раскинутые поля, изрезанные перелесками, долго стоял неподвижно. Обернулся к товарищам. Посмотрел на улыбающихся баб с девчонками, на Михалева, выставившего деревянную ногу, взволнованно сказал:

— Идет, товарищи, вижу!

— Кто?

— Жизнь другая. Трудно языком сказать, не могу. Держаться надо за нее, не выпускать.

Тереньков говорил:

— Учиться надо, в слепую не стоит. Фонарь зажечь в голове. Без огня далеко не уйдем.

Кондрат удивлялся:

— Как во сне. И не верится, что мы с Гараськой.

Мирон возбужденно вытягивал шею, собираясь сказать ненайденное слово. Радостно окидывал глазами собравшихся, улыбался широкой улыбкой вместе с солнышком, которое улыбалось мужикам с голубого весеннего неба.

А. Неверов.

БАТРАЦКАЯ.

У окошечка сижу
да в окошечко гляжу.
Три деревни, два села...
Ну ж, ребятушки, дела!
Из деревни от отца
поджидаю письмеца.
Как письмо я получу,
в сундучок заколочу,
по дорожке по прямой
едет молодец домой.
Поклонюся я родне,
и сохе, и бороне,
и сохе, и бороне,
всей родимой стороне.
Окружит меня родня,
будет спрашивать меня.
Поведу с родней я речь,
как нам волю уберечь,
где налечь и где нажать,
чтоб земельку удержать.
Чтоб не взгрел нас барский
бич
кликну я по селам клич.
Кликну клич средь мужиков:
— Все в ряды большевиков!
Все в ряды большевиков,
собирай всех батраков,
собирай всех батраков,
напирай на кулаков!

Д. Бедный.

ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ.

Солнце еще не поднималось, и в лощине под деревней было пасмурно и сыро, а уж мужики выехали пахать и сеять — в первый раз на помещичью землю.

Сколько лет ждали ее, смотрели на нее и работали на ней, как на чужой, а теперь — с в о я.

Жалкое, изрезанное узкими полосками крестьянское поле, все изрытое рвами и пробоинами, жавшееся по буграм, смотрело бедно и убого. А рядом с ним — целое, разделенное на большие участки—свободное поле, точно обетованная земля.

В поле выехали все. Впереди молодежь, сидя бочком на лошадях с сохами на возилках, чертивших бороздочки, на влажной утренней пыли дороги. За ними пожилые мужички и старики. Даже старушки и те вышли в поле, захватив с собой какие-то узелки.

Поднявшееся над березовым леском солнце окрасило румяным светом березки на бугре и белые рубахи мужиков.

Даже старик Софрон, весь седой, шатающийся от ветра, — и тот вышел с палочкой, в белых онучах на иссохших ногах, посмотреть на землю.

Старики были не столько радостны, сколько серьезны и озабочены.

Земля лежала перед ними, с виду покорная, обещающая, но они хорошо знали эту покорность.

— Что-нибудь не потрафишь, вот и утрешься. Семена пропали.

— Очень просто. Ведь прежде, бывало, на свою-то землю и то, разве с бухты барахту выезжаешь?

— Да... бывало, с поста еще начинают приготовляться, по приметам соображаться, когда пахать, когда сеять, а теперь, вишь, вон, молодые-то: папироски закурили, шапки на-бекрень, и пошел с некрещенным рылом.

— Прежде без толку не делали, — сказал Софрон, — на все дни знали счастливые. Одной святой воды сколько изводили.

— Это что там...

— Бывало, перед тем как сеять, старики недели за две выйдут в поле и все на небо смотрят...

— Галок считали? — спросили молодые.

— Галок... Посмотрят, а потом, как по писаному, все знают, когда сеять, когда что. А мы теперь, что же — окромя понедельника и пятницы — тяжелых дней — больше ничего не знаем.

— Да, да, на понедельнике с пятницей далеко не уедешь. А прежде и по понедельникам сев начинали: какой-то водой побрызгают бывало — готово. Сей и не сумлевайся. А то опять тоже на небо поглядит.

— Тепер на небо смотреть не любят. Они все думают силой взять. Не-ет, сколько спину ни гни, а ежели благословения на тебе нет, и не будет ничего.

— Без благословения и человек не родится.

— То-то девок наших, должно, дюже все благословляет кто-то, что они кажный год в конопях рожают, — сказал кто-то из молодых.

— Бреши еще больше... На какое дело едешь, а язык без привязи.

— Нету благодати... — сказали старушки, — нету...

Приехали в поле, выпрягли лошадей из телег с семенами и откинули веретья, под которыми лежало тяжелое, гладкое зерно.

Старушки стали доставать из узелков просфорки, желтые копеечные свечи. А молодежь села на рубеже покурить.

— Эх, машину бы сюда хорошую, — сказал Николай сапожник, — раз проехал — готово. Тут бы до самого нутра ее взворочали, поневоле родила бы.

— Бывало, как с иконами, да со звоном пойдем по ней всем народом, — говорила старушка, вдова Тихона, — в небе жаворонки

поют, в лощине ручейки журчат, солнышко играет, а тут Христос воскресе. Как посмотришь, бывало, на нее, на землю-то, так и зарадуешься.

А теперь чтой-то словно и нет радости.

— Какую же тебе еще радость надо, — сказал солдат Андрюшка, — по две палки тебе дали, лишних пять четвертей сгребешь, свинью выкормишь да портки сыну сошьешь, а то у него все огузья уж прогрели.

— Нам, брат, этой радости не надо, — отозвался Николай, — а вот с силами соберемся да машину поставим, тогда твоего бога силком работать за нас заставим, да барыши гнать... А то вы со своей радостью каждый год с пустым брюхом да без порток сидите.

— Нет, батюшка, бога машинкой не поймаешь, сколько ни лови. Все промеж пальцев выскочит. Не в том месте ловишь.

— Ну да, заладили свое...

— Да уж что ж там, вы до всего дошли. Заместо навозу порошками какими-то стали посыпать. Прежде за такие дела ловили да били, чем попадя.

— Только об этом и стараются, как бы бога обойтить. Лучше порошком каким ни на есть посыплю, а уж богу не поклонюсь.

— Не очень-то об нем думают теперь. Бывало в поле без молитвы и не выезжают, а теперь лошадь у него с борозды свернула, а он ее матом; так надо всем полем и стоит.

— Веселей выходит... Убираться бы вам пора под березки, — сказал Андрюшка, кивнул головой в сторону кладбища.

— Мы-то уберемся, нас господь не забудет, — отвечал Софрон, — на ней, матушке, с молитвой работали, в нее и ляжем.

— И хорошее дело. И вам покойней, и людям просторней...

Когда начали сеять, старушки раскрошили просвирку и крошки побросали на новую землю, а свечку прилепили на грядку телеги перед иконкой и зажгли.

Пламя свечи, почти невидное в свете утреннего солнца, горело, не колеблясь. И над полем, в свежей синеве небес, пели жаворонки.

— Сколько лет уж не делали так-то, не перепутать бы... — говорили старики, с надеждой следя глазами за проворными руками старушек, которые уверенно делали свое дело.

Даже молодые на время как-будто присмирели, — столько было торжественности и уверенности в движениях старушек. Только Николай не удержался и сказал:

— Скорее кончайте свою музыку-то. Дело делать надо, а не чепуховину разводить. Яиц тухлых зачем-то притащили... Что ж, у тебя и куры что ли святые?

Никто ничего не ответил. Старушки, не обращая внимания, заканчивали молитву. Молодежь сидела и курила на травянистом рубеже с прошлогодней жесткой травой, через которую из сырой весенней земли уже пробивалась нежная молодая травка.

Кругом синели и сверкали в утреннем блеске освобожденные из-под снега поля. Вверху свежо синело небо, а на нем четко вырисовывались красноватые ветви берез сложенными пахучими листочками. Было тихо. Концы полотенца, на котором стояла в семенах икона, едва колебались от слабого ветерка. А над головами едва заметно вились к небу два дымка: один из кадильницы с ладаном, другой — от папирос молодежи.

П. Романов.

ОКСАНА.

Вишневый край ты мой!.. За что люблю тебя я?..
Как пахнут по весне родные берега
там, где полотна зорь от края и до края,
где небо голубей и голубей снега.
Вишневый край ты мой!.. То на твоих дорогах
я слышал первый раз смертельный боя звон...
И дух крови в снегу, как первая тревога,
когда во тьме ночной в лицо стрельбы огонь...
Холодный дикий день простер свои ладони,
где огненной грозой во мраке города,
где по углам ветра, как молодые кони,
и рассыпает звон, осенний звон вода...
Где улицы в пыли, в тяжелой зноя тине,
и голубым крылом просторы бьет бензин,
где звонкий небосклон такой бездонно-синий,
навеки сберегу надежды все мои.
А осень в синеве, как огненная птица,
и тепло шелестит сухой и желтый лист...
О сколько будет вас, во мне вы—как зарницы,
таких хороших дней, что в прошлое ушли!..

* * *

И долы, и поля гудели и стонали,
от трупов стлался дух, как от осенних трав...

А небо разлило холодный блеск опала
на кудри тополей из синего ведра...
На сталь и провода ползли бездумно танки,
и корчилась земля за ними, вся в крови...
Катилось солнце вдаль на золотой тачанке
и пропадало там за гранями в степи,
и точно пульса бой дрожали горизонты,
где месяц изогнул свою седую бровь...
На запад золотой, на пыль и гулы фронта
шли армии в крови, чтоб не вернуться вновь.
И тяжко стало жить. Покинула Оксана
любимое село, гей, для иной мечты, —
она пошла туда, где смерть, огонь и раны,
где на очах печаль, а в сердце только дым...
Как терпко пахли дни травой и иодоформом
и снились ей бои, и ночь, и тишина,
как бы холодный блеск орудий на платформах,
когда в крови цветет от выстрелов луна...
Летели мысли вдаль, как листья в дрожи зыбкой...
И сердцем поняла Оксана боль войны, —
так иногда дитя осветится улыбкой,
когда над ним плывут задумчивые сны...
И часто по ночам, когда шумело поле
и призраки неслись за поездом толпой,
казалось небо ей покинутым забоем
и лампочки огнем — ей месяц золотой.
От зарев в небесах тянулись чьи-то руки,
навстречу звезды им дрожали с вышины,
и грезили луга, поблекшие от муки,
казалось, никогда им не вернуть весны...
Червонцы в бурьянах дрожали теплым звоном,
и в проводах гудел и плакал телефон...
А снег уже летел задумчивый и сонный,
как дым осенних дней, и тихий, как любовь...

* * *

Давно не стало дней, когда в вечерней дали
ложился мутный взор на синие снега...
По шумным улицам знамена трепетали,
и о весне звенел водою бледный март...
И мягко бегали за окнами трамваи,

где вспыхивал порой над ними свет.
да сыпала цветы луна, в лазури тая,
с ладоней золотых на купола церквей...
Не теплою травой и дымом пахли дали.
С подстреленным крылом не падала беда,—
в огне с офицеров погоны в грязь слетали.
как листья в ноябре, под сапоги солдат.
Как радостно пила Оксана дух восстанья,
когда пылали дни февральскою грозой,—
ведь видела она в холодном госпитале
от боли и тоски туманный брата взор.

* * *

Зачем же вновь на фронт, и снова даль в тревоге,
и сумрачная боль в обманутых сердцах...
Солдаты в постолах... и без конца дороги...
И ветер без конца...

* * *

Гей, сквозь огонь и гул родная наша доля
с котомкою бредет в тревожных городах...
Детей я вижу там ободранных и голых,
и женщин нищеты, поблекших от труда.
И только иногда пробьет полотна ночи
какой-то дальний звон, как сердца перебой,
и снова все кругом рыдает и грохочет,
и люди вдаль идут тревожною стопой...

* * *

Но зашумел октябрь, — и под ногою твердой
панели вспыхнули, как щеки дальних зорь,—
то встали как один на бога и на чорта
и затопили все, как огненный бензол...
И уже летели в грязь не в золоте погоны,
а головы с панов на камни, на штыки.
Кругом, куда ни глянь, гудели эшелоны,—
то мчали на фронты, на бой большевики...
За ними с ветром гул, за ними с ветром звоны,
надежды и любовь, проклятья и огонь,—
и разрывали даль пожары с древним стоном
и били в вышину кровавою рекой...

И снится каждый раз далекий полустанок,
где ветер тополя дугою выгибал,
в вагоне сквозь окно Оксаны взор туманный...
И где-то за селом погоня и стрельба...
И верила она, что с гвардией червонной
для бедняков придет червонная судьба;
родные ей они, — когда в очах бессонных
у них такая боль, и мука, и борьба.
Родные ей они, — шахтеры и матросы,
и каждый — вся любовь и каждый — вся весна, —
и срезала тогда свои Оксана косы,
и рваную шинель накинула она.

В. Сосюра.

РЯБАЯ КОРОВА.

Когда делили помещичий скот, то прежде всего решили наделить беднейших.

Степан, выбранный в комитет за то, что у него была душа хорошая, казалось, торжествовал свою давнюю мечту. Он ходил, как именинник, возбужденно радостный и улыбающийся. Все остальные мужички вполне согласились. У них было такое выражение, как будто они только за тем и брали, чтобы отдать тем, кто нуждается.

Беднейшие были тоже за то, чтобы их наделить коровами.

Против были только те, у кого и своих коров было много: прасол, огородник да еще, очевидно, Иван Никитич, хозяйственный и аккуратный мужичок. Он хоть и не выражал прямо своего мнения, так как всегда был осторожен, но видно было по всему, что он не одобряет общего настроения. Но их было такое ничтожное меньшинство, что на них никто и не обращал внимания.

— Предлагаю даром скотину не раздавать, а положить плату, — сказал, выйдя на средину, лавочник.

— А деньги куда пойдут? — спросил голос из толпы.

— Деньги положим в комитет. Будем составлять общественный фонд для потребления всех граждан, — ответил лавочник и отошел в сторону, как окончивший свое дело.

Все переглядывались и не знали, что сказать, ожидая решения от того, кто выскажется первым.

— Что ж, вали, — сказал Федор, отличавшийся хорошим характером и прежде всех всегда соглашавшийся со всяким предложением, каково бы оно ни было.

— А по много на каждого придется? — спросил молчавший все время Иван Никитич, свертывая папироску.

— Чего придется? — спросил возбужденно - нетерпеливо Степан.

Иван Никитич не сумел об'яснить, что он разумел под своим вопросом, и молчал.

— Вали, — сказали остальные, кроме прасола и огородника, которые сидели в сторонке на бревнах и, пощипывая бороды, смотрели на облака, как-будто совсем не интересуясь этим вопросом.

— Кто за то, чтобы наделить беднейших? — крикнул Степан.

Все, кроме прасола, огородника и Ивана Никитича, подняли руки.

При чем Иван Никитич сделал было тоже движение поднять, но какое-то неопределенное, так что можно было подумать, что он поднимает руку, и то, что он хочет почесать в голове.

— Большинство за то, чтобы наделить. Кто против?

Против не поднялось ни одной руки.

— Кто воздержался?

Тоже ни одной руки.

— Принято единогласно, — сказал поспешно Степан, точно боясь, как бы не передумали.

Подошел еще народ, и все отправились в усадьбу делить.

Степан шел впереди, за ними лавочник со счетами, потом беднейшие, за беднейшими средние мужички, а в самом хвосте — приятели, длинный молчаливый Сидор и маленький Афоня.

Вывели первую корову. Досталась беднейшему Захару Алексеичу.

— Веди, брат. Помогай бог. Дешево досталась.

— Вот эта бы на молоко хороша была, — сказал про себя прасол.

— Ежели кормить хорошо, — сказал огородник. — А разве он ее прокормит?

— Граждане, не ваше дело. Отходи, не мешайся.

— Мы и не мешаем. А промеж себя говорить ты нам запретить не можешь.

Вторая корова досталась Катюхе, тощей грязной бабе.

— Вот эта бы на мясо бы в самый раз.

— Граждане, не говори под руку, — крикнул Степан, когда заметил, что после слов прасола глаза всех оглядывались более внимательно на коров.

Когда вывели третью корову, подбежали, запыхавшись, чужой мужик и две бабы.

— Голубчики... — только и могли выговорить бабы, не зная, на каких коров смотреть, на тех, что выводили из закут, или на тех, что уводили со двора.

На них оглянулись.

— Чьи вы?

— Молчановские...

— Что вам?

Бабы или не смогли ответить, или не тем были заняты: их глаза были прикованы к выведенной рябой корове с огромным выменем. Одна из баб подбежала и начала торопливо щупать корову, не глядя ни на кого.

— Ай, батюшки, а хороша-то... Голубчики...

— Что ты, ай очумела?

— Да чего вам надо-то? — спросил Андрюшка солдат, оттащив бабу сзади за хвост от коровы.

— Слышишь, что ли... говори...

— Закостенела...

— Корову нам... — сказала другая.

— Не надо ли еще чего?..

— Овцу надо, — быстро сказала баба, которую Андрюшка все еще держал за хвост шубы.

— Сразу дар языка вернулся. Вот дать тебе под хвост хорошую, не будешь в чужой огород лезть, — сказал, не выдержав, прасол, вступая в круг.

— Товарищ, не выражайся, — сказал Степан, — у нас теперь нет чужого, все общее.

Огородник только посмотрел на него со своего бревна.

— Общее-то, общее, — негромко сказал Иван Никитич, — а попадет все одним, а у других мимо рта проплывет.

— Ты чьей волости? — спросил вдруг недавно подошедший Николай сапожник, председатель комитета.

— Да вашей же волости. Мы Молчановские...

Николай спросил так значительно, что на него все оглянулись

— Вы беднейшие или нет? — спросил он с таким выражением, с каким врач спрашивает больного, есть у него жар или нет.

Та баба, которую держал Андрюшка, отмахнулась от него и распахнула полушубок обеими руками, так что треснули крючки.

— Вишь? Вот те крест!.. — И оглянулась, ища, не видно ли тут где церкви.

Под шубой никто не увидел ничего особенного, и неизвестно было, зачем она распахнулась. Но этот жест, видимо, всех убедил в чем-то.

— Придется дать... — сказал Николай.

И он, сплюнув, отвернулся.

Все озадаченно посмотрели на него.

— Что ж, вали, — сказал Федор. — Ежели бы не нужно, не просили бы.

— Ну, вали, — сказали остальные.

— Запишу их в книгу.

Бабы увели рябую корову. Иван Никитич долго смотрел ей вслед. Другие тоже посмотрели.

— Теперь надо самому беднейшему. Андрея Горюна надо наделить. Деньги можешь заплатить?

— Какие ж у меня деньги, — сказал тощий разутый Андрей, — вот оно, вишь... — И он тоже, как та баба, распахнул свой рваный кафтанишко.

Все переглянулись и, не зная, что сказать, молчали.

— После заплатишь, — сказал Степан, махнув рукой.

— Известное дело, — согласился Федор, — что с бедного сейчас брать?

— Успеется еще, — сказали другие голоса.

Чем больше выводили коров, тем больше оживлялся Степан.

— Нам бы только беднейших поставить на ноги, — говорил он суетливо.

— Беднейших на ноги хотят поставить, — сказал негромко маленький Афоня Сидору, с которым они стояли в стороне молча.

— Рябая корова-то хороша, — сказал как бы про себя Иван Никитич.

— Да... — согласился кто-то. — Теперь во сне всю ночь будет сниться.

— С таким вымем за корову 300 целковых можно взять, — сказал прасол и сплюнул.

— Чорт их подвернул под руку.

— И не видно, откуда зашли.

— Вон откуда, от поповой риги шли, — сказал Николай сапожник.

Все посмотрели по направлению к поповой риге.

— Поплыли наши коровушки, — сказал чей-то голос.

— Подожди, поплывет и хлебушек.

— Хлебушек, говорят, тоже поплывет, — сказал Афоня Сидору.

— Это пойдите вы к чорту, — крикнул вдруг прасол. — Дуракам дай волю, они всех по миру пустят. Ведь корова-то молочная, а вы ее кому даете? Что ж он ее доить, что ль, будет?

Все посмотрели на корову.

— Что это за порядок такой, что одному дают, а все, которые прочие, без ничего остаются? — сказал Иван Никитич. — Ведь ежели бы ее зарезать да разделить?..

— Только и разговору, что об этих беднейших, — сказал огородник. — Еще чертей навязали на шею, скоро их обувать, одевать заставят.

— Какой это дурак выдумал? Поровну надо все делить.

— Граждане! — сказал лавочник. — Постановлено на общем собрании. И отменить постановление может только общее собрание.

— Собирай собрание, — закричал прасол. — Мы их сейчас...

— Что ж тебе собирать, когда все налицо!

— Вопрос ставится на голосование, — сказал лавочник. — Кто за то, чтобы... Сзади поднялось несколько рук.

Лавочник посмотрел на них и остановился.

— Еще ничего не сказано, а вы руки тянете! Опустите сейчас.

— Ох, поскорей бы уж, — сказал бабий голос.

— Кто за то, чтобы дать беднейшим?.. — крикнул лавочник.

Несколько рук, не разобравшись, взвились кверху, но сейчас же опустились опять.

— На людей гляди — сердито сказал прасол, посмотрев в их сторону.

— Кто за то, чтобы беднейшим... не давать? — крикнул лавочник.

Сразу вырос целый лес рук.

— Эй, бабы, по две руки не поднимать! — крикнул лавочник.

— Это я за свекора.

— А вы-то чего поднимаете? — спросили у беднейших, которые тоже подняли руки.

Те нерешительно опустили руки.

— Нам, стало-быть, не надо?

— Не надо.

— Принято большинством! — сказал лавочник и махнул рукой.

— А нам-то куда теперь? — спросил Андрей Горюн, подойдя к прасолу.

— Вам куда? К чорту, вот куда, — ответил прасол.

П. Романов.

ЗМЕЕВКА.

Быстро и боязливо спускалась ночь. Линия горизонта скрылась из глаз. Блеснули крупные звезды, и звездинки густо рассыпались по всему небу.

Воздух стал влажным, но дневная пыль чувствовалась на дороге.

Ямщик оглянулся.

— Ночь-то!.. Теплынь-то!.. А-а?—мягко вздыхая, сказал он.

Сидевший в тарантасе мотнул головой.

— Да, тепло...

Показав белые зубы, лохматая голова ямщика отвернулась к лошади.

— Ну, милой... Но... Скоро доедем...

Влево заморгали огни: не то костры в поле, не то хутора...

— Что, скоро?...

— Змеевка-то?.. А вон она, влево!..—указал кнутом ямщик.

Под густыми бровями простецкие, незаботливые глаза.

— Случайно, не курите?

— Нет, товарищ.

— Хорошее дело. Но-но, милой...

Мерин добросовестно катил тарантас, и когда ямщик встряхивал вожжей, фыркал и помахивал хвостом.

Сутулая, широкая спина согнулась. Ямщик начинал дремать. Лениво шевелил вожжей.

Впереди все яснее замелькали встречные огоньки. Телеграфные столбы убегали в сторону от дороги.

— Ну, вот и Змеевка...

Товарищ, а, товарищ! Не спишь?

Выплывают бревенчатые амбары, глухие, забитые тяжелыми замками, сараи, гумна.

Будто широким поясом потянулись и охватили деревню кудрявые плетни.

— В совете, наверное, сейчас никого,—сказал седок. Мне бы только переночевать. Езжай-ка к кому-нибудь на огонек... Коммунисты здесь есть, поди...

— Как не быть!.. Где их теперь нет...

Выехали на широкую улицу. Мерин пошел шагом. Кое-где по избам теплился огонек лампадки. У большой, крепко сложенной избы вдруг дружно подхватили собаки.

— У-у... о... о... а... а...

— Ишь дьяволы, как завыли!—осадил ямщик.—К кому ехать? Везде, чай, одинаково?

Встретилась белая церковь с широким, золотым куполом. Крепко, как чугунные, стояли изгороди. Темнели окна в сторожке, кругом было тихо и темно, и только один посеребреный крест с высоты пугал тьму и тишину.

Ямщик стащил шапку и два раза истово перекрестился.

— Но-но, милой...

Свернули в переулок.

— К Сергею что ли ехать?.. Вона у него и свет, кажись, не утух... Но, милой...

Мерин как-то сразу уперся головой в маленькие ворота. Сидевший сильно покачнулся вперед.

— Тпру... у...—потянул вожжи ямщик.

— Приехали?..—По телу приятно пробежали мурашки.

Ямщик медленно сполз, встав на спицу колеса, и переваливаясь подошел к запертой калитке и постучал кнутом.

— Эй, хозяин, не спишь?...

Мерин чесался мордой об ворота. За церковью опять затявкали собаки.

— Идет,—повернулся ямщик. Подойдя к задку тарантаса, поправил запыленный верх. Мерин, встряхнув головой, расставил короткие ноги...

— Кто там?—глухой крик за воротами.

Ямщик, поправляя портки, сочно сплюнул на пальцы.

— Сергей... Отвори-ка...

Калитка заскрипела. Ежом глянул мужик в рубахе без шапки.

— Добро живешь, Сергей. Вот из городу переночевать просится человек.

Человек из городу подошел поближе.

— Вы, товарищ, партийный?

— Да.

— Я инструктор по обследованию волостей. Из Укома...

Недоверчиво, молча обшарил взглядом. Молча ногой в калитку.

— Проходите.

Инструктор прошел в сенцы, где пылала лампа.

Посредине деревянный, без скатерти, стол. На нем полубелый пшеничный хлеб. Солонка, чашка.

Присел на ступеньки, под себе портфель.

У ворот говорили:

— Заходи, Кузьма!—упрашивал хозяин.

— Нет. Поеду... Напою у колодца мерина и тронусь...

— А то оставайся...

— Да, нет. Ночь-то?.. Теплынь-то?.. К рассвету и приеду... Дорогой сосну. Ну, прощавай...

— Прощай.

Хазяин запер калитку. Тяжеловато вошел в сенцы.

— Раздевайся, товарищ! Ужинать будем...

— Что так поздно у вас?

— Только с поля приехал,—и просунув голову из двери в кухню заторопил: Саша, скоро там?..

Инструктор, бросив пиджак в угол, подошел к столу. Широкими ладонями провел по лицу.

— Ячейка-то у вас здесь в селе большая?..

— Не очень. Саша, да что ты там?..

Хотелось есть. Инструктор лениво расспрашивал и пристально смотрел на хлеб и ложки.

Хозяйка несла щи с мясом, оставшиеся от обеда. Она неловко поздоровалась с гостем и поставила с краю крынку молока.

Молодая, стройная. В серой кофточке с короткими рукавами. На загоревшем лице разливался усталый румянец.

Сам хозяин ел мало. Указывая, молча, глазами жене, чтобы гость не оставлял ложку.

— Спасибо...—говорит гость, не переставая жевать.—Ты говоришь, ячейка у вас очень слаба?..

— По-моему, да... Сам-то я недавно пришел из армии. Демобилизованный...

Он говорил медленно, коряво, и долго обдумывая отвечал. Смотрит вниз, к себе в чашку, и редко поднимает робкие глаза на гостя.

Заметно, что демобилизованный... Ремень-пояс солдатский. Отпускает маленькие, рыжеватые усики. Инструктор знал: таких крепких крестьян нужно слушать, как следует, не прерывать. Туги на новое дело, но зато если взялись, не мешай. Быка своротят.

Хозяйка ловко перетирала посуду, и гость, позевывая, сонно следил за быстрыми движениями ее рук.

— Спать в избе душно...—проговорил хозяин:—на сеновал бы...

— Де...е...ло!...—С дороги и после сытной еды совсем одолевала дрема.

— Ну, пойдем!..

В сарае было темно как под одеялом.

— Лезь прямо наверх!—указал хозяин. Гость наткнулся на сено. Розгребал руками. Сено шуршало и катилось вниз. Былинки больно щипали лицо, но сейчас усталому телу сеновал слаще всякой перины.

— Х-харошо!..

— Я тоже здесь сплю,—откликнулся хозяин:—приду, вот только управлюсь...

В сене утонула голова, спина и ноги. Окутало луговым теплом.

Тихо. Около сарая корова жевала сочную траву, медленно, тяжело. Как маленькие, карманные часики, тикал кузнечик или сверчок.

— Тик-тик... Тик-тик...

Хозяин пришел скоро. Зашуршало сено, поднимая цветочную пыль.

— Не спишь?

— Не...ет...

Мягко, как кошка, подбирался сон. Туманил голову полевой, пахучий запах травы и цветов. Шелестело сено...

Хозяину не спится: может, поговорить хочется.

— Как у вас урожаи в это лето?..—отгоняя дрему спросил гость.

— Да, как сказать? Пожалуй, ничего...

Помолчали. Прилетел откуда-то комар и начал, звеня, как надоедливая соседка, разматывать скучную сплетню.

Уселся было на лоб и утих. Инструктор мотнул головой, и опять зазвенел комар. Хозяин осторожно кашлянул.

— А вот товарищ, не знаю, как твоя фамилия...

— По фамилии я—Буланов.

— Вот, товарищ Буланов. Я было хотел рассказать про сельские дела, посоветоваться... Ты как человек из Укома и сказал бы свое слово. Правильно али нет...

— А что?..

Хозяин помолчал—ожидал вопроса.

— Усматриваю я, что у нас на селе беззаконный раздел земли происходит...

— Ячейка что ли с кулаками не справится?..—повернулся инструктор и подумал про себя: это почти в каждой волости.

Хозяин подполз ближе. Сквозь шелест сена зажужжал комаром.

— Ячейка у нас так, для слова. Я тебе, товарищ Буланов, расскажу по порядку. Был это, значит, раздел земли. Известно,

земли много—бери. А разделить никак не могут. Вот к примеру—сход у нас. Кладут наши советчики листы белой бумаги, и подписывайся. Поедседателя нашего Овсянина, может, знаешь?..

— Как не знать! Слышал. В волости хорошим председателем считается...

— Ээ... Вот оно что...о...—осевшим голосом растянул хозяин и замолчал.

— Ну, говори... Продолжай...

Хозяин поелозил на сене—с мысли ли сбился, или решил не рассказывать...

– Вот, говорю, Овсянин махает рукой и об'являет: „Граждане, подписи мы собираем для удобства и подсчета. Сколько-де граждан собралося“... Не понятно мне. Я и кричу им: „Протокол должен быть пред'явлен сходу для подписи“. Он мне махает рукой.—„Не знаешь ты дела, Светляков, (это моя фамилия), это, говорит, гражданин Светляков, для удобства. Народ неорганизованный. Покричат и уйдут“... Человек я, действительно, новый, только-что пришел домой. Вижу, некоторые покричали, да на них зыкнул председатель. После схода протокола никто из мужиков не подписывал, а к своему протоколу-то и пришили раньше отобранные подписи... Как же, товарищ Буланов, это есть не обманство?..

— Да... А в ячейке не разбирали?...

— Ты постой-ка! Стали это после схода делить землю. Вижу родне, да побогаче кому, и любимчикам тоже, отводится землица поближе, да пожирнее, к лесу аль озеру. А остальным от села подальше, да худее... Как там Овсянин верховодил, не знаю... Ну, и загалдело мужичье. В драку лезут. Туг я в ячейке в порядке и предлагаю обсудить этот вопрос... „Так и так, говорю. По-моему, неправильно, говорю, дележ“... Овсянин опять на меня:—„тебе, кричит, гражданин Сергей Светляков, землю дали у завалки (там, правда, земля жирная, луговая). Ну, и молчи, говорит!..“—„Дело не во мне. А зачем, говорю, Лапаева-старика обидели? .. Бедняк-бедняком... За двадцать верст отрезали“...—„Ты, закричали, поработай здесь в совете—узнаешь, как с нашим народом“... Так меня ячейка и не поддержала. А мужики соберутся у схода и воем воют. Не соглашаются, а что ж делать-то?.. Увидели меня, жалобщиком снаряжать стали. Вижу, все как есть общество недовольствует. Больше тысячи дворов волнуются, власть заматывают... Знаешь, поди, какой мужик? Думает: стерпится, оботрется... А кто и вовсе спину горбит. К тому, кто постарше, итти — боязно. Бумагу с

жалобой не все подписали, а село-то все как колос по ветерку... Опустили руки, не сеют. Обидно, чай, пропадать как ни есть непаханной земле...

Резко оборвал речь-обиду. Не спит ли гость?...

Инструктор осторожно приподнял голову.

Ну?.. Слушаю... Не сплю...

— Решил я итти против ячейки за обиженное общество. И старик Лапаев со мной. Посоветовались с товарищем Ершовым, тоже демобилизованный, в одном полку служили, в волость пошли. Овсянин проводил меня, погрозил.—„Дурак, говорит, ты!.. вернешься ни с чем—на ячейке поставим вопрос о тебе“... Та-ак... Идем со стариком Лапаевым.—„Я, рассуждает старик, все с себя продам, а правду найду. Може, Сергей, говорит, напрямик в Москву?“...—„Нет, уговариваю, не по закону. Давай все по закону, по порядку. Конституция, об'ясняю ему, должна быть уважена. Ежели в городе Угланове не разберут, тогда на Москву потянемся“. Успокоил. Пришли мы значит в РКИ. Подаем жалобу, рассказываем все как есть.—„Ничего,—отвечает председатель,—не могу сделать“...—„Как не могу!—вступился старик.—Лень тебе разобраться. Какой же ты партийный человек после этого?..“ Окрысился он на нас, да как гукнет—„Да что вы пристали?.. Да я вас!“—„Ты, говорю ему, не ругайся, а по существу отвечай“..—„Убирайся!“—„Ладно, стерпим. Пойдем, Лапаев, в уезд...“—„Хоть к Калинину! Я,—кричит,—не могу выходить из буквы закона!“...Махнули мы рукой и затопали в волостную земельную комиссию... К товарищу Вакулову.—„Так и так, докладываем. Разберись, пожалуйста... В РИК'е слушать не хотели“. Тот, как добрый, вышел, поговорил с кем-то. Только приходит и давай окрещивать:—„Ах, вы, такие-сякие!.. На селе кутерьму заводите!.. Мы,—кричит,—помещиков в доску разорили и с вами тоже не постесняемся!.. На то и революция...“

Рассказчик уже не лежал, а сидел, и Буланов в темноте чувствовал его разгоряченное лицо и размахивающие руки.

— „На то и революция...“ Я уж тут не стерпел.—„Ты что, Вакулов?.. Аль ополоумел?.. нас, жалобщиков, за элемент[1]) принял“.. Мы не за себя, а за все общество? А революцией нас не пугай!.. Я сам из Красной“... Ждали, ждали ответа на заявление, обратно в РИК передали... Куда теперь обратиться не знаем...

— Да...а...

---

[1]) Контр-революционный элемент.

Вдруг рядом, в другом сарае встрепенувшийся петух непутево заорал...

— Ку...а...ре...у...у...

Колко прорезало сонную тишину. Но далеко, далеко соседи-петухи подхватили и выводили перекличку.

Первые петухи...—проговорил хозяин: надо спать...

— Да... История... Я теперь и спать не хочу...

— А я так думаю, товарищ Буланов,—опять поднял голову хозяин,—кулаки у нас советом ворочают и первый Житников... Эх, товарищ Буланов, посмотрел бы, что делается иной раз на селе.

Не раз инструктор Буланов слышал про кулаков. Вот и в Змеевке неурядицы...

Конечно, он инструктор, многое знает только по отчетам власти, проверять ее действия некому. А мужик тугой, сразу не выскажет.

— Вот что, Светляков... Если за все факти ручаешься, напиши в газету, в Углановскую „Советскую Соху", видал? Я тоже зайду в редакцию...

— Как это так написать в газету?..

Буланов стал об'яснять—не простая штука газета.

— Ну, мы с тобой утром поговорим—и повернулся на бок.

Будто стало светать. Петухи опять перекликнулись. Наконец, где-то угомонился приставало-комар, запахло сыростью. Но в сене было тепло, как в гнезде.

— Хо...о...рошо, что рассказал про ваши дела... Буду иметь в виду...

Инструктор уснул.

Но хозяин не спал. Он слышал, как пропели и третьи петухи, как зачиркали проснувшиеся воробьи...

Завозились коровы. Мычали, вызывая хозяев.

В сенях заскрипела дверь. Саша вышла доить.

Тогда хозяин осторожно спустился и потихоньку вышел из сарая...

* * *

Мужики у схода, ровно с хлебом на базаре. Вокруг крыльца расселись, семена лущат. Зерна жареные, горячие. Бабы прямо из печи в карманы насыпали.

Все про свои дела толкуют. У кого телка отелилась, у кого лошадь пала... Много разговору про то, что декрет такой выходит: водкой по старой крепости начнуть торговать.

— Эй, советчики, скореича там!..—не выдержал один. А за ним, ровно в стаде, все сразу:

— Открывай собрание!.. Выходи, орательствуй.

— Тащи председателя!.. Боисси, что ли?..

— Гони их там!..

Заколыхались мужичьи спины. Поверх голов, ножками к небу, вынесли стол из Совета.

— Идут... Идут...

Вышел секретарь Курочкин с бумагами.

— Тише, граждане! Сейчас начнем...—из кармана вынул чернильницу.

— Эй, мужики!.. Потише ори!..

Тише возились, примостились, вон и председатель у стола шепчется с секретарем...

— Граждане!. —снял картуз председатель и на стол. Рукой волосы пригладил...

— Начали... Начали...—и друг друга в бок.

— Граждане!... Опчее собрание сельського схода об'являю открытым!..

— Знамо открыто... Нешто не открыто...

— Да тише вы, разорвенные!.. Иван, заткни ему кадык!..

Председатель выжидает, как опытный вожак.

— Говори, говори... Не останавливайси...

— На порядок дня для обсуждения первое: о текущем международном, внутреннем и политическом моменте...

— Кто брехать-то будет?..—крикнули сзади.

— Второй вопрос: о разделе земли...

— Опять?..

— Дай ему в ухо.

— Прошу не выражаться, гражданин.

— А что?.. Хахарь! Чорт!..

— Да тише!..

Секретарь Курочкин встал, помотал рукой, будто мух отгонял...

— Председатель, давай текучие дела!..—перекричал кто-то.

Стали затихать.

— Сначала о выборе делегатов...

— Не надо! давай текучие...

Овсянин старался перекричать, но напрасно. Больше половины схода в один голос:

— Теку... у... чие... е...

Весь спор и шум из-за нарядов. Одни предлагали подводы наряжать под ряд с каждого двора, за это предложение были богатые мужики. Однолошадники предлагали гнать подводу по лошадям.

Житников, церковный староста, тянул, чтоб по дворам, и мутил.

— Всех под ряд!.. Меня хошь зарежь, а другой раз не поеду.

— Поедешь!..

— Сдохну—не поеду.

— Поедешь... Погонишь! ..—надрывались бедняки.—Поедешь, шкура, заставим...

К столу незаметно пробирался Сергей Светляков. Быстро вскочив на шатающийся стол, снял шапку.

— Граждане!..

— Тише! Брось галдеть!.. Дай Сергею сказать!..

— Граждане, давай разберемся... Ежели, скажем, у Лапаева одна лошадь а у Житникова десять. В месяц придется десять раз с'ездить... Неужели, товарищи, Лапаеву с одной лошадью десять нарядов гнать?..

— Верно!.. Житников, известно, шкура!..

— Я думаю, ячейка наша должна стоять за бедняков-крестьян...

Разгорячась, он не видел, как Житников кинулся к председателю, крича и размахивая руками. Не видел, как пер быком, ломая толпу, детина Алексей Жигулев, буйный, пьяный мужик.

— Ты... Ты... Долой со стола!.. — и вслед за этим Жигулев хватил кулаком сплеча.

Сергей покачнулся. Начиналась свалка. Сторона Житникова напирала на стол и хотела разогнать лапаевцев, но лапаевцы держались крепко — их было больше.

— Не дадим голосовать!.. Давай на кулаки!.. — напирали бедняки.

Овсянин, стоя на столе, размахивал картузом.

— Граждане Советской России!.. Успокойтесь!.. А то сход закрою... Гр... р... ажд... Гра...

Лапаевцы все-таки не дали голосовать. Светляков, прижатый к стене, кричал на ухо Курочкину:

— Ячейка, ячейка, что раньше вопрос этот не рассмотрела?. Разве правильно?.. А?..

Вихрь прошел, стали затихать, но кое-где слышался гул и будто шелестели деревья...

* * *

Торопились зори, торопились ночи, как крестьяне с уборкой хлеба. Задымились с востока небеса, подрезали холодные ветры ослабевшие листья и качали со скрипом полуголые деревья.

Дни заметно убывали. В избах по вечерам все дольше к ночи задерживался огонек.

Сергей убирался по двору и не слышал, как вбежал Ершов.

— Сергунь, а, Сергунь!

Большие, ленивые глаза Аркадима бегали по двору.

— Что ты писал, — все в газете пропечатано...

— Ну? ой, не врешь ли?

Ершов оглянулся еще раз и потянул Сергея за рукав в сарай.

— Ивантей побежал сход собирать. Овсянин кричит: „Арестую доносчика!“...

— Да не врешь ли?... Что-то не верится...

В последнее время Сергей был точно подшибленный: до того тошно стало жить.

И вот теперь затеплились от неожиданной вести глаза.

— А зачем им сход-то?..—спросил Сергей.

— Не знают, что им теперь делать. Ивантей бегает по дворам да со своими: „шу-шу... шу-шу... иди, мол, скорее в Совет: Игнат Иванович велит“... „Что за дело такое?“ — „Не знаю, хитреное“... Моя Ариша слыхала, как Лексей Жигулев пьяный в чайной кричал: „В газете гадюки Совет продернули...“ Дай закурить: я еще давеча хотел к тебе прибежать...

Сердце стреляло, разгоняя огненную кровь по всему телу. И одна острая мысль обжигала Сергея:

— Явился, наконец, помощник. Нашел, с какого конца их бить...

Бросил топор и веревку среди двора, крикнул на ходу Саше, чтоб задний двор прикрыла, и выбежал на улицу.

— Смотри, смотри, бегут на сход, — указал Аркадим.

Окна Совета уже засветились мутноватым светом. Вон широкоплечий, короткий, как кирпич, Харьков, не доходя до Совета, остановился, высморкался на ходу и опять побежал, обтирая полушубком бороду.

— Это я всполошил село, — хотелось сказать Светлякову своему другу. — Пусть, пусть... — и сердце радостно екало.

В избе уже полно. Разило потом и дымом. Многие оторвались от работы.

— Ты куда?—толкнул в дверях Светлякова Жеребцов.—Тебя кто звал?

— Может, и никто, — отмахнул Сергей. — Да я сам узнал про сход...

Услышали голос Светлякова и притихли. Видно, про него шел разговор. Молча дали дорогу.

— Поди-ка сюда, Светляков! — поманил пальцем Овсянин.

За столом Курочкин размашисто писал протокол.

— Чего?

Председатель взял его за плечо и пригнул к столу.

— Ты писал в газету? Ты это...—и волосатой рукой по измятому листу газеты. — Читай!..

Заглянули бы в щелку, в сердце Сергея—и не зачем спрашивать. Впервые всего охватил необузданный хмель. „Одолел... Всех одолел“...

Затуманенными глазами Сергей лихорадочно прочел крупную строчку:

„Пора заглянуть в змеевское гнездо кулачья“.

— Ты? спрашиваю, ты?—голос у председателя хрипит, будто спьяну...

„Сказать, — я?“ — ударило в голову и закружило. Чуял зловещую тишину и тихо ответил:

— Нет.

Тяжело, как жернов, плюхнулся на лавку Овсянин.

— Врешь!..

— А почем знаешь, что я?

— А кто? — взвизгнул Курочкин, и горячей, брызжущей слюной в лицо: — кто же?..

Видит бесноватые вытаращенные глаза как у оглушенной рыбы, а в мыслях — свое.

„Вот сейчас возьму и скажу: я“...

Пыхтел и брызгал слюной секретарь.

— Твое дело... ты бунт разводил...

Сергей отвернулся, отирая лицо.

— Чего бесишься?.. постой, соберется народ — потолкуем...

Оглянулся поглядеть, как крестьяне.

Мужики загалдели. И Овсянин стал причитать:

— Отказываюсь, граждане, работать! Ей-боженьки, не могу!.. Столько работал честью, а тут срам такой... Отказываюсь...

Тесть Жеребцова пригибался к уху:

— Что бы там ни было, а сор из избы не выносить! Так ли говорю?.. — и, тыкая скрюченным пальцем в грудь соседа: — по моему разумению—это не Сергунька... Тихий парень... Ты гляди, нюхай за комсомольцами. Вот где гляди!..

Харьков все время сидел за столом и перечитывал заметку.

— Вот поеду в редакцию. Дознаюсь, кто писал. Мне скажут, Тогда держись, ябеда. Брюхо распорю стервяге!.. — медленно злыми глазами оглядел избу.

Вспомнились слова товарища Буланова: — „Редакция не выдаст".

А на столе лежала маленькая, еженедельная, уездная газета. Один угол свесился со стола. Вытянув шею, Сергей прочел:

„Советская соха".

* * *

Осень подошла исподволь. Еще раз дохнуло в полдень летним зноем, но уже тихо стояли раздетые ветром деревья.

На пышно зацветших озимых не видно по утрам птиц — улетели догонять горячее солнце. Только одни вороны, жирные и ленивые, как сытые монашки, усердно и деловито каркая, рылись в навозных кучах на задних дворах.

Дождей еще не было. Мужики до сырости и слякоти, новой пуховой соломой подправляли навесы и крыши.

К празднику полсела закурили самогон. Из купленного хлеба — дорого, а то свой — урожайный. А главный потатчик — Конов, Анисим и Савоська. Не знали змеевские, как и брагу гнать, а пришел Савоська (баяли — в дезертирах был) и начали гнать добро.

Вот и сейчас Савоська с Коновым сидят в своей курилке.

Чугун сверху чашкой прикрыт и замазан глиной. Слабо тлеют кизяки в печурке. От чугуна—трубка по желобку. На желобке—снежок, чтоб скорее пары охлаждались. Таскает снежок из погреба Авдотья, жена Конова.

Измазанные копотью, на корточках, сидят Савоська и Конов.

— Ты, Анисим, снежку, снежку... скорее остудит.

От зарева разгоревшихся кизяков — зловещие медно-красные лица.

Пахнет сыростью и грибами...

— Скоро потечет...—пригнулся ухом к чугуну:—давай свету...

Конов сунул лучину в жар, придержал; лучина вспыхнула и, треща, осветила завод-печь. Зажгли коптилку. Теперь можно

видеть, что с конца трубки, из-под снега начало капать, сначала медленно, а потом все быстрей и быстрей.

— Пошла... — моргает Савоська. Бурлит в чугуне опара и готова выбить крышку, обмазанную глиной.

— Не подкладывай дров, хватит...

Савоська прилег к земле и понюхал черепок. Взял стакан, нацедил половину.

— Ну-ка... Сейчас спробую...

Посмотрел через огонь на серо-желтый стакан, оценил одним глазом, глотнул, разжевал и сразу хватил до дна.

— Ну?.. — проглотил набежавшую слюну Конов и подсел ближе, как мартовский кот: — ну?..

— Х... хароша... Скажу тебе...

— Хароша?

— На, испробуй...

Конов выпил, сильно крякнул, поматывая головой.

— Да... а... Аж в голову ударило... И не пахнет, гляди...

— Зачем ей пахнуть?.. полезней лекарствия... Из хлеба, чай... пользительная вещь...

Стукнула дверь, пригнули головы зайцами.

— Авдотья, ты, что ли?..

Дверь показала синий, безоблачный вечер. Мерещилась бабья тень.

— Где вы тут? — зашептала: — председатель с секлетарем пришел...

— Ну? Закрой дверь-то скорей!.. — метнулся Конов. В темноте сшиблись грудью. Авдотья оступилась и растянулась...

— Фу, прости господи!.. Идол!..

Конову никак не высвободить руки и ноги.

— Дурища! Корова!..

Савоська прямо к двери.

— Игнат Иваныч, заходь-ка сюда...

Овсянин, а за ним Курочкин пригнулись, перешагнули порог.

— Ишь, шельмы... — потянул носом Овсянин, — попахивает? А?.. Бог на помощь!..

— Спаси Христос. Лезь сюда, Игнат Иваныч. Садись на кизяки... — Овсянин приглядывался в темноте.

— Ты, что ли, здесь, Анисим?..

Савоська уже держал стакан над струей.

— На-ка, Игнат Иваныч, отведай... Счастливы на пробу... Первач.

Овсянин снял картуз, ударил рукой по колену.

— За ваше здоровье, Анисим Семенович, и ты, Авдотья..

— Пробуй на здоровье...

Замолчали. Глядели, как опрокинувши голову назад, председатель тянул стакан. Поморщился, и его бойкие глаза удивленно остановились.

— Ыы... вот это штука... Настоящий спирт. Получше казенки. Хвати-ка, товарищ Курочкин...

— Аль крепка очень?.. — спросил Курочки, беря стакан в руки.

— Авдотья, тащи закусить... — захлопотал Конов.

Курочкин после стакана закашлялся:

— Кхе... кхе... Нутро травит... Кхе-кхе...

— Первач, Игнат Иваныч, первач... — угощал Савоська.

Авдотья пошла ставить самовар для гостей. А из трубочки беспрерывно бежала и бежала мутно-желтая струйка.

* * *

Отчаянный, резкий стук встрепенул Сашу, спавшую чутко в эту ночь, без мужа.

— Кто там? — боялась вскочить с постели.

В окнах мерещилась глубокая ночь.

— Отвори, Сергей.

Откинула одеяло и босыми ногами на холодный пол. Скрипнула половица.

„Господи, не случилось ли что? Не пожар ли?..“

Бабы пугливы, сейчас в лихоманку.

— Кто там? Чего надо?.. — кричит в черные, безглазые, но жуткие окна.

— Открывай, Сергей!..

— Да нет его!..

— А где он?..

— Сегодня в город уехал...

— Уехал?..

Опять загалдели. Пугливо прислонилась к краю окна, слышит председателя голос:

— Пойдем, пойдем... Все равно пойдем...

Чей голос? Кажись, пьяный Жигулев.

Застучали под окном, а кто-то тряс калитку, и она визжала на засове.

— Лександра, все одно, открой!..

— Зачем? Что надо?.. — выкрикнула Саша.

— Открой!.. А то ворота разнесем!.. Отпирай — слышишь?

Забилась, как спугнутая птица в сарае.

— Сейчас, сейчас... Засвечу только...

Но руки не находили спичек.

„Что нужно ночью-то?.. Верно, пьяные". — Стучали, вроде колуном, в ворота. Калитка, скрипнув, задребезжала—выломали...

— Сейчас... Сейчас...

Накинула сверху нижней рубашки тулуп и побежала в сенцы.

Так и есть. Пьяные. Первым вошел Алексей Жигулев, широко распахнув дверь.

— Где Сергунька?.. — раз'ехался посредине избы, оглядывая тупым, сонным взглядом.

— В город уехал... нонче, после обеда...

Прижавшись к печке, она робко куталась в лохматый тулуп, а он, усмехнувшись, грузно опустился на лавку и забормотал про себя:

— Ничего... ничего... Пусть придет... Пусть...

Он закрыл глаза и тяжело отдувался. Ногти царапали скамейку. Сильно мутил самогон, он то закрывал глаза, то морщился, не зная куда девать буйную силу.

Хватаясь за косяки, вошел Овсянин. Покачиваясь, он размахивал одной рукой.

— Зачем твой поехал, Лександра?.. Доносы повез?.. А?

— Ни знаю, ничего ни знаю!.. Какие доносы...

— Н... не знаешь?... — оторвался, наконец, Овсянин от пола, и его отбросило к стене. — Врешь! На меня, на всех доносы в город пишет?..

Курочкин, придерживаясь печки, лез к Саше.

— Ты... ты укажи, где он-то писал...

— Ищи, Курочкин!—крикнул Овсянин, отпихиваясь от стены но его, как магнитом, притягивало к ней.

— Нету ничего!.. Уходите!..

— Не уйдем!.. Все разорим!.. — грозил Овсянин. — Курочкин, ищи!.. Все перерой!.. Такую червяточину из села вырвем!..

Прижавшись к кровати, Саша видела, как Курочкин шарил по столу. Овсянин вдруг обнял Конова и повис на его шее:

— Анисим, кум... дорогой ты мой... Слышишь меня... Овсянина, Игнат Иваныча, за всю мою веру и правду, в газете .. на весь свет опозорили... А?..

И, шатаясь, потянулся к Саше.

— А кто?.. Гады... Контра... Твой Сергунька... Меня... Меня... Овсянина, Игната Иваныча... Да за меня весь уезд... Все знают...

В пьяных слезах дышал самогоном в лицо:

— А кто?.. Твой Сергунька подлец!..

— Уйди!.. — вскрикнула Саша.

— Дура!.. — рявкнул Жигулев, и медленно, мешком сполз на пол. — Мы твоего Сергуньку убить хотели... Я первый... Пущай там... А мне ничего...

— В столе нет ничего!..—сказал Курочкин. — А где доносы?.. Вскрывай, жена, сундуки! . Все разыщем!..

— Не дам!.. Н... не дам!..

И она с распахнувшейся грудью бросилась в темные сенцы вскидывая руки:

— Батюшки!.. Разбойни...и...ки...и...

* * *

Уездный городок Угланов, каких много в степной ...ской губернии, прославился в революцию. Много пережил глухой и пыльный городок. Были в Угланове и белые и зеленые, а в конце прослыл город, как стойкий, большевистский край, и стал красным городом Углановым.

Пойти по улице, покажутся дома, похожие друг на друга. Все тесовые, одноэтажные. Самые большие дома — кирпичные Уисполком, Банк и Дворец Труда.

Светляков приехал в город к вечеру. Базар уже пустел.. Кончились в учреждениях занятия, и он пошел прямо к Буланову.

— Улица Карла Маркса. Дом № 17, бывший Баландина...

Перед Дворцом Труда — бульвар с подстриженными акациями, напоминающими растрепанные веники.

Шуршат опавшие, бесцветные листья под ногами. Кое-где сломалась ограда. Редко кто гуляет на бульваре, только свиньи из соседних дворов, похрюкивая, пахали короткими мордами дорожки.

А вот поди — теперь сад Первого мая. Исстари называлась эта кривая с большим пустырем улица — Лягушатники, а вот теперь — улица Карла Либкнехта. Так постановили комсомольцы.

Дворянская — улица „Погибших коммунаров“. Здесь погиб отряд коммунаров, прикрывая отступление. Три дня валялись трупы — не давали убирать. На краю города — солдатские казармы, построенные еще в германскую войну, называются Смольным.

Буланов был дома. Сидел, писал. Встретил весело.

— Аа... Здравствуй... Кажется, змеевский?..

— Сергей Светляков. У меня ночевали...

— Знаю, знаю... Вспомнил. Садись... Хорошо, что заехал. Или ты без лошади?..

— Да, я тут со своими...

— Ну, раздевайся!.. Рассказывай! — засуетился хозяин и, заглянув за перегородку, крикнул: — Ирина! Давайте — попьем чайку...

Молодая, светлоокая женщина в полосатой блузке бесшумно появилась в дверях. Улыбнулась, и глаза остановились на Светлякове. Около нее, держась рукой за юбку, стоял мальчик с белыми пушистыми волосами. Ясными, светлыми глазами, как у матери, смотрел на чужого.

— Жена Ирина Михайловна. Учительница...

Ирина протянула руку. Светляков неловко встал и, смотря прямо в открытые ласковые глаза, крепко поздоровался.

Она улыбнулась и чуть-чуть потянула руку.

— Извините .. — покраснел Сергей, — если я больно... право слово, от души... Но она, рассмеявшись, наклонилась к мальчику и стала трепать рукой волосы.

— Что ты, Юра, дичишься?.. Ну, поздоровайся...

Светляков протянул широкую ладонь малышу.

— Здорово!.. Давай руку?.. В отца, чай, пойдет?..—улыбнулся Светляков Буланову.

— Конешно... Эй ты, будущий коммунист, чего не здороваешься, когда тебе подают руку?.. Ну, пойдем ко мне...

Будущий коммунист боком пошел к отцу. Влез на колени и, засунув палец в рот, все еще бирюком посматривал на гостя.

Ирина незаметно вышла.

— Читал, читал я твою заметку... — проговорил Буланов. — Ну, что, как там?..

— И не спрашивай... И радостно и жуть берет... — он наклонился к столу и, усмехаясь, шопотом проговорил: —Я сам-то еще не читал...

Буланов рассмеялся. Светляков тоже весело начал рассказывать про сход, как заставили его подписать опровержение...

— Вот я и говорю. Прямо комедия, меня нет-нет да и возьмет жуть .. Ведь грозили из ячейки исключить!..

Буланов сидел насупившись. Широкие брови сошлись у носа. Морщины на лбу стали крупными, выпуклыми.

— Да, радости здесь мало... — долго барабанил пальцем по столу. — Насчет опровержения не беспокойся. Я переговорю с редакцией... Не весь сход был?.. Ну, да... придется расследовать.

— Я нарочно затем и приехал в город. Как, думаю, быть? Не хочу редакцию подводить...

Буланов рылся в бумагах около своего шкафа, где кучами лежали книги и газеты.

— На вот, посмотри газету. Это я красным карандашом отметил про Змеевку... Ты, поди, еще чего-нибудь настрочил?..

Сергей густо покраснел — не ответил. Оглядывая комнату, проговорил:

— Эх, сколько у вас всяких книг-то!..

Буланов поднял голову, тряхнул волосами и, сдувая пыль с книги медленно ответил:

— Нам коммунистам, надо много читать, а главное—учиться. Учиться, друг, и учиться... Газет могу тебе дать...

— Идите к столу! — певучим спокойным голосом откликнулась Ирина. Она и дома говорила, как учительница, спокойно и ровно.

Хозяйка ловко и быстро разливала чай.

Сергей полюбил Буланова. Хоть и городской, но здорово понимает в крестьянском деле. Толково все об'ясняет, будто по книжке. Вишь, и стакан не допил, все рассказывает:

— Мужичка гражданская война порядочно разорила, но он сравнительно скоро оправился. Земли много. Все стал оправлять, заводить. Так что, выходит, сельское хозяйство достигло 80% довоенного времени. Мужик наш пошел полным ходом. А город пока отстает. Фабрика не соха. Ее не скоро восстановишь. Притом фабрика и завод сильнее потрепались. Машины нужно поставить, сырья нехватает, то да се... И выходит, что городская промышленность поднята не более 50%. Вот тебе и „ножницы". Слышал, поди?..

— Скажем, корова. Мужик ее кормил год, два, зарежет, мяса — пуды. Шкура. А вся стоит только два с половиной червонца... Поедешь в город сапоги покупать, отдашь не меньше двух червонцев. Ты думаешь, мы этого не понимаем?.. Понимаем. Почему мужик ругается?.. А отчего это все происходит?

Сергей волновался, ворочался на стуле. Вырвалось искренне, просто:

— Вот бы нашим крестьянам растолковать!.. Неповоротливы... А сбить их можно.

Буланов нервно прихлебывал чай. Тихо проговорил.

— Ты, Светляков, больше пиши о деревне... Что думаешь, то и пиши...

Будто пустую бутылку откупорили, так и разговор у Сергея сердце открыл. Льются бережные, глубокие мысли.

— Конешно... Теперь крестьянин жирок стал накапливать. Но хозяйство по-моему растет не у бедняка, а у старого кулака. Скажем, тот же скот. Нету его у бедняков, а что делать без лошади? В кабалу итти?

Вот, скажем, к примеру, наша Змеевка. Житников — первый кулак. Забрал отборную землю. Скотины у него много, запахивает беднякам, засевает, а за сколько?.. Не спрашивай... Тот же Машев. Скот — во!.. Все село душит...

— Ты верно кое-что говоришь,—отозвался Буланов.—Ирина, убирай посуду, да сына клади спать... Видишь, носом клюет...

Буланов умно и просто говорил. И гость Светляков тоже искренно и задушевно.

Было тепло. Самовар протяжно мурлыкал, как ласковый кот. Сумерки сгустились, лица потемнели, и лишь самовар отсвечивал серебряным пятном.

— Для борьбы с кулачеством надо организовывать бедноту в артели, в сельскохозяйственные коллективы!..—будто про себя говорил Буланов.

— Товарищи городские!.. — как-то радостно вскрикнул Сергей.—Научите нас, организуйте. Беднота вся валом повалит. А то наши бьются-бьются и уходят на хутора...

— Выход на хутора-отруба не совсем правильное дело, — деловито и упрямо раз'яснял Буланов.—Нам хуторян-собственников не нужно. Хутора вредны для коммунистической общины.

Он рассказал, как царский министр Столыпин думал отрубами создать мелких собственников, чтобы была ему опора впоследствии.

Ирина зажгла свет и ушла укладывать ребенка. На руках унесла спящего Юрку.

Прошли в свою комнату

— Нужно больше внимания комсомольцам, — заговорил Сергей. — У нас, вот в Змеевке, копошатся, барахтаются, по-глупому живут, а помощи им взять негде. Я так думаю, что комсомольцы на селе самая лучшая культ-работа...

До ночи беседовал крестьянин с рабочим.

К. Минаев.

ТРЕСТ-ОБМАНЩИК.

— У нас недавно агронома изувечили.

— За что?

— За обман.

— Ну? Расскажи.

— Понимай, какая штука вышла. С самой осени приставать начал:

„Переходите на многополье, везде переходят, только вы — как отсталая нация".

А мы разве не понимаем, что это к нашей пользе, только сразу трудов стоит. Мы вот в лаптях, а нешто это для форсу? Точка бедности в лапти обувает, хоть сапоги и дешевле лаптей,— значит, прямой результат, кабы не было одной загвоздки. На лапти-то как-нибудь наскребешь, а на сапоги где-ж? Сапог одних на год хватило бы, а лаптей за год пар двадцать прошлендаешь. По рублю — двадцать рублей—во, какие финансы. А сапогам яловочным красная цена — десять рублей. Вот и высчитывай: лапти в два раза дороже сапог. Американцу это сказать, — со смеху сдохнет.

На мой взгляд — многополье — сапоги, а трехполье — лапти. Силов не хватает, потому и маемся с трехпольем. Но в конце-концов решили попробовать, агроном улестил, а тут и вышел подвох.

— Ну?

— Да оставили мы часть поля под клевер. Снег тает, зовем агронома, говорим ему:

„Чево же ты прохлаждаешься? Скоро в поле выезжать, а про семена ни слуху ни духу".

„Вот поеду,— говорит,— в Узо",

Дня через два приезжает, собрание в нардоме созывает; бежим все, как на пожар. Смотрим—наш агроном по сцене ходит, и в роде как лихорадка его колотит, из лица бледный, и волосы не причесаны.

„Докладывай, — мы ему, — все собрались".

А он:

„Доклад мой, товарищи-граждане, очень недлинный. Вышло недоразумение. Надо поискать выход. Семян клевера нет".

Ох, понимай, что тут было: кто кричит, кто рычит, кто матюкается. Баба одна вдова, как завизжит: „Хватайте его лохматого предателя". Он-то струсил, прыг со сцены, хотел бежать. Ну тут

его сцапали и давай колошматить. Кабы не побежал, — глядишь, не тронули бы. Мимо собаки пройди тихо — полает, и все, а побежи — обязательно щипнет за ногу.

А ведь мы, мужики, в толпе — чем не собаки?

После всем жалко стало.

„Бедняжка,—горевала вдова, какая на собраньи завизжала,— ведь он тоже подневольный. Не сам надумал нас уговаривать на многополье, вышние власти велели. Я поминанье подам в церкви за его здоровье, уж больно здорово его по груди буцкали. Бьют его, а он упрашивает: — Граждане, сжальтесь, у меня беркулез во второй стадии".

Теперь как бы не умер, в больнице лежит.

— Агроному простительно, он птица маленькая, а меня вот трест обманул.

— Т-р-е-с-т? Ну, это неудивительно. На то они и тресты, чтобы трескаться.

— Нет, а по-моему, это насмешка над мужиками. Зачем хорохориться, зачем пыль в глаза пускать, если кишка тонка?

— Скажи, как дело-то было?

— Прочитал я в вике плакат на стене, и взыграло у меня сердце, — еды и питья лишился, уж больно там все расписано хорошо, какие урожаи от суперфосфата, — что для ржи, что для овса, что для клевера, льна и картофеля. Дай, думаю, письмо им напишу. И написал. Черновик в кармане у меня. Вот что я написал им в надежде своей души:

„Дорогие товарищи Тресты!

„Прочитал я ваш плакат насчет удобрения суперфосфатом и теперь даже спать не могу. Неужели это правда? Да здравствует наука!

„Дорогие товарищи, у меня нет силов, все повысосала царская и гражданская война. Семь лет был я оторван от своей земли. Я терял силы, и земля теряла силы, а жена моя, по бабьей несмышленности и по бедности, ничего не могла предпринять. Где же взять навозу для удобрения, если скотины на дворе—раз, два—да обчелся. Уж больно мне понравилась нижняя картинка на плакате: вместо шестидесяти возов навозу — только три мешка суперфосфату. Какое облегчение для крестьянина. Вот жизнь-то будет. Я даже думаю: что бы прожить тысячу лет. Тогда наверно десятина, вместо пятидесяти пудов, шутя будет давать тысячу. Спасибо, дорогие товарищи Тресты. В плакате сказано, что удобрение можно получить на льготных условиях. Это для меня очень

подходяще. Пропишите мне подробно обо всем. Марку я вкладываю в письмо на ответ".

— Ответ прислали?

— Лучше бы не присылали.

— Чево пишут?

— На льготных условиях суперфосфат не отпускается.

— Ха-ха-ха!

— Это у них всегда: на плакате одно, а на деле—другое. Я, грешный, ни в какие плакаты не верю.

— А мне, понимай, обидно стало до-нельзя. Я вот другое письмо составил; не знай послать, не знай не посылать?

— Почитай!

— „Дорогие товарищи Тресты!

„С покорнейшей к вам благодарностью за старания о мужиках. Был праведный человек—Ленин,—умер. Учил Ленин правду говорить, — неужто ученье его позабыли?

„Шестьдесят тысяч плакатов разослали вы по Советской республике. Если каждый плакат прочитают сто человек, вот уже шесть миллионов обманутых крестьян. Дорогие товарищи, зачем это? Вас никто за язык не тянул. Если нельзя на льготных условиях, не писали бы. Я не ел, не пил и не спал от радости, а теперь не ем и не пью от досады, и все думаю, и сам с собою все разговариваю: когда перестанут над мужиком смеяться? Когда ребенок плачет, посули ему конфетку, он замолчит, а потом и про конфетку забудет. А мужики—не младенцы, одними посулами их не успокоишь. Когда государству трудно, зовут мужика на помощь, и мужик подымается, идет, помогает.

Не по-братски это.

Теперь лучше и не печатайте плакаты, не расходуйтесь зря, теперь не будет вам веры".

— Ловко!

— А какой толк? Их этим не проймешь.

— Пусть хоть затылки почешут.

— И чесать не будут, потому что они ко всякой рекламе привычные.

— Ничего вы не знаете: к делу пришьют.

Р. Акульшин.

ПОМОЛЕБСТВОВАЛ.

Было большое помещичье имение — на 1000 десятин. Возле лежали две деревни.

Помещик сеял много хлеба, засевал свекловицу было клеверное поле; держал молочный скот; был громадный сад.

Сеяли, разумеется, хлебушко и крестьяне, держали помалу скотинку, возили навоз на поля, были кое у кого садишки, а жили туго, не доедали, не допивали. Ходили вшивые, грязные. Ребятишки бегали кривоногие, с обвислыми животами, с желтобледными лицами.

Туго жили мужички: земли — повернуться негде. Ни угодий, ни выгона, ни лугов, ни леска. Скотина ходила мелкая, захудалая... Молоко, какое и было, несли на барский двор, на маслобойку, ребятенки молока и не нюхали.

Родился у мужичков хлеб—тоже туго. Ежели снимут с десятины 25—30 пудов, радости нет конца. А то, не редкость, только-только семена воротят.

Помещик снимал и по 75, и по 100 пудов.

— Што ж, ему можно,—эва земли сколько!

— Да ведь с десятины.

— Ну к, што ж? Ему есть чем взяться—капитал,—почесывали в сбившемся на голове войлоке мужички.

А сами искоса все поглядывают на помещичью землю: кабы нам эту землицу, мы бы произвели.

Чует помещик, идет смятение в народе. Так, снаружи-то, ничего не видать,—все тихо, чинно, спокойно, урядники, старшины, сотские, становые, исправники, все на своем месте, а чуют, все чуют, за этими заветренными, обросшими, покорными, почернелыми от земли, горя, бедности лицами таится своя незамирающая дума. Таится и все растет, и все ширится, все сгущается в черную хмару, что повисла над всей русской землей.

„Эк его, — думает помещик,—молчит, молчит мужик: да как прорвет его, и ох не успеешь сказать".

И надумал.

Приходит в деревню.

— Ну вот что, мужички. Вижу, трудно вам...

— Куда туже, конца краю не видать, — мнут шапки.

— Ну, то-то. И живете по-волчиному: лба перекрестить негде, ни церкви, ни школы.

— Куды! Прямо зверьем живем.

— Ну вот. Решил я построить вам церковь и школу.

Как ветром нагнуло мужиков, закланялись:

— Покорно благодарим! Век твои молельщики, благодетель наш!

А бабы от радости в подолы стали сморкаться, глаза красные утирают.

Помещик поставил церковь, выстроил и открыл школу церковно-приходскую, чтобы псалтырю поп с дьяконом обучал детей. Сам с'ездил в город, побывал у архиерея и привез из города двоих: мужикам—попа, себе—агронома.

Поп завел свое, агроном свое.

Поп в воскресенье и под воскресенье, каждый праздник, который вывернется на неделе, и под праздник „аллилуйя", и „господи помилуй", и „благословен грядый"... и много всякого другого непонятного... Но особенно напирал проповедями. Как служба, так и проповедь. „Возлюби ближнего твоего, как самого себя"... И пойдет, и пойдет тачать: соседа Игната возлюби. Старшину возлюби. Помещика возлюби, управляющего его возлюби.

„Нет власти, аще не от бога". Тут уже вовсе разливается соловьем: и государя императора чтите, как помазанника божия; губернатора чтите, и исправника чтите, и станового чтите, и урядника чтите.

„Не будьте рабами лукавыми и ленивыми". Трудитесь, и все вам дастся. Лень — мать всех пороков, оттого у вас и бедность.

Стоят мужички, слушают, корявые, со спутанными бородами, с глубокими морщинами на замученных лицах; руки как плети висят, черные, мозолистые, похожие на копыта, полопавшиеся от вековечного неустанного труда, стоят, слушают, покачивают головами: верно, мол.

Стоят и бабы, как замученные клячи, стоят, вздыхают и снова крестятся, низко кланяются попу и образам: „господи, господи! Мочушки нашей нету, силушки нашей нету"...

Хорошо стало с попом.

Опять и другое с попом хорошо. Бывало, начнет хлеб гореть, мечутся мужики, никак попа не достанут, — чужая церковь далеко, и поп там у своих нарасхват, тамошние деревни к себе тянут, никак мужички не дождутся своего череда.

А теперь совсем другое стало. Случилась засуха на все лето, стал гореть хлеб, трава; пашня как кирпич; лопается земля до самого нутра. Видят мужики: пропадают. Надо меры принимать.

Сейчас же кинулись к попу. А он под руками, тут же, свой, не надо ездить по чужим деревням, побираться чужим попом.

— Батюшка, пройдись с молебствием по полям, гибель наша!

Поп заправил волосы, собрал все свои причендалы. Забрали иконы, понесли на высоких палках вышитых людей, обе деревни поволоклись, и стар и млад. Поп пел с гундосым дьячком, окропил все закоулки, поля, все сады.

Сгорел весь хлеб дочиста, ни зерна не собрали, а сады сожрала гусеница. Много мужиков заколотили избы, продали последнюю коровенку, ушли на заработки, а бабы с ребятишками, почернелые от голода и горя, пошли с сумками побираться.

Не жаловался помещик и на агронома. Сбыл агроном всех старых малоудойных коров, завел хороший породистый скот, и ну кормить его картошкой, свеклой. Велел пахать не в августе, сентябре, как это раньше было, а с мая. Да все лето по пашне гонял бороны, которые разрыхляли верхний слой, не давали ему ссыхаться в комья. Привез из города какое-то зелье и ну из кишки опрыскивать деревья в саду. А уж с зерном, которое на семена, как с ребенком возился: насквозь его обобрал, вычистил, отвеял, как стеклышко, зернышко к зернышку.

Пришла жатва, и помещик снял 200 пудов с десятины. Втрое стали давать молока коровы. И чудесные наливные зреют яблоки, без пятнышка.

Удивляются крестьяне, качают головами.

— Колдун!

— Батюшка, отслужи молебен!

Пришли две революции. В первую революцию спихнули царя, да оставили землю помещикам, капиталы и фабрики — капиталистам. Во вторую революцию коммунисты спихнули помещиков и капиталистов, земля перешла крестьянам, фабрики— рабочим.

Наш помещик насилу ноги унес, убежал. Агроном уехал, поп остался.

Поделили мужички землицу, крякают, ухмыляются:

— Покропи, батюшка, новорожденную землицу.

Покропил. Сняли мужички по 80 пудов. То-то радости было. На следующий год:

— Помолебствуй, батюшка.

Помолебствовал. Сняли пудов по 25 с десятины. Затуманились мужики. Тоска стала заползать в мужицкие души.

— Што ж это, батюшка, край приходит, помирать и с землицей; на старое съезжаем.

— По грехам вашим, по грехам вашим,—каркает поп,—господь наказует. Наладно молитесь, не от усердия.

Качают исхудалыми победными головушками мужички:

— Верно, правильно. Мало молимся, много грешим. Подымай иконы, батюшка, пройдись по всем полям.

Подняли иконы, прошлись по всем полям, по всем лужкам, кропил поп направо и налево, выкропил ведра два. Служил молебны с акафистом и без акафиста, до самой до ночи. Заморился народ, насилу ноги приволок домой.

Пришла жатва, глазам своим не верят мужики: сняли... по два, по три пуда с десятины.

Собрался сход.

— Вы вот чего, старики...

Говорит, а его слушают, потому свой, деревенский. Давно ушел на фабрику, теперь приехал коммунистом. Случилось так, что приехала с ними молодежь, свои же деревенские, красноармейцы.

— Вот что, старики, совет вам дам, а вы послушайтесь.

И дал им совет — пригласить агронома. Зашумели мужички.

— Да разве мыслимо! Да что ты, ай белены об'елся! Да не в жисть этого не сделаем! Али мы богачи какие? Мы не помещики.

Молодые из красноармейцев вступились:

— Непременно так надо сделать, как говорит товарищ. Он же наш. Опять же—коммунист.

Как ни упирались старики, перегорланили их молодые. Делать нечего, завернули полы, достали кошели, собрали денег. Выбрали двух, вручили им сумму, укатили в город.

А тут поп подвернулся:

— Вот, что, православные: дровец надо на божий храм, да и мне и причту надо заготовить.

— Ну-к што ж,—почесались старики.

— Не надо, не будем!—заорали молодые.

— Ну, а мы как же, одни не сдюжаем—старые.

Вз'ярился поп:

— Так вы вон куда гнете! Священника не принимаете, за требы, стыдно сказать, как нищему даете?.. Проклянет вас господь!

Старики испуганно закрестились, а молодые закричали:

— Пущай проклянет! Небось обсохнем...

— А-а, так вы так!..—завопил поп,—повешу замок на церковь!

— Давно пора!

— Вешай... ишь не догадался!

— Хоть себе на шею!

— О, господи! — попятились старики, все так же испуганно крестясь.

Навесил поп на церковь замок, уехал, неведомо куда.

А тут, как тут, те двое из города приехали, третьего с собой привезли—агронома, да еще прежнего, что у помещика работал. Всем обществом приняли.

Принялся он за свое: и пахоту раннюю ввел, и боронить заставил целое лето, и навоз указал, как и когда вывозить и запахивать, и золу велел выгребать и все на пашню, и зерно на семена насквозь прочистить, и сады опрыскивал. Кряхтят мужички, раскошеливаются,—все это денег стоит.

— Эх, мать ты курицына, плакали наши денежки! А делать нечего, не попятишься, назвали груздем, лезь в кузов.

Вскружился год. Сняли хлеб, и ахнул народ: 100 пудов десятина дала, ахнул народ и рассмеялся во всю рожу:

— Вот так здорово!..

Звонкие да веселые деревни стали. Глядь, поп приехал—худой, облезлый, видно безработный, скучно.

— Православные, возблагодарим господа за милость его неизреченную, ниспосланную на вас. Обойдем все поля с молебствием.

С сотню здоровенных, черных, земляных, полопанных кукишей протянулись к нему:

— На-кось, выкуси!

А. Серафимович.

КАК СВЕТИТ ЛЕНИН.

Гусево, Мусино, Гарутино, Голоперово...

Древние деревни старой Московии...

На речке Ламе строится хижина небольшая, каменная. Она до того мала, что смешно даже.

Если же к председателю яропольского исполкома вы обратитесь с расспросами про хижину ту, то он важно и строго ответит:

— Товарищ, не улыбайгесь—это будущая наша электростанция. У нас одна станция работает. Но крестьянам мало одной. Их кооперация строит другую.

Тогда еще, когда жив был Владимир Ильич Ленин, когда он говорил свои речи об электрификации России, тогда еще в мутное, глухое, голодное время вычитали речи те яропольские парни.

Был у яропольских у тех парней музыкальный кружок—одна единственная просвещающая организация. И музыкальный кружок взял и постановил—начать электрификацию волости.

Чудно...

Из музыкального кружка корни тому, что теперь по двадцати двум деревням электрический свет горит каждую ночь. От музыкального кружка корни тому, что восемнадцать селений запросили себе свету, что возили бесплатно камни, рыли землю, ломали и строили, лишь бы светку получить.

А светок... откуда взять его?..

По уезду течет несчастная, старая, обмелевшая Лама. Понастроили запруд, приснастили реку так, что движет она сразу мельницу и станцию, а станция—другую мельницу, и колбасный завод, и молотилки, и мялки льняные... Это днем. А по ночам свет идет в Мусино, в Гусево, в Гарутино и по девятнадцати деревням еще.

Видали?

Видали такую выдумку, что хижину свою яропольцы на верхнем течении строят. Эта станция будет по ночам свет по всей волости кидать. А потом вниз вода сойдет по течению, и вторая станция будет той же водой двигательную силу подавать.

Вот она хижина что значит.

В ночь глухую, нашу северную, когда по балкам под деревнями зверь бродит, когда ветры в поле гуляют, ветры синие, холодные, мятель носят, рассыпают, закидывают вешки малые по дорогам.

Пойдем в избу тогда.

— Крутнул, чикнул и—готово.

Говорит, улыбается, в каждый угол глазами своими заглядывает.

За столом мальчонка с книжкой сопит. Баба возится, чинит, что-то вяжет. Сам сидит, мается. Свет-то есть... а ему вот нечего делать. Свет до полуночи горит. Плата одна—хоть жги, хоть не жги—пятерик в год. Как же быть?

Электрическая лампочка, можно сказать, всю его жизнь перевертывает.

То бы он спал теперь, и баба его спала и мальчонка спал... Управились, поужинали при керосиновой коптюшке и спать... скорее спать. Нечего свет даром жечь... да и при коптюшке сидеть приятность не велика.

И когда так устроена жизнь у человека, разве можно осуждать его за темноту, некультурность, тупость, косность?

Свет улыбчивый, чистый, яркий осветит избу, и вдруг станет горько хозяйкам — какая у них оказывается нечистота, как неопрятно, как нехорошо они живут.

И смотришь: моют лавки, скребут полы, гоняют тараканов и чаще обстирываются в избе, где горит электрический свет.

А мужик... он сначала долго мается под электрическим светом. Ему нудно. Как же спать, когда свет такой хороший? Зачем же спать, когда можно потолковать с кем-нибудь? В гости к кому-нибудь пойти чтоли?

И собираются мужики по избам, сначала „от нечего делать". А потом это уже нужно, без этого так одурманело, сложа руки бревном весь вечер просидеть, да тут с ума сойдешь. Потом необходимо становится потолковать, поспорить, газету послушать, поразмыслить.

Одна маленькая лампочка — и жизнь, тупой быт смрадной избы очищается, просыпается от тупости, обновляется от грязи, смрада к осмысленному, новому культурному бытию.

Мальчонка Петька, важный, как божество, читает отцу „Крестьянскую Газету", за пятиалтынный выписанную. Читает и картинки пальцем показывает.

— Гляди, батя... тю, какой он страшенный китайский генерал .. чудак какой.

Батя бородой своей колет голову петькину. Вслух раздумывает:

— Ишь ты... Народный генерал... Из народа он, что ли?

Скребет пальцем батя соринку, приставшую к носу китайского генерала.

Гудит басом своим над ухом петькиным.

— Брось ты про генерала... Пускай себе воюет. Вон картоха написана. Про картоху давай читать.

— Где?

— Да вон.

А мать сладко-скорбяще отзывается:

— Заморил ты малого. Брось, Петя!

— Ладно, не заморится.

И плывут склады петькины по тихой избе, склады длинные, звонкие про какой-то новомодный способ посадки картофеля.

Строго слушает отец.

Гляжу на его бородатое думающее лицо. Гляжу на свет электрический... Тишь.

Н. Погодин.

СВЕТ УВИДЕЛИ.

У Василия Ивановича Потехина нынче изба по-праздничному глядит: ни соринки, ни пылинки нигде. Недаром Анфиса Лукьяновна [1]) с самого рассвета в порядок избу приводила. Да и ночью сколько раз вскакивала с постели, на печку заглядывала — всходит ли тесто в квашне. Даже бабка Анна (по весне ей 76 годков стукнуло, но старуха кремень — до веку дотянет) и та ныне ласковые словца бросает. А сам Иванич целый час, почитай, у зеркальца с бритвой вертелся.

Уж такой случай приспел — сын Захар должен повечер из Красной армии прибыть.

„Дождались, — думает Иваныч, — и на нашей улице теперь праздник будет. Поди, намаялся Захар во солдатах-то. Трудно так. Сам служил — знаю. Ну да ничего, авось, поправится на деревне".

А когда часы (что над шкафчиком вырезным с петушками повешены) прохрипели: раз, два, три, четыре — пошел Иваныч лошадь закладать — на станцию ехать, сына встречать.

Пали сумерки синие на двор, стал народ в избу Потехина собираться. Одних родственников до 10 человек нашло. Любопытство всех одолевает — каким-то вернется Захар из Красной армии. На столе, покрытом новой скатертью, праздничное угощение расставлено Лукьяновной: пироги, ватрушки, мед, леденцы, колбаса. Никто ни с каких боков укорить не посмеет, — все честь честью. Почти каждую минуту прислушивается Анфиса Лукьяновна — не залает ли Букашка, не подаст ли весточку, что приехал гость дорогой.

Приехали. Вошел в избу первым Захар. Поклонился всем да к матери:

— Здравствуй, мама!

А та ему сквозь слезы:

— Голубчик мой, желанный!

Через пять минут весело самоварчик попыхивал, разговор пошел, шуточки, да смешки. Глядит Иваныч на сына и радуется:

[1]) Жена Потехина.

— Вишь каким молодцом стал; загорел-то как, румянец во всю щеку полыхает, да и ростом словно прибавился, оттого и не узнал на станции-то сразу.

Все хорошо, лучше и не выдумаешь, да вот только одно радость Иваныча омрачает. По дороге сказал ему Захар, что в партию он вступил во время набора Ленинского. Беда, коли Анфиса Лукьяновна узнает, а бабушка — еще хуже.

А Захар про свою жизнь в Красной армии рассказывает. По его словам — и дома не лучше. Пищи вдоволь, начальство не обижает, потому — из своего же брата — мужик и рабочий. Веселья хоть отбавляй: каждый день — кружки разные, театры, лекции, митинги. Не старое, чай, время — не царю служба, своей власти — родной, пролетарской.

Слушают все Захара да головами качают. И откуда, мол, это Захар так говорить складно научился, — прямо заслушаешься.

— Ну, братцы, — сказал Захар, — а как у вас здесь? Новенького что? Есть ли комсомольцы? Сказывайте?

— Да, живем помаленьку, Захар Василич! — в ответ ему сосед Потехина Милов, Кузьма Гаврилыч. — Наше дело известное — нащет хлеба печемся, чтобы урожай был, а прочего не касаемся, живем кое-как.

— Справедливо, — поддакнули мужики. — Нам окромя хлеба о чем думать?

Вмешалась тут Анфиса Лукьяновна:

— Так-то так, да вот только нащет ситцу, керосину, али там чего прочего — плоховато, сынок! Уж больно у нас Лобанов-то, Никита Петрович, спуску не дает. Один он во всей округе лавочку держит, — ну и дерет за все, что вздумается. Намедни пошла к нему за ситцем на рубаху Иванычу. Так и так, мол, говорю, нельзя ли, Микита Петрович? — „Что ж, грит, я не прочь, только, коль без денег, так тащи за каждый аршин ситцу 3 фунта масла“. Я было уступочки просить — скинь хоть полфунтика. Куды! Так и пришлось дать... Аль опять спичек или керосину понадобится — давай муки, яиц. На него, почитай, только и работаешь, сынок!

— Сразу стало лицо Захара серьезным, лоб нахмурился.

— А что же вы, братцы, кооператив не откроете? Зачем даете себя кулаку-пауку в обиду? Вон в городе на каждой улице куда ни плюнь — беспременно в кооператив угодишь. Рабочему человеку без кооперативов жить нельзя. По многим теперь селам и деревням кооперативы пооткрылись. У меня вон в городе

инструктор кооперативный есть, приятель, — на собрании познакомились — так он почти каждый день благодарственные письма от крестьян получает. Большое спасибо пишут за устройство кооператива-то, с ним мы только и свет увидели. Да неужто вы и не слыхали про кооператив? Чудно что-то.

— Как не слыхать! Слухом земля полнится. Да вот только думается: не нашего это дела ума, Захар Василич! К тому же еще и боязно как-то. Лобанов, Микита Петрович, у нас эвона какой год торговлю ведет! С ним ли нам тягаться? Надо на все уменье иметь. Где уж нам!

— Эх, вы! Не боязнь тут причина, братцы, а ваша лень-матушка, скажу я вам напрямик. Даете вы себя какому-то Лобанову опутывать, в кабалу к нему идете, баб своих мучите, а все потому, что вам ни до чего дела никакого нет. Стыдно, братцы.

— Эге, началось! — подумал Иваныч. — Задаст же он перцу нашим мужикам. Задаст. Потому — партейный, — нельзя иначе.

И впрямь задал Захар перцу мужикам. А потом давай про кооперацию рассказывать, что знал. Смотрит — заинтересовались мужики. Каждое слово ловят жадно, не шевельнутся. Проняло их. У Иваныча улыбка рот до ушей раздирает.

Ну, и парень, ну, и голова! Знай наших!

На другой день только и разговору по деревне, что о приезде Захара да о кооперации. Пуще всех бабы судачили.

— Вот бы нам, бабочки милые, кооператив открыть, — говорила Татьяна Пчелкина, — никакой нам тогда Чорт Иваныч не будет страшен! А то совсем он заездил нас. Силушки нет на него, толстопузого чорта, работать! Дай бог Захару Василичу здоровья, это он за нас, горемычных, вступился.

А Захар, попивши чаю, прямо в Совет — айда. Взял он там в работу председателя Совета, Деева Пантелея Николаевича. Уговорились через три дня сходку по вопросу о кооперации собрать. За инструктором кооперативным взялся с'ездить в город сам Захар.

Узнал о затее Потехина и Лобанов.

— Ну, — говорит, — мы еще посмотрим, чья возьмет! — А встретил Захара на улице, — давай в гости зазывать, чайком баловаться, да не на такого попал.

— Нет, — отвечал Захар, — у нас с тобой, Микита Петрович, дороги разные: тебе направо, а мне налево ити надо, прощай!

На сходку все село привалило. Бабы — и те, побросав корыта да печки, с ребятами на руках пошли. Дали слово ин-

структору. Повел он сказ правдивый да ясный, как и зачем надо кооперацию организовать. Об'явил, что и государство, Советская власть, навстречу идет, в кредит товары отпускает для кооперации. Мало того — помогает и крестьянину через кооперацию продукты сельскохозяйственные сбывать: муку, картошку, овес, лен, яйца. Кооперация смычку между городом и деревней закрепляет. Понадобится крестьянину, скажем, плуг или коса — кооперация в кредит дает.

Кончил инструктор — к нему все с вопросами: как бумагу-прошение подать, много ли денег на паи потребуется и прочее. А там и к голосованию приступили.

— Чего-то там? — зашумела сходка, — делегатами Потехина Захара, Мальцева Сергея да Быкова Игната избрать, и пусть едут в город, прошение подают!

Время, как ядро из пушки, летит — с ветром не догонишь. Давно Лобанов свою лавочку закрыл — кооператив задушил. Захар Потехин председателем правления кооператива заделался На-днях проверку сделали, — оказалось, прибыль намалая есть. Подумывают васильевцы в соседнем селе в базарные дни „ларек" открыть — других кулаков поучить. Ожило село с кооперацией.

Ф. Чернышев.

ИНАЯ ДЕРЕВНЯ.

Иную вижу я деревню,
она моим глазам дана—
там
гуд самопрялочного цевня,
унывный стон веретена
загромлен рокотом динам.
Бушуют шумные турбины,
от них сгущенный льется свет,
прямятся согнутые спины.
Весь залит светом волсовет.
А свет —
и в избы и на сени
с напряжением энных сил.
Недаром же товарищ Ленин
мечту лелеял и носил.
Он говорил:
— все переменится,
пройдут недолгие годы.
И вот —
ко деревенской мельнице
идут прямые провода.
Включи —
и ходкая лебедка
корчует вековые пни.
Электроплуг глубоко, четко
переворачивает гниль.
А молотилка все-то лето
гудет:
давай снопы-ы-ы...
снопы дава-а-ай.
И через центр деревни этой
идет из города трамвай.

А. Дорогойченко.

ПРОЙДУТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

Пройдут десятилетия; пройдут столетия; жизнь на земле изменится; исчезнут остатки капиталистического строя, преобразуется советское государство; отомрут, станут ненужными многие из существующих сейчас органов, многие из существующих сейчас законов. Народы научатся управлять собою, управлять народным хозяйством без множества государственных учреждений, без государства. Начнет отмирать, т. е. станет ненужной, как таковая, государственная власть. Но и через века нельзя будет читать без волнения повесть о тех великих, героических днях, нельзя будет читать без глубокого волнения наши декреты о земле и о мире. Веками длилась борьба крестьян с помещиками, веками дворянство сидело на шее миллионов своих рабов. Взмах Октябрьской революции — и не стало дворянского сословия.

Империалистическая война сковала кровавым договором огромную массу людей. Казалось, нет силы бороться у народа с этой кровавой властью фараонов. Надо было сделать попытку. Каким радостным отзвуком прозвучали слова о мире в дни октября 1917 года, когда кровь и мозг человеческий мешались с грязью на равнинах Европы! Нам не удалось тогда остановить это кровавое безумие, но нам удалось спасти от смерти сотни тысяч людей, умиравших во славу капитала. Это была первая пролетарская революция, а ее организатором, ее вдохновителем, ее вождем был Ленин.

ЧУДО.

I.

Бабушка Фетинья стара-стара, избушка у ней еще старее.

День-ото-дня прытчится бабушка к могиле, избушка и тут-то опережает: бабушка — шаг, избушка — два: почесть совсем развалилась, еле-еле липит; думается, надуй губы ветерок посильней— и враз прахом рассыплется.

Накроет ночь землю сарафаном, а месяц-насмешник сквозь щели белым языком бабушку примется дразнить, только звездочки, ангельские глазки, улыбаются, так и манят, манят к себе: иди к нам, раб божия Фетинья, мы твою душеньку от непогоды крылышками укроем, от холоду дыханьем согреем...

Рада бы она, ох, как рада!.. да господь-батюшка на земле держит, видно, не все грехи еще отмолила.

Больше всего страшится она, когда зима, не плоше сварливой свекрови, заворчит метелями, да сам мороз в избушку втюрится; вишь, в углу расселся: седую бороду поглаживает, кулаками о стенку постукивает, все норовит до бабушки добраться, ладно, что у него глаза от старости ни трошки не видят, да спасибо теплой печи — укрывает, не то—беда-бы!..

Поднимается бабушка ночью: лампадочка с иконами перемигивается, там в углу спасов лик скорбит, справа матушка неопалимая печалуется, слева — Иван креститель-батюшка спасу умиляется, рядышком — Никола хмурится — строгий угодник!.. Смотрят на нее и другие угодники божьи — кто с иконы, кто с картинки — таково-то ласково смотрят, и найдет на бабушку умиленье, кажется, будто кто из них ручкой по душе поглаживает.

Любит и почитает она угодников божьих: попадется где на глаза картинка с ликом угодника — сейчас и на стенку прилепит.

Молится, молится бабушка и ничего иного у угодников не просит, только сохранить избушку до смерти своей.

Хоть и плох угол — все же свой, горек чужой хлеб - недаром часто поперек горла становится, а быть на старости лет бездомной птицей-кукушкой—куда горчее!..

Отец Иван, когда с водосвятием приходит, все трунит:

— Твою, Фетинья, избенку невидимо угодники поддерживают...

Пытает и она рассказывать, как намедни, на заре, вроде как бы видение некое было:

— Похаживает по заулочку кто-то из угодников, да топориком, батюшка, о стенку постукивает... а кто — не ведаю: лик-то стенкой сокрыт...

А отец Иван свое затянул:

— Во Ио-рда-а-не крещающуюся...—Некогда рассусоливать—приход во какой!..

Забыла и забыла бабушка, куда пятак за молебен девала, просто из ума вон: и туда и сюда сунется—нет!.. Отец Иван грибом-дождевиком дуется...

— Что ж ты, Фетинья, других благодати божьей лишаешь!.. Неси хоть яичек пяток...

Затрусила старушка за яичками, да второпях с десяток захватила, покрупнее которые выбрать.

Известно — глаза поповские завидущие, руки загребущие, карманы, как омут, глубокие, весь десяток тю-тю!.. утонул в кармане.

У бабушки инда глаза зароснились,—нук-се берегла, берегла к свят-христову дню, да и разговеться не придется...

II.

Бредет бабушка Фетинья по улице с вязанкой хвороста на загорбке, а вокруг нее ветерок, словно молодой щенок, разыгрался: то за пушинкой погонится, то клок сена по дороге покатит, не то за подол сарафана почнет трепать.

Вдруг ветер из проулка какую-то бумажку выкатил и давай бабушку дразнить: только она сугорбится—поднять хочет, а он почесть из рук вырвет и дальше погонит, а там крапива сцапала, не отдает—кусается, насилу выручила.

Расправила бумажонку—глядь, картинка, какого-то угодника лик написан, этакий лохматый, вихрястый, а лик-то больно благовеен, глазами точно иголками в самую душу так и проникает.

Мерекает бабушка—кто бы это был?..

— Рази из евангелистов кто? Малость будто бы на Марка смахивает, да львиной головы около нет... Уж не Стратилат ли воин, да воинского убранства не видно...

Так и не догадалась...

Прилепила картинку к божнице, по соседству с Иваном-крестителем, затеплила лампадочку и взмолилась:

— Уж ты, угодник божий, прости меня грешницу-неразумницу, не знаю, как звать-величать тебя, батюшку, замолви перед господом словцо заступное: просит, мол, раба божия Фетинья уберечь избушку от огня молоньи, от огня-пожара, от праха-тления...

Моргает лампадочка, угодник жалостливо улыбается—видно сердобольный праведник!..

За окошком дождь когтями о стекло скребет, гром с молнией ругается...

Кто-то стукнул.

Бабушка к стеклу припала; темь—ровно в могиле—ничего не разберешь... Вот молния светлым языком мрак лизнула—выявился человек, и голос нетерпеливый подает:

— Впускай же скорее!..

К калитке засеменила.

— Входи, входи, родной... мотри о притолку лбом не хлобыснись... Чай-то, касатик, передрог... Откеда бог несет?..

— Из города... Всю ночь с дождем воевал... По всей деревне ни у кого не мог достучаться—спят, как мертвые!.. Поесть, бабка, не найдется ли, голоден, как волк...

— Вот хлебушка, родной, отведай на здоровье... Ссудили добрые люди, дай бог им здоровья... На чем ином не обессудь, ни синь пороха опричь хлебца нет.

— Ничего...

— Ты бы, родной, хоть лоб-то перекрестил... чай видишь— иконы... грешно!..

— Эх, бабка, крести не крести, когда своими руками не потрудишься—хоть раскрестись, ничего не накрестишь!..

— Что ты, родной, бывает господь и невидимо людям праведной жизни посылает...

— Держи шире карман—пошлет!.. Иной праведник ограбит кого да считает—бог ему невидимо послал!.. Э, да что с тобой старуха, толковать, все равно не втолкуешь... А-а... это что еще за икона у тебя появилась?

— Не знаю, касатик, что за угодничек божий... Уж ти меня, старуху глупую, не вразумишь ли, как имячко-то его в молитве поминать?..

— Мудреное, бабушка... Не все ли равно, важно не имя, а его учение.

— А чему он, батюшка, учил?

— Работать, работать, да жить дружнее!..

— Вестимо, родной, праведны его слова... Бают, сам господь батюшка и то до поту наказывал работать...

— Ты и ему молишься?

— Как же не молиться-то, чать на то и икона, чтобы молиться. Вот только до тебя молилась ему, батюшке, избушку до смерти сохранить просила.

— Да избушка твоя похожа на мышиный теремок... Молись, молись, бабка, может быть, у него скорее, нежели у всех святых, вымолишь!..

III.

Под осень, когда небо беспрестанно, как мокрая курица, стряхивает брызгами, и ветер, подобно нищему-слепцу, жалобно скулит Лазаря, а в избушке сквозь потолок, словно из худого ведра, ручьями щирит вода, бабушке не житье, а мученье!..

Однажды рано по заре чует она, будто на крыше медведь ворочается, — ломает, трещит. — Ну, думает, — конец — избушка рушится.

Выскочила на улицу, так и опешила: плотники всю крышу, как волки падаль, изглодали — одни лишь ребра торчат.

Бабушка заверещала:

— Крау!.. Крау!.. Вызволяйте, добрые люди!.. Что это за супостаты чужое добро разоряют!..

Плотники с крыши:

— Чего ж таращишься-то... Нам все едино, где ни работать, лишь бы работать... Сказано, работать здесь—работаем... Вот-те и вся недолга!..

Слышит—журавлями курлычут возишки с бревнами и около избушки стабунились.

Бабушка пугалом огородным одеревянела: — что за притча такая, — не поймет...

Потюкали, постукали, как дятлы в лесу, плотники топориками, тут приставили, там наставили, сям — коли труха — и все бревна сменили, и вышла избушка хоть куда—заплатами словно шуба перелицованная пестрит, да не в красе-бахвальстве толк—было бы тепло, а на бабушкин век и-и как хватит.

Бабушка сумлевается:

— Родимые, кто ж жить-то в ней будет?.. Неужто меня с насиженного гнезда сгонят?..

— Кто... Кто... Кто жил, тот и жить будет.

Пришел печник, глину в кисель размесил, печку смазал.

— Живи-тка, свет Фетинья, в новом домку, с теплой печью, на доброе здоровье...

И зажила бабушка на славу — печь теплом так и дышет и дышет...

Нового угодника с крестителем сменила, рядышком со спасом поставила: — больно батюшка отзывчив... знать, при господе-то близко стоит...

IV.

Свят-христов день с весенней водицей прикатил.

Бабушка от людей не отстала: на столе снежным комочком пасха белеет и яички розовеют.

Пришел отец Иван с христосыванием.

— Ах, Фетинья, в каких ты хоромах зажила..,

— Николи не чаяла и не чаяла, батюшка... На старости лет господь укрыл меня, сирую... Знать, угодничек божий за меня замолвил словечко... А имячко-то его святое, грешница, и не допыталась.

— Бывает, бывает, Фетинья... Пути господни неисповедимы... Кхм... Кхм... Христос воскрес-с...

Поперхнулся вдруг, что рак вареный стал.

— Ты что же, богохульница окаянная!.. Еретика-антихриста со святыми иконами поставила!.. Выбрось вон!..

Ногами, чисто лошадь от мух, затопотал, глазами просто живьем проглотить готов...

— Какой он, батюшка, антихрист... Что ты, Христос с тобой!.. Коли я сорок годов с гаком всех угодников за избушку молила, молила и не вымолила... а он, милостивец, враз внял...

— Тьфу!

Харкнул прямо в лицо угодника... Бабушка к иконам: как наседка цыплят от ястреба укрыла.

— Ты не харчи на святые иконы-то!.. Еще попом прозываешься!...

— Ладно!.. Подохнешь, еретица окаянная!.. Не будет тебе христианского погребения!..

Сам пробкой из квасной бутылки выскочил.

— Видно, попы не любят скорых наших заступников...— смекнула она.

Чистой тряпицей отерла лик угоднику и сама петухом на заре продребезжала: „Христос воскрес-се“...

На душе стало тепло, тепло, будто бы в бане парной распарилась.

— Бог ему судья!..

М. Волков.

МЫ СТРОИМ ЖИЗНЬ.

За годом год промчится чередою,
годам нельзя сказать: остановись!
И то, что нынче кажется мечтою,
врастет с годами былью в жизнь.

И то, к чему теперь
еще стопой несмелой,
подчас с сомненьями, с опаскою идем,—
тогда обычным станет нашим делом,
как радуга перед дождем!

Вон, эти дни, как солнышко за лесом.
Тем ближе к нам, чем к ним идем дружней,
пытаясь приоткрыть завесу
к нам приближающихся дней...

Смелей, смелей по жизненному тракту!
Рука к руке и к шагу шаг тесней!
По полосам заставим скоро трактор
прокладывать пути к весне!

Нет, не по полосам — по длинным десятинам,
в бескрайности полей возможен лишь разбег
машин, движимых мощною машиной,
которой имя — человек!

Плывите, дни, в лазурные просторы,
весенней радостью вскипай, земля!
Настанет день:
в поля отчалит город,
и к городам приблизятся поля!..

За годом год промчится чередою.
Годам нельзя сказать: остановись!
В часы, когда мы будущее строим,
когда мы строим
жизнь!..

А. Жаров.

МУЖИЦКИЙ СКАЗ О ЛЕНИНЕ.

Большой, от столиц и крупных городов далекий, уезд. По захваченным верстам он не меньше иного иноземного государства. Были в нем золотые прииски, черноземные земельные угодья, винокуренные и салотопенные заводы, гурты баранов, овец и козы с мягким тонким пухом для прославленных оренбургских платков.

Население его — старожилы-казаки и переселенцы из губерний: Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Харьковской, Екатеринославской, Воронежской, Полтавской, Таврической. С разных краев, с разной повадкой и обычаями. И еще набросаны по речке Сакмаре и глубже в степях деревушки мордовские, башкирские и киргизские зимовки.

Люди разных кровей, с различным бытовым укладом и разной веры: православные, старообрядцы, магометане, субботники, дырники, евангелисты, скопцы, хлыстовствующие и много других сект, затаившихся здесь от правительственной веры.

Крестьяне-богачи с тысячами десятин и безземельные „квартиранты“, не могущие даже поставить собственной избы. И крапинами разрозненными вкраплена в станицах, селах и деревнях

мелкая, глушью придушенная, интеллигенция: с десяток врачей, учителя, агрономы и библиотекари. Газеты и вести о жизни всего государства Российского получались из Оренбурга. Доходили быстро только до станиц на большой дороге с телеграфными столбами, до приисков и до уездного города. Он — деревянный. Этапы существования его — от одного большого пожара, после которого сызнова надо строиться, до другого. И низкорослый. Высились в нем только колокольни и онемевшая с девятьсот четырнадцатого труба винокуренного завода. Газеты и вести сгасали в его сырьевой глухоте. Деревни и села в глубине уезда отделены были сотней и больше верст от него и от одноколейной железной дороги на Оренбург. И к нему, и к железнодорожным станциям от этих сел и хуторов вели неверные проселочные дороги через степь, через овраги, горные увалы и перелески.

Каждое село, каждый хутор творили свою отдельную веру, свой обычай. Изживали тяготу своих налогов, совсем не интересовались не только всероссийским, но даже губернским масштабом. О министрах, царе не хранили никаких рассказов, преданий. Солдаты, приносившие их со службы, быстро забывали свои сказы. Сменяли их на близкое, ощутимое: о земских начальниках, становых, урядниках. И мобилизация на русско-германскую войну, и февральская революция были негаданными здесь, как камень с неба.

Но в зиму бурливого тысяча девятьсот восемнадцатого большевистская тревога властно разворошила низкорослый город и весь уезд. С этой тревогой пришло имя „Ленин".

Пришло и прошло не только по большаку с телеграфными столбами. Проникло на хутора и в зимовки.

И о нем, далеком, не только всероссийского, но мирового масштаба, в этом глухом, разношерстном уезде сложились сказания.

Более точно и ярко я вспоминаю один рассказ.

На хуторе, по пути в город, я слышала его. За сто сорок верст в буранную зиму тысяча девятьсот восемнадцатого ехал за новостями в город мужик Никита Минушев и прихватил меня с собой. Обжигающий, холодный ветер и колючая поземка заставили нас еще до сумерек свернуть к ночлегу. В избе на расшатанной деревянной кровати, на деревянных скамьях у стола за прозеленевшим самоваром оказалось много свернувших с дороги путников. До темноты оглядывали друг друга затаенными мужицкими глазами. Обменивались утвержденными, как обычай, при встречах сообщениями о ценах на хлеб, об отсутствии товаров

и очень осторожно о новых порядках. Но в час, когда от нечистоплотной мужицкой одежды, от дыхания сбившихся в маленькой избе людей начал тускнеть и мигать огонек пятилинейки под потолком, разговорились бабы. И сухощавая, серолицая хуторянка, с пеплом седины на выбившихся из-под бабьей повязки волосах, с выцветающими черными глазами, рассказала не спящим сказку про Ленина. Как Ленин с царем народ поделили.

„Вот приходит один раз к царю Миколашке самый главный его генерал. „Так и так, ваше царское величество, в некотором царстве, в некотором государстве об'явился всем наукам обученый, дотошный человек. Неизвестного он чину, звания, без пашпорту, а по прозванию Ленин. И грозит этот самый человек: на царя Миколая приду, всех царевых солдатов себе заберу, а генералов всех, начальников, офицеров-благородию и тебя, царь Миколай, в прах сотру и по ветру пущу, слово такое есть у меня". Испугался тут Миколашка-царь, ногами вскакнул, руками всплеснул, громким голосом воскричал: „Отпищите скореича человеку тому, чину-звания неизвестного, без пашпорту, а по прозванию Ленину, пусть не ходит с тем словом на меня, не крушит в прах меня, генералов моих, начальников, офицер-благородию, а за то отдам я человеку тому полцарства моего". Набежали тут к царю люди ученые, скоро-скоро, с задышкою, обточили перья вострые, отписали тому Ленину: „Так и так, не ходи ты, Ленин, на царя Миколая со словом твоим, а забирай себе полцарства Миколаева без бою, без ругани". И мало ли, много ли, а в скорости прислал ответ письменный тот человек, чину-званья неизвестного, без пашпорту, а по прозванью Ленин. И отписывает Ленин царю Миколашке: „Так и так, прописывает, согласен я получить от тебя, царь Миколашка, половину царства твоего. Только отписываю я тебе уговор, как мы делиться с тобой станем. Ни по губерниям, ни по уездам, ни по волостям. А вот как, прописываю я тебе, на какую дележку с тобой я согласен, и чтоб без никаких больше разговоров. Забирай ты себе, царь Миколашка, всю белую кость: генералов, начальников, офицеров-благородию со всеми их отличиями, со всеми чинами, крестами, наградными аполетами, с супругами благородными, с детьми их белокостными. Господинов-помещиков со всем их богачеством, с одежой шелковой и бархатной, с посудой серебряной позолоченной, с супругами ихними и с отродием. Забирай себе купцов с товарами ихними, с казною несметною, и из банков пущай заберут всю казну свою. Забирай себе всех заводчиков и с казной, и с машинами, и со

всем их заводским богачеством. А мне отдавай всю черную кость: мужиков, солдат, фабричных, с немудрящей ихней шараборой. Только скот на племя оставь, поля травные да землю-родильницу для пахотьбы". Прочитал письмо Миколашка-царь, заплясал ногами в радости, зашлепал в ладоши в веселости и приказал своим генералам, офицерам и начальникам: „Сей же час отпишите тому Ленину на то полное согласие. И какой же он есть всем наукам обученый, слово тайное знающий, коль от всей казны несметной моей, от товаров купеческих, от припасов помещичьих отказывается, а забирает себе черную кость безо всякого способия. А на тую казну мы себе другую черную кость наймем, из тех нанятых в солдаты заберем, и будем жить опять в покое да в богачестве". Набежали тут опять к царю спешно-спешно, с задышкою, многие люди ученые, обточили перья вострые, отписали тому Ленину царево согласие. А насчет насмешки и не гукнули, чтоб не одумался, не пошел на них с тайным словом своим. И мало ли, долго ли, а в скорости наезжает тишком-тихонечком тот Ленин к своим солдатам, мужикам и фабричным. А царь с костью белою уж подальше от'ехали. Глядят мужики, солдаты, фабричные, а приехал к ним простецкий хрестьянский человек и говорит им: „Товарищи, здравствуйте!". Куда глаз хватил, всех за ручку подержал и об'явил громким голосом: „Буду с вами я в одном положении, как есть мы теперь товарищи. Только вы меня слушайтесь, я всем наукам обученый и своих товарищей на худое не выучу". Солдаты по солдатьей своей выучке сейчас: „Точно так, товарищ Ленин, слушаюсь!". Фабричные, городской народ, грамотный, со сноровкою, тож ему не прекословили. А мужики изобиделись, что в расчете просчитался он, зашумели, загалдели, задвигались: „За что, про что отпустил из рук казну и богатство несметное. Разделил бы нам, мы бы в хозяйстве поправились". Засмеялся тут Ленин, головой качнул и сказал им в ответ такое слово: „Не галдите, не корите, забирайте землю, скот и хозяйствуйте. А там будет дело видное. Нехватило бы казны той про вас, как есть вас многие тысячи, а белой кости малые сотенки. А насчет того, чтобы всю белую кость совсем со света свести, то слово я знаю, еще неполное. Не докумекал маленечко. Но есть у меня другое, достоверное на всю черную кость по всей земле. Как скажу его, нигде белая кость не найдет себе ни солдатов, ни работничков. Все под мою руку уйдут, а от их откажутся. И как есть они не добытчики, а прожитчики, то им долго на белом свете не выстоять".

„И мало ли, долго ли, а в скорости, как сказал, и приключилось так. Прискакал верховой к Ленину, привез ему известие от Миколашки-царя. И отписывает в том известии Миколашка-царь: „Так и так, Ленин, надул ты меня. Взял себе всю черную кость, а мне отдал не добытчиков, а прожитчиков. Генералы мои, офицеры-благородия, как кони стоялые, без солдатов нашинских. Только пьют, едят да жир нагуливают. Господины помещики все припасы свои уж заканчивают, одежу из сундуков донашивают, без опаски изорвали всю, позамазали. Проторговались купцы мои, без мужиков некому им товар свой лежалый сбывать. Заводчики мои все машины посбивали, перепортили. Как нету сноровки у них, по-книжному и знают, а к винту не подладят. А чужоземный чернокостный народ на службу к нам не наймается, под твою руку прет, на твое слово тайное. И как дошло нам дело, что хоть ложись да помирай, то идуть на тебя войной генералы мои, офицеры-благородия, чтоб отбить нам назад к себе всю черную кость".

„И с того теперь война пошла промеж белой костью да черною. Только долго белой не выстоять, как привыкли генералы, офицеры-благородия команду на солдата кричать, войски туды-сюды передвигать, а сами в войне отбиваться непривычные, как есть в их жила тонкая. И недолго им на белом свете выстоять"...

Погасла лампа. Храпели мужики. Бормотала спросонок баба. А худощавая, стареющая хуторянка, сидя на тулупе своем, на полу, истово, напевно, как молитву, выговаривала смешные и трогательные слова своей сказки. У ней были добавления и отступления, которых я не помню. Не помню точных слов, но характер слов, содержание, ритм речи ее я помню. Как сейчас слышу. Оттого смело воспроизвожу. Это — первая мужицкая легенда о человеке с именем „Ленин" в бедном легендами уезде, где сгасала яркость многих имен.

Л. Сейфулина.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

По городам и селам

Стр.

В город—*С. Юшкевич* 3
В Нью-Йорке—*М. Горький* 5
Петербург—(стих.)—(из поэмы „Медный Всадник“)—*А. Пушкин* 9
Ленинграду (стих.)—*Н. Асеев* 10
Москва (стих.)—*А. Жаров* 10
Киев наших дней—*Н. Лядов* 12
Одесса (из рассказа „Гамбринус“)—*А. Куприн* 15
В новом селе (перевод с укр.)—*А. Панов* 16
Быт (стих.)—*П. Дружинин* 20
Русь советская (стих.)—*С. Есенин* 21
Песня (стих.)—*И. Кулик* 21
На базаре (перевод с укр.)—*М. Коцюбинский* 22
Красная Ярмарка—*В. Юрезанский* 24
Сорочинская ярмарка—*Н. Гоголь* 28
Чрево Парижа (из романа того же названия)—*Э. Золя* 29
На ярмарке (стих.)—*И. Никитин* 34

Октябрь.

7-е ноября (стих.)—*И. Попов* 35
Вся власть советам—*Н. Кашкаров* 36
Киевский арсенал в Октябрьские дни—*Н. Горичев* 39
Под Трипольем—*В. Фастовский* 43
Голоса (стих.)—*Мих. Рудерман* 49
На Кубани (из рассказа „Железный поток“)—*А. Серафимович* 50
Между боями (из романа „Чапаев“)—*Д. Фурманов* 54
Партизаны (из рассказа того же названия)—*Вс. Иванов* 59
Красный призрак Кремля (стих.)—*В. Брюсов* 71
Расстрел (из романа „В тупике“)—*В. Вересаев* 72
Товарищ Кожух (из рассказа „Железный поток“)—*А. Серафимович* . . . 76
Ленин—*А. Аросев* 82
Ленин (стих.)—*С. Малахов* 86
Советский часовой (стих.)—*Демьян Бедный* 90
Солонский Яр (перевод с укр.)—*М. Хвылевый* 90
Оленка (перевод с укр.)—*И. Сенченко* 99
Микулин ход (стих.)—*П. Орешин* 101
Андронова коммуна (из рассказа „Андрон Непутевый“)—*А. Неверов* . . . 102

Стр.

III Интернационал (стих.)—*В. Маяковский* 110
За хлебом (из рассказа „Ташкент—город хлебный“)—*А. Неверов* 111
О шапке (стих.)—*А. Безыменский* 117
Комитет бедноты—*П. Низовой* 118
Сдача в аренду (из повести „Завтра“)—*Ю. Либединский* 121
Навстречу грядущему (стих.)—*А. Крайский* 126

Труд в городе.

Гудки—*А. Гастев* 128
Лен (стих. перев. с укр.)—*Г. Чупрынка* 128
Суконный город—*В. Юрезанский* 129
Песня ткача (стих.)—*Ф. Шкулев* 134
Ткач (стих.)—*В. Горнов* 135
Тринадцать—*М. Колосов* 135
Ткачи (из рассказа „Сон молодого короля“)—*О. Уайльд* 142
Две божьи матери—*А. Серафимович* 143
За прялкою баба в поняве сидит (стих.)—*И. Никитин* 145
Ткачи—*Г. Гауптман* 145
Ткачи (стих.)—*Г. Гейне* 151
Скупщики (из произв. „Павловские очерки“)—*В. Короленко* 152
Песня о портнихе (стих)—*Н. Полетаев* 156
Швея (стих.)—*Ф. Сологуб* 157
В булочной—*М. Горький* 157
Мальчик (из рассказа „Петька на даче“)—*А. Андреев* 159
Ванька—*А. Чехов* 161
В учении у шорника—*В. Короленко* 164
Ильюша „в людях“ (из повести „Трое“)—*М. Горький* 169
Сеня из Хворовки (из рассказа „В новую жизнь“)—*И Шмелев* 179
Каменщик (перевод с укр.)—*И. Франко* 187
Тоска—*А. Чехов* 192
Безработный (стих.)—*М. Голодный* 196
Агаша—*Т. Щепкина-Куперник* 196
Госпожа и две служанки (стих.)—*И. Крылов* 201
Памятник труда (стих.)—*В. Кириллов* 202

В недрах земли.

Донбас (стих. перев. с укр.)—*М. Доленго* 203
Углекопы (стих.)—*Н. Тан (В. Богораз)* 203
В шахте (стих. перев. с укр.)—*С. Черкасенко* 204
Под землей—*А. Серафимович* 205
Во тьме—*А. Свирский* 213
Васька Ломакин—*А. Куприн* 221
Шахта (стих.)—*М. Герасимов* 227
Шахта смерти—*У. Синклер* 228
Черная кровь—*С. Ветлугин* 233
В сказочной стране—*К. Гамсун* 237

Стр.

На болотных топях – *С. Ветлугин* 241
Шахты – *Н. Телешов* 244
Кузница при дороге (стих.)—*В. Александровский* 251
Кузнецы (стих.) – *Ф. Шкулев* 252

Труд и быт.

Сказание о Кише—*Д. Лондон* 254
Постройка пироги (стих. из „Песни о Гайавате“)—*Лонгфелло* 261
Борьба за огонь – *Ж. Рони* 262
Песнь о вещем Олеге (стих.)—*А. Пушкин* 270
Веснянка—народная песня 272
Жнивные песни—народная песня 272
Пословицы 273
Зеленый шум (стих.) *Н. Некрасов* 273
Слово о полку Игореве (перев.)—*А. Майков* 273
Песнь о Роланде (перев.) *Ф. Г. де-ла-Барт* 276
Битва франков с сарацинами (перев.)—*Ф. Г. де-ла-Барт* 280
Турнир (отрывок из романа „Айвенго“)—*Вальтер-Скотт* 286
Кубок (стих.)—*Ф. Шиллер* (перевод *В. Жуковского*) 298
Борьба с барсом (из поэмы „Мцыри“—*М. Лермонтов*) 302
Жизнь горцев (из поэмы „Кавказский пленник“) – *А. Пушкин* 303
Касьян с Красивой Мечи—*П. Тургенев* 305
Экран веков (стих. автор. перев. с укр.)—*В. Полищук* 310
Башня—*А. Гастев* 310

В борьбе с природой.

Туннель—*М. Горький* 313
Постройка мола (из повести „Коновалов“) – *М. Горький* 317
Спор (стих.)—*М. Лермонтов* 319
На подводной лодке – *А. Новиков-Прибой* 320
Я подслушал эти песни (стих)—*Д. Бедный* 328
Волны (из романа „Цемент“)—*Ф. Гладков* 329
Днепрострой (стих. перев. с укр.)—*В. Сосюра* 334
Сеятели солнца (стих.)—*П. Арский* 334
Красный запев (стих. перев. с укр.)—*В. Чумак* 335

Советская деревня.

Деревня (стих.)—*А. Жаров* 336
Смерть Николина Камня – *А. Яковлев* 337
На общей земле (из рассказа „Перегной“) – *Л. Сейфулина* 347
Старое и новое (стих. из „Мужиков“)—*Д. Бедный* 353
Деревенская коммуна (стих)—*С. Городецкий* 357
Коммуна—*А. Неверов* 358
Батрацкая (стих.) – *Д. Бедный* 360
Обетованная земля – *П. Романов* 360

Стр.

Оксана (стих. перев. с укр.) — *В. Сосюра* 363
Рябая корова—*П. Романов* 366
Змеевка—*К. Минаев* 371
Трест—обманщик—*Р. Акульшин* 390
Помолебствовал—*А. Серафимович* 392
Как светит Ленин—*Н. Погодин* 397
Свет увидели—*Ф Чернышев* 400
Иная деревня (стих.)—*А. Дорогойченко* 403
Пройдут десятилетия—*Е. Ярославский* 404
Чудо—*М. Волков* 404
Мы строим жизнь (стих.)—*А. Жаров* 409
Мужицкий сказ о Ленине—*Л. Сейфулина* 410

БІБЛІОТЕКА
НАУК. ТОВ. ІМ. ШЕВЧЕНКА
У ЛЬВОВІ

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ

ПРАВЛІННЯ: Харків, вул. К. Лібкнехта, 31.

По всіх філіях та книгарнях Держвидаву є такі книжки з робочої бібліотеки учня установ соцвиху.

ВИРОБНИЦТВО.

Андренко, Л. — В царстві радіо. 62 стор., ц. 35 к.

Бузько, Д. — Кіно й кінофабрика. 76 стор., ц. 70 к.

Вавін, Ю. — Історія калоші. 51 стор., ц. 20 к.

Веркін, І. — Молодий оправник. 82 стор., ц. 65 к.

Данилевський, В. — Великі винаходи. 111 стор., ц. 90 к.

Данилевський, В. — Нариси з історії техніки. 273 стор., ц. 1 крб. 50 к.

Данилевський, В. — У віки крилаті. Перемоги техніки XX століття. 286 стор., ц. 3 крб.

Данилевський, В. — Хемія та сучасне життя. 63 стор., ц. 40 к.

Іл'їн, М. — Котра година. 66 стор., ц. 40 к.

Калюжний, П. — Глина та вироби з неї. 44 стор., ц. 40 к.

Карінцев, М. — Піонер залізниці — Стефенсон. 99 стор., ц. 40 к.

Конашинський, Д. та **Халезов, Б.** — Що таке електрифікація. 75 стор., ц. 50 коп.

Коркішко, М. — В надрах землі. 276 стор., ц. 1 крб. 80 коп.

Коркішко, М. — Земля та праця. Географічно-виробнича хрестоматія. 176 стор., ц. 1 крб. 10 к.

Семенів, А. — Сірник та його предки. 47 стор., ц. 30 к.

Тулпаров, А. — Виробництво нафтових продуктів. 27 стор., ц. 35 к.

Тулпаров, А. — Виробництво сірчаної кислоти та соди. 39 стор., ц. 40 к.

ПРИРОДОЗНАВСТВО.

Андріїв, І. — Звіриною тропою Оповідання про походження й життя предків людини, що від них пішли сучасні люди. 55 стор., ц. 40 к.

Андріїв, І. — З безодні моря на суходіл. 41 стор., ц. 30 к.

Беляєв, П. — Як зібрати колекцію комах. 33 стор., ц. 15 к.

Беляєв, П. — Як зробити акваріюм і тераріюм. 38 стор., ц. 20 к.

Боровський, М. — З життя тварин. 40 стор., ц. 15 к.

Загоровський, Н. — Життя Чорного моря. 110 стор., ц. 1 крб. 30 к.

Канель, Л. — Як з'явилася людина на землі. 94 стор., ц. 50 к.

Кардиналовська, Г. — Чорне золото. 192 стор., ц. 50 к.

Коркішко, М. — В надрах землі. 276 стор., ц. 1 крб. 80 к.

Коркішко, М. — Земля та праця. Географічно-виробнича хрестоматія. 176 стор., ц. 1 крб. 10 к.

Кривусева, Р. — Морські тварини. 62 стор., ц. 50 к.

Лісновський, Г. — Життя й учення Чарльза Дарвіна. 107 стор., ц. 55 к.

Матковський, І. - Шкільне свято дерев. Порадник до влаштування шкільного свята деревосадіння. 136 стор., ц 30 к.

Паулі, Е. — Як спостерігати природу. 150 стор., ц. 1 крб.

Піотровський, М. — Фізика в літніх екскурсіях. 122 стор., ц. 1 крб. 20 к.

Рижков, В. — Між життям і смертю. 34 стор., ц. 25 к.

Розенблюм, А. — Ілля Мечников, 100 стор., ц. 40 к.

Сірий, Ю. — Дивні рослини. 14 стор., ц. 10 к.

Тімірязєв, К. — Рослина й сонячна енергія. 66 стор., ц. 30 к.

Тутковський, П., акад. — Краєвиди України. Науково-популярний нарис 47 стор., ц. 35 к.

Фінкельштейн, Є. — Еволюція тваринного світу. 116 стор., ц. 1 крб.

Цінгер, О — Цікава ботаніка. 123 стор., ц. 75 к.

Поштові Відділи Держвидаву надсилають післяплатою кожну книжку, як власного, так і всіх видавництв СРСР. Пересилка й пакування на всі замовлення коштом Держвидаву, коли замовлення більше, ніж на 1 крб., і наперед оплачується готівкою.

Замовлення надсилати на такі адреси:

Харків, вул. 1 Травня, № 17. Поштовий Відділ ДВУ.
Київ, вул. К. Маркса, № 2. Поштовий Відділ ДВУ.
Одеса, вул. Лясаля, № 33 (Пасаж). Поштовий Відділ ДВУ.
Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 49. Поштовий Відділ ДВУ.

Комерційне Управління ДВУ

Харків, вул. К. Лібкнехта, № 31.

Філії та книгарні по всіх округових та значніших містах України.

БІБЛІОТЕКА НАУК. ТОВ. ІМ. ШЕВЧЕНКА

4193

Цена 1 руб. 10 коп. (У)

РЛ 4193 1у

Наше
слово